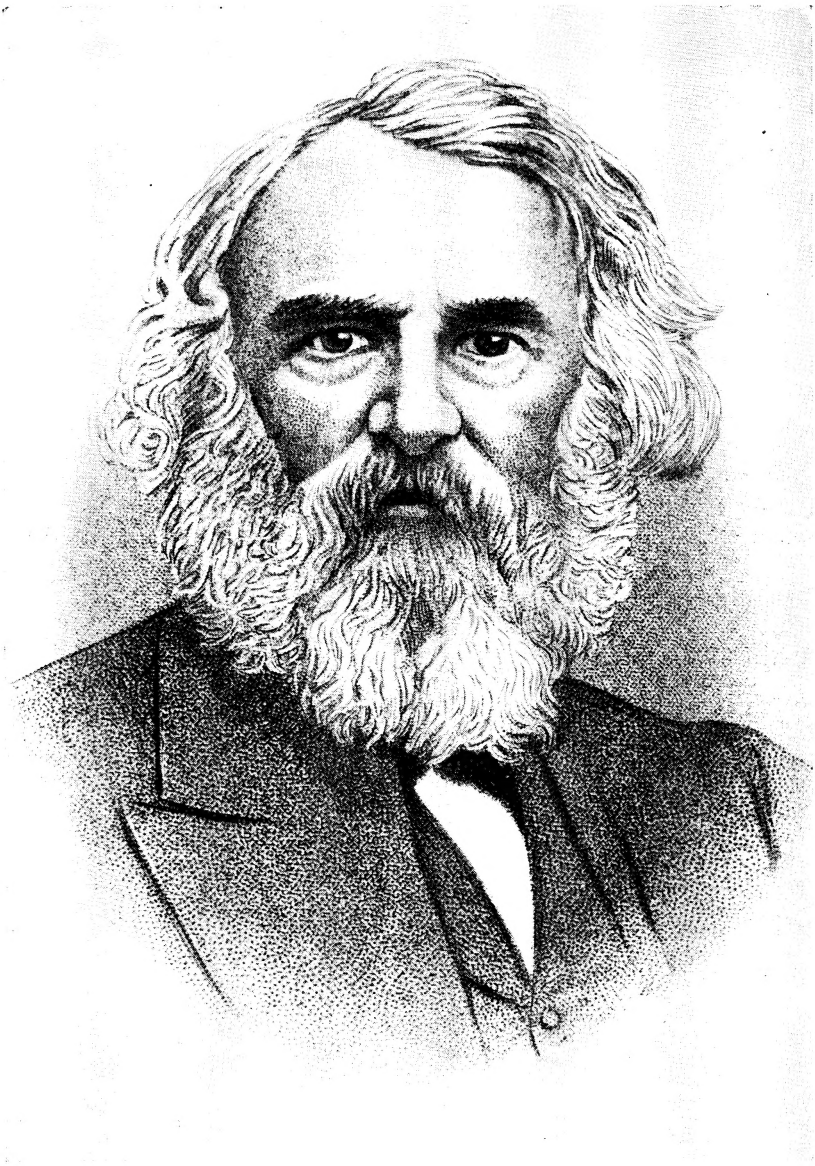
ИНОСТРАННАЯ *литература*

2
1957



ГЕНРИ УОДСУОРТ ЛОНГФЕЛЛО

(К 150-летию со дня рождения)

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ — Письмо требовательному другу о требованиях любви (Стихотворение) 3

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ — Добрый человек из Сезуана. (Пьеса) 5

ВОЙТЕХ МИГАЛИК — Присяга. Предвесеннее. Мальчик и дерево. Поэтическое искусство. Сонет на миннезингерский мотив. Если не спишь. (Стихи) 70

ПЕТРУ ДУМИТРИУ — Буревестник. (Роман. Продолжение) 73

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН — Весенняя песня . . 127

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР — Братья Лаутензак. (Роман. Продолжение) 129

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ГЕНРИ УОДСУОРТ ЛОНГФЕЛЛО — Стихи . . 179

Поэзия средневековой Кореи 187

КРИТИКА

И. БЕРНШТЕЙН — Заметки о современном чехословацком романе 191

Ю. ЮЗОВСКИЙ — Бертольт Брехт и его «Добрый человек» 199

Н. ТАМАНЦЕВ — Новое собрание сочинений Бальзака 204

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Б. БЯЛИК — Пора начинать! 208

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ — Письмо в редакцию 217

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ — Встреча в Цюрихе 219

И. АНИСИМОВ — Советская литература сегодня и ее перспективы. (Ответ на вопросы И. Силоне) 228

2

1957

ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

МИХАЙ БЕНЮК — По возвращении из Венгрии 233

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ШОН О'КЕЙСИ — «Вы построите новую большую жизнь» 238

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Н. АБАЛКИН — На Венецианской выставке . 241

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

БЕРНАРД ШОУ — Венгерский скульптор Кишфалуди-Штробл 249

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Н. ЭЙШИСКИНА — Новая пьеса Жоржа Сориа. ◇ А. МЕЛЬНИКОВ — Они думали, что были свободными. ◇ А. БРАГИНСКИЙ — Киноповесть Федерико Феллини. ◇ А. СТАРЦЕВ — Проблема «ворстселлера» и «устная книга» ◇ А. ЕЛИСТРАТОВА — Джек Линдсей об английской литературе. ◇ В. ЗЛЫДНЕВ — Избранные произведения Л. Стоянова. ◇ ФИНН ХАВРЕВОЛЬД — Человек в стеклянном яйце. ◇ С. ВЕЛИКОВСКИЙ — Жизнь Эжезиппа Моро 258

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 268

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 288

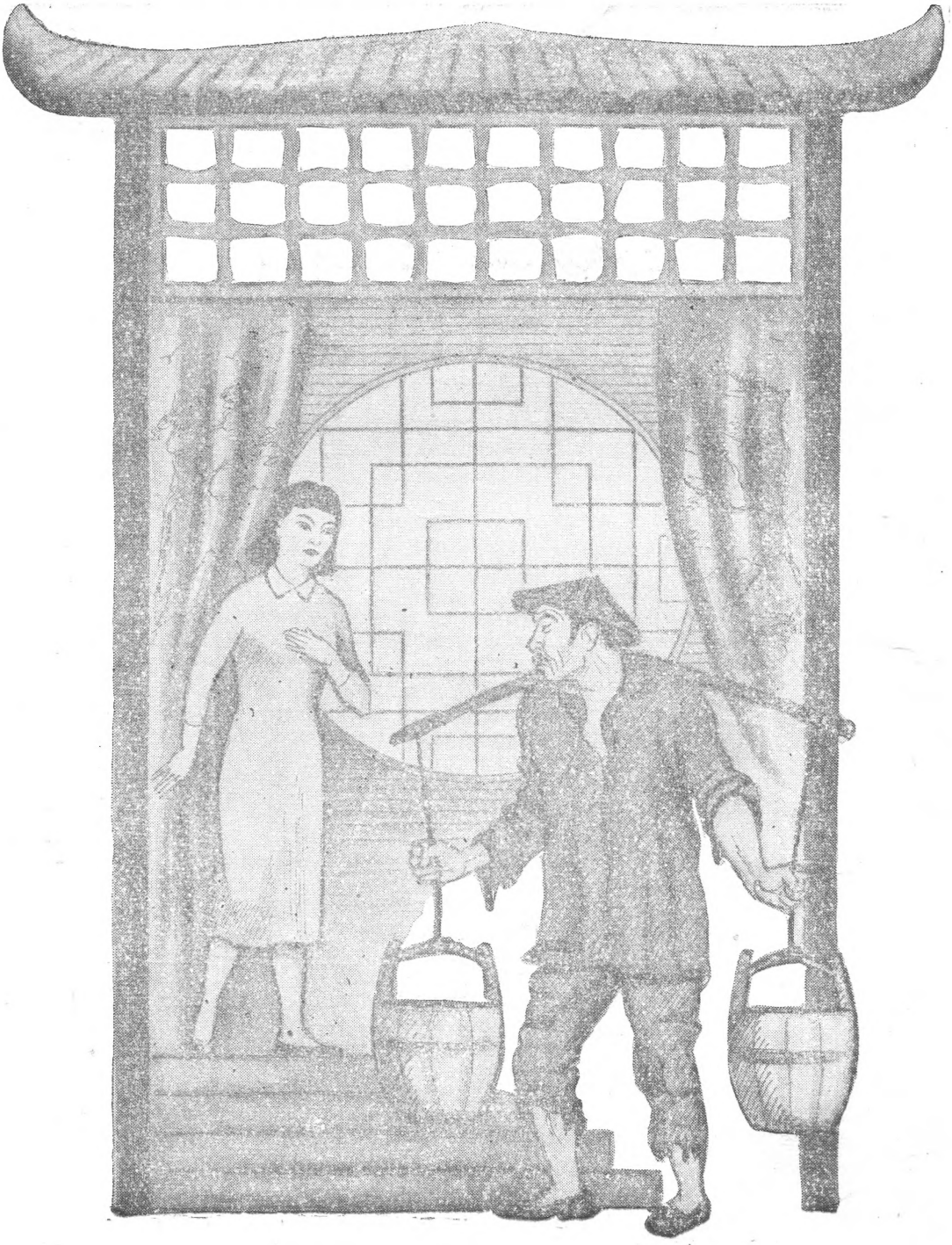
На обложке гравюра на дереве бельгийского художника Франса Мазерееля из цикла «От черного к белому».

Шарль Добжинский

Письмо ТРЕБОВАТЕЛЬНОМУ ДРУГУ о требованиях любви

Перевод с французского М. Кудинова

Вы находите песню мою старомодной,
Вам слышится голос романтика в ней,
И считаете вы, что она непригодна
Для эстета сегодняшних дней.
Вас рифмы мои удивляют порою:
К чему этот блеск? К чему этот звон?
Иль они рождены виртуозной игрою,
Которой я сам опьянен?
Чтоб найти отраженье далекого света,
Обыщите, как сыщик, строки мои —
Вы найдете в них только сердце поэта,
Что рвется в грядущие дни.
И право же, рифмы не стоят вниманья,
Если ум ваш волнует значение слов,
Если меж нами посредником станет
Легкокрылая стая стихов.
К чему же искать так упорно истоки,
За формой не видя свет впереди;
Сердце, чей трепет вы слышите в строках,
Готово взорваться в груди.
Я хочу, чтобы песнь моя, полная страсти,
Сохранила биенье минувших веков,
Чтобы в строках моих, воспевающих счастье,
Были ритмы забытых строф.
Я хочу, чтобы в песнях моих прозвучали
Голоса поэтов далеких времен,
Чтоб моими словами любовь прославляли
Ронсар, Малерб и Вийон.
Я хочу, чтоб в стихах моих слышался снова
Голос всех, кто любил и кто песни слагал,
Я хочу повторять неувядшее слово
Тех, кто радовался и страдал.
Я хочу, чтоб напевы, рожденные веком,
Сочетались с легендой, живущей в веках,
Там, где гул наших дней отражается эхом
В александрийских стихах.
И простыми словами хочу я поведать
О том, как люблю я, как сердце поет;
Но в этих словах — над смертью победа,
Потому что в них счастье мое.



ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА

Рис. В. Русланова

Бертольт Брехт

Добрый человек из Сезуана

Пьеса-притча в 10 картинах с прологом и эпилогом

Перевод с немецкого Ю. Юзовского и Е. Ионовой

Стихи в переводе Бориса Слуцкого.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Три бога.
Шен Те.
Шуи Та.
Янг Сун — безработный летчик.
Госпожа Янг — его мать.
Ванг — водонос.
Цирюльник Шу Фу.
Домовладелица Ми Тци.
Вдова Шин.
Семья из восьми человек.
Столяр Лин То.
Торговец коврами.
Его жена.
Полицейский.
Старая проститутка.
Священник.
Безработный.
Кельнер.
Прохожие в прологе.

Действие происходит в главном городе старой провинции Сезуан, но могло бы происходить в любом месте на земле, где человек эксплуатирует человека.

ПРОЛОГ

Улица главного города в Сезуане. Вечер. Водонос Ванг представляется публике.

Ванг. Я здешний водонос — торгую водой в Сезуане. Тяжелое ремесло! Если воды мало, приходится много бегать за ней. А если ее много, заработок мал. Вообще в нашей провинции большая нищета! Все говорят, что если кто еще способен нам помочь, так это боги. И вот, представьте себе мою радость, когда знакомый скототорговец — он часто разъезжает — сказал мне, что несколько виднейших наших богов уже находятся в пути и их можно ожидать в Сезуане с часу на час. Говорят, небо обеспокоено множеством жалоб, которые к нему поступают. Уже третий день, как я дожидаюсь здесь, у ворот города, особенно под вечер, чтобы первым приветствовать гостей. Позднее это мне вряд ли удастся. Их окружат высокопоставленные господа, попробуй к ним тогда протолкнуться. Как бы их только узнать? Они появятся, наверное, не одновременно. Скорее всего, по одному, чтобы не слишком обращать на себя внимание. Вот эти не похожи на богов, они возвращаются с работы. *(Внимательно смотрит на проходящих мимо рабочих.)*

Плечи у них согнулись от тяжестей, которые они таскают. А этот? Какой же он бог, пальцы в чернилах! Самое большее, служащий цементного завода. Даже те два господина *(мимо проходят двое мужчин)* и то, по-моему, не боги. У них жестокое выражение лица, как у людей, привыкших бить, а богам нет в этом необходимости. Но вот там трое! Как будто другое дело. Упитаны, ни малейшего признака какого-либо занятия, башмаки в пыли, значит пришли издалека. Они, они! О мудрейшие, располагайте мной! *(Падает ниц.)*

Первый бог *(радостно)*. Нас здесь ждут?

Ванг *(дает им напиться)*. Уже давно. Но только я один знал о вашем прибытии.

Первый бог. Мы нуждаемся в ночлеге. Не знаешь ли ты, где бы нам пристроиться?

Ванг. Где? Везде! Весь город в вашем распоряжении, о мудрейшие! Где пожелаете?

Боги многозначительно смотрят один на другого.

Первый бог. Хотя бы в ближайшем доме, сын мой! Попытаемся в самом ближайшем!

Ванг. Меня только смущает, что я навлеку на себя гнев власть имущих, если отдам особое предпочтение одному из них.

Первый бог. В таком случае, приказываем тебе, начни с ближайшего!

Ванг. Там живет господин Фо! Подождите минутку! *(Подбегает к дому и стучит в дверь. Она открывается, но видно, что Ванг получает отказ. Он робко возвращается.)* Вот неудача! Господина Фо, как назло, нет дома, а слуги ни на что не решаются без его приказания, хозяин очень строг! Ну и взбесится же он, когда узнает, кого не приняли в его доме, не правда ли?

Боги *(улыбаясь)*. Безусловно.

Ванг. Еще минуту! Дом рядом принадлежит вдове Су. Она будет вне себя от радости. *(Бежит к дому, но, видимо, снова получает отказ.)* Я лучше справлюсь напротив. Вдова говорит, что у нее только одна маленькая комнатка, и та не в порядке. Сейчас же обращусь к господину Ченг.

Второй бог. Нам хватит маленькой комнатки. Скажи, что мы ее займем.

Ванг. Даже если она не прибрана, даже если в ней полно пауков?

Второй бог. Пустяки! Где пауки, там мало мух.

Третий бог *(приветливо Вангу)*. Иди к господину Ченгу или еще куда-нибудь, сын мой, пауки, признаться, мне не по душе.

Ванг снова стучится в какую-то дверь, но его не впускают.

Голос из дома. Оставь нас в покое с богами. Своих забот по горло!

Ванг *(возвращаясь к богам)*. Господин Ченг в отчаянии: его дом полон родни, и он не осмеливается показаться вам на глаза, мудрейшие. Между нами, я думаю, среди них есть дурные люди, и он не хочет, чтобы вы их видели. Он страшится вашего гнева. В этом все дело.

Третий бог. Разве мы так страшны?

Ванг. Только для недобрых людей, не правда ли? Известно, что жителей провинции Кван десятилетиями постигает наводнение — кара божья!

Второй бог. Вот как? И почему же?

Ванг. Да потому, что они все безбожники.

Второй бог. Вздор! Просто потому, что они не чинили плотину.

Первый бог. Псст! *(Вангу.)* Ты все еще надеешься, сын мой?

Ванг. Как можно даже спрашивать такое? Стоит пройти еще один дом, и я найду для вас жилье. Каждый пальчики себе облизывает в предвидении, что примет вас у себя. Стечение обстоятельств, понимаете? Бегу! *(Робко отходит и нерешительно продолжает стоять на улице.)*

Второй бог. Что я говорил?

Третий бог. И все-таки, я думаю, это простая случайность.

Второй бог. Случайность в Чуне, случайность в Кване и случайность в Сезуане! Страха божьего нет больше на земле — вот истина, которой вы боитесь смотреть в лицо. Признайте, что наша миссия потерпела фиаско!

Первый бог. Мы еще можем натолкнуться на доброго человека. В любую минуту. Мы не должны опускать руки перед трудностями.

Третий бог. Постановление гласило: мир может оставаться таким, как он есть, если найдутся люди, достойные звания человека. Водонос — сам такой человек, если только я не обманываюсь. *(Подходит к Вангу, который продолжает стоять в нерешительности.)*

Второй бог. Он обманывается, как всегда. Когда водонос дал нам напиться из своей кружки, я кое-что заметил. Вот кружка. *(Показывает ее первому богу.)*

Первый бог. Двойное дно.

Второй бог. Мошенник!

Первый бог. Ладно, он отпадает. Ну и что, если один отпадает? Мы встретим и таких, которые отвечают условиям. Мы обязаны их найти! Вот уже два тысячелетия не прекращается вопль: так дальше продолжаться не может, никто в этом мире не в состоянии быть честным! Мы должны, наконец, указать на людей, которые следуют нашим заповедям.

Третий бог *(Вангу)*. Может быть, это затруднительно — найти пристанище?

Ванг. Только не для вас! Что вы! Моя вина, что оно не сразу нашлось, — я плохо ищу.

Третий бог. Дело безусловно не в этом. *(Возвращается обратно.)*

Ванг. Они обо всем уже догадались! *(К проходящему мужчине.)* Высокочтимый господин, извините, что обращаюсь к вам, но три самых главных бога, о предстоящем прибытии которых в течение ряда лет говорит весь Сезуан, теперь в самом деле прибыли и нуждаются в помещении. Не уходите! Убедитесь сами! Довольно одного взгляда! Ради всевышнего, выручайте! На вашу долю выпадает счастливый случай — воспользуйтесь им! Предложите первым убежище богам, пока кто-нибудь не перехватил их, — они согласятся.

Мужчина продолжает свой путь.

(Обращается к другому.) Почтеннейший, вы слышали? Может быть, у вас есть квартира? Не обязательно роскошные палаты. Главное, добрые намерения.

Второй господин. Откуда мне известно, что за боги твои боги? О, если бы каждый знал, кого он пускает под свою крышу! *(Заходит в табачную лавку. Ванг бежит обратно к богам.)*

Ванг. Он наверняка согласится. *(Замечает свою кружку на земле, растерянно смотрит на богов, поднимает ее и снова бежит назад.)*

Первый бог. Это не звучит ободряюще.

Ванг *(мужчине, когда тот выходит из лавки)*. Ну, как же с квартирой?

Господин. Почем ты знаешь, может быть, я сам живу в гостинице?

Первый бог. Он ничего не найдет. Сезуан нам тоже придется вычеркнуть.

Ванг. Это три главных бога. Истинно говорю вам. Статуи в храмах очень на них похожи. Если вы, не теряя времени, подойдете и пригласите их, возможно, они еще согласятся.

Господин *(смеясь)*. Хороши же, должно быть, жулики, которых ты хочешь пристроить. *(Уходит.)*

Ванг *(бранится ему вслед)*. Кривой черт! Бога вы не боитесь! Будете жариться в кипящей смоле за свое бесчувствие! Боги плюют на вас! Но вы еще пожалеете! До четвертого колена вам придется расплачиваться! Весь Сезуан покрыли позором! *(Пауза.)* Теперь остается только проститутка Шен Те — эта ведь не может сказать «нет». *(Зовет: «Шен Те!» Из окна сверху выглядывает Шен Те.)* Они уже здесь, я не могу найти для них прибежища. Можешь ты принять их на одну ночь?

Шен Те. Боюсь, что нет, Ванг. Я жду гостя. Но возможно ли, чтоб ты не нашел для них приюта?

Ванг. Сейчас не время об этом разговаривать. Весь Сезуан — сплошная куча дерьма.

Шен Те. Мне пришлось бы спрятаться, когда он появится. Может быть, он тогда уйдет. Ему еще вздумалось прогуляться со мной...

Ванг. Пока что мы поднялись бы наверх, а?

Шен Те. Только вы не должны громко разговаривать. Можно быть с ними откровенной?

Ванг. Боже сохрани! Они ничего не должны знать о твоем образе жизни. Нет, лучше, если мы подождем внизу. Но ты не уйдешь с ним?

Шен Те. Дела мои плохи, и, если я к завтрашнему утру не уплачу за квартиру, меня выкинут вон.

Ванг. В такой момент нехорошо быть расчетливой.

Шен Те. Не знаю... К сожалению, желудок урчит и тогда, когда у императора день рождения. Ладно, я приму их. *(Видно, как она гасит свет.)*

Первый бог. Похоже, что ничего не вышло.

Они подходят к Вангу.

Ванг *(увидя позади себя богов, вздрагивает)*. Квартира обеспечена. *(Вытирает пот.)*

Боги. Да? В таком случае, пойдем.

Ванг. Не торопитесь. Обождите немного. Комнату приводят в порядок.

Третий бог. Тогда мы присядем и подождем.

Ванг. Кажется, здесь слишком большое движение. Лучше перейдем на ту сторону.

Второй бог. Мы охотно присматриваемся к людям. Собственно, с этой целью мы сюда и прибыли.

Ванг. Да, но здесь сквозняк.

Третий бог. Тебе здесь удобно?

Они садятся на крыльцо перед домом. Ванг опускается на землю на некотором расстоянии от них.

Ванг *(вдруг)*. Вы поселитесь у одинокой девушки. Она лучший человек в Сезуане.

Третий бог. Вот и хорошо!

Ванг *(публике)*. Когда я поднял кружку, они так странно посмотрели на меня. Неужели заметили?.. Я не смею больше взглянуть им в глаза.

Третий бог. Ты очень устал.

В а н г. Чуть-чуть. От суеты.

П е р в ы й б о г. А людям здесь очень тяжело живется?

В а н г. Хорошим, да!

П е р в ы й б о г *(серьезно)*. Тебе тоже?

В а н г. Я знаю, что вы имеете в виду. Я нехороший. Но мне тоже нелегко.

Между тем, перед домом Шен Те появился человек. Он несколько раз свистит, и Ванг каждый раз вздрагивает.

Т р е т и й б о г *(тихо, Вангу)*. Я думаю, он не дождался и ушел.

В а н г *(растерянный)*. Да-да... *(Встает и бежит на площадь, оставляя кувшин и кружку.)*

В это время произошло следующее: человек, ожидавший на улице, ушел, и Шен Те, выйдя из дома и тихо позвав: «Ванг», идет вдоль по улице в поисках Ванга. И теперь, когда Ванг тихо зовет: «Шен Те», он не получает ответа.

В а н г. Она бросила меня на произвол судьбы. Ушла, чтобы раздобыть денег, и у меня нет ночлега для мудрейших. Они устали и ждут. Я не смогу еще раз прийти к ним и сказать: ничего нет! Мой собственный дом — труба канала, о ней не может быть и речи. Кроме того, боги, безусловно, не захотят жить у человека, жульнические дела которого обнаружили. Я не вернусь ни за что на свете. Но там осталась моя посуда. Что делать? Я не смею взять ее. Скорее я уйду из города и скроюсь с их глаз, если мне не удалось помочь тем, кому я поклоняюсь. *(Убегает.)*

Едва он исчез, возвращается Шен Те, ищет его на другой стороне и видит богов.

Ш е н Т е. Это вы, мудрейшие? Меня зовут Шен Те. Я буду рада, если вы удовольствуетесь моей каморкой.

Т р е т и й б о г. Но куда исчез водонос?

Ш е н Т е. Вероятно, мы с ним разминулись.

П е р в ы й б о г. Он, должно быть, решил, что ты не придешь, и побоялся вернуться к нам.

Т р е т и й б о г *(поднимает кружку и кувшин)*. Мы оставим это у тебя. Они ему еще понадобятся.

Предводительствуемые Шен Те, идут в дом. Темнеет и снова светлеет. На рассвете боги выходят из дверей дома. Их ведет Шен Те, освещая путь лампой. Они прощаются.

П е р в ы й б о г. Милая Шен Те, спасибо за гостеприимство. Мы не забудем, что именно ты приютила нас. Верни водоносу его посуду и передай нашу благодарность за то, что он показал нам хорошего человека.

Ш е н Т е. Я нехорошая. Сказать по правде, когда Ванг обратился ко мне с просьбой дать вам пристанище, я заколебалась.

П е р в ы й б о г. Колебание не опасно, если его побороть! Знай, что ты подарила нам нечто большее, чем ночлег. У многих, и даже у нас, богов, возникло сомнение — существуют ли еще на свете добрые люди. Для того, чтоб это выяснить, мы и предприняли наше путешествие. Мы продолжаем его с радостью, потому что одного уже нашли. До свидания!

Ш е н Т е. Остановитесь, мудрейшие, я совсем не уверена, что я хорошая. Правда, я хотела бы быть такой, но как же тогда с платой за комнату? Я признаюсь вам: чтобы жить, я продаю себя. Но даже этим путем я не могу просуществовать, слишком многим приходится делать то же самое. Я готова на все, но кто поступил бы иначе? Конечно, я охотно соблюдала бы заповеди почитания старших и воздержания от лжи. Не пожелать дома ближнего своего — было бы для меня радостью, быть верной одному мужчине — счастьем. Я не хотела бы также никого исполь-

зовать и обижать беззащитного. Но как сделать это? Даже нарушая заповеди, мне едва удается прожить.

Первый бог. Все это, Шен Те, не что иное, как сомнения хорошего человека.

Третий бог. Прощай, Шен Те! Передай сердечный привет водоносу. Он был нам добрым другом.

Второй бог. Боюсь, что ему пришлось туго.

Третий бог. Будь счастлива!

Первый бог. Главное, оставайся доброй, Шен Те! Прощай!

Боги поворачиваются, чтобы уйти, кивают ей на прощание.

Шен Те *(испуганная)*. Но я не уверена в себе, мудрейшие! Как мне быть хорошей, когда все так дорого?

Второй бог. Здесь мы, к сожалению, бессильны. В хозяйственные вопросы мы не вмешиваемся.

Первый бог. Стойте! Погодите минуту! Если бы у нее были кое-какие средства, ей, пожалуй, легче было бы оставаться доброй.

Второй бог. Мы не вправе ей ничего дать. Мы не сумеем там наверху объяснить это.

Первый бог. А почему бы нет?

Они шепчутся, оживленно споря.

Первый бог *(Шен Те, смущенно)*. Мы слыхали, тебе нечем заплатить за комнату. Мы люди не бедные и в состоянии отблагодарить за ночлег! Вот! *(Дает ей деньги.)* Только никому не говори, что мы тебе дали денег. А то, пожалуй, еще не так истолкуют.

Второй бог. Еще бы!

Третий бог. Нет, вполне допустимо. Мы ничего не нарушили, если рассчитались за ночлег. В постановлении насчет этого ничего не сказано. Итак, до свидания!

Боги быстро уходят.

I

МАЛЕНЬКАЯ ТАБАЧНАЯ ЛАВКА

Лавка не совсем еще обставлена и не открыта.

Шен Те *(к публике)*. Вот уже три дня, как ушли боги. Они сказали, что платят мне за ночлег. Но, когда я посмотрела, что они мне дали, я увидела больше тысячи серебряных долларов. Я купила на эти деньги табачную лавочку. Вчера я переехала сюда и надеюсь, что сумею сделать много добра. Например, госпожа Шин, прежняя владелица лавки. Уже вчера она приходила просить у меня рис для своих детей. Вот и сегодня, я вижу, она идет через площадь со своим горшком.

Входит Шин. Женщины раскланиваются друг с другом.

Шен Те. Добрый день, госпожа Шин.

Шин. Добрый день, мадемуазель Шен Те. Как вы чувствуете себя в вашем новом доме?

Шен Те. Хорошо. Как ваши дети провели ночь?

Шин. В чужом-то доме! Если только можно назвать домом этот барак. Младший уже кашляет.

Шен Те. Плохо.

Шин. Вы не можете понять, что такое плохо, потому что вам хорошо живется. Но и вам придется кое-что испытать здесь, в этой лавчонке. Не забывайте — это квартал нищеты.

Шен Те. Да, но ведь в обеденный перерыв, как вы мне говорили, заходят рабочие цементного завода?

Шин. Уже давно никто ничего не покупает, даже соседи.

Шен Те. Когда вы уступали мне лавку, вы не сказали об этом ни слова.

Шин. Мне не хватает только ваших упреков! Мало вам того, что вы лишаете меня и моих детей крова. Сколько можно!.. *(Плачет.)*

Шен Те *(быстро)*. Я сейчас принесу вам рис.

Шин. Я хотела еще попросить хоть немного денег.

Шен Те *(между тем как она сыплет рис в горшок)*. Этого я не могу, я же ничего еще не выручила.

Шин. Поймите, нужно. Чем жить? Вы отняли у меня все и еще хватаете меня за горло. Я брошу вам своих детей на порог, кровопийца! *(Вырывает у нее из рук горшок.)*

Шен Те. Не сердитесь — рассыплете рис!

Входят пожилая пара и бедно одетый человек.

Женщина. Милая моя Шен Те, мы слышали, что тебе повезло. Ты стала деловой женщиной! Представь себе, мы без крыши над головой! Нашу табачную лавку пришлось прикрыть. Мы и подумали, нельзя ли провести у тебя хотя бы одну ночь. Ты ведь помнишь моего племянника? Вот он, мы никогда не расстаемся.

Племянник *(осматриваясь по сторонам)*. Славная лавчонка!

Шин. Что это за люди?

Шен Те. Когда я приехала из деревни в город, это были мои первые квартирные хозяева. *(Публике.)* Когда жалкие деньги, которые были со мной, кончились, они выгнали меня на улицу. Они, вероятно, ждут, что я скажу об этом. Бедняги.

Они без приюта,
Без счастья, без доли.
Нужна им поддержка,
Как им откажешь?

(Приветливо, пришедшим.) Пожалуйста, пожалуйста! Я охотно приму вас. Правда, у меня всего-навсего крохотная комнатка позади лавки.

Мужчина. С нас хватит. Не беспокойся. *(Между тем как Шен Те приносит чай.)* Мы устроимся вот здесь, чтобы не мешать. Ты, должно быть, выбрала табачную торговлю в память о своей жизни у нас. Мы смогли бы помочь тебе кое-какими советами, и поэтому мы явились сюда.

Шин *(насмешливо)*. Надо надеяться, что появятся еще и покупатели?

Женщина. Это она про нас?

Мужчина. Псст! Вот и покупатель!

Входит оборванный человек.

Оборванный человек. Простите. Я безработный.

Шин смеется.

Шен Те. Чем могу служить?

Безработный. Я слышал, вы завтра открываете лавку и подумал, что когда распаковывают товар, бывает, что-нибудь портится. Не найдется ли у вас лишней папиросы?

Женщина. Это уже слишком — выпрашивать табак! Если бы еще хлеб!

Безработный. Хлеб дорог. Пара затяжек папиросой — и я новый человек. Я так устал.

Шен Те *(дает ему папиросу)*. Это очень важно — стать новым человеком. Будьте же моим первым клиентом. Вы принесете мне счастье.

Безработный быстро зажигает папиросу, затягивается и, кашляя, уходит.

Женщина. Правильно ли ты поступила, милая Шен Те?

Шин. Если вы будете так торговать, то в три дня проторгуетесь.

Мужчина. Бьюсь об заклад, у него в кармане были деньги.

Шен Те. Но он сказал, что у него ничего нет.

Племянник. Откуда вы знаете, что он не соврал?

Шен Те *(с возмущением)*. Откуда я знаю, что он соврал?

Женщина *(покачивая головой)*. Она не умеет сказать «нет»! Ты слишком добра, Шен Те! Если ты хочешь сохранить лавку, научись отказывать, когда к тебе обращаются.

Мужчина. Скажи, что она не твоя. Скажи, что она принадлежит твоему родственнику, который требует у тебя отчета. Разве это трудно сказать?

Шин. Совсем не трудно, если бы не страсть разыгрывать из себя благодетельницу.

Шен Те *(смеется)*. Ругайтесь, ругайтесь! Вот я возьму да откажу вам в жилье и рис тоже заберу обратно!

Женщина *(возмущенно)*. Как, и рис тоже твой?

Шен Те *(публике)*.

Они — плохие.
Они никого не любят.
Они никому не пожелают полной тарелки.
Они знают только себя.
Кто их осудит за это?

Входит человек маленького роста.

Шин *(видит его и спешит уйти)*. Завтра загляну опять. *(Уходит.)*

Маленький человек *(кричит ей вслед)*. Постойте, госпожа Шин! Вы-то мне и нужны!

Женщина. Почему она сюда приходит? У нее есть права на тебя, что ли?

Шен Те. Прав нет, но есть голод — это больше.

Маленький человек. Она знает, почему спешит унести ноги. Вы новая владелица лавки? Уже разложили товар по полкам? Предупреждаю вас, как вас там, они не ваши! Пока не уплатите за них! Дрянь, которая здесь сидела, не рассчиталась со мной! *(Остальным.)* Я ведь столяр.

Шен Те. Разве полки не принадлежат к обстановке, за которую я заплатила?

Столяр. Обман! Кругом обман! Вы, конечно, заодно с этой Шин! Я требую свои сто серебряных долларов, не будь я Лин То.

Шен Те. Как же я уплачу, если у меня нет больше денег?

Столяр. Тогда я продам их с аукциона! Сию же минуту! Либо вы платите, либо я их продаю.

Мужчина *(подсказывает Шен Те)*. Двоюродный брат!

Шен Те. Нельзя ли подождать до следующего месяца?

Столяр *(кричит)*. Нет!

Шен Те. Не будьте жестоки, господин Лин То. Я не в состоянии со всеми сразу рассчитаться. *(Публике.)*

Немного снисхождения удваивает силы.
Вот ломовая лошадь нагнулась за травой.
Смотрите на это сквозь пальцы —
Она лучше потянет телегу.
Немного терпенья в июне, и твое дерево
В августе согнется под тяжестью персиков.
Разве можно жить вместе без снисхождения?
Маленькая отсрочка
Помогает великой цели.

(Столяру.) Будьте чуть-чуть снисходительны, господин Лин То!

Столяр. А кто будет снисходителен ко мне и моей семье? *(Отодвигает одну из полок от стены, словно хочет унести с собой.)* Деньги, или я уношу полки!

Женщина. Милая Шен Те, почему бы тебе не поручить это дело своему двоюродному брату? *(Столяру.)* Напишите счет, и двоюродный брат мадемуазель Шен Те заплатит.

Столяр. Знаем мы этих двоюродных братьев!

Племянник. Что ты смеешься, как дурак! Я знаю его лично.

Мужчина. Это не человек — это нож!

Столяр. Хорошо, пусть ему передадут мой счет. *(Опрокидывает полку, садится на нее и пишет счет.)*

Женщина. Он стащит с тебя последнюю рубаху, если его не остановить. Отвергай притязания, справедливы они или нет, иначе у тебя отбоя не будет от притязаний, справедливых или нет! Брось кусок мяса в бочку с мусором, и собаки всего квартала сожрут друг друга у тебя во дворе. Зачем-нибудь да существуют суды?

Шен Те. Он работал и вправе получить за свой труд. И у него семья. Обидно, что я не могу заплатить! Что скажут боги?

Мужчина. Ты выполнила свой долг уже тем, что приютила нас, — это более чем достаточно.

Входит хромой человек и беременная женщина.

Хромой *(мужу и жене)*. Так вот вы где! Миленькие родственнички, нечего сказать! Бросить нас на перекрестке, красиво!

Женщина *(смущенно, Шен Те)*. Это мой брат Вунг и невестка. *(Обоим.)* Не браните и садитесь спокойно в уголок, чтобы не мешать мадемуазель Шен Те, нашему старому другу. *(Шен Те.)* Я думаю, придется оставить обоих — невестка уже на пятом месяце беременности. Или ты другого мнения?

Шен Те. Пожалуйста!

Женщина. Благодарите. Чашки стоят вон там, сзади. *(Шен Те.)* Эти вообще не знали, куда деваться. Какое счастье, что у тебя есть лавка!

Шен Те *(улыбаясь, несет чай; публике)*. Да, счастье, что у меня есть лавка!

Входит владелица дома Ми Тци с бумагой в руке.

Домовладелица. Мадемуазель Шен Те, я владелица дома, госпожа Ми Тци. Надеюсь, мы будем ладить друг с другом. Вот договор о найме. *(Между тем как Шен Те читает договор.)* Чудесное мгновение — открытие маленького торгового дела, вы согласны, господа? *(Осматривается кругом.)* На полках еще, правда, пустовато, но ничего, обойдется. Вы, конечно, сможете представить мне несколько рекомендаций?

Шен Те. Разве это необходимо?

Домовладелица. Но я совсем не знаю вас.

Мужчина. А если мы поручимся за мадемуазель Шен Те? Мы знаем ее с тех пор, как она приехала в город, и готовы в любую минуту пойти за нее в огонь и воду.

Домовладелица. А вы кто такой?

Мужчина. Торговец табаком Ма Фу.

Домовладелица. Где ваша лавка?

Мужчина. В данный момент у меня нет лавки. Видите ли, я ее как раз только что продал.

Домовладелица. Так. *(Шен Те.)* Больше некому дать о вас сведения?

Женщина *(подсказывает)*. Двоюродный брат! Двоюродный брат!

Домовладелица. Должен же у вас быть кто-нибудь, кто поручится за того, кого я впускаю в дом. Это уважаемый дом, моя милая. Иначе я не могу позволить себе заключить с вами договор.

Шен Те *(медленно, опустив глаза)*. У меня есть двоюродный брат.

Домовладелица. Ах, у вас есть двоюродный брат? Здесь, в городе? Так давайте пойдем прямо к нему. Чем он занимается?

Шен Те. Он живет не здесь, а в другом городе.

Женщина. Ты, кажется, говорила — в Шунге?

Шен Те. Господин Шуи Та. В Шунге.

Мужчина. Да-да, я отлично его знаю. Высокий такой, худощавый.

Племянник *(столяру)*. Вы, кажется, тоже вели переговоры с двоюродным братом мадемуазель Шен Те! О полках!

Столяр *(ворчливо)*. Как раз выписываю для него счет. Вот он! *(Передает счет.)* Завтра рано утром приду опять! *(Уходит.)*

Племянник *(кричит ему вслед, косясь на домовладелицу)*. Можете не беспокоиться, господин двоюродный брат за все расплатится!

Домовладелица *(пронизывая взглядом Шен Те)*. Ну что же! И я буду рада познакомиться с ним. Добрый вечер, мадемуазель. *(Уходит.)*

Женщина *(после небольшой паузы)*. Теперь все откроется! Можешь быть уверена, уже завтра утром она узнает о тебе все.

Невестка *(тихо, племяннику)*. Нам не придется здесь долго быть!

Входит старик, которого ведет мальчик.

Мальчик. Вот и они.

Женщина. Здравствуй, дедушка. *(Шен Те.)* Добрый старик! Воображаю, как он беспокоился о нас. А мальчик, не правда ли, сильно вырос с тех пор? Жрет за троих. Кого вы там еще привели?

Мужчина *(выглянув наружу)*. Никого, кроме племянницы.

Женщина *(Шен Те)*. Молоденькая, только-только из деревни. Надеюсь, это не обременит тебя? Когда ты жила с нами, нас еще не было так много, правда? Увы, нас становится все больше. Чем хуже жилось, тем больше прибавлялось. И чем больше прибавлялось, тем хуже жилось. Давайте закроем дверь на засов, а то покоя не будет. *(Запирает двери, и все садятся.)* Главное — не мешать твоему делу. Иначе дым не поднимется над крышей этого дома. Надо установить порядок: днем младшие уходят, остаются только дедушка, невестка и, пожалуй, еще я. Остальные заглядывают в течение дня самое большее раз-два, верно? Ну, а сейчас зажгите-ка лампу и устраивайтесь поуютнее.

Племянник *(юмористически)*. Только бы не ворвался сегодня ночью двоюродный брат, этот грозный господин Шуи Та.

Невестка смеется.

Брат *(тянется за папиросой)*. Одна не имеет значения!

Мужчина. Никакого.

Все берут папиросы и закуривают. Брат передает по кругу кувшин с вином.

Племянник. Двоюродный брат заплатит.
Дедушка *(серьезно, Шен Те)*. Добрый день!

Шен Те, смущенная этим запоздалым приветствием, кланяется. В одной руке она держит счет столяра, в другой — арендный договор.

Женщина. Спели бы вы что-нибудь, чтоб развлечь хозяйку!
Племянник. Дедушка начинает.

Поют.

Дедушка.

ПЕСНЯ О ДЫМЕ

Покуда не стала вся голова седая,
Я думал, что разум пробиться мне поможет.
Теперь я уж знаю, что мудрость никакая
Голодный желудок наполнить не сможет.

И вот я говорю: забудь про все!
Взгляни на серый дым.
Все холоднее холода, к которым он уходит.
Вот так и ты пойдешь за ним.

Мужчина.

Три шкуры сдирают за честную работу.
Я поглядел и выбрал кривой, окольный путь.
Но нашему брату и здесь не дали ходу.
Теперь я не знаю, куда мне свернуть.

И вот я говорю: забудь про все!
Взгляни на серый дым.
Все холоднее холода, к которым он уходит.
Вот так и ты пойдешь за ним.

Племянница.

Надежды — не для старых. Надеждам нужно время.
Чтоб их создать сначала. Чтоб их разбить потом.
Для юных — двери настежь. Но мы — путями всеми
Через любые двери —
в Ничто пойдем.

А вот я говорю: забудь про все!
Взгляни на серый дым.
Все холоднее холода, к которым он уходит.
Вот так и ты пойдешь за ним.

Племянник *(брату)*. Откуда у тебя вино?
Невестка. Он заложил мешок табаку.
Мужчина. Что? Этот табак был единственное, что у нас еще оставалось! Мы не прикасались к нему даже для того, чтобы уплатить за ночлег! Свинья!
Брат. Ты называешь меня свиньей за то, что моей жене холодно? Ты же сам пил. Сейчас же давай сюда кувшин!

Они дерутся. Полки с табаком падают.

Шен Те *(умоляет их)*. О, пожалейте лавку, не ломайте ее! Это дар богов! Берите все, что хотите, но не ломайте!
Женщина *(скептически)*. Лавка меньше, чем я предполагала. Вряд ли следовало все же рассказывать о ней нашей тете и другим. Если еще они припрутся, станет совсем тесно.

Невестка. Да и хозяйка как будто стала холоднее!

Снаружи раздаются голоса и стук в дверь.

Крики. Откройте! Это мы!

Женщина. Тетя, это ты? Ой, что делать?

Шен Те. Моя милая лавка! О, моя надежда! Едва появилась и уже исчезает! *(Публике.)*

Спасенья маленькая лодка
Тотчас же идет на дно —
Ведь слишком много тонущих
Схватились жадно за борта.

Крики снаружи. Откройте!

ИНТЕРМЕДИЯ ПОД МОСТОМ

У реки, скорчившись, сидит водонос.

Ванг *(оглядываясь кругом)*. Тишина кругом. Уже четвертый день, как я здесь скрываюсь. Они меня не найдут, потому что я гляжу в оба. Я нарочно бежал туда, куда они уходили. Вчера они перешли мост, и я слышал их шаги над своей головой. Сейчас они должны быть уже далеко, я в безопасности. *(Снова ложится и засыпает.)*

Музыка. Насыпь делается прозрачной, и появляются боги.

Ванг *(закрывая лицо рукой, словно защищаясь от ударов)*. Не говорите ничего, я все знаю! Я не нашел никого, кто захотел бы приютить вас, ни одного дома! Теперь вам все известно! Идите же дальше

Первый бог. Нет, ты нашел. И, когда тебя не было, тот, кого ты нашел, явился. Он пустил нас к себе переночевать, он охранял наш сон и светил лампой, когда мы уходили. Ты назвал его добрым человеком, и он оказался добрым.

Ванг. Так это была Шен Те?

Третий бог. Ну да!

Ванг. А я, маловер, убежал! Только потому, что думал: она не может прийти. Не может прийти, потому что дела ее плохи.

Боги.

О, слабый,
добросердечный, но слабый человек!
С нуждою рядом — он доброты не видит.
Рядом с опасностью — не видит храбрых.
О, слабость, ты к хорошему слепа!
О, приговоры слишком скорые! Отчаянье,
Что слишком рано и легко приходит!

Ванг. Мне очень стыдно, мудрейшие!

Первый бог. Теперь, Ванг, сделай нам одолжение, скорее возвращайся в столицу и найди добрую Шен Те, чтобы рассказать нам о ней. Ей теперь хорошо. Говорят, она достала денег на маленькую лавку и получила возможность следовать велению своего доброго сердца. Дай ей понять, что ты нуждаешься в ее помощи, ибо человек не может долго оставаться добрым, если от него не требуют помощи. Мы же отправимся дальше на поиски людей, которые походили бы на нашего доброго человека из Сезуана, дабы прекратить, наконец, разговоры о том, что хорошие люди не находят себе места на земле.

Боги исчезают.

2

ТАБАЧНАЯ ЛАВКА

Везде спящие люди. Лампа еще горит. Стучат.

Женщина *(заспанная, поднимается)*. Шен Те! Стучат! Где она там?

Племянник. Вероятно, пошла за завтраком. Господин двоюродный брат распорядился!

Женщина смеется и, шлепая ногами, идет к двери. Входит молодой человек, за ним столяр.

Молодой человек. Я двоюродный брат.

Женщина *(в изумлении)*. Как? Кто вы?

Молодой человек. Меня зовут Шуи Та.

Гости *(поднимая один другого)*. Двоюродный брат! Да ведь это была шутка, у нее же нет никакого двоюродного брата!

— Но вот пришел какой-то и заявляет, что он двоюродный брат!

— Поразительно, в такую рань!

Племянник. Если вы двоюродный брат хозяйки, господин, то доставайте нам поскорее что-нибудь позавтракать!

Шуи Та *(гася лампу)*. Скоро придут первые покупатели, одевайтесь живее, пожалуйста, пора открывать мою лавку.

Мужчина. Вашу лавку? Я думаю, это лавка нашей приятельницы Шен Те?

Шуи Та отрицательно качает головой.

Как, это не ее лавка?

Невестка. Здорово она надула нас. Да где же она пропадает?

Шуи Та. Она задерживается. И просит вам передать, что, поскольку здесь я, она не сумеет быть больше вам полезной.

Женщина *(потрясенная)*. А мы считали ее хорошим человеком!

Племянник. Не верьте ему! Надо ее найти!

Мужчина. Да, мы этим сейчас займемся. *(Распоряжается.)* Ты, и ты, и ты, и ты, вы ищите ее повсюду. Мы с дедушкой остаемся здесь, охранять крепость. Мальчик за это время раздобудет что-нибудь поесть. *(Мальчику.)* Видишь там на углу кондитерскую? Проберись-ка туда и засунь побольше под свою блузу.

Невестка. Не забудь захватить парочку маленьких светлых пирожков!

Мужчина. Только берегись булочника, чтоб он не поймал тебя. И смотри не наскочи на полицейского!

Мальчик кивает головой и уходит. Остальные уже оделись.

Шуи Та. Боюсь, что кража дурно отразится на репутации заведения, которое вы облюбовали для своих нужд.

Племянник. Не обращайте на него внимания. Мы ее сейчас найдем, и она как следует его проучит.

Племянник, брат, невестка и племянница уходят.

Невестка *(на ходу)*. Оставьте нам что-нибудь от завтрака!

Шуи Та *(спокойно)*. Вы ее не найдете. Моя кузина, естественно, огорчена, что не может бесконечно следовать закону гостеприимства. Увы, вас слишком много! Вы заняли табачную лавку, а она нужна мадемуазель Шен Те.

Мужчина. Наша Шен Те не смогла бы даже произнести что-нибудь подобное.

Шуи Та. Возможно, вы и правы. *(Столяру.)* Вся беда в том, что нужда в этом городе слишком велика, чтобы ее одолел один человек. К сожалению, за последние одиннадцать столетий не произошло никаких изменений, с тех самых пор как кто-то сочинил четверостишие:

— Что нужно, — губернатора спросили, —
Чтоб те, кто мерзнет в городе, не мерзли?
— О, одеяло в десять тысяч футов —
Накрыть предместья,— вот что он ответил.

(Начинает приводить лавку в порядок.)

Столяр. Я вижу, вы стараетесь уладить дела вашей кузины. Вот, кстати, маленький должок — хорошо бы его погасить — за полки. Он подтвержден свидетелями. Сто серебряных долларов.

Шуи Та *(не без дружеской нотки)*. Не кажется ли вам, что сто серебряных долларов — это чересчур?

Столяр. Нет, не кажется. И я ничего не сбавлю. Мне приходится кормить жену и детей.

Шуи Та *(жестко)*. Сколько детей?

Столяр. Четверо.

Шуи Та. Тогда я предлагаю вам двадцать серебряных долларов.

Мужчина смеется.

Столяр. Вы с ума сошли? Это полки из орехового дерева!

Шуи Та. Что ж, забирайте их.

Столяр. Что это значит?

Шуи Та. Они слишком дороги для меня. Прошу вас убрать отсюда полки из орехового дерева.

Женщина. Ловко он вышел из положения! *(Тоже смеется.)*

Столяр *(неуверенно)*. Я требую, чтобы пришла мадемуазель Шен Те. Она, по-видимому, порядочнее вас.

Шуи Та. Безусловно. Она разорена.

Столяр *(решительно берет одну из полок и несет к двери)*. Можете валить свой товар на пол! Мне наплевать!

Шуи Та *(мужчине)*. Помогите ему!

Мужчина *(тоже хватает полки и, ухмыляясь, несет к выходу)*. Итак, полки вон!

Столяр. Ты — собака! Что же, по-твоему, моя семья должна подыхать с голоду?

Шуи Та. Я еще раз предлагаю вам двадцать серебряных долларов, и только потому, что не хочу класть свой товар на пол.

Столяр. Сто!

Шуи Та равнодушно смотрит в окно. Мужчина снова берется за полки.

Не сломай, по крайней мере, о порог. Идиот! *(В отчаянии.)* Да, но они же сколочены по мерке! Они годятся только для этой дыры и больше никуда. Доски ведь разрезаны, господин!

Шуи Та. В том-то и дело. Поэтому я и даю вам только двадцать серебряных долларов. Поскольку доски разрезаны.

Женщина визжит от удовольствия.

Столяр *(вдруг устало)*. Что же делать?! Берите полки и платите, сколько хотите.

Шуи Та. Двадцать серебряных долларов. *(Кладет на стол две большие монеты. Столяр берет их.)*

Мужчина *(неся полки обратно)*. Хватит за кучу разрезанных досок!

Столяр. Да, хватит, чтобы напиться пьяным! *(Уходит.)*

Мужчина. Этого выпроводили!

Женщина *(вытирая выступившие от смеха слезы)*. «Они из орехового дерева!» — «Забирайте их!» — «Сто серебряных долларов! У меня четверо детей!» — «Тогда я плачу двадцать!» — «Но они разрезаны!» — «В том-то и дело! Двадцать серебряных долларов!» Вот как нужно обращаться с этими типами!

Шуи Та. Да. *(Серьезно.)* А теперь ваша очередь — убирайтесь вон.

Мужчина. Мы?

Шуи Та. Да, вы. Вы воры и паразиты. Если вы уйдете сейчас же, не теряя времени на споры, вы еще успеете спастись.

Мужчина. Лучше всего совсем не отвечать ему. Орать на пустой желудок — не дело. Хотел бы я знать, куда девался мальчишка?

Шуи Та. Да, куда девался мальчик? Я вас предупредил, что не хочу видеть его с краденными пирожками в своей лавке. *(Вдруг кричит.)* Уходите!

Они остаются на своих местах.

(Снова совершенно спокойно.) Как вам угодно. *(Идет к двери и низко кланяется кому-то.)*

В дверях появляется полицейский.

Полагаю, что вижу перед собой представителя власти, охраняющего этот квартал.

Полицейский. Совершенно верно, господин...

Шуи Та. Шуи Та.

Они улыбаются друг другу.

Приятная погода сегодня!

Полицейский. Пожалуй, несколько жарко.

Шуи Та. Пожалуй, несколько жарко.

Мужчина *(тихо, жене)*. Если он будет болтать, вернется мальчишка, и нас схватят. *(Пробует тайно делать Шуи Та знаки.)*

Шуи Та *(не обращая внимания)*. Однако по-разному судят о погоде в прохладном помещении и на пыльной улице.

Полицейский. По-разному!

Женщина *(мужу)*. Успокойся! Мальчик увидит в дверях полицейского и не зайдет.

Шуи Та. Входите же. Здесь прохладнее. Моя кузина и я открыли лавку. Разрешите сказать вам, что мы придаем большое значение хорошим отношениям с начальством.

Полицейский *(входит в помещение)*. Вы очень любезны, господин Шуи Та. Да, действительно прохладно.

Мужчина *(тихо)*. Он нарочно привел сюда полицейского, чтобы мальчик не увидел его снаружи.

Шуи Та. Гости! Как я слышал, дальнее знакомство моей кузины. Они здесь проездом.

Взаимное приветствие.

Мы как раз собирались распрощаться.

Мужчина *(хрипло)*. Ну, мы пошли!

Шуи Та. Я передам кузине, что вы благодарите ее за ночлег, но не имели времени ее дождаться.

С улицы доносится шум и крики: «Держите вора!»

Полицейский. Что такое?

В дверях стоит мальчик. Из блузы падают лепешки и пирожки. Женщина в отчаянии делает ему знаки, чтобы он уходил. Он поворачивается, хочет уйти.

Эй ты, стой! *(Хватает его.)* Откуда у тебя пирожки?

Мальчик. Вон оттуда.

Полицейский. А, так кража?

Женщина. Мы ничего не знаем. Мальчишка сделал это на свой риск и страх. Негодяй!

Полицейский. Господин Шуи Та, не объясните ли вы, что здесь произошло?

Шуи Та молчит.

Ага! Все за мной! В участок.

Шуи Та. Я вне себя, что у меня случилось нечто подобное.

Женщина. Он сам следил за мальчиком, когда тот ушел!

Шуи Та. Могу заверить вас, господин полицейский, что вряд ли я пригласил бы вас, если бы хотел скрыть преступление.

Полицейский. Само собой очевидно. Но вы понимаете, конечно, господин Шуи Та, что мой долг — задержать этих людей.

Шуи Та кланяется.

Вперед, вы! *(Выгоняет их наружу.)*

Старик *(за дверью, миролюбиво)*. До свидания!

Все, кроме Шуи Та, уходят. Он продолжает приводить помещение в порядок. Входит владелица дома.

Домовладелица. Так, вы, стало быть, и есть двоюродный брат! Как это понять — в моем доме арестовывают людей? Ваша кузина посмела устраивать здесь постоялый двор! Вот что получается, когда снисходишь к людям, которые еще вчера ютились в каморках и выпрашивали у булочника лепешки. Вы видите, я в курсе дела.

Шуи Та. Вижу. Вам рассказали о моей кузине дурное. Ее обвинили в том, что она голодала! В самом деле, она жила в нищете. Ее репутация не из лучших. Она влачила жалкую жизнь!

Домовладелица. Она была самой обыкновенной...

Шуи Та. Нищенкой. Произнесем это жесткое слово!

Домовладелица. Ах, пожалуйста, только без сентиментальностей! Я говорю об ее поведении, а не о доходах. Не сомневаюсь, что доходы были определенные, иначе не было бы лавки. Кое-какие пожилые мужчины позаботились. Какими только путями ни приобретают лавки! Господин, это уважаемый дом. Люди, которые платят здесь за квартиры, не желают жить под одной крышей с такой особой, да! *(Пауза.)* Я не изверг, но обязана принять это во внимание.

Шуи Та *(холодно)*. Госпожа Ми Тци, я занят. Скажите мне прямо, во сколько обойдется нам жизнь в этом уважаемом доме?

Домовладелица. При всем том нужно признать, что вы хладнокровны.

Шуи Та *(достает из ящика стола договор на аренду помещения)*. Плата очень высока. Я понимаю договор так, что плату нужно вносить ежемесячно.

Домовладелица *(быстро)*. Но не людям, подобным вашей кузине.

Шуи Та. Как вас понять?

Домовладелица. А так, что людям, подобным вашей кузине, полагается вносить арендную плату в сумме двести серебряных долларов за полгода вперед.

Шуи Та. Двести серебряных долларов! Но это же разбой! Где мне

достать их? На большую торговлю я не могу здесь рассчитывать. Единственная надежда, что работницы, которые шьют на цементном заводе мешки, много курят — работа, как мне говорили, их изнуряет. Но они плохо зарабатывают!

Домовладелица. Об этом вы должны были раньше подумать.

Шуи Та. Госпожа Ми Тци, нельзя так жестоко. Верно — моя кузина допустила непростительную ошибку, приютив бездомных. Но она исправится, я позабочусь о том, чтобы она исправилась. С другой стороны, посудите сами, разве могли бы вы найти лучшего жильца, чем человек, который знает дно жизни, потому что сам оттуда? Скорее всего, он будет работать как проклятый, только бы вовремя уплатить вам, он все сделает, всем пожертвует, все продаст, ни перед чем не остановится и при этом будет вести себя тихо, как мышка, как мошка, во всем вам подчиняться, лишь бы снова не вернуться туда. Да такой жилец дороже золота!

Домовладелица. Двести серебряных долларов вперед или она пойдет на улицу, откуда пришла.

Входит полицейский.

Полицейский. Не затрудняйте себя, господин Шуи Та!

Домовладелица. Полиция действительно проявляет к этой лавке совершенно исключительное внимание.

Полицейский. Госпожа Ми Тци, надеюсь, что у вас не создалось ложного впечатления. Господин Шуи Та оказал нам услугу, и я нарочно пришел, чтобы принести ему благодарность от имени полиции.

Домовладелица. Ну, меня это не касается. Буду надеяться, господин Шуи Та, что вашей кузине понравится мое предложение. Я привыкла жить в согласии со своими жильцами. До свидания, господа. *(Уходит.)*

Шуи Та. До свидания, госпожа Ми Тци.

Полицейский. У вас недоразумения с госпожой Ми Тци?

Шуи Та. Она требует уплаты арендной платы вперед, поскольку моя кузина не кажется ей достаточно респектабельной.

Полицейский. Разве у вас нет денег?

Шуи Та молчит.

Такой человек, как вы, господин Шуи Та, должен же пользоваться кредитом?

Шуи Та. Разумеется, но как получить кредит такому лицу, как Шен Те?

Полицейский. Вы не собираетесь оставаться здесь?

Шуи Та. Нет. И не смогу вернуться сюда. Только проездом мне удалось протянуть ей руку помощи, лишь бы отвратить худшее. Скоро она опять будет предоставлена самой себе, и я боюсь даже думать, что ее ждет.

Полицейский. Господин Шуи Та, мне очень жаль, что у вас затруднения с арендной платой. Должен признаться, что сначала мы косо посматривали на эту лавку, но сегодня ваш решительный поступок рекомендует вас с самой лучшей стороны. Мы, представители власти, с первого взгляда замечаем, на кого мы можем рассчитывать, как на оплот порядка.

Шуи Та *(горько)*. Господин полицейский, чтобы спасти эту маленькую лавку, которую моя кузина считает даром богов, я готов дойти до пределов дозволенного законом. Но жестокость и хитрость эффективны только против низших, потому что границы проведены разумно. Я нахо-

жусь в положении человека, который едва покончил с крысами, как ему преградила путь река. *(После маленькой паузы.)* Вы курите?

Полицейский *(засовывая в карман две сигары)*. Нам, представителям здешнего полицейского участка, было бы очень жаль потерять вас, но вы должны понять также и госпожу Ми Тци. Шен Те — и здесь мы не должны обманываться — жила за счет того, что продавала себя мужчинам. Вы можете мне возразить: что ей оставалось делать? Откуда, например, могла она раздобыть деньги, чтоб оплатить квартиру? Но при всем том, согласитесь, это не респектабельно. Почему? Первое: любовь не принято продавать, иначе это будет проданная любовь. Второе: респектабельно быть не с тем, кто платит, а с тем, кого любят. Третье: не за горсть риса, а по любви. Прекрасно, скажете вы мне, но что стоит вся наша мудрость, если молоко уже пролито? Как быть Шен Те? Должна она раздобыть арендную плату за полгода? Господин Шуи Та, признаюсь вам, на эти вопросы я не нахожу ответа. *(Напряженно думает.)* Господин Шуи Та! Нашел! Ищите для нее мужа!

Входит старая женщина.

Старуха. Пожалуйста, дешевую хорошую сигару для моего мужа. Сегодня как раз сорок лет со дня нашей свадьбы, и у нас маленькое торжество.

Шуи Та *(вежливо)*. Сорок лет — и все еще торжество!

Старуха. Насколько это в наших средствах! У нас небольшая торговля коврами — напротив. Надеюсь, мы будем дружными соседями. Это очень важно, особенно когда времена тяжелые.

Шуи Та *(предлагает ей всевозможные ящички)*. Боюсь, что этот набор устарел.

Полицейский. Господин Шуи Та, нам нужен капитал. Так вот, я предлагаю замужество.

Шуи Та *(извиняющимся тоном, старухе)*. Я поддался соблазну и позволил себе обременить господина полицейского своими частными делами.

Полицейский. Мы не можем уплатить арендную плату за полгода. Прекрасно, мы возьмем себе в мужья небольшой капитальчик.

Шуи Та. Это не так легко будет сделать.

Полицейский. Почему? Чем она не партия! Маленькая доходная торговля! *(Старухе.)* Что вы думаете об этом?

Старуха *(нерешительно)*. Да...

Полицейский. Объявление в газете.

Старуха *(сдержанно)*. Если мадемуазель согласна...

Полицейский. Как она может быть несогласна? Я берусь все устроить. Услуга за услугу. Не думайте, что власти не сочувствуют мелким торговцам, которые ведут суровую борьбу за существование. Они помогают нам, а мы за это устраиваем им объявление о намерении вступить в брак. Ха-ха-ха! *(Энергично извлекает записную книжку, смачивает слюной огрызок карандаша и пишет.)*

Шуи Та *(медленно)*. Неплохая мысль.

Полицейский. «Какой... приличный... мужчина с небольшим капиталом... не исключается вдовец... желает вступить в брак... процветающую табачную торговлю?» И еще добавим: «Обладаю привлекательной, симпатичной внешностью». Ну как?

Шуи Та. Если вы полагаете, что это не будет преувеличением.

Старуха *(приветливо)*. Что вы, что вы! Я ее видела.

Полицейский вырывает из книжки листок бумаги и передает Шуи Та.

Шуи Та. С ужасом я наблюдаю, сколько нужно удачливости, чтобы не попасть под колеса! Сколько ухищрений! Сколько друзей! *(Полицейскому.)* Несмотря на всю свою изобретательность, я, например, совсем запутался с этой арендной платой. И вот пришли вы и помогли разумным советом. И в самом деле, я, кажется, вижу выход...

3

ВЕЧЕР В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Молодой человек в изорванной одежде провожает глазами самолет, по-видимому, летящий высоко над парком. Он достает из кармана веревку и оглядывается по сторонам. Когда он направляется к большой иве, на дороге показываются две проститутки. Одна уже старая, другая — племянница из семьи, обосновавшейся у Шен Те.

Молодая. Добрый вечер, миленький. Пойдешь со мной?

Сун. Не исключается, милые дамы, если вы дадите мне что-нибудь пожрать.

Старая. Видно, рехнулся? *(Молодой.)* Пошли дальше. Зря потеряем время. Это же безработный летчик.

Молодая. Но в парке уже никого не осталось и сейчас пойдет дождь.

Старая. Поглядим, авось кто-нибудь еще найдется.

Идут дальше. Осмотревшись по сторонам, Сун достает веревку и забрасывает на сук дерева. Но ему опять помешали. Обе проститутки быстро возвращаются. Они не видят его.

Молодая. Ох, и ливень будет.

На дороге появляется Шен Те.

Старая. Смотри, вот идет это чудовище! Она погубила тебя и твоих близких!

Молодая. Не она! Ее двоюродный брат. Она приняла нас к себе, а потом обещала заплатить за пирожки. Против нее я ничего не имею.

Старая. Зато я имею. *(Громко.)* Ах, вот она, наша миленькая сестра со своим золотым горшком! Мало ей лавки, она еще хочет перехватить у нас кавалеров.

Шен Те. Не набрасывайся на меня сразу! Я иду в чайный домик у пруда.

Молодая. Говорят, ты выходишь замуж за вдовца с тремя детьми?

Шен Те. Да, я должна там встретиться с ним.

Сун *(нетерпеливо)*. Уберетесь вы, наконец, потаскухи! Спасения от них нет.

Старая. Заткни глотку!

Обе проститутки уходят.

Сун *(кричит им вслед)*. Стервятники! *(Публике.)* Даже здесь, в уединенном месте, они рыщут в поисках своих жертв, даже из-под кустов, под дождем они норовят вытащить своих покупателей.

Шен Те *(сердито)*. Почему вы браните их? *(Замечает веревку.)* Ой!

Сун. Чего вытаращилась?

Шен Те. Зачем веревка?

Сун. Проходи, сестрица, проходи! У меня нет денег, даже медной полушки. Но, будь она у меня, я купил бы не тебя, а кружку воды.

Начинается дождь.

Шен Те. Зачем веревка? Вы не должны этого делать!

Сун. Тебе что? Убирайся!

Шен Те. Дождь...

Сун. Только попробуй стать под дерево.

Шен Те *(продолжает неподвижно стоять под дождем)*. Нет.

Сун. Отстань, говорю, напрасно стараешься. Не на такого напала! Ко всему прочему, ты слишком некрасива. Кривые ноги.

Шен Те. Это неправда.

Сун. Не смей показывать! Черт с тобой, беги под дерево, раз дождь пошел!

Шен Те *(медленно подходит и садится под деревом)*. Почему вы решились на это?

Сун. Хочешь знать? Ну, так я скажу, чтобы только избавиться от тебя. *(Пауза.)* Можешь ты понять, что такое летчик?

Шен Те. Да, в чайном домике я видела летчиков.

Сун. Нет, ты не видела их. А если видела, то пустобрехов в кожаных колпаках, у которых нет слуха для мотора и чувства для машины. Попадает такой тип в ящик, потому что ему удалось подмазать управляющего ангаром. Скажи такому: дай твоему ящику ринуться вниз с высоты две тысячи футов сквозь облака, а потом поймай его одним нажимом рычага, и он ответит: этого нет в договоре. Кто не умеет посадить на землю самолет, как если бы это был его собственный зад, тот не летчик, а пустобрех. А я летчик. И все-таки самый большой пустобрех на свете — это я сам, потому что я прочел в пекинской школе все книги о полетах. Одну лишь страницу одной только книги я не прочел, а на этой странице было написано, что летчики больше не нужны. Итак, я летчик без самолета, почтовый летчик без почты. Да что там — разве ты можешь понять.

Шен Те. Думаю, все-таки могу.

Сун. Нет, раз я говорю тебе, что ты не можешь понять, значит ты не можешь понять.

Шен Те *(смеясь и плача)*. В детстве у нас был журавль со сломанным крылом. Он был ласковый, терпеливо переносил наши шалости, важно шествовал с нами и только кричал, если мы перегоняли его. Но осенью и весной, когда над деревней тянулись большие стаи, его охватывало беспокойство, и я хорошо понимала его.

Сун. Не реви.

Шен Те. Нет.

Сун. Это портит цвет лица.

Шен Те. Я уже перестала. *(Вытирает рукавом слезы.)*

Сун *(прислонясь к дереву, но не поворачиваясь к Шен Те, протягивает руку и трогает ее лицо)*. Ты даже не умеешь как следует вытереть лицо. *(Вытирает ей лицо носовым платком. Пауза.)* Раз ты пристаешь, чтоб я не повесился, открой, по крайней мере, рот.

Шен Те. Что мне сказать?

Сун. Почему, собственно, ты вздумала вынуть меня из петли, сестрица?

Шен Те. Я испугалась. Вы, наверное, пошли на это потому, что вечер такой хмурый. *(Публике.)*

В нашей стране
Не должно быть хмурых вечеров
И высоких мостов над рекой.
Опасен также предутренний час
И вообще зимняя пора.
Дело в том, что бедняка
Может доконать любой пустяк
И он отшвырнет от себя
Невыносимую жизнь.

Сун. Расскажи о себе.

Шен Те. О чем? У меня есть маленькая лавка.

Сун *(насмешливо)*. Ну да? Ты ни за кем не охотишься, у тебя есть лавка!

Шен Те *(решительно)*. У меня есть лавка, но прежде я была гуляющей.

Сун. Лавку тебе, видно, подарили боги?

Шен Те. Да.

Сун. В один прекрасный вечер они появились и сказали: вот тебе деньги.

Шен Те *(с тихим смехом)*. В одно прекрасное утро.

Сун. Нельзя сказать, чтобы ты была бойкая.

Шен Те *(после паузы)*. Я умею немного играть на цитре и передразнивать людей. *(Говорит низким голосом почтенного человека.)* «Нет, как вам это нравится, я, кажется, забыл свой кошелек!» Но потом я получила лавку. Тогда я первым делом продала цитру. Теперь, сказала я себе, я могу быть как истукан — мне все нипочем.

Теперь я богачка, сказала я себе.
Хожу одна. И сплю одна.
Целый год, сказала я себе,
Не буду иметь дело с мужчинами.

Сун. Но сейчас ты выходишь замуж? За того, в чайном домике, на пруду.

Шен Те молчит.

А что ты, в сущности, знаешь о любви?

Шен Те. Все.

Сун. Ничего, сестрица. Ты еще скажешь, что тебе было хорошо?

Шен Те. Нет.

Сун *(не поворачиваясь, гладит рукой ее лицо)*. А так хорошо?

Шен Те. Так — да.

Сун. Я вижу, тебе много не надо. Ну, что это за город!

Шен Те. У вас нет друга?

Сун. Вон какая куча, но ни одного, у которого хватило бы терпения выслушать, что я все еще без работы. Они делают при этом такое лицо, словно им говорят, что в море еще осталась вода. А у тебя разве есть друг?

Шен Те *(нерешительно)*. Двоюродный брат.

Сун. Тогда остерегайся его.

Шен Те. Он был здесь один-единственный раз. Теперь он ушел и никогда больше не вернется. Но почему такой безнадежный голос? Есть поговорка: говорить без надежды значит говорить зло.

Сун. Говори! Голос — это все-таки голос.

Шен Те *(горячо)*. Как бы ни свирепствовала нужда, все же есть на свете добро. Когда я была маленькой, я упала однажды с вязанкой хвороста. Старый человек поднял меня и подарил лепешку. Я часто вспоминала об этом. Те, у кого мало еды, охотно делятся с другими. Люди рады показать, на что они способны, но разве не лучшее из того, на что они способны, — доброта? Творить зло значит ничего не сотворить.

Кто поет песню, или строит машину, или сажает рис, тот доброжелателен. И вы тоже такой.

Сун. Да, я вижу, тебе много не надо.

Шен Те. Да. Теперь я почувствовала каплю дождя.

Сун. Где?

Шен Те. Между глаз.

Сун. Ближе к правому или левому?

Шен Те. К левому.

Сун. Хорошо. *(Через некоторое время, сонным голосом.)* А с мужчинами ты покончила?

Шен Те *(улыбаясь)*. Но ведь у меня ноги кривые.

Сун. Быть может, и нет.

Шен Те. Наверняка нет.

Сун *(устало прислонясь к дереву)*. Но так как я уже два дня ничего не ел и не пил, сестрица, то не смог бы любить тебя, даже если бы захотел.

Шен Те. Хорошо, когда идет дождь.

Появляется водонос Ванг. Он поет.

ПЕСНЯ ВОДОНОСА ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

Гром гремит и дождик льется,
Ну, а я водой торгую,
А вода не продается
И не пьется ни в какую.
Я кричу: «Воды купите!»
Но никто не покупает.
В мой карман за эту воду
Ничего не попадает.
Купите воды, собаки!

Если б дождь не выпадал бы,
Если б он лет семь не лился,
Вот бы я с воды разжился:
Я по капле продавал бы!
— Дай воды! Воды скорее!
У ведра б толпа кричала.
Покупателя любого
Я бы оглядел сначала —
А вдруг он мне не понравится?
Глотка бы у вас повысохла, собаки!
(Смеясь.)
Дождик брызгает все пуще.
Вы без денег воду пьете
И большое вымя тучи,
Не платя гроша, сосете.
Ну, а я кричу, как прежде:
«Воду, воду покупайте!»
И никто не покупает...
Купите воды, собаки!

Дождь прекратился. Шен Те видит Ванга и подбегает к нему.

Шен Те. Ах, Ванг, ты вернулся? Твоя посуда у меня.

Ванг. Спасибо, что сохранила. Как поживаешь, Шен Те?

Шен Те. Хорошо. Я познакомилась с очень умным и смелым человеком и хотела бы купить у тебя кружку воды.

Ванг. Запрокинь голову, и у тебя будет полон рот воды. Вон с той ивы все еще капает.

Шен Те. Но я хочу твоей воды, Ванг,

Принесенной издалека
И замучившей тебя,
Продающейся так плохо,
Потому что идет дождь.
Мне она нужна для господина,
Что стоит вон там!
Он летчик, а летчик
Смелее других людей.
В компании с облаками,
Вопреки ураганам,
Он летит сквозь небеса и приносит
Дружеские письма
Друзьям в далекой стране.

(Платит и бежит с кружкой к Суну.)

Шен Те *(обернувшись к Вангу, кричит, смеясь)*. Он уснул. Безнадежность, дождь и я — мы утомили его.

ИНТЕРМЕДИЯ

Место ночлега Ванга — труба канала. Водонос спит. Музыка. Труба канала становится прозрачной, и спящему являются боги.

Ванг *(сияя)*. Я видел ее, мудрейшие! Совсем такая же, как прежде!

Первый бог. Это нас радует.

Ванг. Она любит! Она показала мне своего друга. Ей действительно хорошо.

Первый бог. Приятно слышать. Надо надеяться, это укрепит ее стремление к добру.

Ванг. О да! Она делает столько добра, сколько в ее силах.

Первый бог. Какие же ее добрые дела? Расскажи, милый Ванг!

Ванг. Для каждого она находит приветливое слово.

Первый бог *(энергично)*. Ну-ну?

Ванг. Редко, если человек уходит из ее маленькой лавки без табака, потому лишь, что у него нет денег.

Первый бог. Это звучит неплохо. Еще что?

Ванг. Она приютила у себя семью из восьми человек!

Первый бог *(торжествуя, обращается ко второму)*. Из восьми человек! *(Ванг у.)* Если только возможно больше, то что же еще?

Ванг. Она купила у меня кружку воды, несмотря на то, что шел дождь.

Первый бог. Все это, в общем, не больше, чем мелкая благотворительность. Впрочем, это понятно.

Ванг. Даже благотворительность стоит денег. Доходы с маленькой лавки всего не покроют.

Первый бог. Конечно, конечно! Но хороший садовник творит чудеса даже на маленьком клочке земли.

Ванг. Шен Те так и делает. Каждое утро она раздает рис, и это отнимает больше половины ее дохода. Поверьте мне, мудрейшие.

Первый бог *(слегка разочарованный)*. Я ничего и не говорю. Не могу сказать, чтоб я был недоволен началом.

Ванг. Примите во внимание — времена не легкие! Ей уже пришлось однажды вызывать на помощь двоюродного брата, чтобы спасти от гибели свою лавчонку.

Едва нашелся укрытый от ветра угол,
Как со всего зимнего неба
Налетели крикливые птичьи стаи,
И дрались за место, и голодная лиса
Прогрызла тонкую стенку,
И одноногий волк
Опрокинул маленькую миску с водой.

Короче говоря, ей самой не справиться с делами. Но все согласны с тем, что она добрая девушка. Ее везде называют «ангел предместий». Так много доброго исходит из ее лавки. Что бы там ни говорил столяр Лин То!

Первый бог. А что? Разве столяр Лин То плохо отзывается о ней?

Ванг. Ах, он жалуется только, что полки в лавке не оплачены полностью.

Второй бог. Что ты говоришь? Не заплатили столяру? В лавке Шен Те? Как она допустила?

Ванг. Вероятно, у нее не хватило денег.

Второй бог. Это не ответ. Задолжал — плати! Даже если тебе плохо, сделай вид, что хорошо. Блюди форму, а содержание подтянется!..

Ванг. Но в этом виноват двоюродный брат, мудрейшие, не она.

Второй бог. Тогда этот двоюродный брат не переступит больше ее порога!

Ванг *(подавленный)*. Понимаю, мудрейший! В оправдание Шен Те да позволено мне будет сказать, что двоюродный брат известен как весьма почтенное лицо. Даже полиция его ценит.

Первый бог. Мы и не собираемся проклинать господина двоюродного брата, прежде чем не выслушаем его. Признаться, я плохо разбираюсь в делах и, вероятно, надо уяснить себе, что это за такие за дела! Ах, эти мне дела! Разве это так обязательно? Все помешались на делах! Разве семь добрых королей занимались делами? А праведный Кунг торговал рыбой? Что общего имеют дела с достойной жизнью?

Второй бог *(очень сердито)*. Так или иначе, это больше не должно повториться. *(Поворачивается, чтобы идти. Оба других тоже.)*

Третий бог *(смущенно)*. Прости нашу резкость! Мы очень устали сегодня и не выспались. Ночлег! Богатые дают нам достаточно рекомендаций к бедным, но бедные не имеют достаточно жилья.

Боги *(удаляясь, бранятся)*. М-да!.. Слаба даже лучшая из них! Ну что тут особенного!.. Мало! Маловато! Понятно, все это от чистого сердца, ничего не скажешь! Однако должна была бы она по меньшей мере... *(Их голоса больше не слышны.)*

Ванг *(кричит им вслед)*. Будьте же милостивы, мудрейшие! Не требуйте слишком многого для начала!

4

ПЕРЕД ТАБАЧНОЙ ЛАВКОЙ ШЕН ТЕ

Цирюльня, торговля коврами и табачная лавка Шен Те. Понедельник. У лавки Шен Те ждут члены «семьи из восьми человек», дедушка, невестка, безработный и Шин.

Невестка. Сегодня она не ночевала дома!

Шин. Неслыханно! Наконец-то убрался этот свирепый двоюродный братец, а они, изволите ли видеть, позволяют себе время от времени снизойти к нам и выделить кое-что из своих запасов риса, и этого, изволите ли видеть, уже достаточно, чтоб пропадать целыми днями и шляться, одним богам известно где!

Из цирюльни слышны громкие голоса. Наружу, спотыкаясь, выбегает Ванг, за ним толстый цирюльник с тяжелыми щипцами для завивки волос в руках.

Господин Шу Фу. Я тебе покажу, как приставать к моим клиентам со своей вонючей водой! Бери свою кружку и убирайся прочь!

Ванг хочет взять кружку, которую дает ему господин Шу Фу, и тот ударяет его щипцами по руке так, что Ванг громко вскрикивает.

Получай! Впредь будет тебе наука. *(Запыхавшись, возвращается в цирюльню.)*

Безработный *(поднимает кружку и протягивает ее Вангу)*. За избиение можешь подать в суд.

Ванг. Рука пропала.

Безработный. Что-нибудь сломалось?

Ванг. Я не в состоянии двинуть ею.

Безработный. Садись и полей ее водой!

Ванг садится.

Шин. Ему же вода ничего не стоит!

Невестка. Уже восемь утра, а тут лоскутка льняного не найдешь! До того ли ей! Она отправилась, конечно, в поисках приключений. Позор!

Шин *(мрачно)*. Она забыла о нас!

Вниз по улице идет Шен Те, неся горшок с рисом.

Шен Те *(публике)*. Я никогда еще не видела города ранним утром. В эти часы я лежала всегда, накрытая с головой грязным одеялом, оттягивая ужас пробуждения. Сегодня я шла среди мальчиков, продающих газеты, мужчин, поливающих водой асфальт, запряженных быками тележек, полных свежих овощей из деревень. Я прошла длинный путь от квартала Суна до своего дома, но с каждым шагом мне становилось веселей. Я всегда слыхала, что, когда любят, витают в облаках, но ведь самое чудесное, что при этом идешь по земле, по асфальту. Я говорю вам, дома в ранние утренние часы похожи на зажженные костры из щебня, а небо уже розовое и еще прозрачное, потому что нет пыли. Я говорю вам, вы теряете много, если не любите и не видите города в час, когда он поднимается со своего ложа, как бодрый старик-ремесленник, который вдыхает свежий воздух и берется за инструмент, как это воспевают поэты. *(Ожидающим.)* Доброе утро! Вот рис! *(Раздает рис, потом видит Ванга.)* Доброе утро, Ванг! Сегодня я беспечна. По пути я разглядывала себя в каждой витрине, и теперь мне хочется купить шаль. *(Немного помедлив.)* Мне так хочется выглядеть красивой. *(Быстро заходит в лавку, где продаются ковры.)*

Господин Шу Фу *(снова появляясь в дверях, публике)*. Я поражен, до чего прекрасна сегодня владелица табачной лавки напротив мадемуазель Шен Те, которую я до сих пор совсем не замечал. Я видел ее всего три минуты и чувствую, что уже влюблен. Удивительно симпатичная особа! *(Вангу.)* А ты — прочь, негодяй! *(Возвращается в цирюльню.)*

Шен Те, очень пожилая супружеская пара — торговец коврами и его жена — выходят из лавки. Шен Те несет шаль, торговец коврами — зеркало.

Старуха. Она очень нарядна и совсем недорога — в ней маленькая дырочка.

Шен Те *(смотрит на шаль, которую держит старуха)*. Зеленая тоже нарядна.

Старуха *(улыбаясь)*. Но, к сожалению, в ней нет изъяна.

Шен Те. Да, уж такая беда. Я со всей своей лавкой не могу позволить себе чего-либо получше. У меня еще мало доходов и уже столько расходов...

Старуха. Благотворительные дела. Зачем же столько? В первое время каждая чашка риса играет роль, скажете нет?

Шен Те *(примеряет бракованную шаль)*. Так уж принято, но сейчас я беспечна. Идет мне этот цвет?

Старуха. Об этом следует спросить мужчину.

Шен Те *(поворачиваясь к старику)*. К лицу она мне?

Старик. Спросите не меня...

Шен Те *(очень вежливо)*. Нет, я спрашиваю вас.

Старик *(так же вежливо)*. Шаль идет вам. Только накиньте ее матовой стороной наружу.

Шен Те платит.

Старуха. Если она вам не понравится, вы всегда можете ее обменять. *(Отводит Шен Те в сторону.)* Есть у него кое-какие сбережения?

Шен Те *(смеясь)*. Ой, нет.

Старуха. Как же заплатить арендную плату?

Шен Те. Арендную плату! Совсем позабыла!

Старуха. Так я и думала! В следующий понедельник уже первое. Мне бы нужно с вами кое о чем поговорить. Знаете, мой муж и я, после того как мы узнали вас, стали сомневаться насчет того брачного объявления и решили, в крайнем случае, прийти вам на помощь. Мы кое-что отложили и смогли бы одолжить вам двести серебряных долларов. Хотите, отдадите нам в заклад ваши запасы табака. Письменное соглашение между нами не обязательно.

Шен Те. Вы в самом деле хотите одолжить деньги такому легкомысленному человеку?

Старуха. Сказать откровенно, вашему господину двоюродному брату, который, конечно, не легкомыслен, мы, возможно, и не одолжили бы, вам же — со спокойным сердцем.

Старик *(подходя к ним)*. Договорились?

Шен Те. Если бы боги слышали, что говорила ваша жена! Они ищут хороших людей, которые счастливы. А вы, должно быть, счастливы, помогая мне, я ведь попала в беду из-за любви.

Старики с улыбкой смотрят друг на друга.

Старуха. Вот деньги.

Передает Шен Те конверт. Она берет его и кланяется. Старики тоже кланяются. Они идут обратно в свою лавку.

Шен Те *(Вангу, высоко поднимая конверт)*. Плата за полгода! Разве не чудо? А что ты скажешь о моей новой шали, Ванг?

Ванг. Ты купила ее ради того, кого я видел в городском парке?

Шен Те утвердительно кивает головой.

Шин. Лучше бы взглянули на его сломанную руку, чем болтать о своих сомнительных похождениях!

Шен Те *(испуганно)*. Что с твоей рукой?

Шин. Цирюльник сломал ее щипцами на наших глазах.

Шен Те *(ужасаясь своей невнимательности)*. А я ничего не заметила! Сейчас же иди к врачу, не то рука одеревенеет и ты никогда не сможешь как следует работать. Какое несчастье! Вставай скорее! Иди же, иди!

Безработный. Ему нужен не врач, а судья! Он вправе потребовать от богатого цирюльника вознаграждение за ущерб.

Ванг. Ты думаешь, есть надежда?

Шин. Если только она сломана.

Ванг. Кажется, да. Смотри-ка, совсем распухла. Ты думаешь, это пожизненная пенсия?

Шин. На всякий случай, тебе нужен свидетель.

Ванг. Но вы же все видели! И можете подтвердить. *(Оглядывается кругом.)*

Безработный, дедушка, невестка сидят у стены дома и едят. Никто не поднимает глаз.

Шен Те *(Шин)*. Вы же видели!

Шин. Я не люблю связываться с полицией.

Шен Те *(невестке)*. Тогда вы!

Невестка. Я? Я не смотрела!

Шин. Как не смотрели? Я сама видела, что вы смотрели! Вы только боитесь, потому что у цирюльника — власть.

Шен Те *(дедушке)*. Я уверена, что вы не откажетесь засвидетельствовать.

Невестка. На его показания не обратят внимания. Он вышел в тираж.

Шен Те *(безработному)*. Дело, возможно, идет о пожизненной пенсии.

Безработный. Меня уже два раза отмечали за попрошайничество. Мое показание скорее повредит ему.

Шен Те *(недоверчиво)*. Выходит, никто из вас не решается сказать, что здесь было? Среди бела дня человеку сломали руку, все видели и все молчат. *(Сердито.)*

О вы, несчастные!
Вашего брата оскорбляют, а вы закрываете глаза!
Застигнутый врасплох кричит, а вы молчите!
Насильник ходит меж вами и выбирает жертвы,
А вы говорите:
он щадит нас,
Потому что мы покорны.
Что это за город? Что вы за люди?
Если городом правят несправедливо, он должен восстать.
А если он не восстает, пусть погибает в огне
Еще до наступления ночи.

Ванг, если те, кто видел, отказываются, то я скажу, что видела я.

Шин. Ложная присяга.

Ванг. Не знаю, вправе ли я это принять. Но, может быть, все-таки должен. *(Смотрит на свою руку, озабоченно.)* Вы находите, она уже достаточно распухла? Мне кажется, опухоль опять спала?

Безработный *(успокаивает его)*. Нет, опухоль ничуть не спала.

Ванг. В самом деле? Пожалуй, она стала даже чуть больше. Видимо, все-таки сломан сустав! Лучше сразу побегу к судье! *(Осторожно поддерживая руку, не сводя с нее глаз, быстро уходит.)*

Шин бежит в цирюльню.

Безработный. Она помчалась к цирюльнику, чтобы подольститься к нему.

Невестка. Мы не можем изменить мир.

Шен Те *(упав духом)*. Я не думала вас бранить. Я просто испугалась. Нет, думала. Прочь с моих глаз!

Безработный, невестка и дедушка, надувшись, жуя, уходят.

Шен Те *(публике)*.

Они уже не отвечают.
Стоят, куда их поставят.
Велишь уйти — немедленно уходят!
Их не задеть ничем. И только запах пищи
Их заставляет приподнять глаза.

Вбегает старая женщина. Это мать Суна — госпожа Янг.

Госпожа Янг *(запыхавшись)*. Вы мадемуазель Шен Те? Сын мне все рассказал. Я мать Суна, госпожа Янг. Подумайте только, у него есть надежда снова стать летчиком! Сейчас пришло письмо. От управляющего ангаром почтовых самолетов.

Шен Те. Он сможет опять летать? О, госпожа Янг!

Госпожа Янг. Однако это стоит денег: пятьсот серебряных долларов.

Шен Те. Много. Но разве это может нас остановить? У меня же есть лавка.

Госпожа Янг. Ах, если бы вы могли ему помочь!

Шен Те *(обнимает ее)*. Если бы я могла ему помочь!

Госпожа Янг. Вы дали бы способному человеку возможность выдвинуться.

Шен Те. Как они смеют мешать человеку быть полезным! (*После паузы.*) Ну, за лавку я выручу слишком мало, а эти двести долларов я просто одолжила. Вы можете взять их хоть сейчас. Я продам запасы табака и верну долг. (*Дает ей деньги стариков.*)

Госпожа Янг. Ах, мадемуазель Шен Те, это помощь тому, кто в ней нуждается. Вы знаете, как они его здесь называли? Мертвым летчиком. Раз он больше не летает — значит он мертвый.

Шен Те. Однако нам не хватает еще трехсот серебряных долларов. Нужно думать, госпожа Янг, нужно думать. (*Медленно.*) Я знаю кое-кого, кто, пожалуй, мог бы помочь. Я не хотела бы звать его больше — он слишком жесток и слишком хитер. Разве что в последний раз?.. Ведь летчик должен летать!

Отдаленный гул мотора.

Госпожа Янг. О, если бы тот, о ком вы говорите, мог достать деньги! Смотрите — утренний почтовый самолет, он летит в Пекин!

Шен Те (*решительно*). Помашите, госпожа Янг! Летчик, наверное, увидит нас. (*Машет своей шалью.*) Помашите тоже!

Госпожа Янг (*машет*). Вы знаете того, кто летит?

Шен Те. Нет. Того, кто будет летать. Пусть летит потерявший надежду, госпожа Янг. Пусть хоть один сможет подняться над всей этой бедой, над всеми нами! (*Публике.*)

Янг Сун, мой любимый, в компании с облаками,
Вопреки ураганам
Он летит сквозь небеса и приносит
Дружеские письма
Друзьям в далекой стране.

ИНТЕРМЕДИЯ ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Шен Те (*входит, держа в руках маску и костюм Шуи Та, и поет*).

ПЕСНЬ О БЕСПОМОЩНОСТИ БОГОВ И ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

У нас в стране
Полезному мешают быть полезным.
Он может доказать, что он полезен,
Лишь получив поддержку сильных.
Добрые
Беспомощны, а боги — бессильны. Почему
У них, богов, нет крейсеров и танков,
Бомбардировщиков, и бомб, и пушек,
Чтоб злых пресечь, а добрых оберечь?
И нам было бы лучше и богам.

Надевает костюм Шуи Та и делает несколько шагов его походкой.

Добрые — у нас в стране
Добрыми не могут оставаться:
Пустые миски — едоки дерутся.
Ах, все заветы божьи
От нищеты не помогают. Почему
К нам на базары боги не приходят,
Чтоб, улыбаясь, оделять довольством
И подкрепленных хлебом и вином
Учить друг с другом дружески общаться?

Надевает маску Шуи Та и продолжает петь его голосом.

Чтобы добраться с ложкою до чашки,
Нужна жестокость,
Та жестокость, которая рождает богачей.
Не раздавив сперва двенадцать нищих,
Тринадцатому не помогут. Почему
Не заявляют боги в высших сферах,
Что время дать всем добрым и хорошим
Возможность жить в хорошем, добром мире?
Почему
Они нас, добрых, к пушкам не приставят
И не прикажут нам: огонь? О, почему
Терпенье терпят боги?

5

ТАБАЧНАЯ ЛАВКА

За прилавком сидит Шуи Та и читает газету. Он не обращает ни малейшего внимания на Шин, которая, болтая без умолку, занимается уборкой.

Ш и н. Лавчонка живо прогорит, если только просочится кое-какой слух. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Давно пора такому порядочному человеку, как вы, вмешаться в темную историю с Шен Те и этим Янг Суном с Желтой улицы. Не забывайте, что господин Шу Фу, живущий напротив цирюльник, который владеет двенадцатью домами и только одной-единственной и к тому же старой женой, не далее, чем вчера, намекнул, и не кому другому, а мне лично, на свой чрезвычайно лестный для мадемуазель интерес к ней. Он даже справлялся уже об ее имущественном положении. О чем это говорит, как не о настоящей любви? *(Не получая никакого ответа, она, наконец, выходит с ведром.)*

Г о л о с С у н а *(снаружи)*. Это лавка мадемуазель Шен Те?

Г о л о с Ш и н. Да. Но сегодня здесь двоюродный брат.

Шуи Та подбегает к зеркалу легкой походкой Шен Те, и только собирается поправить прическу, как замечает в зеркале свою ошибку. Он возвращается с тихим смехом на прежнее место. Появляется Янг Сун, за которым с любопытством идет Шин. Она проходит мимо него в комнату.

С у н. Я Янг Сун.

Шуи Та кланяется.

Что, Шен Те здесь?

Ш у и Т а. Ее здесь нет.

С у н. Но вам, очевидно, известны наши отношения. *(Обводит взглядом лавку.)* Веселенький магазинчик! А мне все казалось, что она немного прихвастнула. *(С удовольствием заглядывает в ящички и фарфоровые горшочки.)* Человече! Я снова буду летать! *(Берет сигару, и Шуи Та дает ему прикурить.)* Как вы думаете, сможем ли мы выколотить из лавки еще триста серебряных долларов?

Ш у и Т а. Разрешите спросить, вы намерены ее сейчас продавать?

С у н. Да, но получим ли мы триста наличными?

Шуи Та качает головой.

Со стороны Шен Те было очень порядочно, что она сразу раздобыла двести. Но недостает трехсот, а без них из меня ни черта не получится.

Ш у и Т а. Мне кажется, вы поторопились обещать деньги. Это может стоить ей лавки. Говорят, поспешность — ветер, который опрокидывает дома.

С у н. Мне нужны деньги — сейчас или никогда. И девушка не принадлежит к тем, которые долго задумываются, когда нужно что-нибудь отдавать. Между нами, мужчинами: до сих пор она ни в чем не колебалась.

Ш у и Т а. Вот как!

С у н. Что говорит только в ее пользу.

Ш у и Т а. Мог бы я узнать, для чего предназначены пятьсот серебряных долларов?

С у н. Вполне. Я вижу, вы меня прощупываете. Пожалуйста! Заведующий ангаром в Пекине, мой друг по летной школе, устроит меня, если я выложу ему пятьсот серебряных долларов.

Ш у и Т а. Не слишком ли много?

С у н. Нет. Ему придется обнаружить оплошность у летчика, у которого большая семья, и поэтому он очень ревностный служака. Понятно? Кстати, надеюсь, вы догадываетесь, что Шен Те ничего не должна об этом знать.

Ш у и Т а. Догадываюсь. Однако вот что: не продаст ли заведующий ангаром в следующем месяце также и вас?

С у н. Только не меня. Я не позволю себе оплошности. Я слишком долго был безработным.

Ш у и Т а *(кивает головой)*. Голодная собака быстрее везет тележку домой. *(Некоторое время смотрит на Суна испытующим взглядом.)* Дело рискованное! Господин Янг Сун, вы требуете от моей кузины, чтобы она отказалась от своего маленького имущества и от всех друзей в этом городе и целиком вручила свою судьбу вам. Я полагаю, у вас есть намерение жениться на Шен Те?

С у н. Да, я к этому готов.

Ш у и Т а. Но разве, в таком случае, вам не жаль спустить лавку за пару серебряных долларов? Когда нужно быстро продать, всегда получаешь меньше. Двести серебряных долларов, которые у вас в руках, обеспечили бы уплату арендной платы за полгода. Разве вас не привлекает перспектива табачной торговли?

С у н. Меня? Чтобы Янг Суна, летчика, увидели стоящим за прилавком: «Желаете ли вы, уважаемый господин, крепкую сигару или сигару полегче?»! Нет, это не дело для Янг Суна, по крайней мере, в этом столетии!

Ш у и Т а. Позвольте вас спросить, а летать — это дело?

С у н *(достает из кармана письмо)*. Почтеннейший, я буду получать двести пятьдесят серебряных долларов в месяц! Взгляните, почтовая марка и штемпель Пекина.

Ш у и Т а. Двести пятьдесят серебряных долларов? Немало.

С у н. А вы думали, я летаю даром?

Ш у и Т а. Видно, должность подходящая! Господин Янг Сун, кузина уполномочила меня помочь вам получить место летчика, ведь для вас оно — все. Я понимаю мою кузину и не вижу основания, почему бы ей не следовать влечению своего сердца. Она имеет право разделить радости любви. Все, что здесь есть, я готов превратить в деньги. Вот идет владелица дома — госпожа Ми Тци. Я воспользуюсь случаем и посоветуюсь с ней насчет продажи.

Д о м о в л а д е л и ц а *(входит)*. Добрый день, господин Шуи Та. Вы осведомлены о том, что срок арендной платы истекает послезавтра?

Ш у и Т а. Госпожа Ми Тци, обстоятельства складываются так, что моя кузина вряд ли займется табачной торговлей. Она собирается замуж, и будущий супруг *(представляет Янг Суна)* берет ее с собой в Пекин, где

они начнут новую жизнь. Если я получу за свой табак достаточную сумму, я продам его.

Домовладелица. Сколько же вам нужно?

Сун. Триста на стол.

Шуи Та *(быстро)*. Нет, пятьсот!

Домовладелица *(Суну)*. Может быть, я могу помочь вам? Сколько стоил ваш табак?

Шуи Та. Кузина в свое время заплатила за него тысячу серебряных долларов и пока еще очень мало что продала.

Домовладелица. Тысяча серебряных долларов! Ну! Ее надули. Вот что я скажу: если вы завтра же съедете, я плачу триста серебряных долларов за всю лавку.

Сун. По рукам! А, старик?

Шуи Та. Мало!

Сун. Хватит!

Шуи Та. Мне нужно по меньшей мере пятьсот.

Сун. Зачем?

Шуи Та. Позвольте мне поговорить с женихом кузины... несколько слов! *(Отводит Суна в сторону.)* Весь табак заложен двум старикам за двести серебряных долларов, которые вручены вам.

Сун *(нерешительно)*. Есть по этому поводу какое-нибудь письменное соглашение?

Шуи Та. Нет.

Сун *(после маленькой паузы, домовладелице)*. Мы согласны на триста.

Домовладелица. Мне еще нужно знать, свободна ли лавка от долговых обязательств.

Сун. Отвечайте же!

Шуи Та. Свободна.

Сун. Когда можно получить триста?

Домовладелица. Послезавтра, и у вас еще останется время обдумать. Если вы сумеете продержаться месяц, вы сможете получить больше. Я даю триста и то исключительно потому, что рада помочь вам. Ведь дело, как я понимаю, идет о счастливой юной любви. *(Уходит.)*

Сун *(кричит ей вслед)*. Согласны! Ящички, горшочки, мешочки — все за триста, и конец мучениям! *(Шуи Та.)* А если бы мы получили до послезавтра где-нибудь больше? Мы, пожалуй, даже вернули бы эти двести.

Шуи Та. За такой срок?! Мы не получим даже доллара сверх того, что нам предлагает Ми Тци. Есть у вас деньги на поездку вдвоем и на первое время?

Сун. Определенно.

Шуи Та. Сколько же?

Сун. Так или иначе, я достану, даже если бы пришлось их украсть!

Шуи Та. Ах так, значит, и эту сумму нужно сначала раздобыть?

Сун. Не лезь в бутылку, старик. Я доберусь до Пекина, что бы мне это ни стоило.

Шуи Та. Но для двоих это обойдется не так дешево.

Сун. Для двоих? Ведь девочку я оставляю здесь. Первое время она была бы для меня, прямо скажем, как мозоль на ноге.

Шуи Та. Понимаю.

Сун. Что вы уставились на меня, как на дырявый бидон от масла? Выше себя не прыгнешь.

Шуи Та. А на какие средства, по-вашему, будет жить моя кузина?

Сун. Надеюсь, вы что-нибудь придумаете?

Шуи Та. Постараюсь. *(Пауза.)* Я хотел бы, чтобы вы вернули мне лично двести серебряных долларов, господин Янг Сун, и оставили их здесь до тех пор, пока не предъявите два билета в Пекин.

Сун. Знаешь что, шурин, я просил бы тебя не вмешиваться.

Шуи Та. Мадемуазель Шен Те...

Сун. Можешь мне спокойно доверить девчонку.

Шуи Та. ...быть может, не согласится продать свою лавку, если узнает...

Сун. Что там — согласится.

Шуи Та. Моих возражений вы не опасаетесь?

Сун. Почтеннейший!

Шуи Та. Вы, по-видимому, забыли, что она человек и имеет разум...

Сун *(весело)*. Меня всегда поражало: чего только не воображают об особах женского пола, да еще об их разуме! Слышали вы когда-нибудь, например, о могуществе любви и о зове плоти? Вы надеетесь на ее разум. У нее нет разума! Ее слишком много унижали в течение всей жизни, бедное животное! Если я положу руку ей на плечо и скажу: «Ты пойдешь со мной!» — она услышит звон колоколов и не узнает даже собственной матери.

Шуи Та *(с трудом)*. Господин Янг Сун!

Сун. Господин... как вас там зовут!

Шуи Та. Моя кузина покорна вам, потому что...

Сун. Скажем, потому что ей нравится, когда я ее хватаю? Набей свою трубку и кури! *(Берет еще одну сигару, потом кладет две в карман и в конце концов весь ящичек под мышку)*. Ты придешь к ней не с худшими новостями: со свадьбой решено. И тогда она принесет триста или ты их принесешь, или она, или ты! *(Уходит.)*

Шин *(высунув голову из дверей комнаты)*. Противный субъект! Вся Желтая улица уже трубит, что он держит девчонку в руках, вот как!

Шуи Та *(вскрикнул)*. Лавка пропала! Он не любит! Это крушение. Я погиб. *(Начинает метаться по комнате, как пойманное животное, все время повторяя: «Лавка пропала!», пока не останавливается перед Шин и обращается к ней.)* Вы, Шин, выросли в сточной канаве, и я тоже. Разве мы легкомысленны? Нет. Разве, когда надо, мы не способны на грубость? Нет. Я сумею схватить вас за горло и трясти до тех пор, пока вы не выплюнете лепешку, которую украли у меня. Вы это знаете. Времена — ужасны, этот город — ад, но мы карабкаемся вверх по гладкой стене. И вдруг кого-нибудь из нас постигает несчастье: он любит. Этого достаточно, он погиб. Слабость — и человека нет. Как освободиться от всех слабостей, и прежде всего от самой смертоносной — любви? Она создана не для человека! Она слишком дорога! Да, вы правы — надо быть начеку! Что это за мир?!

Там поцелуют, а потом задушат.
Любовный вздох в крик страха переходит.
Ах, почему там коршуны кружатся?
Там на свиданье женщина идет!

Шин. Пожалуй, я лучше сразу приведу цирюльника. Поговорите с ним. Это человек чести. Цирюльник — самая подходящая партия для вашей кузины. *(Не получив ответа, убегает.)*

Шуи Та снова мечется по комнате, пока не появляется господин Шу Фу, сопровождаемый Шин, которая, однако, по знаку Шу Фу снова исчезает.

Шуи Та *(спешит навстречу)*. Милостивый государь, я слышал, что вы проявляете некоторое внимание к моей кузине. Позвольте мне отставить в сторону все условности, требующие приличия и сдержанности, так как в данный момент мадемуазель угрожает величайшая опасность.

Господин Шу Фу. О!

Шуи Та. Кузина, еще несколько часов назад владелица собственной лавки, сейчас совершенно нищая. Господин Шу Фу, лавка разорена.

Господин Шу Фу. Господин Шуи Та, очарование мадемуазель Шен Те заключается не в сокровищах ее лавки, а в сокровищах ее сердца. Имя, которым называет ее этот квартал, говорит само за себя: ангел предместий!

Шуи Та. Милостивый государь, доброта влетела моей кузине за один только день в двести серебряных долларов! Пора наложить на это запрет.

Господин Шу Фу. Разрешите мне высказать более мягкое суждение: с этой доброты самое время снять запрет. Делать добро в натуре мадемуазель. Какое имеет значение, что она кормит четырех человек, — глубоко растроганный, я наблюдаю это каждое утро. Почему бы ей не кормить четыреста человек? Я слышал, что она ломает себе голову над тем, например, как приютить нескольких бездомных. Мои дома за скотобойней пустуют. Они в распоряжении мадемуазель и так далее. Господин Шуи Та, смею ли надеяться, что эти идеи, захватившие меня в последние дни, заинтересуют мадемуазель Шен Те?

Шуи Та. Господин Шу Фу, она с восхищением выслушает столь возвышенную мысль.

Входит Ванг с полицейским. Господин Шу Фу поворачивается и внимательно рассматривает полки.

Ванг. Шен Те здесь?

Шуи Та. Нет.

Ванг. Я Ванг, водонос. Вы, по-видимому, господин Шуи Та?

Шуи Та. Совершенно верно. Здравствуйте, Ванг.

Ванг. Я дружен с Шен Те.

Шуи Та. Знаю — вы один из ее старейших друзей.

Ванг *(полицейскому)*. Видите? *(Шуи Та.)* Я пришел насчет своей руки.

Полицейский. Она сломана, тут ничего не скажешь.

Шуи Та *(быстро)*. Я вижу, вам нужна повязка.

Он достает из кладовой шаль и бросает ее Вангу.

Ванг. Но это новая шаль.

Шуи Та. Она ей больше не нужна.

Ванг. По-видимому, Шен Те купила ее, чтобы кому-то понравиться.

Шуи Та. Как выяснилось, в этом нет необходимости.

Ванг *(делает из шали повязку)*. Она — моя единственная свидетельница.

Полицейский. Ваша кузина, говорят, видела, что цирюльник Шу Фу ударил щипцами водоноса. Вы в курсе дела?

Шуи Та. Я знаю только, что моей кузины не было на месте, когда произошло это маленькое событие.

Ванг. Это недоразумение! Пусть придет Шен Те, и все разъяснится. Шен Те все подтвердит. Где она?

Шуи Та *(серьезно)*. Господин Ванг, и вы еще называете себя другом моей кузины! Как раз сегодня ее постигла большая неудача. Все, кому не лень, эксплуатируют ее ужаснейшим образом. В будущем она не разрешит себе больше ни малейшей слабости. Я убежден, вы не потребуете, чтобы она все потеряла, дав ложные показания.

Ванг *(растерянно)*. Но ведь по ее же совету я пошел к судье.

Шуи Та. Разве дело судьи лечить руку?

Полицейский. Нет. Но его дело возместить ущерб.

Господин Шу Фу поворачивается.

Шуи Та. Господин Ванг, один из моих принципов — не вмешиваться в споры моих друзей. *(Кланяется господину Шу Фу, который делает то же самое.)*

Ванг *(сняв повязку и возвращая ее обратно, печально)*. Понимаю.

Полицейский. Я, стало быть, могу удалиться. Ты собрался надуть, и кого — порядочного человека! Смотри, парень, в следующий раз будь осмотрительнее со своими наветами. Если господин Шу Фу не пощадит тебя, ты попадешь в тюрьму за клевету. Теперь проваливай!

Оба уходят.

Шуи Та. Прошу извинения за этот инцидент.

Господин Шу Фу. Он прощен. *(Быстро.)* А дело с этим «неизвестным» *(показывает на шаль)* в самом деле в прошлом? Совсем покончено?

Шуи Та. Совсем. Его разглядели. Правда, понадобится время, чтобы рана затянулась.

Господин Шу Фу. Будет проявлена необходимая чуткость.

Шуи Та. Это свежие раны.

Господин Шу Фу. Она поедет в деревню.

Шуи Та. Несколько недель! Она будет рада случаю поговорить предварительно с человеком, которому может довериться.

Господин Шу Фу. За маленьким ужином, в маленьком, но хорошем ресторане.

Шуи Та. Интимном, но скромном. Спешу поставить в известность мою кузину. Она проявит благоразумие. Она в тревоге за свою лавку, которую рассматривает, как дар богов. Попрошу вас обождать — я сейчас. *(Уходит в комнату.)*

Шин *(высовывает голову)*. Можно поздравить?

Господин Шу Фу. Можно. Госпожа Шин, сообщите сегодня же опекаемым Шен Те, что я предоставляю им прибежище в моих домах за скотобойней.

Шин кивает, ухмыляясь.

(Господин Шу Фу, встав с места, публике.) Ну, как вы находите меня, дамы и господа? Можно ли сделать больше? Быть самоотверженнее? Деликатнее? Дальновиднее? Маленький ужин! Какие обычно приходят при этом вульгарные и недостойные мысли! О нет, не произойдет ничего предосудительного. Даже прикосновения, хотя бы случайного, когда рука тянется за солонкой. Только обмен мыслями, не больше. Две души найдут друг друга среди цветов, украшающих стол, главным образом белых хризантем. *(Отмечает что-то в записной книжке.)* Нет, здесь не будет использовано затруднительное положение, не будет извлечена выгода из разочарования. Будут предложены забота и помощь, но почти безмолвно. Одним взглядом будет дано понять, взглядом, который может означать и большее, но не больше!

Шин. Итак, все устроилось, как вы хотели, господин Шу Фу?

Господин Шу Фу. О, вполне! Очевидно, в этой местности произойдут перемены. Известный субъект получил отставку, и объявления о продаже лавки потеряют силу. Люди, осмеливающиеся запятнать репутацию самой целомудренной девушки в городе, впредь будут иметь дело со мной. Что вы знаете об этом Янг Суне?

Ш и н. Он самый грязный, самый ленивый...

Г о с п о д и н Ш у Ф у. Он — ничто. Его нет. Он не существует.

Входит Сун.

С у н. Что здесь происходит?

Ш и н. Господин Шу Фу, если угодно, я позову господина Шуи Та? Вряд ли он пожелает, чтобы в лавке торчали посторонние лица.

Г о с п о д и н Ш у Ф у. У мадемуазель Шен Те с господином Шуи Та идет важный разговор, который нельзя прерывать.

С у н. Она здесь? Каким образом? Я не видел, чтобы она сюда входила! А что за разговор? Мне необходимо принять в нем участие!

Г о с п о д и н Ш у Ф у *(преграждает ему дорогу в комнату)*. Придется подождать, милостивый государь. Думаю, что представляю себе, с кем имею дело. Примите к сведению, что мадемуазель Шен Те и я готовимся объявить о нашей помолвке.

С у н. Что?

Ш и н. Вы поражены, а?

Сун борется с цирюльником, чтобы попасть в комнату, из нее выходит Шен Те.

Г о с п о д и н Ш у Ф у. Извините, милая Шен Те. Может быть, вы согласитесь разъяснить?

С у н. Шен Те! Что случилось? Ты с ума сошла?

Ш е н Т е *(волнуясь)*. Сун, мой двоюродный брат и господин Шу Фу договорились, что я познакомлюсь с планами господина Шу Фу, как помочь людям, живущим в этом квартале. *(Пауза.)* Мой двоюродный брат против наших отношений.

С у н. И ты согласилась?

Ш е н Т е. Да.

Пауза.

С у н. Они тебе сказали, что я плохой человек?

Шен Те молчит.

Вероятно, так оно и есть, Шен Те. Поэтому ты мне нужна. Я низкий человек. Без денег, без манер. Но я буду защищаться. Они хотят тебе беды, Шен Те. *(Идет к ней)*. Взгляни на него! Где твои глаза? *(Кладет руку ей на плечо.)* Бедный зверек! К чему они склоняют тебя? Брак по расчету! Без меня они прямо потащили бы тебя на плаху. Скажи сама, без меня ушла бы ты с ним?

Ш е н Т е. Да.

С у н. С человеком, которого не любишь!

Ш е н Т е. Да.

С у н. Ты все уже забыла? Как шел дождь?

Ш е н Т е. Нет.

С у н. Как спасла меня от петли, как купила мне кружку воды, как обещала денег, чтобы я снова мог летать?

Ш е н Т е *(дрожа)*. Чего ты хочешь?

С у н. Чтобы ты ушла со мной.

Ш е н Т е. Господин Шу Фу, простите меня, я хочу уйти с Суном.

С у н. Нас связала любовь, вы способны это понять? *(Ведет ее к двери.)* Где ключ от лавки? *(Достает его из ее кармана и передает Шин.)* Положите на порог, как только все закончите. Пойдем, Шен Те.

Г о с п о д и н Ш у Ф у. Это насилие! *(Кричит, повернувшись к двери комнаты.)* Господин Шуи Та!

С у н. Скажи, чтобы он здесь не орал.

Ш е н Т е. Пожалуйста, не зовите моего двоюродного брата, господин Шу Фу. Он не согласен со мной, я знаю. Но чувствую, что он неправ. *(Публике.)*

Я хочу уйти с тем, кого люблю.
Я не хочу высчитывать, сколько это стоит.
Я не хочу обдумывать, хорошо ли это.
Я не хочу знать, любит ли он меня.
Я хочу уйти с тем, кого я люблю.

С у н. Вот как!

Оба уходят.

ИНТЕРМЕДИЯ ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Ш е н Т е *(в свадебном наряде, на пути к венцу, обращается к публике)*. Я пережила страшную минуту! Когда я вышла из дому веселая, полная радостного ожидания, на улице стояла старуха — жена торговца коврами. Дрожа, она рассказала мне, что ее муж от волнения за деньги, одолженные мне, заболел. Она думает, что лучше всего, если я на всякий случай верну их сейчас. Я, конечно, обещала. Ей стало легче и, плача, она пожелала мне счастья, извинившись, что они не доверяют моему двоюродному брату и, к сожалению, даже Суну. Меня охватил такой ужас, что, как только она ушла, я присела на ступеньки лестницы. В смятении я снова бросилась в объятия Янг Суна. Я не могла устоять перед его голосом и ласками. Все дурное, что он сказал Шуи Та, не могло образумить Шен Те. Склоняясь в его объятия, я подумала: ведь боги хотели, чтобы я была доброй также и к себе.

Чтоб не дать другим погибнуть и себя не погубить,
Чтобы всех осчастливить
И себя со всеми вместе.

Как могла я забыть двух добрых стариков! Сун, как ураган, унес мою лавку в сторону Пекина, а с ней и всех моих друзей. Нет, он неплохой человек и любит меня. Пока я с ним, он не способен на дурное. То, что мужчина говорит мужчине, ничего не значит. В таких случаях он хочет казаться сильным, могучим и, конечно, черствым. Как только я скажу ему, что старики не в состоянии уплатить налоги, он все поймет. Он скорее станет поденщиком на цементном заводе, чем летчиком путем преступления. Правда, летать — это его страсть. Хватит ли у меня силы пробудить в нем доброе чувство? Я иду к венцу, страх и радость борются в моей душе.

6

КАБИНЕТ В ДЕШЕВОМ РЕСТОРАНЕ В ПРЕДМЕСТЬЕ ГОРОДА

Кельнер наливает вино собравшимся на свадьбу гостям. Возле Шен Те стоят дедушка, невестка, племянница и безработный. В углу одиноко ждет священник. На переднем плане Сун, разговаривающий со своей матерью, госпожой Янг. Он в смокинге.

С у н. Кое-какие неприятности, мама. Она только что со свойственной ей откровенностью объявила мне, что не может продать лавку. Какие-то типы потребовали от нее две сотни серебряных долларов, те, которые она одолжила у них и отдала тебе. А ее двоюродный брат признался мне, что между ними нет письменного договора.

Госпожа Янг. Что ты ей ответил? Ты, конечно, не можешь на ней жениться.

Сун. Говорить с ней о таких вещах бесполезно. Она слишком тупа. Я послал за ее двоюродным братом.

Госпожа Янг. Но он пытается выдать ее за цирюльника.

Сун. С этим сватовством я кончил. Цирюльник струсил. А двоюродный брат сразу смекнет, что, раз я получил двести, с лавкой покончено, потому что кредиторы наложат на нее арест. Но он сообразит также, что если я не получу еще трехсот, то покончено и с моим местом.

Госпожа Янг. Пойду поищу его возле ресторана. А ты ступай к невесте, Сун!

Шен Те *(наливая вино, обращается к публике)*. Я не ошиблась в нем. Он ничем не проявил своего разочарования. Конечно, отказаться от того, чтобы летать,— для такого человека удар. Однако он в хорошем настроении. Я люблю его. *(Кивком головы подзывает к себе Суна.)* Сун! Ты еще не чокнулся с невестой!

Сун. За что мы выпьем?

Шен Те. За будущее.

Пьют.

Сун. Когда жениху не надо будет брать напрокат смокинг.

Шен Те. Но когда платье невесты иногда будет попадать под дождь.

Сун. За все, что мы себе желаем!

Шен Те. Чтобы оно скорее сбылось!

Госпожа Янг *(идя к выходу, Шин)*. Я в восторге от своего сына. Я всегда внушала ему, что ему ничего не стоит взять любую. Почему? У него — специальность механика и летчика. И что же он говорит мне теперь? Я женюсь по любви, мама, говорит он. Деньги — еще не все. Это брак по любви! *(Невестке.)* Когда-нибудь это могло же случиться. Не правда ли? Но матери нелегко. Нелегко. *(Обращаясь к священнику, кричит.)* Пожалуйста, не слишком торопитесь. Если вам понадобится для церемонии столько же времени, сколько для того, чтобы выторговать свое вознаграждение, оно соответственно возрастет. *(Шен Те.)* Мы еще подождем, дорогая моя. Один из самых уважаемых гостей еще не прибыл. *(Всем.)* Извините, пожалуйста. *(Уходит.)*

Невестка. Пока есть вино, ждут охотно.

Безработный. Мы никуда не опаздываем.

Сун *(громко и шутливо)*. Перед бракосочетанием я должен предварительно устроить тебе маленький экзамен. Это совсем не бесполезно в наше время, когда так скоропалительно заключают браки. *(Гостям.)* Я понятия не имею, что у меня будет за жена. Это меня беспокоит. Ухитришься ли ты, например, из трех листиков чая сварить пять чашек чаю?

Шен Те. Нет.

Сун. Значит, я буду без чая. А сумеешь ли ты улечься на тюфяке величиной в молитвенник?

Шен Те. Вдвоем?

Сун. Одна.

Шен Те. В этом случае нет.

Сун. Я в отчаянии, что у меня будет такая жена.

Все смеются. Сзади Шен Те в дверях появляется госпожа Янг. Она пожимает плечами, давая понять Суну, что ожидаемого гостя не видно.

Госпожа Янг *(священнику, который показывает ей свои часы)*. Что вы так спешите? Речь идет о нескольких минутах. Я вижу, все пьют, курят и никто не торопится. *(Присаживается к гостям.)*

Шен Те. Но разве не хорошо было бы поговорить о том, как мы устроимся?

Госпожа Янг. О, пожалуйста, сегодня ни слова о делах! Это придает торжеству такой обыденный тон, не правда ли?

Звонит входной звонок Все смотрят на дверь, но никто не входит.

Шен Те. Кого ждет твоя мать, Сун?

Сун. Пусть это будет для тебя сюрпризом. Между прочим, что поделывает твой двоюродный брат Шуи Та? Мы с ним в хороших отношениях. Весьма разумный человек! Голова! Почему ты молчишь?

Шен Те. Не знаю. Я не хочу о нем думать.

Сун. Почему?

Шен Те. Потому что ты не должен быть с ним в хороших отношениях. Раз ты любишь меня, то не можешь любить его.

Сун. Пусть его тогда унесут три демона: демон аварий, демон тумана и демон горючего. Пей ты, убогая! *(Заставляет ее пить.)*

Невестка *(Шин)*. Здесь что-то не так.

Шин. Вы ожидали другого?

Священник *(решительно подходит к госпоже Янг с часами в руке)*. Я вынужден покинуть вас, госпожа Янг. Сегодня у меня еще одна свадьба и завтра с утра похороны.

Госпожа Янг. Вы думаете, мне приятно, что все откладывается? Мы надеялись, что обойдемся одним кувшином вина. Смотрите, оно подходит к концу. *(Громко, Шен Те.)* Не понимаю, дорогая Шен Те, почему твой двоюродный брат заставляет себя так долго ждать?

Шен Те. Мой двоюродный брат?

Госпожа Янг. Дорогая моя, да ведь его-то мы и ждем. Я придерживаюсь старых правил и полагаю, что столь близкий родственник должен присутствовать на свадьбе.

Шен Те. О Сун, так это из-за трехсот серебряных долларов?

Сун *(не глядя на нее)*. Ты же слышишь, почему. Она придерживается старых правил. Я вынужден с этим считаться! Обождем еще четверть часика и, если он не придет оттого, что три черта уже схватили его, мы начнем!

Госпожа Янг. Вы все, конечно, уже знаете, что сын получает должность почтового летчика. Мне это очень приятно. В такие времена надо зарабатывать.

Невестка. Он будет находиться в Пекине, правда?

Госпожа Янг. Да, в Пекине.

Шен Те. Сун, ты должен сказать своей матери, что с Пекином ничего не выйдет.

Сун. Об этом ей скажет твой двоюродный брат, если только он рассуждает так же, как ты. Между нами: я думаю, что иначе.

Шен Те *(испуганно)*. Сун!

Сун. Как я ненавижу этот Сезуан! Что за город! Знаешь, кем они мне все представляются, когда глаза мои полузакрыты? Клячами. Они озабоченно мотают головой: ой, что это там над нами гремит? Как? Они еще кому-то нужны? Что? Их время еще не кончилось? Пусть они перегрызут друг друга в этом дохлом городе! О, скорее бы вырваться отсюда!

Шен Те. Но я обещала старухе вернуть ее деньги.

Сун. Да, ты мне об этом говорила. А раз ты способна на подобные глупости, хорошо, если бы явился твой двоюродный брат. Пей и предоставь нам заниматься делами! Мы все уладим!

Шен Те *(в отчаянии)*. Но двоюродный брат не может прийти.

Сун. Как это понять?

Шен Те. Его здесь нет больше.

Сун. Может, ты расскажешь тогда, как тебе представляется наше будущее?

Шен Те. Я думала, у тебя еще есть двести серебряных долларов. Мы бы их завтра вернули, сохранили табак, который стоит много дороже, и стали бы продавать его возле цементного завода. Мы же не в состоянии уплатить арендную плату за шесть месяцев.

Сун. Забудь об этом! Забудь скорее, сестрица! Чтоб я стал на улице продавать табак рабочим цементного завода, я — Янг Сун, летчик! Лучше я спущу эти двести за одну ночь, лучше выброшу в реку! Твой двоюродный брат — он знает меня. Я договорился с ним, и он принесет к свадьбе триста.

Шен Те. Мой двоюродный брат не может здесь быть.

Сун. Я думал, что он не может не быть.

Шен Те. Там, где я, его нет.

Сун. Какая таинственность!

Шен Те. Так знай же, Сун, он не друг тебе. Это я люблю тебя. Мой двоюродный брат Шуи Та никого не любит. Он мой друг, но не друг моих друзей. Он согласился, чтобы ты взял деньги стариков, надеясь на место летчика для тебя. Но он не принесет к свадьбе триста серебряных долларов.

Сун. Это почему?

Шен Те *(глядя ему прямо в глаза)*. Он сказал, ты купил только один билет в Пекин.

Сун. Так это было вчера, но вот, смотри, что я покажу ему сегодня! *(Наполовину вытаскивает из бокового кармана две бумажки.)* Старуха не должна их видеть. Два билета в Пекин: для меня и для тебя. Ты все еще настаиваешь, что двоюродный брат против нашего брака?

Шен Те. Нет. Отличная должность. А лавки у меня больше нет.

Сун. Из-за тебя я распродал мебель.

Шен Те. Не говори больше! Не показывай билеты. Мне страшно, я чувствую, что готова все бросить и уйти с тобой. Ах, Сун, я не могу дать тебе триста серебряных долларов, подумай о стариках!

Сун. Подумай обо мне! *(Пауза.)* А всего лучше пей! Или ты принадлежишь к числу благоразумных? Не выношу благоразумных женщин. Когда я пью, я снова летаю. А ты, если выпьешь, может быть, и поймешь меня.

Шен Те. Не думай, что я не понимаю тебя, не понимаю, что ты хочешь летать, а я неспособна тебе помочь.

Сун. «Вот самолет, мой любимый, но у него одно лишь крыло!»

Шен Те. Честным путем нам не получить это место в Пекине. Поэтому я должна взять обратно двести серебряных долларов. Дай мне их сейчас, Сун!

Сун. «Дай мне их сейчас, Сун!» О чем ты, собственно, говоришь? Жена ты мне или не жена? Ты что, не понимаешь, что предаешь меня? К счастью, это больше не зависит от тебя, потому что все уже решено.

Госпожа Янг *(ледяным тоном)*. Сун, ты уверен, что двоюродный брат невесты придет? Создается впечатление, что он отсутствует потому, что он против этого брака.

Сун. Что ты такое говоришь, мама! Мы с ним одно тело и одна душа. Я широко распахну двери, пусть он сразу найдет нас, когда прибежит на свадьбу своего друга Суна. *(Идет к двери, толкает ее ногой. Потом возвращается, слегка покачиваясь — слишком много выпил — и снова садится возле Шен Те.)* Мы ждем. Твой двоюродный брат разумнее, чем ты. Любовь, мудро сказал он, признак существования. А самое важное — он знает, чем это кончится для тебя: ни лавки, ни мужа.

Все ждут.

Госпожа Янг. Идет!

Слышны шаги, и все смотрят на дверь, но шаги снова удаляются.

Шин. Пахнет скандалом. Это сразу чувствуешь, вдыхаешь вместе с воздухом. Невеста ждет свадьбы, а жених — господина двоюродного брата.

Сун. Господин двоюродный брат не торопится.

Шен Те *(тихо)*. О Сун!

Сун. Торчать здесь с билетами в кармане рядом с дурой, которая не умеет считать! Предвижу день, когда ты приведешь в дом полицию, чтобы она потребовала с меня двести серебряных долларов.

Шен Те *(публике)*. Он плохой человек и хочет, чтобы я тоже была плохой. Я, которая его любит, здесь, а ему нужен двоюродный брат. Но вокруг меня сидят бедняки, старуха с больным мужем, бедняги, которые завтра будут ждать у дверей риса, и незнакомый человек из Пекина, которому грозит беда. И все они охраняют меня, потому что уповают на меня.

Сун *(пристально смотрит на стеклянный кувшин, в котором нет больше вина)*. Кувшин с вином — это наши часы. Мы — бедные люди, и, если гости выпили вино, значит часы остановились навсегда.

Госпожа Янг делает ему знак, чтобы он молчал, потому что снова слышны шаги.

Кельнер *(входит)*. Прикажете еще кувшин вина, госпожа Янг?

Госпожа Янг. Нет, я думаю, хватит. Вино только распаривает, правда?

Шин. Да оно и дорого.

Госпожа Янг. Когда я пью вино, меня всегда бросает в пот.

Кельнер. Разрешите тогда получить по счету?

Госпожа Янг *(не слушая его)*. Прошу вас, господа, еще немножко терпения. Родственник, наверное, уже в пути. *(Кельнеру.)* Не мешай!

Кельнер. Я не имею права отпустить вас, пока не получу по счету.

Госпожа Янг. Но меня знают здесь!

Кельнер. Именно поэтому.

Госпожа Янг. Неслыханно! Нынешняя прислуга! Что ты скажешь, Сун?

Священник. Мое почтение! *(Уходит с важным видом.)*

Госпожа Янг *(в отчаянии)*. Сидите спокойно! Священник сейчас вернется.

Сун. Оставь, мама. Господа, после того как священник ушел, мы не смеем вас задерживать.

Невестка. Пойдем, дедушка!

Дедушка *(осушает стакан, серьезно)*. Здоровье невесты!

Племянница *(Шен Те)*. Не обижайтесь на него. Он сказал искренне. Он любит вас.

Шин. Вот так срам!!

Гости уходят.

Шен Те. Мне тоже уйти, Сун?

Сун. Нет, ты подождешь. *(Дергает ее за подвенечный убор так, что сдвигает его набок.)* Разве это не твоя свадьба? Я ведь жду, и старуха тоже ждет. Она все еще видит сокола в облаках. Правда, я почти уверен теперь, что это произойдет в день святого Никогда: она подойдет к двери, и его самолет прогремит над ее домом. *(Обращаясь к пустым стульям, точно гости все еще здесь.)* Дамы и господа, почему вы не продолжаете вашей приятной беседы? Может быть, вам здесь не нравится? Свадьбу немного отложили в ожидании важных гостей и еще потому, что неве-

ста не догадывается, что такое любовь. Чтобы развлечь вас, я, жених, спою вам песню. *(Поет.)*

ПЕСНЯ О ДНЕ СВЯТОГО НИКОГДА

Каждый, кто качался в бедной колыбели,
Знает, что ему тихонько пели,
И навек запомнил он,
Что бедняк взойдет на трон.
Это будет в день святого Никогда.
В день святого Никогда
Сядет бедный человек на трон.

В этот день берут за глотку зло.
В этот день всем добрым повезло,
А хозяин и батрак
Вместе шествуют в кабак.
В день святого Никогда
Тощий пьет у жирного в гостях.

Речка свои воды катит вспять.
Все добры. Про злобных не слыхать.
В этот день все отдыхают
И никто не понукает.
В день святого Никогда
Вся земля, как рай, благоухает.

В этот день ты будешь генерал.
Ну, а я бы в этот день летал.
Ванг уладит все с рукой,
Ты же обретешь покой
В день святого Никогда,
Женщина, ты обретешь покой.

Мы уже не в силах больше ждать.
Потому-то и должны нам дать,
Людям тяжкого труда,
День святого Никогда.
День святого Никогда —
День, когда мы будем отдыхать!

Госпожа Янг. Он уже не придет.

Трое сидят и двое из них смотрят на дверь.

ИНТЕРМЕДИЯ

Ночлег Ванга

Продавцу воды снова являются во сне боги. Он заснул над большой книгой. Музыка.

Ванг. Хорошо, что вы пришли, мудрейшие! Разрешите загадку, которая мучает меня. В разрушенной хижине священника, который покинул ее, чтоб работать на цементном заводе, я нашел книгу и обнаружил в ней странный текст. Я обязательно хочу прочесть его вам. Вот он. *(Перелистывает левой рукой воображаемую книгу над книгой, которая лежит у него на коленях, и высоко поднимает эту воображаемую книгу, чтобы читать, между тем как настоящая остается лежать.)* В Сунге есть местность, которая называется Терновая роща. Там растут кактусы, кипарисы и тутовые деревья. Деревья, имеющие одну или две пяди в объеме, срубают люди, которым нужны прутья для собачьих будок. Деревья трех-четырех футов в объеме срубают благородные и богатые семьи, которым нужны доски для своих гробов. Деревья семи-восьми футов в объеме срубят те, кто ищет бревна для своих роскошных вилл. Таким образом, все

эти деревья не доживают свой век, а погибают на половине жизненного пути от пилы и топора. Чем больше они приносят пользы, тем больше переносят страданий.

Третий бог. Выходит, кто всех бесполезнее, тот всех удачливее?

Ванг. Нет, тот всех счастливее. Самый худший — это самый счастливый.

Первый бог. Чего только не пишут!

Второй бог. Почему тебя так трогает эта притча, водонос?

Ванг. Из-за Шен Те, мудрейший! Она несчастна от любви к ближнему, потому что следовала заповеди любви к ближнему. Право, мудрейшие, может быть, она слишком хороша для этого мира!

Первый бог. Глупости! Слабый, никчемный ты человек! Вши и сомнения, вижу я, наполовину сожрали тебя.

Ванг. Конечно, конечно, мудрейший! Прости! Я думал только, может быть, вы вмешаетесь.

Первый бог. Совершенно исключено. Наш друг *(показывает на третьего бога, у которого большой синяк под глазом)* только вчера вмешался в спор, и вот последствия.

Ванг. Снова пришлось вызывать двоюродного брата. Он невероятно ловкий человек, я испытал это на собственной шкуре, однако даже он не в силах помочь. Лавка, очевидно, обречена.

Третий бог *(встревоженно)*. Может быть, все же ей помочь?

Первый бог. Я того мнения, что она сама должна себе помочь.

Второй бог *(строго)*. Чем хуже хорошему человеку, тем лучше он раскрывает в себе хорошее. Страдание очищает!

Первый бог. Мы возлагаем на нее все свои надежды.

Третий бог. С нашими поисками обстоит неважно. Мы встречаем иногда добрые поступки, радующие побуждения, много высоких принципов, но все это слишком мало для того, чтобы считаться человеком. Если и попадаются более или менее достойные люди, то живут они недостойно людей. *(Доверительно.)* С ночлегом — совсем плохо. По соломинкам, приставшим к нашей одежде, ты можешь вообразить себе, как мы проводим ночи.

Ванг. Тогда хотя бы что-нибудь, хотя бы кое-что...

Боги. Ничего. Мы только наблюдатели. И твердо знаем, что наш добрый человек займет свое место на этой мрачной земле. Его сила возрастет от тяжести ноши. Потерпи еще немного, водонос, и ты кое-что увидишь, все идет к лучшему, все...

Фигуры богов бледнеют, голоса звучат все тише. Но вот они исчезают, и голосов больше не слышно.

7

ДВОР ПОЗАДИ ТАБАЧНОЙ ЛАВКИ ШЕН ТЕ

На тележке скудный домашний скарб. Шен Те и Шин снимают с веревок развешанное на них белье.

Шин. На вашем месте я зубами и ногтями дралась бы за свою лавку.

Шен Те. Что вы! Мне нечем даже уплатить за помещение. Ведь я обязана сегодня еще вернуть старикам двести серебряных долларов, но так как я отдала их одному человеку, то должна продать свой табак госпоже Ми Тци.

Ш и н. Выходит, все полетело?! Ни мужа, ни табака, ни крова! Вот что получается, когда хочешь быть лучше ближнего своего. Чем же вы будете жить?

Ш е н Т е. Не знаю. Может, подработаю на сортировке табака.

Ш и н. Каким образом попали сюда штаны господина Шуи Та? Он что, голый отсюда ушел?

Ш е н Т е. У него есть другие штаны.

Ш и н. Мне послышалось, вы сказали, что он уехал навсегда? Почему же он оставил свои штаны?

Ш е н Т е. Должно быть, они ему больше не нужны.

Ш и н. Так, значит, не укладывать их?

Ш е н Т е. Нет.

Вбегает запыхавшийся господин Шу Фу.

Г о с п о д и н Ш у Ф у. Молчите! Молчите, молчите! Мне все известно. Вы пожертвовали своим личным счастьем для спасения двух стариков, которые доверились вам. Нет, не напрасно этот квартал, эти недоверчивые, эти злобные люди называют вас «ангелом предместий». Господин жених не смог подняться до вашей нравственной высоты, и вы оставили его. А теперь вы закрываете свою лавку, этот островок спасения для многих!.. Я не в силах этого видеть. Из своих дверей каждое утро я наблюдаю несчастных, толпящихся перед вашей лавкой, и вас, раздающую рис. Неужели это не повторится больше? Неужели доброе дело обречено на гибель? Ах, если бы вы позволили мне помочь вам в этой благородной миссии! Нет, не говорите! Я не смею требовать никаких заверений. Нет, нет, никаких обещаний, что вы соглашаетесь принять мою помощь! Но вот *(достает чековую книжку и заполняет чек, который кладет на тележку)* я приготовил вам чек, который вы можете по желанию заполнить любой суммой, и тогда я уйду тихо и скромно, без каких бы то ни было претензий, на цыпочках, проникнутый уважением, самоотверженно! *(Уходит.)*

Ш и н *(изучает чек)*. Вы спасены! Везет же таким, как вы! И всегда находятся дураки. Ну, теперь он попался! Впишите сумму в тысячу серебряных долларов, и я побегу в банк, пока он не опомнился.

Ш е н Т е. Поставьте корзину с бельем на тележку. Счет за белье я могу оплатить и без чека.

Ш и н. Что?! Я не ослышалась? Вы отказываетесь? Это преступление! И только потому, что в этом случае почитаете себя обязанной выйти за него замуж? Сумасшествие! Ведь такой человек сам хочет, чтобы его водили за нос. Такому это просто доставляет наслаждение. Неужели вы все еще намерены держаться за своего летчика, когда вся Желтая улица и весь квартал знают, как низко он поступил с вами!

Ш е н Т е. Во всем виновата нужда. *(Публике.)*

Я видела, как ночью
Он щеки раздувал во сне.
Каким он злым тогда казался!
А утром я взяла его рубашку.
На свет она была совсем дырявой.
Мне страшно слышать этот хитрый смех,
Но вот его я вижу в рваных туфлях,
И я люблю его.

Ш и н. Она еще оправдывает его? Подобного безумия я не видела. *(Сердито.)* Я вздохну с облегчением, когда вы уедете отсюда.

Ш е н Т е *(снимая белье, покачнулась)*. У меня кружится голова.

Ш и н *(берет у нее белье)*. И часто у вас кружится голова, когда вы двигаетесь или нагибаетесь? Нет ли на пути маленького препятствия?

(Смеется.) Оно здорово вас подвело! Если это должно было случиться, то нужно признать, что чек сразу прокис. Он не предназначался для таких обстоятельств. *(Уходит с корзиной.)*

Шен Те *(неподвижно смотрит ей вслед. Потом осматривает себя со всех сторон, трогает свое тело, и на лице у нее появляется выражение глубокой радости. Тихо).* О счастье! Во мне зарождается человек. Пока еще ничего не заметно. Но он уже здесь. Мир ожидает его втайне. В городах уже говорят: теперь явился человек, с которым придется считаться. *(Представляет публике своего маленького сына.)* Летчик!

Приветствуйте нового завоевателя
Недоступных гор и неведомых областей,
Он повезет почту от человека к человеку
Через бездорожье пустынь!

(Начинает ходить взад и вперед, неся на руках сына.) Идем, сын, взгляни на мир. Вот дерево. Поклонись и приветствуй его. *(Кланяется.)* Теперь вы знакомы. Слушай, вот идет водонос. Он — друг, подай ему руку, не бойся. «Пожалуйста, кружку свежей воды для моего сына. Сегодня жарко». *(Дает ему кружку воды.)* Ах, полицейский! Лучше обойдем его. Постараемся добыть в саду богача Фей Пунг несколько вишен. Только чтобы нас не увидали. Идем, сиротка! И тебе хочется вишен! Тихо, тихо, сын! *(Идут, осторожно озираясь.)* Нет, лучше сюда, тут нас скроет кустарник. Нет, разве так можно идти напролом? *(Он, видимо, пытается оттащить ее, она сопротивляется.)* Мы должны быть благоразумны. *(Неожиданно уступает.)* Что с тобой поделаешь, если ты хочешь обязательно напролом... *(Высоко поднимает его.)* Сможешь ты достать вишни? Клади их прямо в рот, там они в сохранности! *(Съедает одну вишню, которую он кладет ей в рот.)* Вкусно. Ужас, полицейский! Теперь бежать! *(Бегут.)* Вот улица. Сейчас спокойно, спокойно, мы идем медленно, чтобы не обращать на себя внимания. Как будто ничего не случилось... *(Поет, словно гуляя с ребенком.)*

На сливу, на беднягу
Напал один бродяга.
Он очень, очень ловок был —
В затылок сливу укусил.

Входит водонос Ванг, который ведет за руку ребенка.
Ванг удивленно смотрит на Шен Те.

Шен Те *(обернувшись на кашель Ванга).* Ах, Ванг! Здравствуй!

Ванг. Шен Те, я слышал, что тебе плохо живется и ты даже продаешь свою лавку для расплаты с долгами. Но вот ребенок, лишенный пристанища. Он бегал по двору боен. По-видимому, это сын столяра Лин То, который несколько недель назад лишился своей мастерской и с тех пор запил. Его голодные дети разбежались. Что с ними делать?

Шен Те *(берет у него ребенка).* Идем, маленький человек! *(В публику.)*

Эй, вы! Человек просит крова.
Завтрашний человек просит помочь ему сегодня!
Его друг, известный вам завоеватель,
Ходатайствует за него.

(Вангу.) Он сможет жить в бараках господина Шу Фу, куда, возможно, перееду и я. У меня самой должен родиться ребенок. Только никому не говори, не то об этом узнает Янг Сун, а мы ему не нужны. Разыщи в нижнем городе Лин То и скажи ему, чтобы он пришел сюда.

Ванг. Большое спасибо, Шен Те. Я знал — ты что-нибудь придумаешь. *(Ребенку.)* Видишь, добрый человек всегда найдет выход. Я побегу за твоим отцом. *(Хочет идти.)*

Шен Те. О, Ванг, я только сейчас вспомнила: что с твоей рукой? Ведь я хотела быть твоим свидетелем, но мой двоюродный брат...

Ванг. Не беспокойся. Посмотри, я уже научился обходиться без правой руки. Она мне почти не нужна. *(Показывает, как может управляться с кувшином и кружкой без помощи правой руки.)* Видишь, как ловко я это делаю.

Шен Те. Но нельзя допустить, чтобы она высохла. Возьми тележку, все продай и пойди к доктору. Мне стыдно, что я не выполнила своего обещания. Кроме того, я согласилась принять у цирюльника его бараки, что ты только подумаешь об этом?

Ванг. Там смогут жить бездомные и ты сама, ведь это важнее моей руки. Иду за столяром. *(Уходит.)*

Шен Те *(кричит ему вслед)*. Обещай, что пойдешь со мной к доктору!

Шин вернулась и непрерывно делает ей знаки.

Что такое?

Шин. С ума сошла: дарит тележку с последним барахлом! Вам какое дело до его руки? Если об этом узнает цирюльник, он выгонит вас из вашего последнего убежища. И мне вы не заплатили еще за белье!

Шен Те. О, почему вы такая злая?

Неужели вы не устаете
Попирать ближних? От жадности
Жилы на лбу и те набухнут у вас.
Рука, протянутая от души,
Легко дает и легко получает.
Как соблазнительно быть щедрым!
Как хорошо быть приветливым!
Доброе слово
Вырывается, как вздох облегченья.

Рассерженная Шин уходит.

Шен Те *(ребенку)*. Садись и подожди, пока придет отец.

Ребенок садится на землю. Во двор входит пожилая пара, явившаяся к Шен Те в день открытия ее лавки. Муж и жена тащат большие мешки.

Женщина. Ты одна, Шен Те?

Так как Шен Те утвердительно кивает, она зовет своего племянника, который тоже несет мешок.

Где твой двоюродный брат?

Шен Те. Уехал.

Женщина. Он вернется?

Шен Те. Нет. Я продаю лавку.

Женщина. Это нам известно, потому-то мы и пришли. Вот несколько мешков листового табака, который нам были должны. Перевези их вместе с твоими пожитками на новую квартиру. Нам некуда их поместить, а на улице мы привлекаем к ним внимание. Я не понимаю, почему бы тебе не оказать нам этой маленькой любезности после того, как нас постигло несчастье в твоей лавке.

Шен Те. Я охотно сделаю это.

Мужчина. Если тебя спросят, чьи это мешки, скажи, что они твои.

Шен Те. Кто может спросить?

Женщина *(неприязненно смотрит на нее)*. Полиция, например. Она настроена против нас и будет рада случаю нас разорить. Куда поставить мешки?

Ш е н Т е. Не знаю. Именно сейчас я стараюсь избегать чего-либо такого, что может привести меня в тюрьму.

Ж е н щ и н а. Хочешь знать — это похоже на тебя. Ко всему прочему мы должны еще потерять эти жалкие мешки — все, что удалось спасти из нашего имущества!

Шен Те упрямо молчит.

М у ж ч и н а. Пойми, этот табак может стать основой для маленького дела. Мы еще могли бы преуспеть.

Ш е н Т е. Хорошо, я спрячу ваши мешки. Мы поставим их пока в комнате.

Входит вместе с ними в комнату. Ребенок смотрит ей вслед. Потом, робко оглядываясь, подходит к мусорному ведру и достает из него что-то. Начинает есть. Шен Те и остальные возвращаются.

Ж е н щ и н а. Ты понимаешь, конечно, что мы целиком полагаемся на тебя.

Ш е н Т е. Да. *(Видит ребенка и цепенеет.)*

М у ж ч и н а. Послезавтра мы навестим тебя в домах господина Шу Фу.

Ш е н Т е. Теперь уходите — мне плохо.

Все трое уходят.

Он голоден. Шарит в помойном ведре. *(Поднимает ребенка и, потрясенная участью детей бедняков, обращается к публике, показывая на серый ротик ребенка. Она клянется никогда не относиться к своему ребенку с такой бессердечностью.)*

О сын, о летчик!
В какой мир ты приходишь?
Они хотят, чтобы и ты ловил свою рыбу
в мусорном ведре!
Смотрите на эту серую мордочку!

(Указывает на ребенка.)

Как вы обращаетесь с подобными себе?!
Нет у вас жалости
К плоду вашего же тела.
Нет у вас, несчастные,
сочувствия к самим себе.
Ну, так хоть я буду сама защищать свое.
Я стану тигрицей. Да, с того часа,
Как я все это увидала, я хочу
Отделиться от вас.
Не успокоюсь до тех пор,
Покуда не спасу своего сына,
Хотя бы его одного.
Мой сын, тебе должно послужить все то,
Чему меня учили обманом или кулаком
В моей школе, в канаве!
Мой сын, лишь для тебя я буду доброй,
А для других — тигрицей, диким зверем,
Раз так должно быть.
А должно быть — так!

(Уходит, чтобы превратиться в двоюродного брата.)

Ш е н Т е *(уходя)*. Придется еще раз, последний раз, надеюсь. *(Берет с собой штаны Шуи Та. Возвратившаяся Шин с любопытством смотрит ей вслед. Входят невестка и дедушка.)*

Н е в е с т к а. Лавка заперта, скарб во дворе! Это конец!

Ш и н. Последствия легкомыслия, чувственности и эгоизма! Куда она катится? Вниз! В бараки господина Шу Фу, к вам!

Невестка. Ну, она будет поражена! Мы пришли жаловаться! Сырые крысиные норы с прогнившим полом. Цирюльник дал их только потому, что там заплесневели его запасы мыла. «У меня есть для вас убежище, что вы на это скажете?» — «Как вам не стыдно?!» — отвечаем мы на это.

Входит безработный.

Безработный. Верно, что Шен Те уезжает?

Невестка. Да. Она хотела ускользнуть, чтобы об этом не узнали.

Шин. Ей стыдно за свое разорение.

Безработный *(взволнованно)*. Нужно вызвать двоюродного брата! Посоветуйте ей позвать его! Он один может кое-что предпринять.

Невестка. Верно, верно. Он, правда, скуп, но, во всяком случае, спасет ее лавку, тогда и нам легче станет.

Безработный. Я думал о ней, а не о нас. Но, это верно, даже ради нас его нужно позвать.

Входит Ванг со столяром. Он ведет за руки двух детей.

Столяр. Я действительно не могу достаточно отблагодарить вас. *(Остальным.)* Нам обещали квартиру.

Шин. Где?

Столяр. В домах господина Шу Фу! Это событие произошло из-за маленького Фенга. «Тут кто-то просит убежища!» — сказала Шен Те и сразу же раздобыла нам жилье. Поблагодарите вашего брата.

Столяр и его дети весело кланяются ребенку.

Благодарим тебя, вымоливший прибежище!

Входит Шуи Та.

Шуи Та. Можно узнать, что вам всем здесь надо?

Безработный. Господин Шуи Та!

Ванг. Добрый день, господин Шуи Та. Я не знал, что вы вернулись. Вам известен столяр Лин То. Мадемуазель Шен Те обещала ему убежище в домах господина Шу Фу.

Шуи Та. Дома господина Шу Фу несвободны.

Столяр. Значит, мы не можем поселиться там?

Шуи Та. Нет. Эти помещения предназначены для других целей.

Невестка. Значит, и нам надо выселиться оттуда?

Шуи Та. Боюсь, что да.

Невестка. Но куда же нам всем податься?

Шуи Та *(пожимая плечами)*. Насколько я понял мадемуазель Шен Те, она не собирается оставить вас без помощи. Но в будущем все должно быть устроено несколько разумнее. Раздача пищи без взаимных услуг прекращается. Вместо этого каждому будет дана возможность, честно работая, снова подняться на поверхность. Шен Те решила дать всем вам работу. Кто из вас хочет сейчас последовать за мной в дома Шу Фу, тот не вернется с пустыми руками.

Невестка. Это должно означать, что мы все будем работать на Шен Те?

Шуи Та. Да. Вы будете обрабатывать табак. Там в комнате лежат три тюка. Возьмите их!

Невестка. Не забывайте, что и мы были самостоятельными торговцами и предпочитаем работать для самих себя, у нас есть свой собственный табак.

Ш у и Т а *(безработному и столяру)*. А вы как? Будете работать для Шен Те? Ведь у вас нет собственного табака!

Столяр и безработный с недовольным видом входят в комнату. Появляется домовладелица.

Д о м о в л а д е л и ц а. Ну, господин Шуи Та, как дела с продажей? Вот триста серебряных долларов.

Ш у и Т а. Госпожа Ми Тци, я решил не продавать лавку, а подписать контракт на аренду.

Д о м о в л а д е л и ц а. Что? Вы не нуждаетесь больше в деньгах для летчика?

Ш у и Т а. Нет.

Д о м о в л а д е л и ц а. И у вас есть деньги для платы за помещение?

Ш у и Т а *(берет с тележки чек цирюльника и заполняет его)*. Вот чек на десять тысяч серебряных долларов, выданный господином Шу Фу, который интересуется моей кузиной. Убедитесь, госпожа Ми Тци! Двести серебряных долларов за помещение на ближайшие полгода будут в ваших руках еще до шести часов вечера. А теперь, госпожа Ми Тци, разрешите мне продолжать работу. Я очень занят сегодня и прошу меня извинить.

Д о м о в л а д е л и ц а. Ах, понимаю, господин Шу Фу идет по стопам летчика! Десять тысяч серебряных долларов! Все же я удивляюсь непостоянству и легкомыслию современных молодых девушек, господин Шуи Та. *(Уходит.)*

Столяр и безработный вносят мешки.

С т о л я р. Не знаю, почему я должен тащить ваши мешки.

Ш у и Т а. Достаточно с вас, что я это знаю. Ваш сын обнаруживает здоровенный аппетит. Он хочет есть, господин Лин То!

Н е в е с т к а *(видит мешки)*. Здесь был мой шурин?

Ш и н. Да.

Н е в е с т к а. Только что... Я узнаю эти мешки, это наш табак!

Ш у и Т а. Не советую говорить об этом так громко. Табак мой, это видно хотя бы из того, что он находится у меня. Если вы сомневаетесь, мы можем отправиться в полицию и рассеять ваши сомнения. Пойдем?

Н е в е с т к а *(сердито)*. Нет.

Ш у и Т а. Кажется, у вас все-таки нет собственного табака. Может быть, в этих условиях вы ухватитесь за спасительную руку, протянутую вам мадемуазель Шен Те? А теперь сделайте мне одолжение и покажите дорогу к домам господина Шу Фу.

Взяв самого младшего ребенка столяра за руку, Шуи Та уходит. За ним следуют столяр, его остальные дети, невестка, дедушка и безработный. Невестка, столяр и безработный тащат мешки.

В а н г. Он неплохой человек, но Шен Те — хорошая.

Ш и н. Не знаю. На бельевой веревке не хватает пары штанов. Их носит двоюродный брат. Это что-нибудь да значит, любопытно узнать — что?

Входят оба старика.

С т а р у х а. Здесь нет мадемуазель Шен Те?

Ш и н *(рассеянно)*. Уехала.

С т а р у х а. Странно. Она собиралась принести кое-что нам.

В а н г *(с горестным видом смотрит на свою руку)*. И мне она собиралась помочь. Моя рука все больше немеет. Шен Те, наверное, скоро вернется. Ее двоюродный брат обычно не задерживается здесь надолго.

Ш и н. Да, не правда ли?

ИНТЕРМЕДИЯ

Ночлег Ванга.

Музыка. Во сне водонос сообщает богам свои опасения. Боги все еще продолжают свое путешествие. Они кажутся утомленными. Они задержались на ходу и повернули головы к водоносу.

В а н г. До тех пор, пока меня не разбудило ваше появление, мудрейшие, я видел во сне свою милую сестру Шен Те, погруженную в печаль. Она стояла среди тростников у реки в том месте, где находят самоубийц. Она странно покачивалась, а затылок ее был наклонен, словно она тащила что-то мягкое, но тяжелое, что тянуло ее в тину. Когда я окликнул ее, она ответила мне, что должна перенести на другой берег целый тюк письменных предписаний, чтобы он не промок, — иначе сотрутся письмена. Вернее сказать, я ничего не видел на ее плечах. Но в испуге я вспомнил, что вы, боги, внушали ей великие добродетели в благодарность за то, что она приютила вас у себя тогда, когда вы не могли найти ночлега — какой позор! Я уверен, вы понимаете мой страх!

Т р е т и й б о г. Что ты предлагаешь?

В а н г. Уменьшить количество предписаний, мудрейшие. Облегчить кипы предписаний, учитывая тяжелые времена, о милосердные!

Т р е т и й б о г. Что же именно, Ванг, что же именно?

В а н г. Если бы, например, вместо любви... достаточно было простой благосклонности или...

Т р е т и й б о г. Но ведь это еще тяжелее, ах ты, несчастный!

В а н г. Или снисходительность вместо справедливости.

Т р е т и й б о г. Но сколько это задаст всем работы!

В а н г. И обычную порядочность вместо чести!

Т р е т и й б о г. Но ведь это еще больше, ты — сомневающийся!

Устало бредут дальше.

8

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА ШУИ ТА

В бараках господина Шу Фу Шуи Та устроил небольшую табачную фабрику. Помещение за решеткой битком набито людьми. Особенно много женщин и детей. Среди них — невестка, дедушка, столяр и его дети. Перед ними появляется госпожа Янг в сопровождении своего сына Суна.

Г о с п о ж а Я н г *(публике)*. Я должна вам рассказать, как мой сын благодаря мудрости и строгости всеми уважаемого господина Шуи Та превратился из опустившегося человека в полезного. Как известно всему кварталу, господин Шуи Та открыл недалеко от скотобойни небольшую, но быстро расцветшую табачную фабрику. Три месяца назад я была вынуждена обратиться к нему. Он принял меня вместе с моим сыном после недолгого ожидания.

Вышедший из фабрики Шуи Та подходит к госпоже Янг.

Ш у и Т а. Чем могу служить, госпожа Янг?

Г о с п о ж а Я н г. Господин Шуи Та, я пришла просить вас за сына. Сегодня утром у нас была полиция, и нам сказали, будто вы подали жалобу от имени мадемуазель Шен Те за нарушение брачного контракта и получение обманом двухсот серебряных долларов.

Шуи Та. Совершенно верно, госпожа Янг.

Госпожа Янг. Господин Шуи Та, ради всех богов, еще раз окажите милосердие. Деньги истрачены. Он промотал их за два дня, когда провалился план с должностью летчика. Я знаю, он негодяй. Он продал было даже мою мебель и собирался уехать в Пекин без своей старой мамы. *(Плачет.)* Мадемуазель Шен Те была о нем когда-то хорошего мнения.

Шуи Та. Что вы имеете мне сказать, господин Янг Сун?

Сун *(мрачно)*. У меня нет больше денег.

Шуи Та. Госпожа Янг, из-за слабости, которую по каким-то непонятным для меня причинам моя кузина питала к вашему опустившемуся сыну, я готов еще раз помочь ему. Шен Те надеется, как она мне сказала, что честная работа исправит его. Я предоставляю ему место на моей фабрике. Постепенно из его заработной платы будут удержаны двести серебряных долларов.

Сун. Значит, или каталажка, или фабрика?

Шуи Та. Выбор за вами.

Сун. А с Шен Те я получу возможность переговорить?

Шуи Та. Нет.

Сун. Где мое рабочее место?

Госпожа Янг. Тысяча благодарностей, господин Шуи Та! Вы бесконечно добры, и боги наградят вас. *(Суну.)* Ты сошел с правильного пути, сын мой, попробуй теперь честным путем добиться такого положения, чтоб не стыдно было смотреть в глаза своей матери.

Сун следует за Шуи Та на фабрику. Госпожа Янг возвращается к рампе.

Первые недели Суну было трудно. Работа не нравилась ему, а случая показать себя не представлялось. Только на третьей неделе ему посчастливилось. Он и бывший столяр Лин То должны были тащить тюки с табаком.

Сун и бывший столяр Лин То тащат каждый по два тюка табаку.

Бывший столяр *(кряхтя и охая, останавливается и садится на тюк)*. Я больше не в силах. Я недостаточно молод для такой работы.

Сун *(тоже садится)*. Почему ты не швырнешь им эти тюки в рожу?

Бывший столяр. А дальше что? Для того, чтобы хоть как-нибудь прожить, я принужден даже детей запрягать. О если бы это видела мадемуазель Шен Те! Она была добрая.

Сун. Да, она была не из худших. Хотел бы я знать, где она. Ну, давай-ка лучше работать — обычно он является в это время.

Встают.

(Сун видит приближающегося Шуи Та.) Дай мне свой мешок, калека! *(Сун подымает еще мешок Лин То)*.

Бывший столяр. Вот спасибо! Ах, если бы она была здесь и видела, что ты помог старому человеку, она отнеслась бы к тебе хорошо. Да-да...

Входит Шуи Та.

Госпожа Янг. Господин Шуи Та, конечно, сразу увидел, что такое настоящий рабочий, который по-настоящему относится к работе. И, конечно, вмешался.

Шуи Та. Стойте, вы! Что тут происходит? Почему ты несешь только один мешок?

Бывший столяр. Я немного устал сегодня, господин Шуи Та, и Янг Сун был так добр...

Шуи Та. Ты вернешься назад и возьмешь три тюка, дружок. Что может Янг Сун, можешь и ты. Янг Сун старается, а ты?

Госпожа Янг *(в то время как бывший столяр берет еще два тюка)*. Ни одного слова, конечно, не было сказано Суну, но господин Шуи Та уже получил представление о нем, и в следующую субботу при выплате заработной платы...

Ставят стол, и входит Шуи Та с мешочком денег. Стоя рядом с надсмотрщиком — бывшим безработным, — он выплачивает заработную плату. К столу подходит Сун.

Надсмотрщик. Янг Сун — шесть серебряных долларов.

Сун. Простите, здесь может быть только пять. Только пять серебряных долларов. *(Берет лист, который держит надсмотрщик.)* Взгляните, пожалуйста, здесь отмечено шесть рабочих дней, в то время как один из них я провел в суде. *(Лицемерно.)* Я не желаю получать того, что мне не причитается, даже при такой мизерной плате.

Надсмотрщик. Значит, пять серебряных долларов! *(Шуи Та.)* Редкий случай, господин Шуи Та!

Шуи Та. Как могло быть записано шесть дней, раз он работал пять?

Надсмотрщик. По всей вероятности, я ошибся, господин Шуи Та. *(Суну, холодно.)* Больше этого не случится.

Шуи Та *(отводит Суна в сторону)*. Я недавно заметил, что вы сильный человек и не скрываете этого от фирмы. Сегодня я убедился, что вы еще и честный человек. Часто случается, что надсмотрщик ошибается в ущерб фирме?

Сун. У него знакомые среди рабочих — они считают его своим.

Шуи Та. Понимаю. Услуга за услугу. Можете получить вознаграждение.

Сун. Нет. Но если бы вы захотели... обратить внимание на то, что я еще и интеллигентный человек. Я — быть может, вам это известно — получил некоторое образование. Надсмотрщик хорошо относится к рабочим, но он, как человек необразованный, не в состоянии понять интересов фирмы. Прошу вас, неделю испытательного срока, господин Шуи Та. Постараюсь доказать вам, что мои умственные силы пригодятся фирме больше, чем физические.

Госпожа Янг. Это были смелые слова, но в тот вечер я сказала своему Суну: «Ты летчик. Покажи и там, где ты теперь находишься, что можешь подняться ввысь! Лети, мой сокол!» На самом деле, чего только не создадут образование и ум! Разве без них попадешь в число лучших людей? Мой сын творил настоящие чудеса на табачной фабрике господина Шуи Та!

Сун стоит, широко расставив ноги, позади работающих Они передают друг другу через головы корзину листового табака.

Сун. Эй вы, что это за работа? Разве корзйну так передают? Живее! *(Ребенку.)* А ты почему не сядешь на пол — место освободится! Тебе сподручнее, кроме того, и прессовать, эй ты, там! Ленивые собаки, за что только мы платим вам деньги? Быстрее, говорю! Ко всем чертям! Деда посадить в сторону, пускай он теребит вместе с детьми! Изленился он тут! Ну, все в такт! *(Хлопает в такт в ладоши, и корзина движется быстрее.)*

Госпожа Янг. И ни вражда, ни брань необразованных людей — а в этом не было недостатка — не удержали моего сына от исполнения своего долга!

Один из рабочих запевает песню о восьмом слоне. Другие подтягивают припев.

ПЕСНЯ О ВОСЬМОМ СЛОНЕ

I

Семерых слонов имеет господин.
Сверх того — восьмым он обладает.
Семеро дики. Восьмой — ручной.
Он за семерыми наблюдает.
Рысью, побыстрей!
Ни пня не оставлять в лесу!
Вы все должны раскорчевать,
А ночь уж на носу!

II

Семеро слонов корчуют лес.
На восьмом их господин гарцует.
Целый день-деньской наблюдал восьмой,
Как они, усердно ли корчуют.
Тащите побыстрей!
Ни пня не оставлять в лесу!
Вы все должны раскорчевать,
А ночь уж на носу.

III

Семеро слонов больше не хотят,
Больше к пням они не подступают.
Господин пришел. Был он очень зол.
Он восьмому рису подсыпает.
Как это понять?
Ни пня не оставлять в лесу!
Вы все должны раскорчевать,
А ночь уж на носу!

IV

Семеро слонов лишены клыков.
Только у восьмого клык остался.
Он к слонам идет. Смертным боем бьет.
Господин увидел — засмеялся.
Тащите побыстрее!
Ни пня не оставлять в лесу!
Вы все должны раскорчевать,
А ночь уж на носу!

Спокойно прохаживаясь и куря сигару, Шуи Та выходит вперед. Янг Сун, смеясь, подпевает припев третьей строфы и в последней строфе, хлопая в ладоши, ускоряет темп.

Госпожа Янг. Мы просто не знаем, как нам благодарить господина Шуи Та. Почти без всякой помощи, одной лишь строгостью и мудростью, он извлек из Суна все хорошее, что в нем было! Он не давал никаких фантастических обещаний, подобно его хваленой кузине, но заставлял его честно работать. И сейчас Суна не узнать. Он совсем другой, чем еще три месяца назад! Вы, надеюсь, согласитесь со мной! Недаром старики говорят: «Благородный, что колокол, если ударять в него — зазвучит, если не ударять — звучать не будет».

9

ТАБАЧНАЯ ЛАВКА ШЕН ТЕ

Лавка превратилась в контору с глубокими креслами и красивыми коврами. Идет дождь. Потолстевший Шуи Та прощается с супружеской парой, торгующей коврами. Шин с удовольствием наблюдает за ними. Бросается в глаза, что она одета во все новое.

Шуи Та. Сожалею, но не могу сказать, когда она вернется.

Старуха. Сегодня мы получили письмо. В него были вложены двести серебряных долларов, которые мы когда-то ей одолжили. Отпра-

витель не указан. Но письмо, конечно, от Шен Те. Нам хотелось бы написать ей. Какой ее адрес?

Шуи Та. И этого я, к сожалению, не знаю.

Старик. Идем.

Старуха. Когда-нибудь должна же она возвратиться!

Шуи Та кланяется. Старики уходят, неуверенные и обеспокоенные.

Шин. Деньги пришли слишком поздно. Они потеряли свою лавку, потому что не заплатили налогов.

Шуи Та. Почему они не обратились ко мне?

Шин. К вам обращаются неохотно. Вначале они ждали, что вернется Шен Те, ведь у них с ней не было никакого письменного соглашения. В критические дни у старика началась лихорадка, и его жена день и ночь сидела возле него.

Шуи Та *(вынужден сесть, так как ему становится плохо)*. У меня снова кружится голова.

Шин *(хлопочет около него)*. Вы на седьмом месяце! Волнения вредны для вас. Радуйтесь, что я здесь. Никто не может обойтись без человеческой помощи. В трудную минуту я буду около вас. *(Смеется.)*

Шуи Та *(слабо)*. Могу ли я рассчитывать на это, госпожа Шин?

Шин. А как же! Это, конечно, будет стоить какую-нибудь там мелочь. Расстегните воротник, и вам станет легче.

Шуи Та *(жалобно)*. Ведь это только для ребенка, госпожа Шин.

Шин. Все для ребенка.

Шуи Та. Только я слишком быстро полнею. Боюсь, уже заметно.

Шин. Это объясняют благополучием.

Шуи Та. А что будет с маленьким?

Шин. Три раза на день вы об этом спрашиваете. За ним будет хороший уход. Лучший, какой только возможен за золото.

Шуи Та. Да. *(Боязливо.)* Он никогда не должен видеть Шуи Та.

Шин. Никогда. Одну только Шен Те.

Шуи Та. Но слухи в квартале! Водонос со своей болтовней. За лавкой следят!

Шин. Пока не узнал цирюльник, ничего еще не потеряно. Глотните воды.

Входит Сун в элегантном костюме с портфелем делового человека. Он с удивлением видит Шуи Та в объятиях Шин.

Сун. Я, кажется, помешал?

Шуи Та *(подымается с трудом и, шатаясь, идет к двери)*. До завтра, госпожа Шин.

Шин, натягивая перчатки, уходит, улыбаясь.

Сун. Перчатки! Откуда, как, зачем? Смотрите, не окручивает ли она вас? *(Так как Шуи Та не отвечает.)* Неужели и вы подвержены нежным чувствам? Смешно. *(Достает листок из портфеля.)* Во всяком случае, вы в последнее время не на вашей прежней высоте. Причуды. Неуверенность. Вам нездоровится? Дело страдает из-за этого. Вот опять бумажка из полиции. Они грозят закрыть фабрику. Говорят, что в крайнем случае разрешат пребывание в одном помещении не больше чем двойному числу людей сверх дозволенного законом. Пора, наконец, что-нибудь предпринять, господин.

Шуи Та растерянно смотрит на него минуту. Затем уходит в комнату и возвращается со свертком. Достает из него новую шляпу-котелок и бросает на письменный стол.

Шуи Та. Фирма желает, чтобы ее уполномоченные имели представительный вид.

Сун. Неужели вы купили для меня?

Шуи Та *(равнодушно)*. Примерьте, к лицу ли он вам.

Сун удивленно смотрит и надевает шляпу. Шуи Та поправляет котелок.

Сун. Я ваш слуга, но не уклоняйтесь в сторону. Сегодня вам предстоит обсудить с цирюльником новый проект.

Шуи Та. Цирюльник ставит невыполнимые условия.

Сун. Если бы вы мне, наконец, доверили, какие это условия.

Шуи Та *(уклончиво)*. Бараки вполне удовлетворительны.

Сун. Для сброда, который там работает, но не для табака. Он сыреет. Я поговорю с Ми Тци об ее помещении еще до заседания. Когда мы его получим, то сможем выпустить в свет наши сигареты «Проси за меня», «Обломки» и «Пни». Пока что они не слишком хороши. За чашкой чаю я гладил Ми Тци ее жирные колени, и помещение обойдется нам в полцены.

Шуи Та *(резко)*. Нет. Я требую, престиж фирмы требует, чтобы вы вели себя сдержанно и холодно, как подобает деловому лицу.

Сун. Почему вы так раздражаетесь? Неужели из-за этих слухов?

Шуи Та. Меня не беспокоят слухи.

Сун. Значит, это снова дождь. Каждый раз, когда идет дождь, вы становитесь раздражительным и меланхоличным. Хотелось бы знать, почему.

Голос Ванга *(с улицы)*.

Гром гремит, и дождик льется,
Ну, а я водой торгую,
А вода не продается
И не пьется ни в какую.

Я кричу: «Воды купите!»
Но никто не покупает.
В мой карман за эту воду
Ничего не попадает.

Сун. Это проклятый водонос. Сейчас он снова начнет свою травлю.

Голос Ванга *(с улицы)*. Неужели в городе не осталось ни одного хорошего человека? Даже здесь, где жила добрая Шен Те? Где она, которая много месяцев назад в дождливый день с радостным сердцем купила у меня кружку воды? Где она теперь? Неужели никто не видел ее? Не слышал о ней? Однажды вечером она вошла в этот дом и больше уже не выходила из него.

Сун. Не заткнуть ли ему, наконец, глотку? Ему-то какое дело, где она! Впрочем, если на то пошло, вы не говорите этого только потому, чтобы не узнал я.

Ванг *(входит)*. Господин Шуи Та, я снова спрашиваю вас, когда вернется Шен Те. Шесть месяцев прошло с тех пор, как она уехала. *(Так как Шуи Та молчит.)* За это время здесь было многое, чего не было бы в ее присутствии. *(Так как Шуи Та продолжает молчать.)* Господин Шуи Та, ходят слухи, что с Шен Те что-то случилось. Ее друзья встревожены. Будьте любезны дать нам ее адрес.

Шуи Та. К сожалению, у меня сейчас нет времени, господин Ванг. Приходите на следующей неделе.

Ванг *(взволнованно)*. От людей не укрылось и то, что рис, который раньше получали нуждающиеся, снова стал появляться у дверей.

Шуи Та. И какие выводы делают из этого?

Ванг. Что Шен Те вообще не уезжала.

Шуи Та. А что же? *(Так как Ванг молчит.)* Тогда я отвечу вам.

Она уехала навсегда. Если вы друг Шен Те, господин Ванг, спрашивайте возможно меньше о ее местопребывании. Вот вам мой совет.

В а н г. Хорошенький совет! Господин Шуи Та, Шен Те поделилась со мной перед своим исчезновением — она беременна!

С у н. Что?

Ш у и Т а *(быстро)*. Ложь!

В а н г *(очень серьезно, Шуи Та)*. Господин Шуи Та, не думайте, что друзья Шен Те когда-либо перестанут спрашивать о ней. Доброго человека забыть нелегко — их не так много. *(Уходит.)*

Шуи Та изумленно смотрит ему вслед. Потом быстро уходит в комнату.

С у н *(в публику)*. Шен Те беременна! Я вне себя! Я обманут! Она вероятно, сказала об этом своему двоюродному брату, а этот прохвост, конечно, тотчас же спровадил ее. «Уложи свои вещи и исчезни, пока отец ребенка ничего не знает». Но это противоестественно! Бесчеловечно! У меня сын. В мире должен появиться еще один Янг! И что же происходит? Девушка исчезает, а меня заставляют здесь работать как проклятого. *(Приходит в ярость.)* Нет, шляпой не отделаешься! *(Топчет шляпу ногами.)* Преступник! Разбойник! Похититель детей! А девушка лишена защитника! *(Из комнаты доносится всхлипывание.)* Кажется, там плачут! Кто же это? Перестали. *(Прислушивается.)* Нет, кто-то всхлипывает. Не рыдает же эта отъявленная собака Шуи Та! Кто же тогда? И что означает появление риса у дверей? Возможно ли, чтоб девушка была здесь? Неужели он ее прячет? Кто же еще может там плакать? Вот это был бы сюрприз! Если только она беременна, я должен непременно разыскать ее!

Шуи Та возвращается из комнаты. Он подходит к дверям и смотрит на дождь.

С у н. Итак, где она?

Ш у и Т а *(поднимает руку и прислушивается)*. Одну минуту! Уже девять часов. Но почему-то ничего не слышно. Слишком сильный дождь.

С у н *(иронически)*. Что вы хотите услышать?

Ш у и Т а. Почтовый самолет.

С у н. Шутки!

Ш у и Т а. Когда-то, говорят, вы хотели летать? Разве вы потеряли интерес к этому?

С у н. Я не жалуюсь на мое теперешнее положение, если вы это имеете в виду. Признаться, я не люблю ночной службы. А почтовые самолеты летают ночью. Фирма, так сказать, вросла в мое сердце. Как-никак, это все же фирма моей бывшей невесты, если она даже и уехала. Ведь она уехала?

Ш у и Т а. Почему вы спрашиваете?

С у н. Потому что ее дела мне все еще не безразличны.

Ш у и Т а. Это могло бы заинтересовать мою кузину.

С у н. Ее дела занимают меня, во всяком случае, до такой степени, что я не могу закрывать глаза, если ее лишают, например, свободы передвижения.

Ш у и Т а. Кто лишает ее?

С у н. Вы!

Пауза.

Ш у и Т а. Как бы вы поступили в подобном случае?

С у н. Я, пожалуй, прежде всего стал бы спорить о своем положении в фирме.

Шуи Та. Ах, так! И если бы фирма, то есть я, предоставила вам соответствующее место, можно ли было бы рассчитывать, что вы прекратите дальнейшие расспросы о вашей бывшей невесте?

Сун. Не исключается.

Шуи Та. А как вы себе представляете свое новое положение в фирме?

Сун. Доминирующим. Я думаю, например, о том, чтобы выбросить вас.

Шуи Та. А если фирма вместо меня выбросила бы вас?

Сун. Тогда бы я, вероятно, возвратился, но не один.

Шуи Та. А с кем?

Сун. С полицией.

Шуи Та. С полицией... Допустим, что полиция здесь никого не нашла бы?

Сун. Она, вероятно, осмотрела бы ту комнату! Господин Шуи Та, тоска по даме моего сердца становится неутолимой. Я чувствую, что должен предпринять что-то, чтобы снова обрести возможность заключить ее в свои объятия. *(Спокойно.)* Она беременна и нуждается в том, чтобы возле нее был человек. Мне нужно посоветоваться об этом с водоносом. *(Уходит.)*

Шуи Та неподвижно смотрит ему вслед. Затем быстро уходит обратно в комнату. Приносит различные вещи Шен Те — белье, платья, предметы туалета. Долго смотрит на шаль, которую Шен Те купила у торговцев коврами. Затем связывает все вместе в узел и, заслышав шаги, прячет под стол. Входят домовладелица и господин Шу Фу. Они приветствуют Шуи Та, снимают калоши и кладут зонтики.

Домовладелица. Наступает осень, господин Шуи Та.

Господин Шу Фу. Меланхолическое время года!

Домовладелица. А где ваш очаровательный доверенный? Ужасный покоритель дамских сердец! Вы, наверное, не знаете его с этой стороны. Представьте себе, он отлично сочетает обаяние с деловыми обязанностями, что для вас только выгодно.

Шуи Та *(кланяется)*. Садитесь, пожалуйста.

Садятся и закуривают.

Друзья мои, непредвиденный случай, чреватый известными последствиями, заставляет меня ускорить переговоры, которые я недавно начал вести о будущем моего предприятия. Господин Шу Фу, моя фабрика в затруднительном положении.

Господин Шу Фу. Как всегда.

Шуи Та. Но сейчас полиция открыто угрожает закрыть ее, если я не смогу сослаться на переговоры о новом объекте. Господин Шу Фу, речь идет об единственной собственности моей кузины, к которой вы всегда проявляли повышенный интерес.

Господин Шу Фу. Господин Шуи Та, я испытываю крайние трудности при обсуждении ваших постоянно расширяющихся проектов. Я говорю о небольшом ужине с вашей кузиной, а вы намекаете на финансовые операции. Я предоставляю в распоряжение вашей кузины дома для бездомных, а вы устраиваете в них фабрику. Я передаю ей чек, вы предъявляете его. Ваша кузина исчезает, вы желаете получить сто тысяч серебряных долларов, давая понять при этом, что мои дома слишком для вас малы. Господин Шуи Та, где ваша кузина?

Шуи Та. Господин Шу Фу, успокойтесь. Могу вас обнадежить — она скоро вернется.

Господин Шу Фу. Скоро? Когда же? Я слышу от вас «скоро» уже несколько недель.

Шуи Та. Я не требовал от вас новых подписей. Единственное, о чем я вас спросил, заинтересуетесь ли вы моим проектом, если моя кузина возвратится.

Господин Шу Фу. Я вам говорил тысячу раз, что с вами мне больше нечего обсуждать, с вашей кузиной, напротив, я готов обсуждать все. Но у меня впечатление, что вы намерены препятствовать такой беседе.

Шуи Та. Больше не намерен.

Господин Шу Фу. Когда же она состоится?

Шуи Та *(неуверенно)*. Месяца через три.

Господин Шу Фу *(сердито)*. Месяца через три я дам свою подпись.

Шуи Та. Все же нужно подготовиться.

Господин Шу Фу. Вы успеете подготовиться, Шуи Та, если уверены, что ваша кузина на этот раз действительно приедет.

Шуи Та. Госпожа Ми Тци, согласны ли вы заверить полицию, что я получаю ваше фабричное помещение?

Домовладелица. Конечно, если вы предоставите мне своего доверенного. Вот уже несколько недель, как вам известно мое условие. *(Господину Шу Фу.)* Молодой человек старателен в деловом отношении, а я нуждаюсь в управителе.

Шуи Та. Должны же вы понять, что именно сейчас я не могу обойтись без господина Янг Суна при всех теперешних трудностях и при моем в последнее время столь пошатнувшемся здоровье! Я с самого начала был готов уступить вам его, но...

Домовладелица. Да, но...

Шуи Та. Хорошо, завтра он зайдет в вашу контору.

Господин Шу Фу. Приветствую такое решение, Шуи Та. Если бы мадемуазель Шен Те действительно возвратилась, присутствие здесь молодого человека оказалось бы в высшей степени неподходящим. Всем нам известно, какое пагубное влияние имел он на нее.

Шуи Та *(кланяясь)*. Несомненно. Простите мое продолжительное, недостойное делового человека колебание в обоих вопросах, касающихся моей кузины Шен Те и господина Янг Суна. Эти люди были близки когда-то.

Домовладелица. Мы вас извиняем.

Шуи Та *(глядя на дверь)*. Друзья мои, придем теперь к окончательному решению. Вместо этой, когда-то маленькой лавки, где бедняки квартала покупали табак доброй Шен Те, мы, ее друзья, решаем открыть двенадцать больших магазинов, в которых будет продаваться табак Шен Те. Мне рассказывали, что народ называет меня табачным королем Сезуана. На самом деле я руководил этим предприятием исключительно и только в интересах моей кузины. Оно будет принадлежать ей, ее детям и детям ее детей.

С улицы доносится шум толпы. Входят Сун, Ванг и полицейский.

Полицейский. Господин Шуи Та, возбужденное настроение жителей квартала, к сожалению, вынуждает меня расследовать заявление, поступившее из вашей собственной фирмы, о том, что вы лишили свободы свою кузину Шен Те.

Шуи Та. Это неправда.

Полицейский. Господин Янг Сун утверждает, что слышал рыдания в комнате позади вашей конторы, которые могли исходить только от особы женского пола.

Домовладелица. Смешно. Я и господин Шу Фу, уважаемые граждане этого города, показания которых полиция едва ли может взять под сомнение, говорим, что здесь никто не плакал. Мы спокойно курим свои сигары.

Полицейский. К сожалению, мне поручено осмотреть упомянутую комнату.

Шуи Та открывает дверь. Полицейский с поклоном переступает порог комнаты. Он заглядывает внутрь, потом поворачивается и улыбается.

Там действительно никого нет.

Сун (*подошедший к нему*). Да, но я слышал плач! (*Взгляд его падает на стол, под который Шуи Та засунул узел. Подбегает к нему.*) Этого раньше здесь не было! (*Развязывает узел, показывает платья Шен Те и другие вещи.*)

Ванг. Это вещи Шен Те! (*Бежит к двери и кричит.*) Нашли ее платья!

Полицейский (*берет вещи*). Вы заявляете, что ваша кузина уехала. Под вашим столом обнаружен спрятанный узел с ее вещами. Где девушка, господин Шуи Та?

Шуи Та. Я не знаю ее адреса.

Полицейский. Очень жаль, это осложняет дело.

Возгласы толпы. Нашли вещи Шен Те! Табачный король убил девушку!

Полицейский. Господин Шуи Та, я вынужден просить вас следовать за мной.

Шуи Та (*кланяется домовладелице и господину Шу Фу*). Прошу извинения за этот скандал, господа. Но в Сезуане есть еще судьи. Я уверен, что все быстро разъяснится. (*Выходит в сопровождении полицейского.*)

Ванг. Совершено ужасное преступление!

Сун (*потрясенный*). Я сам слышал плач!

ИНТЕРМЕДИЯ

Ночлег Ванга.

Музыка. В последний раз водоносу являются во сне боги. Они очень изменились. Ясно видны следы долгих странствий, глубокой усталости и многочисленных тяжелых переживаний. У одного сбита с головы шляпа, другой попал ногой в капкан для лисиц, все трое босы.

Ванг. Наконец-то вы появились! Ужасные вещи происходят в табачной лавке Шен Те, мудрейшие! Вот уже несколько месяцев, как она уехала. Все захватил двоюродный брат! Сегодня его арестовали. Говорят, он убил ее, чтобы завладеть лавкой. Но я этому не верю, потому что она явилась мне во сне и рассказала, что двоюродный брат держит ее в плену. О, мудрейшие, вы должны тотчас же вернуться и отыскать Шен Те.

Первый бог. Ужасно. Все наши поиски бесполезны. Мало мы нашли хороших людей, а те, которых мы нашли, живут неподобающе. Мы решили держаться Шен Те.

Второй бог. Если она все еще осталась доброй!

Ванг. Конечно, Шен Те добрая, но что из этого, если она исчезла?

Первый бог. Тогда все пропало.

Второй бог. Спокойствие.

Первый бог. Причем здесь спокойствие! Если мы ее не найдем, мы должны будем подать в отставку. О, что за мир предстал нашим глазам — повсюду бедствия, низость, измена! Даже природа изменилась.

Прекрасные деревья обезглавлены проволокой, по ту сторону гор виднеются густые облака дыма, слышится гром пушек, и ни одного хорошего человека, который способен был бы продержаться!

Третий бог. Ах, водонос, по-видимому, наши заповеди губительны! Боюсь, все правила нравственности, которые мы установили, должны быть вычеркнуты. У людей достаточно забот для того, чтоб хотя бы спасти свою жизнь. Хорошие намерения приводят их на край пропасти, а хорошие дела сбрасывают их вниз. *(Двум другим богам.)* Мир не приспособлен для жизни, вы должны это признать.

Первый бог *(горячо)*. Нет, люди ничего не стоят!

Третий бог. Потому что мир слишком холоден!

Второй бог. Потому что человек слишком беспомощен!

Первый бог. Не теряйте достоинства, дорогие, не теряйте достоинства!.. Нельзя отчаиваться, братья. Мы все же нашли одного, который был хорошим и не стал плохим. Он только исчез. Поспешим найти его. Одного достаточно. Разве мы не говорили, что все еще может наладиться, если найдется хотя бы один, который выдержит эту жизнь, хотя бы один!

Быстро исчезают.

10

ЗАЛ СУДА

Группы: господин Шу Фу и домовладелица. Сун и его мать. Ванг, столяр, дедушка, молодая проститутка, оба старика, Шин. Полицейский. Невестка.

Старик. Его власть слишком велика.

Ванг. Он открывает двенадцать новых лавок.

Столяр. Как может судья вынести справедливый приговор, если друзья подсудимого цирюльник Шу Фу и домовладелица Ми Тци — друзья судьи?

Невестка. Люди видели, как вчера вечером Шин по поручению господина Шуи Та принесла на кухню судьи жирного гуся. Жир протекал сквозь корзину.

Старуха *(Вангу)*. Нашу бедняжку Шен Те никогда больше не найдут.

Ванг. Да, только боги могут открыть истину.

Полицейский. Тише! Суд идет.

Входят три бога в судейских тогах. В то время как они идут вдоль рампы к своим местам, слышно, как они шепчутся.

Третий бог. Все выйдет наружу. Документация очень плохо подделана.

Второй бог. И люди будут раздумывать о том, почему у судьи внезапно расстроился желудок.

Первый бог. Нет, это естественно, ведь он съел полгуся.

Шин. Новые судьи!

Ванг. И очень хорошие!

Третий бог, идущий последним, слышит его слова, оборачивается и улыбается ему. Боги садятся. Первый бог ударяет молотком по столу. Полицейский вводит Шуи Та. Его встречают свистом, но он держится надменно.

Полицейский. Приготовьтесь к неожиданности. Это не судья Фу Ян Ченг. Однако новые судьи, по-видимому, тоже очень снисходительные.

Увидев богов, Шуи Та падает в обморок.

Молодая проститутка. Что такое? Табачный король упал в обморок.

Невестка. Да, при виде новых судей!

Ванг. Выходит, он знает их! Странно!

Первый бог. Вы крупный торговец табаком Шуи Та?

Шуи Та *(очень слабым голосом)*. Да.

Первый бог. Поступила жалоба, что вы устранили свою кузину, мадемуазель Шен Те, чтобы завладеть ее лавкой. Признаете ли вы себя виновным?

Шуи Та. Нет.

Первый бог *(перелистывая документы)*. Заслушаем прежде всего квартального полицейского — насчет того, какова репутация обвиняемого и репутация его кузины.

Полицейский *(выходит вперед)*. Мадемуазель Шен Те охотно помогала всем людям, как говорится, жила и давала жить другим. Господин Шуи Та, напротив, человек строгий. Добросердечие мадемуазель вынуждало его прибегать иногда к суровым мерам. Однако в противоположность девушке он всегда придерживался закона, ваша милость. Он разоблачил как воровскую шайку людей, которым его кузина дозерчиво предоставила убежище, а в другом случае в последний момент удержал Шен Те от ложной присяги. Господин Шуи Та известен мне как почтенный и почитающий законы гражданин.

Первый бог. Нет ли тут и других людей, которые согласились бы засвидетельствовать, что обвиняемый не мог совершить преступления, которое ему приписывают?

Выходят вперед господин Шу Фу и домовладелица.

Полицейский *(шепчет богам)*. Господин Шу Фу, очень влиятельный господин!

Господин Шу Фу. Господин Шуи Та считается в городе видным дельцом. Он является вторым председателем торговой палаты; в квартале, где он живет, его собираются выдвинуть на пост мирового судьи.

Ванг *(кричит)*. От вас! Вы обдёлываете с ним дела.

Полицейский *(шепотом)*. Отвратительный тип!

Домовладелица. Как председательница попечительного общества я хотела бы довести до сведения суда, что господин Шуи Та не только намеревается подарить людям самые лучшие помещения, светлые и здоровые, на своей табачной фабрике, но постоянно оказывал услуги нашему дому инвалидов.

Полицейский *(шепчет)*. Госпожа Ми Тци, близкая приятельница судьи Фу Ян Ченга!

Первый бог. Да-да, но теперь мы должны также заслушать, не скажет ли кто-нибудь что-либо менее похвальное об обвиняемом.

Выходят вперед Ванг, столяр, пожилая пара, безработный, невестка, молодая проститутка.

Полицейский. Подонки квартала!

Первый бог. Что вам известно о поведении Шуи Та?

Беспорядочные возгласы. Он разорил нас! Он вымогал у меня! Втягивал нас в скверные дела! Эксплуатировал беспомощных! Лгал! Обманывал! Убивал!

Первый бог. Обвиняемый, что вы на это ответите?

Шуи Та. Я ничего не сделал, кроме того, что спас от разорения мою кузину, ваша милость. Я приехал только тогда, когда обнаружилась

опасность, что она может потерять свою маленькую лавку. Мне пришлось приехать трижды. Ни разу я не собирался оставаться здесь. Обстоятельства сложились так, что в последний раз я задержался. Все это время я был погружен в заботы. Моя кузина была любима здесь, а что касается меня, то мне была предназначена грязная работа. Поэтому меня ненавидят.

Невестка. Вы и заслужили ненависть. Вспомните хотя бы нашего мальчика, ваша милость. *(Шуи Та.)* Я не хочу уже говорить о мешках.

Шуи Та. Почему бы нет? Почему бы нет?

Невестка *(богам)*. Шен Те дала нам пристанище, а он приказал арестовать нас.

Шуи Та. Вы воровали пироги.

Невестка. Можно подумать, что он заботится о булочнике! Он хотел захватить лавку.

Шуи Та. Лавка не ночлежка. Вы думали только о себе.

Невестка. Нам некуда было деваться!

Шуи Та. Вас было слишком много!

Ванг. И вы здесь! *(Указывает на обоих стариков.)* Они тоже думали о себе?

Старик. Мы вложили наши сбережения в лавку Шен Те. Почему ты лишил нас нашей лавки?

Шуи Та. Потому что моя кузина хотела помочь летать одному человеку. Мне ничего не оставалось, как раздобыть деньги!

Ванг. Этого, вероятно, хотела она, ты же искал выгоды! Лавка была для тебя недостаточно хороша.

Шуи Та. Арендная плата за лавку оказалась слишком высокой!

Шин. Это я могу подтвердить.

Шуи Та. А моя кузина не разбиралась в делах.

Шин. И это я могу подтвердить. Не говорю уже о том, что она была влюблена в летчика.

Шуи Та. Разве она не имела права любить?

Ванг. Конечно! Но ты заставлял ее выйти замуж за нелюбимого человека, за этого цирюльника?

Шуи Та. Выяснилось, что человек, которого она любила,— подлец.

Ванг. Этот? *(Показывает на Суна.)*

Сун *(вскакивает)*. И потому, что он подлец, ты взял его в свою контору!

Шуи Та. Чтоб исправить тебя! Чтоб исправить тебя!

Невестка. Чтоб сделать его погоняльщиком!

Ванг. А когда он исправился, разве ты не продал его вот этой? *(Указывает на домовладелицу.)* Она повсюду раструбила об этом!

Шуи Та. Она только тогда соглашалась дать мне помещение, когда он гладил ее колени!

Домовладелица. Ложь! Не смейте говорить мне о помещении! Никаких дел с вами, убийца! *(Оскорбленная, умолкает.)*

Сун *(решительно)*. Ваша милость, я должен сказать кое-что в его пользу.

Невестка. Разумеется, должен. Ведь ты служишь у него.

Безработный. Он самый низкий подстрекатель из всех, которые когда-либо существовали. Он — подонок.

Сун. Ваша милость, что бы там обвиняемый ни сделал со мной, он не убийца. За несколько минут до его ареста я слышал голос Шен Те из комнаты позади лавки.

Первый бог *(живо)*. Значит, она жива? Скажи нам точно, что ты слышал.

Сун *(торжественно)*. Плач, ваша милость, плач!

Третий бог. И ты ее узнал?

Сун. Безусловно. Разве я мог не узнать ее голос?

Господин Шу Фу. Да, ты достаточно часто заставлял ее плакать.

Сун. И все-таки я сделал ее счастливой. Но потом он *(указывает на Шуи Та)* решил продать ее тебе.

Шуи Та *(Суну)*. Потому что ты ее не любил!

Ванг. Нет. Ради денег!

Шуи Та. Причем здесь деньги, ваша милость? *(Суну)* Ты требовал, чтобы она пожертвовала всеми своими друзьями, а цирюльник предложил свои дома и деньги, чтобы помочь беднякам. И для того, чтобы она могла делать добро, я устроил ее помолвку с цирюльником.

Ванг. Почему же ты не допустил ее делать добро, когда был подписан крупный чек? Почему ты послал друзей Шен Те в грязные парильни твоей фабрики, табачный король?

Шуи Та. Это было сделано ради ребенка!

Столяр. А мои дети? Что ты сделал с моими детьми?

Шуи Та молчит.

Ванг. Теперь ты молчишь. Боги дали Шен Те лавку, как маленький источник добра. Она всегда старалась делать добро, а затем приходил ты и все уничтожал.

Шуи Та *(вне себя)*. Потому что иначе источник иссяк бы, дурак.

Шин. Это верно, ваша милость!

Ванг. Что пользы в источнике, если из него нельзя черпать?

Шуи Та. Добрые дела приносят разорение!

Ванг *(яростно)*. А плохие дела приносят благополучие, да? Что ты сделал с доброй Шен Те, гадкий ты человек? Много ли хороших людей можно еще найти, мудрейшие? А она была добрая! Когда вон тот сломал мне руку, она обещала быть моей свидетельницей. А сейчас я свидетельствую в ее пользу. Она была добрая, клянусь в этом. *(Он подымает руку для присяги)*.

Третий бог. Что у тебя с рукой, продавец воды? Она онемела.

Ванг *(показывает на Шуи Та)*. И в этом виноват он, только он. Она хотела дать мне денег на лечение, но пришел он. Ты был ее смертельным врагом!

Шуи Та. Я был ее единственным другом!

Все. Где она?

Шуи Та. Уехала.

Ванг. Куда?

Шуи Та. Не скажу!

Все. Но почему она должна была уехать?

Шуи Та *(кричит)*. Потому что иначе вы бы ее растерзали!

Внезапно наступает тишина.

Шуи Та *(падает на стул)*. Я больше не могу. Я хочу все открыть. Пусть останутся одни судьи, и я скажу.

Все. Он сознается! Он уличен!

Первый бог *(ударяет молоточком о стол)*. Очистить зал!

Полицейский очищает зал.

Шин *(смеется, уходя)*. Все будут поражены!

Шуи Та. Ушли? Все? Я не могу больше молчать. Я узнал вас, мудрейшие!

Второй бог. Что ты сделал с нашим добрым человеком из Сезуана?

Шуи Та. Позвольте же мне сознаться в ужасающей правде, ваш добрый человек — я!

Снимает маску и одежду Шуи Та. Перед судом стоит Шен Те.

Второй бог. Шен Те!

Шен Те. Да, это я. Шуи Та и Шен Те — они оба — это я.

Ваш единственный приказ
Быть хорошей и, тем не менее, жить,
Как молния, рассек меня на две половины.
Не знаю почему, но я не могла
Быть одновременно доброй к себе и другим.
Помогать и себе, и другим было слишком трудно.
Ах, ваш мир жесток! Слишком много нужды.
Слишком много отчаяния!
Пожимаешь руку бедняку, а он вырывает ее!
Помогаешь пропащему человеку — и пропадаешь сам!
Кто не ест мяса — умирает. Как же я могла
Не стать злой?
Откуда мне было взять все, что надо?
Только из самой себя.
А это значило — погибнуть.
Груз добрых намерений вогнял меня в землю,
Зато, когда я совершала несправедливость,
Я ела хорошее мясо и становилась сильной.
Наверное, есть какая-то фальшь в вашем мире.
Почему Зло в цене, а Добро в опале?
Ах, мне так хотелось счастья
И к тому же было во мне тайное знанье,
Так как моя приемная мать купала меня в канаве.
От этого у меня зрение стало острее,
Но состраданье терзало меня.
Я видела нищету, и волчий гнев охватывал меня,
И я чувствовала, что преображаюсь.
Рот мой превращался в рану,
А слова во рту были, как пепел.
И все же я охотно стала бы ангелом предместий.
Дарить — было моим наслаждением.
Я видела счастливое лицо — и чувствовала себя
На седьмом небе.
Проклинайте меня:
Все преступления я совершила,
Помогая своим соседям,
Любя своего любимого
И спасая от нужды своего сыночка.
Я — маленький человек и была слишком мала
Для ваших великих планов, боги.

Первый бог *(все указывает на то, что он в ужасе)*. Замолчи, несчастная! Что подумаем мы, счастливые, что нашли тебя?

Шен Те. Поймите же, что я и есть тот злой человек, о преступлениях которого вам здесь рассказали.

Первый бог. Тот добрый человек, о котором все говорили только доброе.

Шен Те. Нет, также и злой!

Первый бог. Недоразумение! Несколько несчастных случаев. Какие-то соседи, лишенные сердца! Просто перестарались!

Второй бог. Но как же ей жить дальше?

Первый бог. Она будет жить! Она сильная и крепкая и сумеет вынести многое.

Второй бог. Ты разве не слышал, что она сказала?

Первый бог *(горячо)*. Запутано, все очень запутано! Невероятно, очень невероятно! Неужели нам признать, что наши заповеди убийственны? Неужели нам отказаться от наших правил? *(Упрямо.)* Нет, ни-

когда! Признать, что мир должен быть изменен? Никогда! Как? Кем? Каким образом? Нет, все в порядке! *(Быстро ударяет молотком по столу, и по его знаку раздается музыка. Вспыхивает розовый свет).*

Позвольте нам возвратиться. Мы очень привязались
К этому мирку. Его радости и печали
То ободряли, то огорчали нас.
И все же там, под звездами, с радостью
Мы вспомним о тебе, Шен Те!
О добром человеке, не забывшем наши заветы,
Здесь, внизу,
Несшим свою маленькую лампу сквозь холодную тьму.
Прощай, будь счастлива!

По его знаку раскрывается потолок. Опускается розовое облако. Боги очень медленно поднимаются на нем вверх.

Шен Те. О, не уходите, мудрейшие! Не бросайте меня! Как мне смотреть в глаза добрым старикам, потерявшим свою лавку, и водоносу с искалеченной рукой? Как мне защитить себя от цирюльника, которого я не люблю, и от Суна, которого люблю? И чрево мое благословенно, ведь скоро появится на свет мой маленький сын и захочет есть! Я не могу оставаться здесь! *(Как затравленная, смотрит на дверь, в которую войдут ее мучители.)*

Первый бог. Сможешь. Старайся быть доброй, и все будет хорошо.

Входят свидетели. Они с удивлением видят плывущих на розовом облаке судей.

Ванг. Среди нас боги! Окажите им почет! Три высших бога пришли в Сезуан, чтобы найти доброго человека. Они нашли его, но...

Первый бог. Никаких «но»! Вот он!

Все. Шен Те!

Первый бог. Она не исчезла, она была только спрятана. Среди вас остается добрый человек!

Шен Те. Но мне нужен двоюродный брат!

Первый бог. Только не слишком часто!

Шен Те. Хотя бы раз в неделю.

Первый бог. Достаточно раз в месяц!

Шен Те. О, не удаляйтесь, мудрейшие! Я еще не все сказала! Вы мне так нужны!

Боги *(поют терцет).*

Мы не можем, к сожалению,
Оставаться больше здесь,
Быстролетное мгновение —
Вот и срок земной наш весь.
Чтобы женщины, чудесной
Как виденья, не вспугнуть,
Мы — бесплотны. Вы — телесны,
И у нас особый путь.
На земле вас покидаем
И в Ничто мы улетаем.

Шен Те. Помогите!

Боги.

Мы поиски на этом завершаем
И в небеса немедля улетаем.
Так славься же, отныне и вовек,
Из Сезуана добрый человек!

Между тем как Шен Те в отчаянии простирает к ним руки, они, улыбаясь и кивая, исчезают вверху.

ЭПИЛОГ

Перед занавесом появляется Актер и, извиняясь, обращается к публике с монологом.

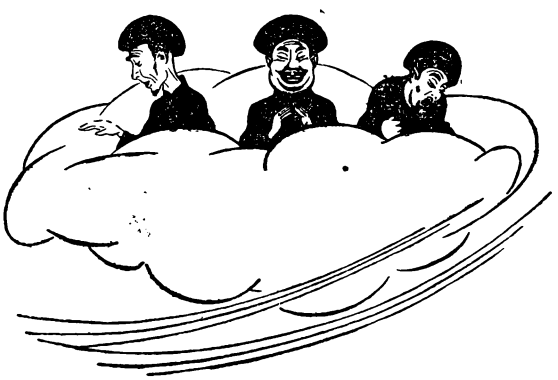
Актер.

О, публика почтенная моя!
Конец — неважный. Это знаю я.
В руках у нас прекраснейшая сказка
Вдруг получила скверную развязку.
Опущен занавес, и мы стоим в смущенье —
Не обрели вопросы разрешенья.
От вас вполне зависим мы притом:
За развлеченьем вы пришли в наш дом.
Провал нас ждет — без вашей похвалы!

Так в чем же дело? Что́ мы — не смелы?
Трусливы? Иль в искусстве ищем выгод?
Ведь должен быть какой-то верный выход?

За деньги не придумаешь — какой!
Другой герой? А если мир — другой?
А может, здесь нужны другие боги?
Иль вовсе без богов?
Молчу в тревоге.
Так помогите нам! Беду поправьте,
И мысль, и разум свой сюда направьте.
Попробуйте для доброго найти
К хорошему — хорошие пути.
Плохой конец — заранее отброшен.
Он должен,
должен,
должен быть хорошим!

Занавес.



Войтех Мигалик

Стихи

ПРИСЯГА

Сигнал полночный оборвал дремоту,
и возникает мерный гул в ушах.
Походный шаг. Уходят в полночь роты.
Винтовки на плечах и пулеметы.
В густую тьму идем, чеканя шаг.

Темнеют дали. Звезды над полями.
Каркасы новых строек высоки.
Заводов трубы высятся пред нами.
Страна в труде. Сквозь ночь мигает пламя,
неоновые светятся зрачки.

Дорога вьется. Мирно дышат дали.
Окутан мир безмолвием ночным.
Навес ветвей над орудийной сталью.
Нам ненавистна смерть! Мы жизни присягали,
и мы любовь оружьем защитим.

Пусть нашу землю горести покинут,
пусть города растут. Пройдут года,
и мы из пушек отольем машины.
Кровь дочери моей и слезы сына,
я верю, не прольются никогда.

Так будет. А пока без отговорок
бреди через болота и снега,
под небом спи, под ливнем стой в дозорах.
Да, мы должны хранить сухим свой порох,
и пусть бледнеет злобный лик врага.

Когда домой вернемся утром ранним
и пыль стряхнем с шинели боевой,
даль озарится золотым сияньем.
Мы будем сеять хлеб, у домен встанем
и будем строить коммунизм с тобой.

Перевод со словацкого Ал. Ревича.

ПРЕДВЕСЕННЕЕ

Город под лучами раскаленными
задымился вымокшими кленами.

Слушаю дунайских волн журчание,
вспоминаю милых глаз сияние.

На груди мальчишек жарче пламени
галстуки пылают цвета знамени...

Как все это было? Помню ясно я:
солнце на заре кроваво-красное,
влажная весна, и синь безбрежная,
и рука, горячая и нежная...

Слушаю волны дунайской пение,
а в душе течет тепло весеннее...

Где ты, робкая от непривычки,
жаркая рука без рукавички?

Перевод со словацкого Павла Грушко.

МАЛЬЧИК И ДЕРЕВО

— Скажи, отчего так растешь ты высоко?
— Я прямо из сердца героя расту.

— Плоды твои терпким напоены соком.
— Я кроной своей ухожу в высоту.

— Скажи мне, ты в поле одна не скучаешь?
— Тут милые шепчутся целую ночь.

— О чем же шумишь ты?
— Как видно, стара я.
Мне вспомнилось горе, а плакать невмочь.

— Поведай!
— Давно здесь бойца зарубили.
В могиле глубокой лежит он года.

— Зачем же ты здесь?
— Я была его милой
И вишней останусь цвести навсегда.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Вьются за окнами в небе зарницы.
Целую ночь я напрасно старался
Песню сложить; просыпаются птицы
С песней, а мне мой романс не удался.

Как перенять мне у пташки искусство
Песни слагать, чтоб звучало в них чувство?

Пташка поэту ответила так:
«Шире окно отвори, чудак!»

СОНЕТ
НА МИННЕЗИНГЕРСКИЙ МОТИВ

Мудреное ли дело —
Что не споем, расскажем,
Что разорвем, то свяжем.
Ведь песне нет предела.

Пусть странно, всех, поверьте,
Люблю и ненавижу,
И смерть в любви я вижу,
Но не боюсь я смерти.

Пурпурные одежды
Слезами заливаю
И не смыкаю вежды.

Но нынче, как и прежде,
Надеюсь без надежды.
Зачем — не понимаю.

ЕСЛИ НЕ СПИШЬ

Если не спишь, то взгляни, дорогая, —
В небе полуночном звезд хороводы.
Звездочку нашу всегда я узнаю,
Мне озаряет она все невзгоды.

Если уснула, то пусть тебе снится
Свет той звезды в вышине над нами,
И на тебя она не наглядится
Моими влюбленными глазами.

Перевод со словацкого Е. Аронович.

БУРЕВЕСТНИК

Рис. Николае Попеску (Румыния)

Петру Думитриу

Буревестник

РОМАН

Перевод с румынского М. Олсуфьева.

XVIII

„Октябрьская звезда» была спущена на воду в Любеке в 1902 году. Она перевозила уголь в Северном море, всякие грузы в Средиземном и вдоль берегов Африки, потом опять уголь, но уже в китайских водах, а иногда вместо угля, оружие и боеприпасы. Названия парохода и флаг, под которым он плавал, менялись в зависимости от национальности владельца. За свое полувековое существование судно называлось и «Теодора», и «Пунта Дельгада», и «Стертебекер», и разными другими именами. Избороздив холодные серые воды Северного моря, голубые и соленые Средиземного и синие просторы океанов, судно нашло успокоение в более пресных, пепельно-зеленых, темных и мутных водах Черного моря.

Теперь, застопорив машину, «Октябрьская звезда» медленно дрейфовала вдоль берегов Добруджи. Механикам, смотревшим на нее с рыболовных куттеров, и рыбакам на лодках она казалась подвешенной в воздухе на линии горизонта над гладким, бирюзовым и сверкающим морем. Иногда из ее трубы вырывались клубы черного дыма — сигнал для рыболовных бригад, занятых ловлей белуги и осетра, камбалы и мелкой акулы, которая водится в илистых впадинах и устричных полях на дне Черного моря.

В первые дни рыбакам сопутствовала удача: в этих местах было много белуги, и дно казалось буквально вымощенным камбалой. Были бригады, уже выполнившие месячную норму. Некоторые из них, удовлетворившись этим, поговаривали о возвращении домой. Даже Емельян Романов, известный рыбак и старшина передовой бригады, бросил работу и отправился на пароход.

Было утро. Два-три белых перистых облачка таяли в голубом небе. Море искрилось на горизонте, становясь там совершенно гладким и светло-голубым, почти белым.

Моторный куттер весело рокотал и подпрыгивал на волнах, поднимая пенистые брызги. Емельян лежал на дне лодки, подложив руки под голову, и смотрел на буксирный трос из белой пеньки, который то погружался в море, то снова натягивался, щелкая по воде, как бич. Огромный Косма, держа в своих мускулистых руках напильник, оттачивал стальное острие багра.

— Ермолай! — зычно крикнул Емельян, поворачиваясь ко второй лодке.

Над ее бортом показалась круглая рыжая голова на могучей шее.

— Чего тебе?

— Ермолай, выпить хочешь?

Продолжение. Начало см. в № 1 за 1957 г.

Голова, не ответив, исчезла.

Емельян усмехнулся и огляделся по сторонам. Все было настолько ярко освещено солнцем, море так ослепительно сверкало и переливалось алмазами, воздух был так чист и прозрачен, что Емельян снял картуз со своей лохматой, седеющей головы, потянулся от удовольствия и, положив картуз себе на нос, заснул.

Наконец мотор застопорил и остановился. Перед лодкой выросла высокая, обшитая железом стена — борт «Октябрьской звезды». Вокруг на мягких, круглых, прозрачных волнах качались другие куттеры и другие лодки. Сверху, облокотившись на планшир, на них смотрели люди. Механики куттеров с мускулистыми, загорелыми торсами перекликались между собой; даниловские рыбаки, сидя в лодках, узнавали знакомых из Мангалии и Сфынтул-Георге.

Стоя подбоченившись в лодке и лихо сдвинув набекрень картуз, Емельян, как на качелях, то взлетал, то опускался вместе с волной, оживленно перебрасываясь словечками со всеми, кто был от него на расстоянии до ста саженей. У него хватало легких на то, что другим было почти не под силу. Но вот, прервав начатый разговор со знакомцем из Сфынтул-Георге, он уставился в сторону парохода, где по штормтрапу — сети с широченными ячеями — карабкались плечом к плечу четверо или пятеро босых людей. Один из них, голый по пояс, совершенно коричневый от загара, был хорошо знаком Емельяну.

— Косма! — завопил Емельян в чрезвычайном возбуждении, спрыгивая с банки.— Берись за бабайки! Айда!

Парень с удивлением посмотрел на старшину. У его ног лежал отточенный багор, и он уже принялся точить длинный нож. Ему очень не хотелось отрываться от этого занятия, пока лезвие ножа не станет острым, как бритва.

С терпеливой улыбкой (у всякого свои причуды, но как не услужить дяде Емельяну) Косма налег на весла. Они пристали к другим трем лодкам, стоявшим рядом борт о борт. Позади них, прижавшись к пароходу, тоже стояли лодки, которые то и дело окатывало из непрерывно работающего насоса. Косма и Емельян полезли вслед за Ермолаем.

Палуба была запружена галдевшими без умолку рыбаками, рабочими и работницами консервного завода, матросами в коротких штанах с синей татуировкой на мускулистых руках. Люди, разыскивавшие кого-то, появлялись внезапно, взывали наудачу: «Мариника!», «Лае!», — и, не дождавшись ответа, снова исчезали во внутренних помещениях парохода.

В одной из групп Ермолай беседовал с Прикопом. Рыбаки, обступившие их, весело смеялись. Емельян с Космой подошли поближе.

— Товарищ председатель, — говорил Ермолай. — Ты у меня знаешь где? Здесь, в самом сердце!

Он ударил себя тяжелой ладонью по груди, которая загудела, как туго натянутый барабан.

— В самом сердце! Иди, брат, я тебя поцелую!

Прикоп уклонился от его медвежьих объятий и серьезно, но самым дружеским тоном ответил рыбаку:

— Что говорить о пустяках! Это мой прямой долг. Трудящиеся выбрали меня председателем судового комитета профсоюза, значит я обязан о них заботиться. Правильно, товарищи?

— Правильно, — загудели рыбаки, одобрительно переглядываясь.— Молодец, этот пройдоха Прикоп! Мозговитый парень!

— Я так и скажу буфетчику, — продолжал он, — если есть, почему не дать людям? Там у него сотни бутылок запасены, а наши рыбаки чтоб воду дули? Они, говорю, товарищ буфетчик, жизнью для народа рискуют!

Рыбаки опять одобрили: прав товарищ председатель! Ну и золотой человек!

Прикоп продолжал говорить спокойно и уверенно. Емельян не стал его слушать и отправился вслед за Ермолаем, заметив, что богатырь тихонько выбрался из круга и, раскачиваясь на своих коротких ногах, стал пробираться на корму. Шлепая босыми ногами по нагретому солнцем железу, он на ходу сигнализировал приятелям, подмигивая хитрым, блестящим от возбуждения глазом: шагайте за мной, не пожалеете! Рыбаки гурьбой валят за ним.

Продовольственный склад и буфет расположены на корме, в подпалубном помещении. Здесь тесновато и довольно темно. По стенам тянутся высокие полки, уставленные консервными банками, ящиками с мармеладом, сахаром, печеньем. Отдельно от провизии стоят сотни бутылок с разноцветными жидкостями: зеленой, лимонной, оранжевой. Буфетчик, с желтым лицом и бритой головой, хранит безразличие ко всему на свете. Прикоп его закадычный друг, а это самое главное.

Ермолай останавливается спиной к бутылкам и, заметив Емельяна, с повышенным интересом разглядывает ярлыки на коробках.

— Мыла для бритья? — спрашивает буфетчик.

Ермолай, пожав плечами, рассматривает ящик с бисквитами. Емельян, едва удерживаясь от смеха, толкает приятелей в бок.

— Сухарей? Или конфет?

Ермолай возмущенно мотает головой: конфеты! Вот так угадал! Спасибо!

— Может, стекло на лампу?

Емельяна душит смех. С глухим стоном он выскакивает на палубу, сопровождаемый рыбаками. Здесь ярко светит солнце. Емельян хохочет, стоя у закрытого люка, потом смолкает и прислушивается к тому, что происходит в буфете. А Ермолай, наконец, заговорил. Он обижен на буфетчика.

— Разве это дело, брат? — слышится его голос. — Что ты предлагаешь морскому рыбаку? Мыло для бритья? Ламповое стекло? На кой мне это? Ты еще сиропа предложи!

— У нас и сироп есть, — вяло отвечает буфетчик.

Емельян снова давится от смеха: бывают дураки на свете!

— Сироп! — восклицает Ермолай. — Нет, товарищ, сироп ты сам пей! А мне чего-нибудь покрепче!

Наступает молчание. Потом до ушей Емельяна доносится звук извлекаемой штопором пробки и булькание жидкости в глотке Ермолая.

— Ч-чу! — с наслаждением причмокивает Ермолай, переводя дух.

В это мгновение Емельян снова появляется в буфете.

— Ну что, Ермолай, купил стекло на лампу? — спрашивает он самым серьезным тоном.

Рыбаки хохочут, размашисто хлопая друг друга по спинам. Емельян и сам корчится от смеха. Он красен как рак и, кажется, вот-вот лопнет.

— Видали? — обращается он ко всем присутствующим. — Я вам что говорил? Ну-ка, Ермолай, подай сюда ламповое стеклышко, а то оно у тебя словно закоптилось!

Ермолай, приложившись еще раз, послушно подает бутылку.

— А-а! А! — выдыхает он.

XIX

В один из первых дней, когда бригада Емельяна Романова сдавала на «Октябрьскую звезду» свой улов, Косма, взбираясь на палубу, столкнулся с девушкой. Спецовка, измазанная соусом из маринада, не скрывала тонкой талии, туго перехваченной пояском. Волосы, небрежно повя-

занные красным лоскутом, и кожа девушки были золотистого оттенка. Лицо освещала дерзкая, почти вызывающая улыбка, но дерзость эту гасили зеленоватые, глубокие и чистые, как ключевая вода, глаза.

Косма был так поражен этими глазами, словно упал за борт, в холодную, зеленую морскую пучину. Он с минуту стоял, совершенно растерявшись. Этот пастух, выросший в зарослях камыша, этот ничего еще не видевший в жизни дикарь и не представлял себе, что у восемнадцатилетних девчонок бывают глаза, глядящие на мир с удивлением и безотчетным любопытством.

Все это продолжалось одно мгновение. Потом девушка рассмеялась, повернулась на одном каблучке и побежала дальше, а Косма долго не мог прийти в себя, и понадобилось вмешательство Емельяна, чтобы заставить его вернуться к весам, где взвешивали выловленную рыбу.

С тех пор прошло несколько дней. Косма решился заговорить с девушкой и узнал, что ее зовут Маргаритой. Маргарита Киву! Узнал он также, что́ она делает на пароходе. Работает на консервном заводе!

Как-то раз, под вечер, они встретились на палубе и стали вместе глядеть на море: оно окрасилось в розовый, потом в сиреневый цвет, потом начала опускаться теплая, бархатная ночь. Косма держал Маргариту за руку. Оба молчали.

Затем Косма снова ушел на несколько суток в море за рыбой и, сидя на веслах, односложно и нехотя отвечал на шутки и россказни Емельяна, который и не подозревал, что в эти минуты в их лодке незримо присутствует Маргарита.

Ночью рыбаки храпели в трюме. Всякий раз, как куттер подбрасывала большая волна, они тяжело наваливались друг на друга, но не просыпались. Один только Косма не спал и мечтал о Маргарите, которая, может быть, работает сейчас в ночной смене. Он видел ее, оглушенную неистовым ревом машин, герметически закрывающих консервные банки, вместе с ней вдыхал теплые запахи маринада, жареного лука, жареной рыбы. Он мечтал о ней, глядя, как мерцают звезды, как ярко горят в чистом небе Венера и Сириус, прислушиваясь к однообразному шуму моря — точно так же, как мечтали о своих возлюбленных бесчисленные поколения рыбаков.

И вот он шагал по залитой маслом металлической палубе «Октябрьской звезды» и разыскивал Маргариту. Никто не обращал на него внимания. Он прогуливался, засунув руки в карманы и неторопливо озирался по сторонам, поворачивая то вправо, то влево свою кудлатую голову. Маргариты нигде не было видно. У двери в камбуз заливался лаем мохнатый щенок. На корме двое рыбаков пили воду.

Вокруг расстилалось безбрежное море; над ним в голубом небе с хриплым писком носились чайки; дул бриз. Косма еще раз оглянулся с деланно-равнодушным видом: нет, ее здесь нет. Может быть, она на баке? Или на заводе? Вот она!

Все в той же спецовке, с подвернутыми до самых колен штанами, Маргарита надраивала палубу, окатывая ее из шланга, который матросы называют кишкой.

— Эй, Маргарита! — улыбаясь окликнул ее Косма, подходя поближе. — Как живешь?

— Берегись, а то оболью! — крикнула девушка.

Косма засмеялся и, подставясь под струю, заткнул рукой шланг, с головы до ног окатив Маргариту. На нем самом, впрочем, тоже не осталось ни одной сухой нитки. Отняв у девушки кишку, он принялся поливать палубу.

— Так ты меня встречаешь? Холодной водицей?

— Хотя бы и холодной! — ответила она со смехом

Смеялась Маргарита громко, испытующе глядя на Косму большими зелеными глазами, которые оставались серьезными.

— Берегись, кишка у меня! — пригрозил Косма. — Чем это я заслужил такую встречу?

— Значит, заслужил! — сказала Маргарита серьезно.

Косма вытаращил глаза и забыл про кишку.

— Что ты? Что за перемена? — спросил он с тревогой.

— А хотя бы и перемена... — упрямо ответила девушка.

Косма взял ее под руку.

— Идем...

Закрутив на ходу кран брандспойта, он отвел ее к планширу. Маргарита шла нехотя.

— Ты, может, думаешь, я тебе скажу, какая во мне перемена? Не скажу, хоть на кусочки режь!

Косму волновали ее близость, ее смех... Он встряхнулся, стараясь держать себя в руках.

— Зачем это тебе понадобилось — меняться?

— Хочу меняюсь, хочу нет! Кто мне запретит? — сказала она, вызывающе глядя на парня.

Он решил, что лучше не отвечать: не ссориться же с ней, в самом деле! Лучше как-нибудь задобрить... Он осторожно обнял ее за плечи и повернул к морю.

— Смотри...— он показал рукой вниз, на море, прямо под ними: — Видишь? Помнишь, как мы с тобой вот так же смотрели на море и у самого борта прошел косяк скумбрии?

Внизу, в тени парохода, море кишело живыми стрелами. Молниеносно скользили, извивались, мчались куда-то тонкие темные спины. Иногда среди них мелькало, блеснув серебром, беловатое брюшко. Косяк шел на разных глубинах, живя своей молчаливой, но напряженной жизнью. Неудержимо стремились вперед, с непостижимой быстротой двигались продолговатые тельца... Иногда казалось, что они исчезли, что их больше не увидишь, что в темно-зеленой воде больше ничего нет, но вода снова вдруг оживала, и опять возобновлялось шествие рыбьих полчищ по неведомым морским путям.

Глядя на косяк, Косма вспомнил их прежнюю встречу и собрался было обнять Маргариту, но она отодвинулась на целый шаг.

— Вот что у тебя на уме...

Косма не сразу нашелся. Подумав и с усилием выговаривая слова, он произнес:

— Значит, ты и взаправду изменилась?

— С чего мне меняться? — спросила она заносчиво. — Обещалась я тебе, что ли? Ну, поговорили, велика важность! Выходит, что девушке с вашим братом словом нельзя перекинуться — сейчас же разные глупости начнутся!

— Да я... ни о чем таком не думал, — пробормотал Косма. — Я хотел только...

Она не дала ему договорить:

— Ты хотел, а я не хочу. Заставить ты меня собираешься, что ли?

Она говорила резко, холодно, почти враждебно. «Что с ней случилось?» — недоумевал Косма.

— Эй, Василика! — крикнула она проходившей мимо девушке. — Идем, что ли, а то лук принесли, не знаю, куда сваливать!

Косма долго стоял на том месте, где его оставила Маргарита, потом нехотя, опустив голову, поплелся в буфет.

— Что с тобой? — удивился Емельян, взглянув на его печальную физиономию.

— Ничего. Ну-ка, товарищ буфетчик, дай мне тоже этой самой... только чтобы покрепче...

В буфете было полно народу. Рыбаки громко разговаривали, смеялись, чокались. У Ермолая заплетался язык. Емельян, красный как рак, ссорился с Лукой Георге.

— С какой-такой стати мне больше не пить?

— А на совещание кто пойдет?

— Ты думаешь, у меня голова заболит? Ого! Градуса этой водке не хватает, чтобы меня одолеть!

— Брось хвалиться, Емельян. Знаю я, что мне на совещании за тебя отдуваться, — мрачно сказал Лука. — А теперь и щенок этот туда же.

— Чего пристал? — огрызнулся Косма. — Что хочу, то и делаю, я человек свободный.

— На то тебе свобода дана, чтобы водку лакать? — заворчал Лука.— Черт бы его побрал, этот буфет! Ни дать, ни взять наша корчма в Даниловке в прежнее время!

— Не нравится, не пей! — обиделся буфетчик.

— Я и не пью, а вот ребята...

— Ступай в профсоюз! Жалуйся в партбюро! — с наглой улыбкой сказал буфетчик.

Услышав о профсоюзе, Ермолай изо всех сил ударил себя в грудь.

— Профсоюз?.. Председатель?.. Здесь они у меня... в самом сердце! Я их во как люблю...

Косма продолжал пить, повернувшись ко всем спиной. Наконец он почувствовал, что ноги его больше не держат, рухнул на бухту каната и заснул как убитый.

Когда он проснулся, был уже вечер. Голова трещала, в ушах звенело, глаза слипались после пьяного сна. Слышалась музыка, смех. Пристроившись на люке, один из матросов играл на гармони, три-четыре пары танцевали. Маргарита, как и другие работницы консервного завода, оставалась по-прежнему в спецовке с подвернутыми штанами. Она танцевала с Лае, тем самым рулевым, что упустил ящик с луком. Его пышная вьющаяся шевелюра шапкой поднималась над головой. Гармонист ни одного танца не знал целиком. Дойдя до незнакомого места, он принимался за другую мелодию, обычно с середины. Танцующие останавливались, не попадая в такт, и возмущенно кричали:

— Эй ты, музыкант! Чего за гармонь берешься, когда не умеешь?!

Только Маргарита с Лае танцевали, не обращая внимания на перебои, под любой мотив.

— Вот так Лае! — с восхищением кричали зрители. — На ходу ногу меняет! Молодец, Маргарита, утешила!

Косма глядел на нее и не мог наглядеться. Раз только он поймал на себе ее взгляд: она смотрела на него с тем же удивлением, с тем же безотчетным, невольным любопытством, как в тот день, когда он в первый раз увидел ее на палубе. Косма встал и опять пошел в буфет — заливать горе. Причина перемены была налицо.

Он видел, как она смеется тому, что говорит Лае, как крепко тот держит ее за талию. Это привело Косму в такую ярость, что он вздрогнул и разбил свой стакан о переборку. Осколки со звоном посыпались на пол.

— Полегче, товарищ! — закричал буфетчик. — Теперь плати! Некрасиво, когда ваш брат напивается...

XX

Прошло двое суток, а рыбаки все еще околачивались без дела на судне. Наконец капитан и старший помощник Николау убедили людей сообща обсудить, куда идти за уловом. Рыбаки от скуки согласились.

Им самим надоело слоняться по палубе и пьянствовать в буфете. Ермолай совсем не держался на ногах, зато Емельян смеялся веселее, чем когда-либо, и глядел молодцом: водка на него не действовала. Другие рыбаки сидели в лодках и, переговариваясь с соседями, лениво жевали огромные круглые ломти хлеба. Матросы с куттеров купались в море, окатывали палубу, играли в шашки. Все нежились в солнечных лучах, поддаваясь беззаботно-блаженной лени. Иногда среди дремотной тишины раздавался чей-нибудь трезвый голос:

— Что за порядки! Долго мы еще будем здесь прохлаждаться? Опять день потеряли!

Емельян Романов, который вылез наконец из буфета, тоже хотел знать, в чем дело.

— Ну, братцы,— кричал он громче, чем следовало,— когда выходим?

Подхватив шатавшегося Ермолая под руку, он отправился с ним к капитану.

Капитан был мрачен и зол на свое бессилие.

— Мы не можем начать совещание и решить, куда пошлем вас за рыбой, потому что товарищ Прециосу занят на другом заседании,— сердито сказал он.

— А мы рабочее время теряем! — крикнул Ермолай с самым радостным видом, который совершенно не соответствовал этому далеко не радостному известию.

Емельян вытаращил глаза.

— Верно, теряем. Чему ж ты радуешься?

— Вовсе я не радуюсь,— прохрипел Ермолай.— Ни один рыбак этому не радуется... А насчет того, что мы пьем, так мы, товарищ капитан, от скуки пьем... Посылайте нас в море, пора!..

— Как же я пошлю вас, чудак человек! — воскликнул капитан, теряя терпение.— Нельзя! Я без товарища Прециосу распоряжаться не могу...

Рыбаки махнули рукой — нельзя, так нельзя — и снова отправились в буфет.

Только вечером старшины бригад собрались на совещание с капитаном и Прециосу. Их было человек пятнадцать, и среди них Ермолай в насквозь промокшей одежде.

— Что с вами, товарищ Попов? — удивился капитан.

Ермолай таращил мутные, осовелые глаза и говорил невнятно:

— Я... из кишки... обкатился...

Сидя в своем углу, Емельян трясся от беззвучного смеха. Он знал, что четыре человека держали Ермолая под шлангом, чтобы хоть немного привести в чувство. Сам Емельян не нуждался в таких энергичных средствах: водка никогда не бросалась ему в голову. Сейчас он сидел смирно, внимательно слушая капитана.

— ...Принимая во внимание, что означает для снабжения трудящихся продукция рыболовной флотилии, товарищи,— говорил капитан,— нам бы следовало начать социалистическое соревнование между бригадами...

Старшины бригад неуверенно переглядывались. Первым поднял руку коммунист Лука Георге. «Ага,— подумал Емельян,— коммунисты в таких делах всегда впереди, ну, посмотрим на этот раз».

— Я, товарищи,— торжественно заявил Лука,— обязуюсь со своей бригадой дать за этот выход две нормы.

— А я,— торопливо сказал Емельян,— вызываю его на соревнование. Мы дадим две с четвертью. Ясно?

— Хорошо! — сказал капитан так же угрюмо, как и все, что он говорил до сих пор.— Кто еще просит слова?

Когда капитан записал все обязательства, заговорил Прециосу, неподвижно сидевший несколько поодаль за тем же столом. Дым его неизменной, приклеившейся к губе папиросы, ел ему глаза, и он часто моргал, словно подмигивая кому-то.

— Товарищи! — начал он немного в нос. — Это соревнование должно показать высокий уровень сознательности нашего коллектива. Оно должно показать, товарищи, что мы строим социализм, товарищи, что мы трудимся для народа. Мы, товарищи, преданы народу.

— Правильно! — одобрил Емельян.

— Нужно, товарищи, чтобы это соревнование не оставалось только на бумаге. Нужно, чтобы оно дало конкретные, видимые результаты.

— Как это так — видимые? — заинтересовался Емельян.

— Стойте, товарищ Романов. Ваше слово впереди. Мы, товарищи, строим социализм...

Говорил он, по своей привычке, много и все то же самое.

У капитана был более чем когда-либо подавленный вид. Емельян слушал и не понимал. «Или я еще глуп, — думал он, — или голова у меня уже не такая крепкая, как раньше. Скверное дело. Если голова начнет слабеть, придется, пожалуй, водку бросить...»

Под конец он все-таки не утерпел:

— Ну, как же, товарищ секретарь, насчет соревнования?

— Соревнование, — ответил Прециосу, — должно быть конкретным, а не только на бумаге. Оно, товарищи, является методом...

Его перебил Лука Георге:

— Емельян спрашивает, какая будет проверка, то есть как его вести, это соревнование, чтобы оно, так сказать, не растаяло...

— Этого, — ответил Прециосу, — не должно случиться.

— Мы знаем, что не должно, но вопрос: как быть, чтобы до этого не допустить?

— В конце месяца вывесим результаты. Будет доска почета. Имеются еще вопросы?

По тону, каким были сказаны последние слова, все поняли, что задавать вопросы не следует. Бригадиры встали и направились к выходу, толкаясь в дверях кают-компании, где происходило совещание. В открытых иллюминаторах легкий бриз играл занавесками.

На палубе молча разошлись в разные стороны.

— Слушай, Лука,— обратился Емельян к Георге,— можешь ты мне объяснить, что оно значит это... как его... конкретное соревнование? Что он хотел сказать?

— Я и сам, по правде говоря, не очень-то понял. Мы, значит, нажмем и будем держать счет, а остальное — его дело.

— У тебя записная книжка есть?

— Есть.

— И у меня есть. Давай записывать, и посмотрим кто кого.

— Идет: кто кого!

Последние слова были сказаны, когда они уже спускались рядом по штормтрапу. Было очень поздно. Установленный на борту прожектор освещал море, казавшееся в его свете ядовито-зеленым. Вне этой световой полосы все было погружено в беспросветную тьму.

Емельян прыгнул в лодку.

— Айда, выходим? — крикнул он в сторону куттера. — Гица, запускай мотор!

— Ну, как было? — спросил чей-то голос из соседней лодки.

Емельян рассказал про совещание, особенно напирая на то, что его больше всего занимало: почему так печален капитан и как Прециосу говорил про конкретное соревнование.

— Сколько дней зря потеряли, водку жрали, как свиньи напивались... — громко ворчал в своей лодке Ермолай.

— Ты напивался, про себя и говори! — крикнул Емельян. — А с этим что? Спит, что ли? — спросил он, показывая на лежавшего в лодке Косму.

— Нет... Не знаю, что с ним...— пробормотал рыбак, к которому обратился Емельян. — Может, болен?..

— Ничуть я не болен,— отозвался Косма.

— А не болен, так берись за бабайки! — приказал Емельян.

Но Косма только повернулся на другой бок.

— Оставь его,— шепнул рыбак.— Неможется ему... Мало ли что...

«И с этим что-то неладно»,— подумал Емельян, вдевая весла в кочетки и отталкиваясь от железной громады парохода.

— Напиваются как свиньи, нет того, чтобы работать...— донесся до него хриплый голос Ермолая.

«И этот до сих пор не очухался. Человек золото, а вишь как его развезло... Что с ними сделалось?» — недоумевал Емельян, орудуя веслами. Он был решительно не в духе: все его сердило, раздражало, но причины своего скверного настроения он не понимал и не знал, как быть, чтобы все снова пришло в порядок.

Моторист Гица подал ему конец, и куттер, взяв их на буксир вместе с другими двумя лодками, исчез в непроглядной тьме. Вскоре огни «Октябрьской звезды» остались позади, а через два часа и вовсе исчезли. Емельян сидел на своей банке, раздумывая, почему целый рабочий день был потерян из-за совещания, которое ничего не разъяснило, а только увеличило путаницу, и почему люди чем-то недовольны, и вообще, почему рыболовная флотилия ведет себя, как больной человек. «Что все это значит? — ломал себе голову Емельян, положив руки на колени.— Ну и дела у нас! Темнее ночи!».

Вода тихо плескалась и хлюпала вокруг лодки; в северной части небосклона упала и погасла звезда. «Пускай себе падает!» — с сердцем подумал Емельян и обругал упавшую звезду, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать накопившуюся злобу.

XXI

Лодки, рассыпавшись в разные стороны, все еще бороздили ночное море; усталые мотористы на куттерах все еще напрягали зрение, стараясь разглядеть слабо освещенный компас и боясь сбиться с данного им курса, а на пароходе все уже успокоились и спали, кроме вахтенных и рулевого.

Наверху, в штурманской рубке, старший помощник капитана Николау, как всегда лохматый и с папиросой в зубах, показывал на карте третьему помощнику Константину:

— Смотрите, куда нас отнесло за день. Ветра почти не было, зато течение здесь быстрое. Вам, значит, достаточно будет двух часов хода, держа курс сорок пять градусов, чтобы оказаться вот здесь. Поняли?

У штурвала неподвижно стоял Продан, ожидая отправления. Николау пожелал им спокойной ночи и пошел вниз.

* * *

Константин, облокотившись на высокие перила капитанского мостика, смотрел в бинокль, пытаясь обнаружить куттер 301, который должен был показаться с северо-запада. В рубке было тихо. Продан все еще стоял неподвижно у штурвала. Вокруг, сколько мог охватить глаз, сонно колыхалось беспредельное, вольное, широкое море. Пароход, с его палу-

бами, рубками, машинами, консервным заводом и каютами, безмятежно спал. Внизу, у самого берега, смутно чернели лодки, доставившие улов на завод. На баке изредка оживали паровые лебедки, слышались крики, возвещавшие прибытие очередной бригады, которая выгружала новую партию рыбы. Но все эти, доносившиеся снизу, звуки казались далекими, заглушенными, бессильными нарушить великую, торжественную тишину моря.

Кто-то поднялся по трапу и молча остановился около Константина. Третий помощник еще несколько минут не отрываясь смотрел в бинокль, медленно, миллиметр за миллиметром озирая горизонт — слева направо и обратно. Потом остановился посреди описываемого биноклем полукруга и замер в этом положении.

— Нашли? — спросил голос стоявшего около него человека.

Это был голос Хараламба. Константин опустил бинокль и отрицательно покачал головой. Капитан, высокий, сутулый, тоже всматривался вдаль, пытаясь увидеть огонек куттера и поджимая губы с недовольным видом. Он, очевидно, очень устал. Об этом свидетельствовали плечи, опущенные больше обычного, и сутулая спина.

Пробормотав что-то, он прошел через штурвальную рубку на другую сторону капитанского мостика. Константину была видна его широкая спина в чистой белой рубашке. Взглянув на небо, потом на море, капитан вернулся в рубку и нагнулся над висевшим на стене барометром. Константин увидел, как блеснули его белые волосы. Посмотрев на барометр, капитан вздохнул, ни слова не говоря, прошел мимо Константина и стал спускаться по трапу, вскоре исчезнув в темноте.

Третий помощник долго стоял, облокотясь на фальшборт, и смотрел на небо. Там, над морем, как изумрудная диадема, горело огненным блеском огромное созвездие Пегаса. Рассеянные по всему горизонту световые точки отмечали местоположение куттеров.

Снизу, с юта, слабо доносились не то голоса, не то чей-то смех и даже музыка... Впрочем, это, пожалуй, только показалось Константину; на самом деле кругом, как и прежде, царила тишина.

Прорезав созвездие Пегаса, упала звезда... Потом дальше и ниже — еще одна. Их бесшумный полет по небосводу, казалось, усиливал тишину. Константину было слышно, как бьется его сердце, как тикают часы в штурвальной рубке.

Среди этой всеобъемлющей тишины вдруг раздался совершенно неожиданный звук — птичье щебетанье. Константин обернулся: по капитанскому мостику проскользнула тень; оттуда же раздалось и щебетанье. Тень, тяжело дыша, двинулась вверх по трапу и снова послышалось тихое:

— Фиу-фиу-фи! Тиу-тиу-ти!

Издавал этот звук тучный, пожилой человек с коротко остриженной серебристой щетиной волос вокруг желтой, как старая слоновая кость, лысины. Одет он был в спецовку из тех, что, не покрывая ни спины, ни рук, спереди выкроены фартуком. Голые спина и руки свидетельствовали, что толстяк был когда-то очень силен. Теперь он был стар, и лицо у него было старое — лицо много видевшего на своем веку человека. Из двери штурвальной рубки падала полоска света, которая позволяла хорошо видеть искривленную линию рта; вероятно, этому человеку пришлось в жизни испытать немало такого, что наложило на его лицо неизгладимую гримасу отвращения, разочарования и горечи. Он нагнулся и хлопнул по плечу Константина:

— Ну, юноша, как дела? Фиу-фиу-фи!

Третий помощник капитана не ответил. Старик окинул взглядом морской простор, посмотрел на небо и вздохнул.

— Бессонница замучила, не могу спать...

Волны лениво и бесшумно скользили у борта. Тишина была такая, словно пароход плыл не по морю, а по воздуху.

— Вот такие же ночи бывали в Маракаибской лагуне... — пробормотал старик. — Только берега были ближе и на них неподвижной стеной стояли леса. Листочек, бывало, не шелохнется, ни малейшего движения, ни малейшего звука... А за этой тишиной... Впрочем, ну ее к черту!..

Он вздохнул и махнул рукой. При свете, проникавшем из штурвальной рубки, лицо его показалось Константину еще более морщинистым и потрепанным.

— Эх, молодой человек, что вспоминать Венесуэлу! Когда общество направило «Арабелу Робертсон» в Средиземное море, капитан, который был пьяница и картежник, так распорядился судовой кассой, что четверть экипажа, в том числе и я, заболели цынгой. Ваше поколение такие истории знает только понаслышке...

С севера на юг, оставляя после себя огненный след, упала звезда.

— Пожалуйста, дядя Стяга, — сказал Константин, — расскажите, как вы потопили «Арабелу Робертсон».

— Хорошо, юноша, расскажу. Все равно делать мне сейчас нечего.

— Как нечего? — испугался Константин. — Мы же через пятнадцать минут должны двинуться.

— Сколько часов ходу? — спросил старший механик с равнодушием человека, которому тысячи раз приходилось задавать этот вопрос.

— Два, чтобы пройти расстояние, на которое нас отнесло с обеда.

Старик легонько потрепал его по плечу, повернулся и стал с трудом спускаться по трапу. Откуда-то, уже снизу, опять раздалось:

— Фиу-фиу-фи!

Третьему помощнику, неизвестно почему, стало грустно от этого звука. Ощущение острой грусти не прошло и тогда, когда пароход весь задрожал от пущенной в ход машины. Но тут ветерок, вызванный движением парохода, освежил его разгоряченное лицо. Помощник украдкой посмотрел на Продана; тот напряженно следил за компасом, непрестанно вращая обитый медью штурвал.

Пробили четыре склянки. Николау, как всегда взлохмаченный, быстро поднялся по трапу на командный мостик.

— Ну, что? — обратился он к Константину.

— Ничего.

— Мне показалось, что вы что-то сказали.

— Нет. Я ничего не говорил.

— Идите, покажите мне на карте место, где мы находимся.

Оба нагнулись над морской картой с карандашами и циркулями в руках.

— Смотрите, — сказал Константин, — мы были здесь и прошли пять миль по курсу сорок пять градусов. Где-то тут должна быть бригада из Даниловки... Товарищ Продан, прямо руль! Так держать!

— Есть, так держать, — откликнулся рулевой.

Машина опять остановилась. Судно по инерции прошло еще некоторое расстояние и замерло.

В это самое время на юте Прециосу осторожно пробирался между бухтами каната. Здесь, плотно укрывшись одеялами, спали на чистом воздухе работницы консервного завода. Легкая зыбь мягко вздымала корму, медленно несла ее вверх, к звездам, потом так же лениво опускала...

Прециосу нагибался, рассматривая спокойные, казавшиеся особенно нежными и чистыми в звездном свете лица спящих девушек. Найдя, наконец, ту, которую он искал, Прециосу остановился и, стараясь не шуметь, опустился рядом с нею на колени.

— Маргарита! — тихо произнес он, трогая ее за плечо.

Девушка открыла свои, казавшиеся теперь особенно большими, прекрасные, дикие глаза и, устремив на него далекий, еще сонный взор, прошептала:

— Кто это?

— Я... тише... ш-ш!

Девушка вздрогнула и, приподнявшись, оперлась на локоть.

— Вы, дядя Силе?

Он пододвинулся, и Маргарита почувствовала, что от него разит водкой.

— Голубушка...

Она оттолкнула его:

— Перестаньте, дядя Силе! Ступайте прочь! Я буду жаловаться... — она запнулась: «Кому в таких случаях можно жаловаться?» — Я буду жаловаться капитану!

Прециосу это показалось так смешно, что он хихикнул и полез было целоваться, но она резким движением отодвинулась от него и толкнула спавшую подругу. Та пробормотала что-то спросонья.

— Кто это? Кто там? — громко спросил чей-то голос с другой стороны.

Маргарита отодвинулась еще дальше. Прециосу пришел в ярость: она нарочно разбудила подруг, чтобы над ним посмеяться!

— Погоди, я тебя проучу, — прошипел он, вскакивая и воровато отступая. — Будешь ты меня помнить!

Одна из девушек приподнялась и посмотрела ему вслед.

«Не беда, — думал Прециосу, беззвучно ступая босыми ногами по палубе. — Скажу, что не я, в безлунную ночь можно и обознаться».

Однако он не мог успокоиться и постучал к Прикопу.

— Прикоп! Слышь?

— Кто там? Ты? Заходи, дверь не заперта.

Прециосу вошел. В каюте было темно, пахло потом. Он присел на край койки и начал рассказывать Прикопу о только что постигшей его неудаче.

— Она сводит меня с ума, понимаешь? — возбужденно шептал он.— Не знаю, что мне делать. Помоги мне, Прикоп, поговори с ней, обещай ей, что...

— Не учи, знаю, что ей сказать, — сонным голосом буркнул Прикоп. — Ладно, поговорю...

— Она грозилась, что будет жаловаться капитану! — воскликнул Прециосу.

Прикоп тихонько рассмеялся.

— Покажу я этому капитану, — ворчал Прециосу. — И ему, и всем этим господам! Если они — командный состав и образованные, это еще не значит, что они выше меня!

— Пора посадить эту сволочь на место, — подтвердил Прикоп. — Плевать тебе на капитана! Ты человек с будущим — у тебя все впереди, Силе, ты сам удивишься, когда увидишь, куда тебя выдвинет эта работа. Скажи, например, год назад ты был секретарем?

— Не был, — уже спокойно проговорил Прециосу.

— А через год ты, может, еще повысишься, попадешь в райком, как знать?

— Это уж слишком, — запротестовал Прециосу, — я с тобой серьезно говорю!

— Я тоже. Что ты нашел в этом невозможного?

Прециосу с достоинством пожал плечами.

— Невозможного, конечно, в этом нет... — процедил он.

— Вот видишь! Что же касается девчонки, будь спокоен. Я тебя понимаю. Обещаю с ней поговорить, хотя она отчасти тоже права: ты без всякой подготовки полез к ней, да еще при других... Я ее тоже понимаю. Я вас всех понимаю...

XXII

После разговоров с Василиу, в мозгу господина Зарифу произошел переворот. Чужой, враждебный мир, в котором для него, Зарифу, не было настоящего места, а было лишь плохонькое местечко с нищенской зарплатой, как бы отступил перед самоуверенной смелостью Спиру Василиу. Господин Зарифу не подозревал, конечно, что эта самоуверенная смелость ежечасно подвергается тяжелейшему испытанию, что какой-то тайный голос ее подтачивает, нашептывая Василиу: «Ты обманываешь себя своей собственной болтовней, ты старый, конченный человек, и ничего у тебя не выйдет, ничего не выйдет, ничего не выйдет!» Когда их беседы затягивались до поздней ночи и Спиру говорил: «Предоставьте это мне, дядя Тасули! Будет сделано! Можете не сомневаться в успехе!» — господину Зарифу казалось, что успех обеспечен, и что для них не существует препятствий. Больше того, господин Зарифу уже не чувствовал себя, как прежде, одиноким: около него был человек, у которого можно было позаимствовать молодости и отваги, человек, с которым можно было работать рука об руку, которому можно поручать самые трудные, рискованные комбинации, словом, достойный ему заместитель, родной брат, и даже не брат, а сын, человек, которому он мог доверить свое будущее и счастье Анджелики.

* * *

Анджелика, сопровождаемая Спиру Василиу, возвращалась домой и, глядя прямо перед собой, упрямо молчала. Спиру, в темно-синей форменной тужурке, с которой он спорол нашивки, ничего не понимал. В конце первого акта Анджелика встала и внезапно заявила: «Пойдемте!» Он удивился, но послушно последовал за ней.

— Что с тобой, Анджелика?

— Ничего.

— Кто тебя рассердил?

— Никто.

— В чем же дело, дорогая? Где твоя улыбка? Чем ты недовольна?

— Ах, оставь меня в покое! — прошептала Анджелика, бледнея.

Ее черные глаза сверкнули от ярости. У рта и на подбородке смуглая матовая кожа побелела.

Спиру Василиу был одинаково огорчен и переменой в ее наружности, и скверным настроением. То, что Анджелика может с такой легкостью меняться в лице и так поддаваться минутному капризу, удручало и тревожило его. Почему она говорила с ним таким тоном, с такой неприязнью?

Спиру шел, украдкой посматривая на мрачное лицо своей спутницы. Он не замечал, что и она делала то же самое исподтишка, окидывая его холодным, критическим взглядом прекрасных черных глаз.

Они завернули в темный переулок. Спиру, все ночи напролет мечтавший о том, как он овладеет Анджеликой, попробовал ее обнять. Он уже несколько дней ждал этой минуты. Но Анджелика вдруг стала отчаянно сопротивляться. Выставив перед собой кулаки и согнувшись, она уперлась головой в его грудь. Ему удалось лишь поцеловать ее в темя, и то больно прикусив себе губы. Побледнев от негодования, он молча зашагал дальше. Как ни странно, но происшествие это успокоило ее, рассеяло тучи.

Они спустились по уличке, в конце которой виднелось море, и остановились перед домом, примостившимся на самом краю подмытого бере-

га. Спиру взял руку Анджелики и крепко стиснул, но она не ответила на пожатие. Девушка вошла в дом; за ней, низко опустив голову, последовал Спиру.

Зарифу их ждал. Спиру встряхнулся и взял себя в руки, вспомнив, что здесь он должен играть роль уверенного в себе, смелого, веселого, не знающего препятствий человека.

— Как дела, дядя Тасули? — начал он преувеличенно громким голосом. — Как ваши расчеты? Выяснили, во сколько обойдется фрахт на те грузы, которые нас интересуют?

Они были все в той же тесной комнате с разрозненной, потрепанной мебелью, с добруджскими коврами на стенах и множеством разбросанных повсюду ненужных предметов, вроде того рожка для надевания ботинок, который все еще лежал на столе. Старик Зарифу сидел, облокотившись на стол, и молчал. Его лысина блестела под лампой, но лицо было в тени. Анджелика подошла к нетопленной печке, прижалась к ней— она приобрела эту привычку за последние годы, когда у них постоянно бывало холодно, — и окинула Спиру Василиу критическим взглядом. Резкая перемена в его манерах, наступавшая всякий раз, как они переступали порог дома, казалась ей странной и неестественной.

— Я все обдумал, дядя Тасули, — бодро продолжал Спиру. — Первым делом, как только можно будет получить паспорт, мы или, если хотите, я один выеду за границу; поеду товарным поездом, пассажирским, на грузовике — на чем угодно — и не остановлюсь, пока не доеду до Гавра или до Генуи. Вы тем временем телеграфируйте одному из тамошних банков, чтобы мне открыли кредит в сто тысяч долларов, на которые я немедленно покупаю пароход. Грузим его в кредит, под залог того же парохода, чем угодно: иголками, сельскохозяйственными машинами, губной помадой... А? Что вы скажете? Погрузились и пошли!

В нервном экзальтированном смехе Спиру Василиу таилась неуверенность. Господин Зарифу смотрел на него горящими глазами, полными упрека и тревоги.

— А что, если у меня нет кредита в банках? — спросил он, не поднимая головы.

Наступило тягостное молчание. Спиру Василиу колебался, не зная, что сказать. Он посмотрел на Анджелику, но встретил холодный, критический взгляд.

Господин Зарифу схватил его за руку, потянул к себе и заговорил взволнованным, жалобным голосом, чуть не плача:

— Что ты тогда станешь делать со мной? С нами? Я не из-за себя спрашиваю, из-за дочери... из-за моей Анджелики... Иди ложись, поздно... — сказал он вдруг, поворачиваясь к ней вполоборота. — Слушайся папу, будь паинькой, пора бай-бай...

Анджелика молча направилась к двери. Спиру смотрел ей вслед, надеясь на улыбку, но девушка вышла, даже не взглянув на него.

— Что будет с нами? — повторил господин Зарифу. — Какую участь ты нам готовишь?

В его глазах стояли слезы, голос дрожал.

— Что же мне делать? — растерянно спросил Спиру. — Научите меня.

— Ты молодой. Ты будешь главой семьи, — униженно льстил ему старик. — Тебе придется подумать тоже и обо мне, потому что, видишь ли, — он понизил голос, словно готовясь сообщить ужасный секрет, и обеими руками вцепился в Спиру, — в первые дни у меня не будет кредита... Может быть, позднее. Но важны именно первые дни, Спиру! Нужно будет страшно торопиться, а то потом все места будут заняты, все представительства розданы, все фрахтовые договоры заключены. Нам останутся

только мелкие делишки, каботаж с грузом апельсинов или изюма. Обдумай хорошенько, что нам делать. Ведь речь идет о судьбе Анджелики!

Спиру был недоволен собой, его мучил страх, что он перестал нравиться Анджелике. «Мне скоро пятьдесят, ей двадцать, что может ей во мне нравиться?» — Рассеянно и вяло он начал успокаивать Зарифу.

— Стой, это не все! Я тебе не все сказал! — старик сделал таинственные глаза. — Ты еще не знаешь! Нас подстерегают они. Гиены! Я встретил Микельса, банкира, он тоже смотрел на порт. Я прочел на его лице, как в открытой книге, все, о чем он думает. Все они ждут того же, что и мы. У них те же планы!

— Пустое, дядя Тасули, — натянуто рассмеялся Спиру. — Места хватит на всех. Море — широкое, портов на свете много.

— Не нравится мне все это. Не говори так даже в шутку, — залепетал Зарифу. — Что с тобой сегодня, Спиру? Ты не похож на себя. Подумай лучше о кредите. Откуда взять денег для покупки парохода? Я не о себе забочусь, — сказал он, внезапно меняя тон и словно сообщая величайшую тайну, — ты ведь знаешь, что моя жизнь кончена... Для Анджелики!..

«Анджелика! — думал Спиру, уходя в этот вечер от Зарифу. — Как понравиться Анджелике?»

Со времени знакомства с Анджеликой от прежнего самоуверенного Спиру Василиу не осталось и следа. Анджелика играла им, как куклой, а он мрачнел от каждого ее каприза.

«Хорошо говорить: пароход! Но где его возьмешь? Где найти кредит?» — Спиру не впервые ломал себе над этим голову, сидя на скамейке и глядя в море. На службе он был невнимателен, рассеян, вечно утомлен. Ему делали замечания, несколько раз за серьезные провинности даже удержали кое-что из зарплаты. Но он продолжал каждый вечер ходить к Зарифу, утешая старика беспочвенными мечтаниями и с нетерпением ожидая минуты, когда они останутся вдвоем с Анджеликой. Тут, тиская ее руки, привлекая к себе, он страстно шептал:

— Я увезу тебя в Париж в длинной, чудесной машние — в лимузине «кадиллак». Мы пойдем в оперу: я во фраке, ты — в белом, до земли, платье со шлейфом, с бриллиантами в ушах, на шее, в волосах!

С этими словами он целовал ее в пахнущую дешевым одеколоном голову, и Анджелика, размягченная мечтою, не сопротивлялась.

— Одни будут спрашивать: «Кто это такие?» Другие ответят: «Богатый судовладелец из Александрии с женой — знаменитой красавицей...»— Потому что мы с тобой, Анджелика, будем жить в Александрии, где так любят роскошь...

Анджелика, трезвея, насмешливо вздыхала:

— Вздор все это. Где деньги? Где твои пароходы?

И решительно отстраняла разомлевшего Спиру.

После таких вечеров он уходил измученный, обессиленный. Ему хотелось рвать на себе волосы, которых и так оставалось немного. Как ее умилостивить? Чем соблазнить?

А старик Зарифу все твердил свое:

— Мы должны быть первыми, мы должны всех опередить! Подумай хорошенько, Спиру! Ты должен непременно достать денег или пароход!

XXIII

От лодки пахло смолой и рыбой. Рыбакам хотелось пить, они устали. Косма греб медленно, широкими взмахами. Емельян, сидя на корме, тянул снасть, крючок за крючком. Прошло уже много часов с тех пор, как

они на закате вышли на промысел. Море было черно-зеленое, небо — изумрудное, луна — серебристо-зеленоватая, звезды и те сияли зеленоватым светом. Рыбакам казалось, что они совершенно одни в озаряемой луной безбрежной водной пустыне.

— Стой! — крикнул вдруг Емельян.

На крючке трепыхалась большая камбала. Косма ткнул ее багром, чтобы она не ушла.

— Поосторожнее с багром! — повернулся к нему Емельян. — Чуть в меня не попал!

— Я куда хочу, туда и попадаю... — с мрачной гордостью возразил парень. — В игольное ушко, ежели надо, попаду.

Емельян ловко снял камбалу с крючка и кинул в лодку. Камбала громко шлепнулась на кучу рыбы.

— Держи правее, — негромко сказал он и вдруг насторожился.

Движения его рук, оставаясь по-прежнему твердыми и уверенными, замедлились: под водой мелькнула тень, что-то блеснуло серебром, и в глубине обозначились темные, смутные очертания какого-то длинного тела.

— Косма... — произнес Емельян, неестественно спокойным голосом.

Парень бросил весла и выжидательно взялся за багор. Емельян быстро выбирал снасть, захватывая все больше и больше тонкого троса. Теперь уже ясно виднелось бившееся в воде продолговатое, казавшееся темно-синим, туловище. Емельян выбрал еще несколько метров снасти, и огромная, серо-зеленая, треугольная голова с открытой пастью показалась на поверхности. Белуга яростно барахталась, ворочая воду мощным хвостом, натягивая, как струну, тонкий трос. Удары ее хвоста о борта лодки звучали, как удары молота о пустую бочку. Но вот она выгнулась и погрузила голову в воду. Емельян изо всех сил дернул снасть, резавшую ему ладони, и, кряхтя от усилий, вытащил свою жертву на поверхность. Лодка дрожала от ударов; белуга, почти не уступавшая ей длиною, неистово била хвостом по воде. Косма, слегка присев, изо всей силы — а силы у него было хоть отбавляй — ударил рыбу багром. На белом брюхе появилась черная кровяная полоса. Косма ударил рыбину еще и еще раз. Потом, больше не глядя на нее, кинул окровавленный багор на банку и принялся помогать старшине:

— Берись, дядя Емельян... Головой чтобы вниз, там у нее самая тяжесть...

— Меня, щенок, учить вздумал! — прохрипел Емельян, обливаясь потом. — В этой голове не меньше, как сто кило будет.

Он размахнулся и ударил белугу кулаком. В следующую минуту Косма ахнул ее по голове деревянным молотком.

Потом оба, поддев рыбину короткими баграми, с трудом перекинули ее в лодку. За бортом болтался только хвост. Емельян взял брошенный Космой багор и подцепил им хвост в самом узком месте. Когда все было кончено, рыбаки сели отдохнуть. С них градом лил пот; они утерлись рукавами и, взглянув на белугу, многозначительно переглянулись.

— Двести будет, не меньше, — сказал Емельян.

— Может, и с лишком, — подтвердил парень.

После размолвки с Маргаритой Косма впервые улыбался, с удовольствием глядя на громадную рыбину, почти целиком заполнившую лодку. Емельян похлопал его по плечу:

— И ловок же ты, малый! Будь мы с тобой врагами, я бы тебя боялся... Прямо в сердце угодил!

Детские глаза Космы затуманились, лицо как-то сразу возмужало.

— Куда ж еще метить? — произнес он с невеселым смехом. — Ясное дело, в сердце.

И он снова погрузился в молчание. Емельян бросил на него пытливый, удивленный взгляд и взялся за снасть.

— Держи правее... Нажми... Лодку скатить придется, вся в крови...

XXIV

Вокруг «Октябрьской звезды» царило оживление. Один куттер, врезаясь форштевнем в мелкую волну и поднимая пену, уходил на промысел с двумя лодками на буксире, другой приближался с северо-востока. Стоя в двухстах саженях от парохода, ждали своей очереди к разгрузке, мягко переваливавшиеся с боку на бок еще два куттера, мачты которых раскачивались в воздухе, как маятник метронома.

У высокого борта «Октябрьской звезды» уже стояли, разгружаясь, прибывшие раньше лодки. Баковая грузовая стрела спустила огромную сетку, в которую Емельян с Космой принялись кидать камбалу, мелких черноморских акул, морских котов и прочий улов. Камбалу брали осторожно, чтобы не уколоться об ее шипы. Двух белуг, весом не менее двухсот килограммов каждая, подцепили на крюк — сетка бы их не выдержала. Сверху, с командного мостика, на рыбаков смотрели стоявшие рядом капитан Хараламб, старший помощник Николау и старший механик Стяга. На баке, перегнувшись через планшир, Маргарита вместе с каким-то седым матросом глядела, как Косма грузит последнюю сетку. Наконец, лодка, испачканная кровью и рыбьей чешуей, опустела. Косма, вооружившись черпаком и шваброй, принялся ее мыть. Емельян поднялся на палубу по штормтрапу, а Косма, вымыв лодку, ухватился за трос подъемной стрелы и вскочил на железное кольцо сетки, в которой было уже не менее тонны рыбы. Проделал он это с той легкостью и гибкостью, которыми, несмотря на огромный рост, отличались все его движения.

— Вира! — крикнул парень, найдя равновесие.

— Куда забрался? Слезай оттуда! — кричали ему со всех сторон.

Люди не знали, смеяться этой выходке или тревожиться за смельчака. Повинуясь команде «вира», паровая лебедка загудела, трос натянулся, и Косма взвился в воздух. Если бы девушка в спецовке с засученными по самые колена штанами, обнажавшими ее стройные белые ноги, посмотрела на Космы повнимательнее,она, может быть, заметила бы то, чего не замечал никто: в веселости парня было что-то неестественное, а сильные, казавшиеся легкими движения едва скрывали усталость. Но девушка ничего не замечала, беззаботно глядя на висевшую над сеткой фигуру; повернувшись к лебедчику, она задорно крикнула:

— Майна, Лае, майна! Пускай выкупается в море, а заодно и рыбу прополощет!

Лае не то приготовился, не то притворился, что хочет окунуть сетку в море, но тут с командного мостика раздался зычный голос Николау:

— Это еще что такое? Кто здесь распоряжается лебедкой? Вы, товарищ, ступайте на завод! А ты, Лае, о чем думаешь?..

Вспомнив о Прециосу, старший помощник умолк. «Опять накричал!— с досадой думал он, направляясь в свою каюту. — Но ведь опять поделом. Долго ли до беды?..»

Угроза купанья нисколько, казалось, не испугала Космы. Когда его наконец подняли и он, спокойно спрыгнув с кольца, развязал сетку, тонна рыбы вывалилась на палубу. Рабочие сразу принялись набирать камбалу в корзины и взвешивать улов. Емельян, подбоченясь, стоял поодаль.

— Косма, — крикнул он, — дай мне нож!

Косма достал из-за голенища резинового сапога два ножа и, ни слова не говоря, подал один из них старшине. Склонившись над белугами, оба принялись разделывать их сверкающими на солнце и отточенными как бритва разделочными ножами.

* * *

Косма, казалось, совершенно бесцельно бродил по пароходу. Всякий, кто видел его в эту минуту, невольно думал: «Ну и здоров же этот рукастый детина, только делать ему нечего!»

Добравшись до кормы и подойдя к брандспойту будто бы для того, чтоб напиться из привязанной к крану жестяной кружки, он поднес эту кружку к губам с единственной целью посмотреть через ее край на ют, где сидела на скамейке интересовавшая его парочка.

Маргарита, сложив руки на коленях, скрестив под лавкой голые ноги и позабыв все на свете, глядела на Лае, а тот, со своим роскошным перманентом и неотразимыми бачками, в полосатой фуфайке, не скрывавшей вытатуированных на руках якоря и русалки, тихо говорил ей что-то. Оба не сводили друг с друга влюбленных глаз, словно никого, кроме них, в мире не существовало.

Косма аккуратно поставил кружку на место и вытер рукой рот. К брандспойту подошел старший механик и тоненько процедил сквозь зубы свою любимую:

— Фиу-фиу-фи!

Оглянувшись вокруг, старик заметил влюбленную парочку.

— Совсем одурели! — сказал он негромко, обращаясь к Косме.

Уставившись на старика отсутствующим взглядом, Косма ничего не ответил, медленно повернулся и, покачивая могучими плечами, пошел прочь.

Старик удивленно посмотрел ему вслед.

— И этот хорош! Не судно, а пловучий сумасшедший дом!

Он напился и отправился дальше, но, проходя мимо радиорубки, остановился и опять чирикнул по-птичьи. Радист высунул голову в дверь.

— Что метеосводка? Есть перемены? — спросил старик.

— Ветер от четырех до шести баллов, в море волнение, — ответил радист и исчез в рубке.

— Значит, качает нас, — философски заметил про себя старик.

Потом посмотрел на голубое небо и расстилавшуюся вокруг водную гладь и поправился:

— То есть, покачает завтра...

Он поднялся на ходовой мостик. К нему молча подошел капитан.

— Погода меняется,— после долгой паузы сказал старший механик.

Капитан продолжал молчать.

— Много лодок в море?

Капитан пожал плечами. Это могло означать: «Какие тут лодки в море? Чуть не все рыбаки в буфете!» Старик понял и посочувствовал:

— Верно... пловучий кабак, а не пароход!

Косма стоял с закрытыми глазами, прислонившись к стенке. Ему все труднее становилось бороться с душившим его отчаянием, с нестерпимой сердечной мукой. Он чувствовал, что теряет рассудок, что он болен, умирает. Ни на минуту не мог он забыть Маргариту и Лае, с его омерзительными бачками. Было только одно средство избавиться от этих мыслей. Тут ничего не поделаешь. Нож! Другого выхода он не видел. Нож!

Ночь пришла жаркая, душная, обещавшая грозу. Зарницы уже давно озаряли синими электрическими вспышками мачты, грузовые стрелы, такелаж носовой палубы, с ее механизмами, и ставшее черным, как чернила, море.

Косма сидел в углу, на чугунном кнехте, к которому была прикреплена лодка, оставшаяся в этот рейс без экипажа. Он положил руки на колени и затаил дыхание. Никто его не видел, никто не замечал его отсутствия.

Решение было принято, но почему-то он никак не мог встать.

Ослепительно яркая молния снова осветила «Октябрьскую звезду». На палубе стало светло как днем, только свет был особый, сине-лиловый. Потом сразу наступила такая тьма, что Косме показалось, будто он ослеп. Оглушительный удар грома грянул, наконец, раздирая воздух, как орудийный выстрел. И снова тишина, непроглядный мрак и мучительное ожидание...

Косма сделал над собой страшное усилие, поднялся и наощупь пошел к белой надстройке. Наступив на что-то мягкое, показавшееся ему живым, он вздрогнул, но тут же сообразил, что это шланг. Потом под его ногой загремели какие-то цепи. Рубаха приклеилась к вспотевшей спине. Пламенный зигзаг молнии прорезал небосвод сверху донизу и как стрела вонзился в черную воду. Косма увидел перед собой ослепительно белую стенку, зияющее отверстие двери и почувствовал, что он со всех сторон открыт, что каждый может его обнаружить, что его отовсюду видно. Но ему теперь было не до того. Нужно было доканчивать начатое. Что будет потом — неважно. В окутавшей его снова тьме раздался второй оглушительный раскат грома, но Косма не обратил на него никакого внимания. Он нагнулся, достал из-за голенища тот самый нож, которым разделывал белугу, и вошел.

Внутри все было тихо. Не слышно было даже дыхания спящих. Спят ли они? А может, не спят? В кубрике духота, пахнет потом; Косма нащупал койки и отсчитал четвертую в нижнем ряду.

Молния снова осветила все: ботинки и деревянные сандалии на полу, некрашеный стол и бутылку на нем, два зеркальца для бритья, несколько жестяных тарелок, ложки, упавшую на пол сложенную газету. Потом все опять погрузилось в темноту... Косма нагнулся над крепко спящим человеком.

Это был он, Лае — его вьющиеся волосы, его бачки, его татуировка на руках. Ничего не стоило взмахнуть ножом. И все будет кончено: страдания, ненависть, ревность, любовь Маргариты к Лае. Что случится после, Косме безразлично. Главное — чтобы вся эта мука поскорей кончилась. Он занес нож и стал ждать молнии, чтобы ударить наверняка. Яркая вспышка осветила кубрик и где-то, уже совсем близко, ударил гром. Теперь молнии следовали одна за другой, все озарилось фантастическим лиловым светом, раскаты грома сливались в сплошной оглушительный грохот. Но Косма, как занес нож, так и замер. Перед ним, на койке, в одной рубахе, подложив руку под голову, спал, лежа на животе, Лае. Его пышная шевелюра растрепалась, из угла открытого рта текла тонкая струйка слюны. Задравшаяся рубаха обнажала волосатые ноги и выпяченный белый зад. Косма почувствовал неожиданное презрительное спокойствие: «Вот этот волосатый нравится Маргарите? Его он ненавидел безумной ненавистью? Чуть не зарезал?!»

Рука Космы медленно опустилась. Он неуверенно повернулся и плавно, как ходят во сне, вышел. В нескольких саженях от парохода молния ударила в море. Косма, шатаясь, прошел на верхнюю палубу, все еще держа нож в руке, потом посмотрел на него, вздрогнул и кинул далеко за борт. Нож под страшные раскаты грома беззвучно упал в воду.

XXV

Всю эту ночь Лука Георге провел в своей лодке под проливным дождем. Он громко проклинал погоду, но никто не слышал его проклятий из-за раскатов грома. Рыбаки измучились, вычерпывая воду из лодки. Старшина отчаянно ругался, напряженно глядя по сторонам, хотя и не мог увидеть ничего, кроме кромешной тьмы и ливня.

— Фонари без стекол дают! Подумать только: без стекол! — возмущался Лука. — Жаль, что нет здесь той сволочи, которая посылает нам такие фонари! Да и Прециосу, который, видите ли, не желает смешивать рыбаков с командой, не мешало бы здесь побывать! Ах, чтоб тебя!..

Он начал чертыхаться с исступлением, произнося такие страшные ругательства, что гребцы вздрогнули и подняли головы — посмотреть, что случилось. То, что они увидели, заставило их остолбенеть от ужаса. Из падавшего стеной дождя выросло и надвигалось на них какое-то темное чудовище, принимавшее с каждой минутой все более угрожающие размеры. Наверху светились огни — топовый белый на мачте, отличительные красный и зеленый по бортам. Лука видел одновременно оба огня — это доказывало, что пароход шел прямо на них.

Он кинулся к веслам и, запрокинув голову, стал грести изо всех сил. Остальные последовали его примеру. Лодка стрелой понеслась вперед. Через минуту высокий нос корабля, с силой рассекавший воду и поднимавший две широкие пенистые волны, прошел в нескольких футах от рыбаков. Перед их испуганными взорами проплыли несколько освещенных иллюминаторов, залитый светом мостик, потом сразу корма и яростно вращающийся винт. Пароход с глухим грохотом быстро удалялся. Гребцы остановились. Несмотря на холодный дождь, с них градом лил пот.

— Ох, господи! — вырвалось у одного из рыбаков.

Лука глубоко вздохнул и утер лоб.

— Пронесло... — хрипло произнес он, немного погодя. — Ведь знают, негодяи, что мы ловим рыбу на мореходных путях, а выдают штормовые фонари без стекол. Здесь проходят все пароходы из Стамбула на Констанцу или на Одессу...

— Как бы он кого из наших этой ночью не потопил... — пробормотал второй гребец.

Лука долго вглядывался в темноту, поглотившую неизвестный корабль, на котором никто не мог знать о них. Но из-за дождя ничего не было видно.

— Айда! Берите черпаки и отливайте воду! — приказал он гребцам.

Через полчаса пароход, чуть не потопивший Луку с его лодкой, уже подходил со скоростью в двадцать с лишним узлов к тому месту, где рыбачила бригада Матвея Кирсанова.

Три лодки — три темных пятна — болтались на якорях, покрытые мокрым тентом, под которым дремали уставшие за день рыбаки. Матвей Кирсанов спал, подложив руку под голову, и видел во сне, что эту руку ему больно кусает кошка. Рука, прижатая к шпангоуту, затекла, но не настолько, чтобы разбудить старшину. Он долго боролся в темноте с приснившейся кошкой, потом темноту прорезали большие полосы какого-то желтого света — не то от солнца, не то от луны. Он не мог разобрать. Ему вдруг стало очень холодно. Ну и морозище! Он сделал усилие, чтобы проснуться, хотел вскочить и глотнул соленой морской воды. Сон смыло мгновенно. Матвей Кирсанов, широко раскинув руки, барахтался в водовороте, в вертевшей его вверх ногами водяной воронке. Что-то со страшной силой тряхнуло его, но тотчас же удалилось, гудя и воя под водой. Матвей стал выплывать. Сколько еще он выдержит, чтобы не глотнуть? Сколько еще осталось до поверхности?

Но море все-таки вытолкнуло его, и он выплыл. Какое наслаждение! Как хорошо дышать, какое счастье жить! Однако и страшно. Где остальные? Что сталось с лодками? Ведь все три стояли рядом. Озираясь, Матвей увидел быстро удалявшийся пароход — плотная черная масса с несколькими светящимися точками. Лодок нигде не было. Зато на черной воде хорошо обозначалась широкая полоса белой пены.

У Матвея сильней забилось сердце. Он испугался. Где они? Почему ничего не слышно? Почему ничего не видно? Он закричал не своим голосом, зовя других. Ему никто не ответил. Тогда он смолк, подавленный страхом. Долго ли еще до рассвета? Что это, начало ночи или конец? Сколько еще придется плыть? Заметят ли его, когда рассветет? Будут ли его искать? Ведь никто не знал о случившемся — неоткуда было узнать. Кто мог сообщить о постигшем их несчастье? С парохода, разбившего три счаленные между собой лодки, никто, конечно, ничего не мог видеть в эту темную, ненастную ночь. Если бы были штормовые фонари!.. Сколько о них говорено! Ох, дай теперь только добраться до базы — он, Матвей, там все выскажет. Он уж не постесняется... А на куттере и не подозревают о несчастье. Куттер ушел с рыбой на базу и вернется лишь утром. Сколько времени осталось до утра?

Матвей не знал, что ночь только началась. Для него было лучше, что он этого не знал. Матвей был человек смелый: «Чего зря отчаиваться? — решил он. — Буду плыть, пока хватит сил».

Плывя, он стянул с себя сапоги и, пустив их на дно, разделся. Плыть голым оказалось легче, но куда плыть? В каком направлении? Холодное море как щепку носило его взад и вперед и качало, словно в гигантской колыбели. Матвей стал застывать.

Он плыл медленно, чтобы не тратить бесцельно сил, направляясь туда, где, по его расчетам, находились лодки. Может быть, удастся найти хоть какую-нибудь доску, которая поможет продержаться, или даже спасательный круг. Делая неторопливые, широкие движения, он искал, шарил в воде. Сердце сжималось от страха, было холодно.

Искал долго. «Нужно во что бы то ни стало найти!» — думал он. Но ничего не попадалось. «Не беда, Матвей, знай — плыви! Не теряй надежды, продолжай искать!»

Куда девались рыбаки? «Братцы, братцы мои! Эй вы, ребята, где вы, сердешные?» — думал Матвей, и к горлу подступал комок. Они все были из одного села, знали друг друга с детства. Про каждого ему было известно все до мельчайших подробностей. Он продолжал медленно плыть, машинально поднимаясь и опускаясь на волнах. «Главное, Матвей, — думал он, — не отдаляйся от места, где были лодки, а то будешь искать понапрасну...»

...Умер он от истощения в предрассветный час, умер как раз тогда, когда «Октябрьская звезда» забирала рыбаков в серо-голубом свете раннего утра.

* * *

Рыбаки карабкались на пароход по штормтрапу. По палубе текла вода, гремели лебедки, из-под их колес выбивался пар, натянутые тросы поднимали раскачивавшиеся в воздухе лодки. Лебедками управляли боцман Мариника, Продан, старший помощник капитана Николау и Прикоп. Поднимать лодки в сильную зыбь — дело нелегкое и небезопасное. Каждую минуту можно было ожидать, что одна из них сорвется и грохнется о палубу, ранив или даже убив кого-нибудь из людей. Поэтому в таких случаях на лебедках работали коммунисты. Старший помощник, конечно, не был обязан сам управлять лебедкой, но всегда добровольно участвовал в подобных операциях. Мог бы предложить свои услуги и Преци-

осу, но он всю ночь пил, запершись в каюте, и теперь у него тряслись руки.

— Ступай ложись, а то еще осрамишься, выйдет история... — шепнул ему Прикоп.

Не отводя своих холодных, жестких глаз от Константина, подававшего ему с мостика сигналы, он хладнокровно и сосредоточенно управлял лебедкой. Там, где он стоял, было слышно, как возмущенные рыбаки яростно ругают служащих треста в Констанце, которые не выдали штормовых фонарей. «Нужно предупредить Василиу, чтобы он был осторожнее!» — подумал Прикоп, крепко держась за железные рычаги лебедки.

XXVI

Сильный ветер и дождь прекратились, но утро было пасмурным. Мертвая зыбь сильно качала пароход. Он шел не торопясь, возвращаясь на то место, откуда его отнесло ночным штормом, и то поднимался так высоко, что под его форштевнем показывалась выкрашенная суриком подводная часть, то тяжело проваливался между волнами, выбрасывая фонтаны кипящей пены. Море выглядело мрачным, враждебным, чужим. По небу быстро неслись гонимые ветром тучи. Было холодно.

Капитан Хараламб стоял на капитанском мостике вместе с Николау. Оба, с биноклями в руках, искали на горизонте серые точки — куттеры. Но как их увидеть на фоне пепельно-серого неба и пепельно-серых волн?

Капитан оглянулся, словно ища кого-то, потом посмотрел вниз, на бак. Там поднимали на тросах лодки, проведшие эту ночь неподалеку от парохода. Рыбаки, которым было нечего делать, громко балагурили с Емельяном Романовым. Капитан сложил руки рупором и, окликнув Емельяна, махнул ему, чтобы тот шел наверх. Романов отпустил напоследок какую-то шутку, от которой рыбаки покатились со смеху, и мигом взбежал по трапу на капитанский мостик.

— Посмотри-ка, братец, вон туда, — сказал капитан, — тебе простым глазом видней, чем нам в бинокль. Скажи, верно, что он без лодок идет?

Налетевший шквал поднял сильную волну, море покрылось барашками. Романов устремил взгляд вдаль, туда, где пепельно-серая вода и белые гребни сплетались в непрерывном движении. Он несколько мгновений неподвижно, с застывшим лицом глядел в одну точку, потом повернулся к капитану и уверенно произнес:

— Так и есть! Этот растерял лодки.

— Не может быть! — воскликнул Хараламб. — Не может быть! Рехнулись они, что ли?

Емельян не ответил и посмотрел вокруг. В кильватере «Октябрьской звезды» шли куттеры, уже приведшие свои лодки. В лодках никого не было. Рыбаки перебрались на куттер, и было видно, как они держатся за такелаж, чтобы не упасть.

— Давайте остановимся и заберем их, — обратился капитан к Николау.

Старший помощник перевел рычаг машинного телеграфа на середину. Мгновение — и стрелка передвинулась по циферблату на «стоп»: машина подтвердила, что команда принята и исполнена. Дрожь парохода уменьшилась, потом вовсе прекратилась. Осталась только килевая качка — подъем и падение, вверх и вниз...

— Вон еще один идет, — сказал Емельян, указывая на юго-запад.

Капитан направил в ту сторону бинокль.

— Что за черт!.. — пробормотал он, немного погодя. — И этот, как будто, без лодок! С ума посходили, что ли?

Рыбак, прищурившись, вглядывался в даль:

— Этот не наш... должно быть, из Констанцы...

Капитан удивленно, как на чудо, посмотрел на него и ласково улыбнулся.

— Знаешь, Романов, — сказал он, — когда тебе глаза больше не понадобятся, ты мне их подари...

Емельян промолчал. Шутка польстила ему, но, как настоящий морской рыбак, он считал неприличным обнаруживать свои чувства. Капитан отошел на другой конец мостика и разглядывал первый, шедший без лодок куттер. Хараламбу хотелось сказать своему старшему помощнику, что он беспокоится за людей, оставшихся в лодках, — не случилось ли с ними чего? Но он давно привык быть скупым на слова, сдержался и промолчал.

Николау следил за куттером, который, по мнению Емельяна, шел из Констанцы. В последнее время старший помощник стал во многом походить на капитана, был печален и угрюм. Никто больше не слышал его окриков. Он бродил по судну и словно искал что-то или чего-то ждал. Он начинал терять терпение. «В конце концов, — думал он иногда, стоя на капитанском мостике рядом с Хараламбом, — у товарищей в обкоме и без нас, очевидно, много дел. Довольно ждать, надо начинать борьбу самим, своими силами».

Приближавшийся с юго-запада куттер мелькал в волнах и качался как горький пьяница, зарываясь носом и поднимая тучи брызг. Второй куттер, тот, что должен был прибуксировать лодки, шел против ветра и потому двигался медленнее. До парохода ему оставалось еще около мили. Между тем, куттер из Констанцы развернулся, вспенил воду, обогнул корму «Октябрьской звезды» и, застопорив мотор, стал осторожно пришвартовываться к ее высокому — в восемь метров — серому борту. Как всегда в таких случаях, над планширом появился длинный ряд голов. Куттер прыгал на волнах, раскачиваясь и ежеминутно рискуя поломать себе мачту о борт «Октябрьской звезды», которую тоже сильно качало.

Появление куттера возбуждало тем больший интерес, что перебраться с куттера на пароход было сейчас делом нелегким. Волна, поднимавшая на два метра «Октябрьскую звезду», тотчас же опускала на два метра куттер. Кто осмелится уцепиться за штормтрап, когда при этом немудрено очутиться между куттером и пароходом и быть раздавленным при их малейшем соприкосновении?

На палубе куттера, прочно уперев ноги в бухту троса, стояли двое: моторист и неизвестный человек в синем поношенном костюме. В руках у обоих были крюки. Всякий раз, как куттеру угрожало столкновение с пароходом, они упирались ими в борт «Октябрьской звезды». «Этот в штатском больно ловок для городского жителя...» — подумал Прикоп, глядя за борт. Незнакомцу на вид было лет тридцать с лишним. Даже сверху было заметно, что он намного выше моториста и шире в плечах. Из-под сдвинутого на бок картуза виднелась прядь вьющихся волос; черты лица у незнакомца были строгие, и это особенно подчеркивали обрамлявшие рот глубокие морщины. По решительному выражению, которое принимало его лицо, когда он отпихивался крюком, можно было заключить, что это человек с сильным характером. Прикоп несколько минут с интересом следил за тщетными попытками прибывших удержать куттер достаточно близко от парохода, чтобы человек в штатском мог ухватиться за штормтрап. Ему захотелось поддеть горожанина.

— Полезай, что ли, чего ждешь? — насмешливо крикнул он, складывая по старой матросской привычке ладони рупором.

Человек в синем костюме поднял глаза, стараясь угадать, кто его

торопит. На одно мгновение взгляд незнакомца остановился на Прикопе, потом прыгающий куттер снова поглотил все его внимание. Обменявшись несколькими словами с мотористом, он опустил крюк, выждал, чтобы их снова подняло на гребень волны, потом подпрыгнул и крепко ухватился за мокрый, испачканный смолой, штормтрап. В ту же минуту винт куттера заработал и между ним и пароходом показалась узкая полоска воды, которая стала быстро расширяться. Держась одной рукой, незнакомец махнул мотористу и тот подал ему фибровый чемодан. Поднимая винтом пену, смешанную с голубым дымком отработанных газов, куттер поспешно отвалил в сторону.

Человек в синем костюме, ловко взобравшись по штормтрапу, перемахнул через планширь, спрыгнул на палубу и двинулся наверх. Первый, с кем он заговорил, был Прикоп Данилов, неожиданно оказавшийся на трапе.

— Где можно видеть капитана? — спросил незнакомец, спокойно разглядывая Прикопа сквозь прищуренные ресницы.

Прикоп ответил. Поблагодарив, человек пошел дальше. Прикоп посмотрел ему вслед, потом глянул на море. Пасмурный день с прохладным, живительным ветром показался ему зловещим. У него вдруг сильно сжалось сердце. Сперва он не узнал прибывшего, но это продолжалось всего одну минуту. Зачем он здесь?

Тот, между тем, добрался со своим фибровым чемоданом до капитанского мостика и подошел к Хараламбу:

— Товарищ капитан? Областной комитет партии прислал меня на ваше судно... Вот командировка.

Капитан пожал протянутую руку и, бегло прочитав бумажку, вернул ее. Потом он оглядел прибывшего с головы до ног грустным, но доброжелательным взглядом.

— Если бы вы смогли нам помочь... — сказал он, — нам нужна помощь...

Он задумчиво смотрел на стоявшего перед ним верзилу в поношенном, плохо отглаженном костюме, на его могучие плечи, на глубоко запрятанные под сдвинутыми бровями глаза и иссеченное преждевременными морщинами лицо. «Что он может сделать? — думал капитан. — Впрочем, посмотрим».

— Да, — повторил он, — помощь нам нужна...

Приезжий молчал.

— Товарищ Николау!.. — позвал капитан. — К нам прибыл товарищ из обкома партии.

Николау слышал те несколько фраз, которыми они обменялись. Он продолжал смотреть в бинокль на куттер, шедший без лодок и находившийся теперь не более чем в полумиле, но от волнения его не видел. «Стало быть, прислали все-таки, — думал старший помощник. — Посмотрим, посмотрим, что за человек. Лишь бы не оказался таким, как...»

Николау опустил бинокль и вместо ответа сказал:

— Нет, товарищ капитан, людей он не бросил. Смотрите, все рыбаки на куттере. А вот лодки они действительно оставили в море.

Потом повернулся к посланцу обкома и протянул ему руку:

— Идемте со мной, товарищ, я отведу вас в каюту, отнесете туда свой багаж... Долго у нас пробудете?

Он начал спускаться, но остановился и через плечо вопросительно поглядел на прибывшего. Ничто, как будто, не выдавало его волнения.

— Сколько будет нужно.

— Ага! — произнес Николау, продолжая спускаться.

Прибывший молча шел за ним.

— У нас тесновато, — снова заговорил Николау. — Не знаю даже, где вас устроить... Может, вместе с товарищем Прециосу?.. Это секретарь нашей организации.

— Знаю. Где его каюта?

— Вон там, в конце...

— Команда где спит?

— В носовом подпалубном помещении.

— Там вы мне койку и отведите.

Николау опять остановился на ступеньке и пристально посмотрел на человека с чемоданом.

— Койку? Не каюту? — переспросил он.

— Нет, не каюту. Койку в кубрике.

— Ага! — снова произнес Николау и пошел дальше.

Они миновали громко разговаривавших рыбаков, не обративших на них никакого внимания. Зато приезжий смотрел на рыбаков со странной сосредоточенностью, словно стремясь прочесть что-то на их обветренных лицах.

XXVII

По-прежнему сильно качало. Куттер, пришедший без лодок, то взлетал на самый гребень волны, то проваливался в бездну, приближаясь к пароходу. С капитанского мостика послышался зычный голос старшего помощника, кричавшего в рупор:

— Подходи осторожней! Куда смотришь?

Небритые, промокшие рыбаки, стоявшие на палубе куттера и державшиеся за такелаж, ответили ему вызывающим смехом, руками и крюками отталкиваясь от борта «Октябрьской звезды», которую вздымало от каждой волны чуть ли не в целый этаж. Наконец, один из рыбаков что-то крикнул товарищам, и все восемь или девять человек, ухватившись за штормтрап, разом полезли наверх — одни босые, с подвернутыми штанами, другие в резиновых сапогах, из голенищ которых высовывались рукоятки разделочных ножей.

С верхней палубы, скучающе и в то же время по-детски добродушно на них глядел старший механик.

— Смотри, Прикоп, — сказал он, — пираты берут на абордаж наш консервный завод...

— Нельзя называть их пиратами, — наставительно заметил Прикоп. — Они честные труженики.

«Пираты» между тем уже перелезали через планшир и прыгали на палубу. Куттер отошел за корму, туда, где в нескольких сотнях саженей от парохода прыгали на волнах другие куттеры. Лодки, которые они привели, были уже подняты на палубу «Октябрьской звезды».

Рыбаков встретили насмешками. Злее всех задирал Емельян — босой, с картузом набекрень.

— По мамаше соскучились? — кричал он, засунув руки в карманы. — А лодки свои пропили или в карты проиграли?

— Черт их принес! — ругался Ермолай. — Теперь и в буфет не продерешься...

С капитанского мостика послышался усиленный рупором голос капитана:

— Что вы сделали с лодками? Где они?

Прикоп спустился с верхней палубы и подошел к прибывшим. У них были смущенные и виноватые лица.

— Черти! — ругался Лука Георге. — Всю флотилию осрамили!

Опозорившаяся бригада пыталась защищаться.

— Вам хорошо говорить, а мы дальше всех были. В пяти часах ходу от мамаши! Случись что-нибудь...

— Конечно, — сказал Емельян. — Конечно! Мог дождик пойти — вас бы замочило, ветерком бы продуло, тут и насморк схватить немудрено...

Палуба беспрестанно то поднималась, то опускалась. Широко расставив ноги, рыбаки продолжали спорить о брошенных лодках.

— Побывал бы ты в нашей шкуре, — начал Симион Данилов, старшина провинившейся бригады.

— Чуть не потонули, — быстро перебил кто-то, прячась за его спину.

— Чу-у-уть! — с презрением протянул Емельян. — Вы кто такие? Морские рыбаки! Неужто вам наше рыбацкое ремесло не известно? Так чего же вы, чертовы пенсионеры, плачетесь?..

Он возмущенно сплюнул перед самым их носом.

Рыбаки посмотрели на плевок, потом на Романова, который равнодушно поглядывал на них, засунув руки в карманы. У Симиона заблестели глаза, он шагнул вперед, готовый к драке. Рыбаки разделились. Ермолай, Андрей, Косма обступили Емельяна, те, кто побросал лодки, собрались вокруг Симиона Данилова. Лука с беспокойством поглядывал то на тех, то на других, не зная, пора ли их разнимать. Но драке помешал неожиданно раздавшийся чужой голос:

— Я не верю тому, что говорит Романов!

Все оглянулись. Голос принадлежал только что прибывшему из Констанцы человеку. Еще за минуту до этого он стоял на капитанском мостике рядом с капитаном, который говорил ему, указывая на собравшихся на палубе рыбаков:

— Посмотрите на них, обратите внимание на их отношение к делу. Побросали лодки и укрылись от непогоды на базе. Разве это люди?

— Разумеется, люди, — ответил, к удивлению капитана, инструктор. — Виноваты не они.

Капитан открыл было рот, чтобы еще что-то сказать, но его собеседник уже спускался вниз по трапу.

Он сразу очутился в самой гуще рыбаков. Дешевый синий костюм и башмаки несколько отличали его от остальных, но это, по-видимому, нисколько его не смущало. Он чувствовал себя как дома среди этих, похожих на него, здоровенных, плечистых, загорелых людей — рыбаков из Даниловки, Сфынтул-Георге и Мангалии.

— Емельян Романов неправ, — повторил инструктор. — Раньше, действительно, ремесло наше было очень опасное и тяжелое. А теперь у рыбака есть плавучая база — пароход. Разве это не облегчает работы?

Он говорил неторопливо, и рыбаки с молчаливым одобрением слушали его.

С достоинством раздвинув толпу, появился председатель судового комитета профсоюза Прикоп.

— Я понимаю рыбаков, — сказал он. — Погода, конечно, для промысла плохая. База должна была быть миль на десять ближе. Нас слишком далеко отнесло, — многозначительно добавил он, не глядя на нового инструктора.

Тот окинул его проницательным взглядом и, словно не расслышав сказанного, обратился к Симиону:

— А когда лодка была кулацкая и снасть кулацкая, что делали рыбаки при такой погоде? Бросали все и укрывались на пароходе?

— Ха-ха-ха! — громко рассмеялся Ермолай. — Да парохода тогда вовсе не было! А у кулака разговор короткий...

Симион не поднимал глаз. Емельян молчал, уставившись на инструктора, и упорно размышлял о чем-то.

Инструктор, между тем, не оставлял Симиона в покое:

— Неужели вы народное достояние будете беречь меньше, чем кулацкое? Разве это дело? Ведь государство тоже может потребовать вас к ответу. Есть закон, есть и суд...

Симион понял намек и попятился, смешавшись с толпой.

— Разве я один? — нагловато заметил он, пожимая плечами. — Поговорите с другими — нас девять человек было.

— Старшина — ты! — резко бросил Лука.

Человек в синем костюме поглядел на остальных членов бригады, которые стояли пристыженные, сконфуженные, сердитые.

— Они тоже хороши. Если старшина струсил, должны его остановить...

Симион, не стерпев, вызывающе, в упор, взглянул на инструктора:

— На пароходе-то хорошо разговаривать... В море другое дело.

Инструктор глаз не отвел.

— Это верно... — сказал он сухо, невесело рассмеявшись. — На море — другое дело...

И громко добавил:

— Лодки нужно вернуть. Кто охотник?

Никто не ответил. Люди с трудом держались на ногах. Палуба то вздымалась, то уходила под ними. День был пасмурный, серый. По свинцовому морю ходили белые, пенистые гребни. Рыбаки глядели на нырявшие в волнах куттеры и упорно молчали.

Первым вызвался Емельян.

— Я пойду.

— И я, — еще лаконичнее проговорил Лука.

— И я с ними, — сказал великан Косма.

После него откликнулась бригада Ермолая: первым — его подручный Андрей, потом сам Ермолай, потом еще один:

— Мы тоже!

Инструктор поднял руку:

— Довольно. Шестерых хватит!

И прибавил, обращаясь к Николаю:

— Распорядитесь, если можно, спустить нам лодку.

Николаю вздрогнул и торопливо проговорил:

— Можно, товарищ... Даже две, если хотите.

Послышался грохот лебедок. Над палубой повисли тросы. Матросы завели под днище лодки строп. Боцман, дядя Мариника, размахивая руками, командовал лебедчиками. Вскоре лодка, скользя на блоках, уже раскачивалась над бурным морем.

Опустив голову, Прикоп задумчиво побрел к себе, на жилую палубу. Проходя мимо старшего механика, стоявшего, облокотясь на планшир, и наблюдавшего за всем, что происходило, он услышал его неизменное: «Фиу-фиу-фи!»

— Видал, Прикоп? — сказал Стяга. — Видел, голубчик?

— Что?

— Видел инструктора?

— Видел.

— Моряк, черт возьми, иначе быть не может. Бывший моряк. И бедовый... — старик поперхнулся, глядя на Косму.

Лодка уже была готова перенестись за борт, как вдруг Косма уцепился за трос. Он влез в лодку, хотя ее сильно раскачивало в воздухе, и, стоя в ней, схватив крюк, стал сильно отталкиваться от борта «Октябрь-

ской звезды». Медленно скользили на блоках тросы, медленно спускалась лодка вместе с Космой, все более приближаясь к воде. Но вот ее настиг огромный вал и, ударившись гребнем о борт, окутал белой пеной, потом отпрянул, и лодка снова повисла в воздухе. Косма стоял во весь рост с крюком в руках. Еще метр троса, и лодка запрыгала на волнах. Косма ловко отдал строп. Рыбаки полезли вниз по штормтрапу, который Косма успел подтянуть своим крюком. Инструктор легко перемахнул через планшир и исчез за бортом. Прикоп задумался и озабоченно молчал. Старший механик свистнул и невозмутимо отправился дальше.

Внизу волны будто играли лодкой. Гребцы — по двое на каждой банке — налегли на весла, и лодка стала отдаляться от парохода, врезаясь в бурлящую воду.

Когда они поравнялись с куттером, который должен был отбуксировать их к покинутым лодкам, Косма тронул инструктора, сидевшего загребным, и бесхитростно спросил:

— Ты рыбак?

— Он из нашего села... — ответил за инструктора Емельян. — Ты его не знаешь — малым ребенком был...

Инструктор повернул голову и искоса посмотрел на Емельяна, но промолчал.

— А я тебя узнал, — продолжал Емельян, — ты — Адам Жора. С моим братом рыбачил... Изменился, конечно, но все-таки я тебя узнал...

Высокий, серый пароход с тонкими мачтами и дымящейся трубой остался позади, то поднимаясь, то опускаясь на крупной волне; куттер и лодку сильно трепало, то и дело бросая в зеленые провалы, из которых видны были лишь хмурое небо да верхушки мачт «Октябрьской звезды».

— Я тебя узнал, — повторил Романов, — отчаянный был парень... А помнишь, как я тебя побил?

— Я, кажется, тогда Якинтову девку за что-то обругал, а ты за ней ударял, — сказал Адам с едва заметной улыбкой, не глядя на сидевшего рядом Емельяна. — Что с ней теперь?

— Мы поженились... У нас уже дети большие...

— Желаю им всяческого благополучия.

— И тебе того же... А у тебя дети есть?

— У меня ничего нету, — коротко ответил Адам.

Емельян был, видимо, взволнован встречей.

— Простил ты нас? — пробормотал он, искоса глядя на соседа.

— Да, — просто ответил Адам, — вас простил, давно уже.

XXVIII

В то время как куттер, который буксировал лодку с Адамом, Емельяном и другими, все дальше уходил в туманное серое море, Симион Данилов отправился разыскивать своего братца. Он нашел его в сиротестве. Облокотившись на планшир, Прикоп глядел вниз, на темно-зеленые волны, которые, разбиваясь о борт парохода, закипали тысячами мелких пузырьков. Симион подошел и встал рядом с братом. Босой, оборванный, лохматый рыбак (он ходил в таком виде, чтобы люди не вспоминали его кулацкого происхождения) резко отличался от свежевыбритого, аккуратного моряка в отглаженной спецовке. Прикоп окинул брата беглым взглядом.

— Видел его? — спросил Симион, двигая грязными пальцами босых ног с отросшими, вымазанными смолой ногтями.

— Видел! — мрачно ответил Прикоп.

— Партийный, значит?

Прикоп промолчал.

— Из таких, как он, и выходят коммунисты... — задумчиво пробормотал Симион.

— Помалкивай, — проговорил Прикоп.

— Остерегайся его!

— Чего мне остерегаться? — проворчал Прикоп, холодно улыбаясь.

Симион удивился:

— Да ты что, одурел, что ли? Думаешь, он забыл? Думаешь, он нас простил?

— Это его дело, — уверенно сказал Прикоп. — Встречали мы таких, не страшно... Ступай — не годится, чтобы нас видели вместе...

Симион удалился с деланно-равнодушным видом, а Прикоп продолжал свои размышления, облокотившись на холодное железо планширa и не отрывая глаз от моря. Немного погодя, он выпрямился и пошел разыскивать Прециосу.

Вечером вернулся куттер, ведя на буксире брошенные лодки, которые были найдены на якорях, над большими глубинами — саженей в тридцать и более. Снасть тоже вытащили и даже с уловом. Рыбаки, несмотря на усталость, еще остались на палубе посмотреть, как поднимают лодки, а Адам Жора, бледный и с темными кругами под глазами, в промокшей одежде, отправился за спецовкой и резиновыми сапогами. Кладовщик, он же буфетчик, кисло ответил, что у него нет ни того, ни другого. Адам так и остался в мокром костюме и, дрожа от холода, пошел в каюту секретаря парторганизации. Там он нашел Прециосу и Прикопа, принявших его вежливо, но с преувеличенной важностью. Прикоп посмотрел на его мокрую одежду, но ничего не сказал. Адам спросил, скоро ли состоится заседание бюро, ему ответили, что когда угодно, хоть сейчас.

— Из кого состоит бюро? Из вас двоих? — спросил Адам. — Кажется, был еще один член. Продан... если не ошибаюсь?

— Продан на вахте, — сказал Прециосу.

— Подождем, пока он сменится.

— Тогда начнется наша вахта, — сказал Прикоп, которому не хотелось при Продане говорить с Адамом.

— В таком случае я поговорю с ним отдельно и потом сообщу вам его мнение.

Прикоп с Прециосу переглянулись: «Мало ли что наговорит ему Продан, пожалуй, уж лучше, чтобы говорил при нас», — подумал каждый.

— Пойду посмотрю, нельзя ли его подменить, — решил Прикоп и вышел из каюты.

Прециосу, сощурив один глаз от дыма папиросы, приклеившейся в углу рта, принялся медленно, растягивая слова, осведомлять Адама:

— Продан — хороший товарищ, но, к сожалению, находится под влиянием одной компании, свившей гнездо на этом пароходе.

— Что за компания? — удивился Адам.

— Вы сами увидите. Там есть члены партии, подпавшие под чуждое влияние. Да, да...

— Какие члены партии?

— Во-первых, сам Продан. Потом старший помощник капитана Николау, боцман Мариника, механик Маня... Но не беспокойтесь, парторганизация беспощадно разоблачила их и задала им хорошую головомойку...

— А что они сделали? О каком чуждом влиянии речь?

— Они оторвались от организации — раз. Перешли на сторону капитана — два. Идут против партии...

— Как? Здесь у вас капитан действует против указаний партии?

Прециосу снисходительно улыбнулся:

— Вы еще молоды. Сколько вам лет?

— Лет тридцать будет...

— Вот видите. А мне под пятьдесят, и я был связан с рабочим движением еще в тридцатых годах... Я этих господ хорошо знаю. Неужели вы думаете, что они в душе преданы нашему строю? Что вы!

Адам Жора сдержанно улыбнулся.

— Не знаю, что делается в капитанской душе, но скажите конкретно, как он себя ведет?

— Конечно, если судить по поведению...

— А по чему же еще?..

Прециосу сделал удивленные глаза.

— Партия учит нас быть более бдительными, — произнес он нравоучительно.

Это звучало как прямой упрек, но на Адама не подействовало.

— Очень хорошо, — согласился он, — будьте более бдительны. Но все-таки, какую позицию занимают товарищи, о которых вы говорите? В частности капитан?

— Я вам уже объяснил, — с подчеркнутой терпеливостью сказал Прециосу, — они оторвались от партийной организации и не считаются с линией партии.

— Да в чем это сказывается? Чего они хотят или не хотят? — допытывался Адам.

Он взглянул на Прециосу в упор и, словно ударив его кулаком в грудь, спросил:

— Скажите, пожалуйста, какова, по-вашему, линия партии?

Прециосу так удивился, что даже вынул окурок изо рта:

— Как так?

— Какие задачи у партии здесь, в рыболовной флотилии? — спокойно повторил Адам Жора.

Прециосу растерялся. Этот вопрос никогда не интересовал его. Он попробовал заговорить свысока:

— Как, товарищ Жора, неужели вы хотите сказать, что у партии одни задачи в стране и другие — в рыболовной флотилии?

Слова сопровождались ироническим смешком. Адам ответил невеселой улыбкой:

— Я ничего не хочу сказать. Я спрашиваю, какие, по-вашему, практические цели ставит партия здесь, в рыболовной флотилии?..

— Во-первых, флотилия нас не касается. Мы — судовая первичная организация. Во-вторых, зачем обсуждать такие вопросы на ходу? Обсуждать их следует на заседании, обстоятельно, организованно, а не так...

Прециосу все еще сохранял тон человека, поучающего новичка-молокососа.

Адам с некоторым сожалением поглядел на него:

— Я знаю, что, если коммуниста разбудят ночью и спросят, какие практические задачи ставит партия на его рабочем месте, он должен, не задумываясь, ответить. Кроме того, мне кажется странным, что вы отделяете политическую работу на судне от политической работы среди рыбаков...

Прециосу счел за лучшее услышать только последнюю фразу.

— Так с самого начала организовано не нами, — с важностью возразил он.

Адам слегка пожал плечами:

— Но можно организовать и иначе, если этого требуют интересы дела!

— Вы, кажется, собираетесь нас судить? — осведомился Прециосу, начиная трусить в душе. — Сначала хоть поинтересуйтесь, как мы работаем, проанализируйте обстановку, а потом делайте выводы.

— Не обижайтесь, — мягко сказал Адам, — конечно, мы все обсудим вместе и вместе решим, что делать...

В эту минуту вошли Прикоп с Проданом. Прикоп нарочно не торопился, чтобы дать время Прециосу сказать все что требовалось. Он успел мельком взглянуть на Прециосу и заметил, что секретарь парторганизации выглядит смущенно, если не испуганно. «Необходимо с самого начала дать Адаму подножку, — подумал Прикоп, — иначе Продан еще решит, чего доброго, что наконец появился человек, с которым можно поговорить по душам». План действий у Прикопа был готов.

— Товарищ Жора, — начал он вкрадчиво, усевшись на свое место, — мне хотелось бы поговорить с вами запросто, по-товарищески. Пожалуйста, не обижайтесь, я буду говорить прямо. Вы здесь человек новый, а успели уже допустить...

Он оборвал, сделав вид, что колеблется.

— Говорите, говорите, не стесняйтесь, — сказал Адам Жора.

— Видите ли, — продолжал Прикоп, — есть люди, которые... Как бы вам сказать?.. Особенно, когда их командируют сверху... которые не любят критики снизу...

Адам Жора молча ждал, что будет дальше.

Прикоп тяжело вздохнул.

— Сегодня утром, — опять заговорил он, — отправляясь за лодками, вы, конечно, хотели сделать лучше. Мы понимаем: забота о государственном достоянии... Но, во-первых, следовало посоветоваться с нами, чтобы все это не носило характера вашей личной инициативы. А, во-вторых, спасая лодки, подумали ли вы о самом ценном капитале — о человеке? Что если бы рыбаки погибли? Стоило ли подвергать людей смертельной опасности из-за лодок? Вот в этом ваша ошибка. Очень досадно, что она произошла в первый же день. Рыбаки теперь будут считать, что вы не заботитесь о людях. А ведь коммунист, который не заботится о людях, не может вести настоящей политической работы!

Вся эта речь произносилась спокойно, даже, пожалуй, доброжелательно, тоном наставника, поучающего чересчур резвого ребенка.

В душе Прикоп торжествовал. Самый факт, что он разговаривает таким тоном с инструктором обкома, показывал, в какое ложное положение поставил себя этот инструктор.

Адам Жора мгновенно понял расставленную ловушку. «Этот человек мне враг, — подумал он, — но разве только мне?»

Перед отъездом, в обкоме, просматривая относившиеся к этой организации документы, Адам увидел, какая участь постигла двух инструкторов, посланных в прошлом году на «Октябрьскую звезду». Обоих отозвали, и оба получили взыскание. Третий дал благоприятный отзыв о работе здешней парторганизации, не вдаваясь в подробности. «Похоже, этот третий намеренно закрывал глаза, а те двое были жертвами интриги!» — мелькнула нехорошая догадка. Где-то, в самой глубине души Адама, шевельнулось старое: «Опять Даниловы!» Но внешне он и бровью не повел.

— Вот, — закончил Прикоп, мысленно усмехаясь, — теперь, пожалуй, можно приступить и к заседанию...

Обрадованный и успокоенный, Прециосу только было собрался объявить заседание открытым, как Адам остановил его:

— Погодите. Я тоже хочу высказать свое мнение.

Прециосу, закуривая, жестом предоставил инструктору слово.

— Недопустимо, — твердо сказал Адам, — чтобы один партийный лозунг использовался как оружие против другого. Забота о человеке тут совершенно ни при чем. Речь шла о лодках или, строго говоря, — о социалистическом имуществе. Я сам бывший рыбак, товарищ Прикоп Данилов

меня знает, и при действительной опасности я не стал бы вызывать охотников. Но указать людям, что нельзя шутить с народным имуществом, было необходимо. Неужели для этого надо устраивать заседание? И почему вы, секретарь, сами не проявили инициативы?

Адам остановился, давая возможность Прециосу ответить. Тот сделал вид, что занят погасшей папиросой. Адам повернулся к Прикопу:

— Было бы лучше, — задумчиво сказал он, — если бы старшиной в бригаде, побросавшей лодки и снасти, был не ваш родной брат, товарищ Данилов. А раз так случилось, что старшиной был именно он, вам следовало сделать ему выговор. Это гораздо полезнее, чем критиковать присланного из обкома инструктора, которому пришлось вместо вас объяснить рыбакам, что они обязаны беречь государственное имущество...

Адам давно уже не дрался, и было мало вероятно, что ему когда-либо в будущем придется снова, как десять с лишним лет назад, пользоваться кулаками, но бороться он умел теперь лучше, чем тогда. Нанесенный им ответный удар был сокрушительным, и Прикоп хорошо почувствовал его силу. Слова «товарищ Данилов меня знает» заставили его вздрогнуть. «Но это еще не так опасно, — думал Прикоп, — а вот с Симионом я действительно засыпался. Как это я забыл сделать выговор дорогому братцу?!»

Он поспешил оправдаться:

— Откуда вам известно, что я ничего не сказал брату? Наоборот, я отчитал его самым серьезным образом.

— Разве вы не понимаете, что это нужно было сделать сразу и при всех? — спросил Адам.

— Погодите, товарищ Жора, будем рассуждать организованно! — вмешался Прециосу, чтобы как-нибудь помочь Прикопу.

— Конечно, — с вымученной улыбкой сказал Прикоп, — поскольку вы отвергаете нашу критику...

— Я убежден, что действовал правильно, — перебил Адам.

Но Прикоп уже взял себя в руки.

— Мы высказали иное мнение, однако, если вам это не нравится, мы можем и помолчать, — со смешком заметил он.

Адам ответил неопределенной улыбкой и предложил приступить наконец к заседанию. Продолжать спор не имело смысла. Адам несколько раз пытался втянуть в разговор Продана, но тот, произнеся два-три хорошо обдуманных слова, снова умолкал, испытующе глядя на инструктора. Под конец Прикоп и Прециосу спросили Адама, какие он предлагает меры для улучшения работы судовой парторганизации, но он полушутя уклонился от ответа:

— Вы сами только что говорили, как нужно быть осторожным в первые дни на новом месте.

Они расстались. Продан ушел снова на вахту. Прециосу с Прикопом остались вдвоем. Прециосу был недоволен.

— Этот товарищ Жора много о себе воображает, — сказал он с досадой, — но посмотрим... За кого он нас принимает? За палубных практикантов, которые не умеют завязать ни одного узла? Ведь мы с тобой матерые морские волки.

— Не болтай, — огрызнулся Прикоп.

Он глубоко задумался. Нынешний Жора совсем не был похож на прежнего долговязого деревенского парня, сильного, как молодой бык. Он явно издевался над ними, он открыто намекал на их козни... Опасный человек! Нужно отделаться от него как можно скорее...

Вслух Прикоп сказал:

— Этот инструкторишка так зазнался, что не допускает никакой критики. Придется писать в обком. Ночью будет сейнер с горючим для куттеров. Мы с ним письмецо и отправим.

— Напишем, как ты ему говорил, — сказал Прециосу. — Позовем Продана?

— Сколько можно уходить с вахты? — проворчал Прикоп. — Достаточно двух членов бюро.

В то время как Прикоп и Прециосу, тщательно взвешивая каждое слово, сочиняли письмо, Адам, лежа в темноте, вертелся на подвесной койке. В кубрике было душно, слышался громкий храп. Адаму не спалось от волновавших его мыслей. Он привык считать, что прошлое отодвинулось куда-то очень далеко, что для него не существует больше ни Даниловки, ни тамошних людей. Еще в обкоме, просматривая списки коммунистов «Октябрьской звезды», он узнал, что ему предстоит встретиться с Прикопом. В деле значилось, что Данилов Прикоп порвал с отцом-кулаком до 1944 года и с тех пор работает простым матросом. Больше никаких сведений не было. Издали все это казалось проще. Но каково же было Адаму увидеть живого Прикопа, еще более наглого, коварного, чем прежде. И тут же, чуть не в рубище, — Симион, муж Ульяны.

Адам мучительно вертелся с боку на бок. «Зачем себя обманывать?»— думал он. Он ненавидел их еще с тех давних пор. Ему хотелось быть великаном, чтобы растоптать ногами их дом и в нем, как муравьев, всех Даниловых. «Но я не могу им мстить!» — повторял он, обливаясь потом и качаясь в своей койке. «Они для меня чужие и я для них чужой. Если они честно работают, я их не трону...»

Минутами ему становилось трудно дышать от усилий, которые он прилагал, чтоб подавить душившую его ненависть. Потом, когда он успокаивался на несколько мгновений, ему казалось, что битва выиграна. Но почти тотчас же он снова обливался потом, снова его захлестывала волна безудержного гнева, неутолимой жажды мести, безумного желания топтать ногами, крошить, терзать, рвать руками и зубами... «Что со мной делается? Что со мной?» — недоумевал он, испуганный этой лихорадкой ненависти.

Адам не спал всю ночь. Ни те, кто, сменившись с вахты, приходили ложиться, ни те, кто просыпался и, ворча в темноте, уходили им на смену, не знали, что незнакомец, лежавший на первой от двери койке, не спит. Утром, измученный бессонницей, он вышел на палубу. Теперь, после этой ночи, он знал наверное, что никогда не воспользуется своей властью для мести. Сейнер, приходивший ночью с горючим, только что отвалил прочь. Облокотившись на планшир, Адам долго смотрел ему вслед, не подозревая, что сейнер увозил письмо, очень важное для его судьбы. Море по-прежнему хмурилось.

С кормовой палубы донеслись чьи-то негодующие голоса. Адам пошел туда — посмотреть, что случилось. Бородатые рыбаки в выцветших, запачканных смолой и кровью спецовках, с бледными, возмущенными лицами, обступив Прециосу, грозили ему кулаками.

— Чего смотришь, а? Чего, говорю, смотришь? Что вы тут делаете? Люди тонут, а вы заседаете? Да? Эх, вы, работники! — кричал Емельян, дрожа от негодования, и по щекам этого сильного, грубого, уже почти седого человека текли слезы.

— Что у вас тут, братцы? — спросил, подходя к ним, Адам.

— Оставьте вы меня все в покое! — огрызался Прециосу: — Мы парторганизация судна, а не рыболовной флотилии!

Лука Георге повернулся к Адаму:

— Нашли обломки лодок бригады Матвея Кирсанова. Прошлой ночью их потопил какой-то налетевший пароход. А все из-за фонарей... Не дают штормовых фонарей, хоть тресни!

Мрачно глядя себе под ноги, Прециосу ответил что-то невнятное о стеклах. Шум усилился, но в конце концов чей-то зычный голос пред-

ложил перенести дискуссию в буфет. Там хоть можно выпить с досады и отвести душу руганью.

Прециосу подошел к Луке и Адаму.

— Удивляюсь, как это ты, коммунист, поддерживаешь такие разговоры! — раздраженно обратился он к Луке. — Восстанавливаешь рыбаков против парторганизации? Скверное дело, Георге, придется ответ держать.

Прециосу хотелось сорвать досаду, но Лука вскипел:

— Я восстанавливаю рыбаков? Я?! А вы, по-твоему, что делаете? Во флотилии засели бандиты-вредители, люди гибнут у вас на глазах, а вам и горя мало! Тьфу! Смотреть на все противно!

Прециосу из осторожности смолк и только поглядывал на Адама. Адам отвернулся.

«Ладно, — сказал себе Прециосу, — получат наш рапорт в Констанце — тогда увидим!»

XXIX

Но время шло, а никакого ответа на письмо Прециосу и Прикопа не приходило. Тогда Прикоп решил, что один из них должен с первым же сейнером съездить в Констанцу.

Сейнер пришел той же ночью. Он доставил банки для консервов и Спиру Василиу, который пользовался каждым случаем, чтоб прогуляться по морю.

Василиу наблюдал за выгрузкой, когда кто-то коснулся его руки.

— Товарищ Василиу...

Он оглянулся и увидел Прикопа:

— Здравствуйте, товарищ председатель.

Они пожали друг другу руки.

— Пойдемте,— шепнул Прикоп, — я вам кое-что скажу.

В темном углу под жилой палубой он почти беззвучно и быстро проговорил:

— Будьте осторожней, господин капитан, насчет материальной части... Рыбаки волнуются. Из-за фонарей, знаете ли, бригада потонула.

— К черту! — ругнулся Спиру Василиу.

— Я вас предупредил. Выйдет история — на меня не рассчитывайте. Будьте здоровы!

Прикопа поглотила темнота. Спиру Василиу пожал плечами — ему все страшно надоело, и думал он теперь только об иностранных портах, о крупных кушах, о кутежах...

Отправляясь назад в Констанцу, сейнер захватил Прециосу. Утром Прециосу вошел в кабинет второго секретаря обкома — бывшего горняка. Письмо, на которое не последовало ответа, лежало на столе.

— Хорошо, что вы сами явились, — сказал секретарь. — Ваше письмо удивило меня...

— Товарищ секретарь, — горячо заговорил Прециосу, — зачем вы прислали этого инструктора? Для того, чтобы нам помогать, или для того, чтобы путать дела?

— Пожалуйста, конкретнее, — сухо попросил секретарь. — Что именно у вас произошло?

Прециосу рассказал про лодки.

— Распоряжается, не спросив бюро, ни с кем не посоветовавшись. Все время торчит на промысле, с рыбаками... Какая же от него помощь, товарищ секретарь? Главное, создает неблагоприятную атмосферу. Люди теряют доверие к партбюро, косятся на нас...

— Почему? — удивился секретарь.

Спрашивая, он думал о своем разговоре с Николау и боцманом. Прециосу многозначительно вздохнул.

— Инструктор этот, товарищ секретарь, спелся с двумя-тремя коммунистами, которые вечно недовольны работой бюро...

— С кем это? — спросил секретарь. — Назовите.

— Старший помощник Николау, боцман Мариника...

Секретарь задумчиво смотрел на своего собеседника. «Неужто, — размышлял он, — правы члены бюро, и дело только в том, что два коммуниста завели склоку? Как трудно узнать правду и как легко ошибиться...»

— Товарищ секретарь! — неожиданно воскликнул Прециосу возмущенным тоном. — Ваш инструктор просто не умеет работать! Он себя ведет, как...

Прециосу безнадежно махнул рукой.

— Как же он себя ведет? — настойчиво спросил секретарь.

— У нас был несчастный случай... вы знаете?

— Знаю, — кивнул секретарь.

— Ничего не попишешь. Как и во всяком деле, у нас есть свои трудности — социализм в один день не построишь, — словно извиняясь, скороговоркой сказал Прециосу. — У нас не хватает оборудования, недостает штормовых фонарей. Может быть, их слишком мало изготовляют? Как бы там ни было, их вечно не хватает. А рыбаки уверяют, что несчастный случай произошел именно из-за этого. Может, это и так, а может, и нет. Но вместо того, чтобы разъяснить, какие у нас затруднения, товарищ Жора восстанавливает людей против бюро парторганизации, против профсоюза.

— Что значит «восстанавливает»? — перебил секретарь и нахмурился.

— Я хочу сказать, что он нас не поддерживает, — быстро поправился Прециосу. — Он держит сторону рыбаков!

— А у вас на судне разве два лагеря — вы и рыбаки? — недовольно спросил секретарь.

— Нет! — рассмеялся Прециосу, его смех звучал фальшиво и подобострастно. — Конечно, нет! Я хочу сказать, что он не ведет никакой разъяснительной работы среди тех, кто в этом нуждается...

Секретарь обкома молчал. Прециосу пустил в ход последний козырь:

— Я буду вполне откровенен... Мне кажется, что товарищ Жора пристрастен. У него с Прикопом Даниловым какие-то личные счеты. Они из одного села, и между ними старая вражда. В другом месте он, возможно, будет хорош, но на нашем корабле ему не следует оставаться...

Прикоп Данилов знал, на что бить, и отлично натаскал Прециосу.

— Хорошо... — после минутного раздумья сказал секретарь. — Мы это обсудим и решим, что делать.

Через два дня после возвращения Прециосу, Адама радиограммой вызвали в Констанцу.

В конце месяца «Октябрьская звезда» вместе с рыбаками вернулась в Констанцу, потом снова вышла в море — и снова без Адама Жоры.

XXX

Рейс окончился. Рыбаки разъехались по городам и селам побережья — в Констанцу, Мангалию, Сфынтул-Георге, Даниловку, Сулину. Пробыв дома, с семьей, пять дней, они снова отправлялись в море. Погода стояла хорошая. Обычно сухая, бесплодная добруджская степь зеленела молодой травой. В дунайских поймах куковали кукушки, в озерах и озерцах цвели, сияя непорочной белизной, кувшинки и гордо, как царский скипетр, нес свои пушистые золотые метелки камыш.

Лунными ночами в Гура-Портице густо шла сельдь. Миллионы ры-

бок с серебристыми брюшками кишели и прыгали в воде, попадая в сплетенные из лозняка верши. Ночи напролет их вылавливали черпаками. Рыбацкие села жили своей привычной трудовой жизнью.

Емельян Романов и еще кое-кто из даниловских рыбаков старшего поколения, вернувшись из рейса, рассказали об Адаме Жоре. Среди подруг, которые сначала плакали вместе с Ульяной, а потом гуляли на ее свадьбе с Симионом, была жена Емельяна Романова. Она одна из немногих оставалась все эти годы верной подругой Ульяне. И, конечно, ей не терпелось передать Ульяне рассказ мужа про Адама, про то, как он изменился, как Емельян его узнал и о чем они говорили. Едва дождавшись вечера, она повязала голову новым, с алыми цветами по желтому полю, платком и побежала к Ульяне. Симион, которого она застала за ужином, угрюмо ответил на ее приветствие. Старики Даниловы сидели молча. Ульяна прислуживала мужу.

— Весна-то нынче какая! — начала Романова. — Теперь бы только дождичка — богатый урожай будет.

— М-да ,— откликнулся Симион.

Евтей со старухой ничего не сказали. Ульяна тоже молчала.

— И виноград, кажется, уродится. Будет рыбакам что выпить, когда с промысла вернутся, — продолжала жена Емельяна.

— Как это ты про виноград угадала? — насмешливо осведомился Симион.

— Да так уж... — не обижаясь, ответила гостья.

Симион проворчал что-то себе под нос и пожал плечами. Только теперь жена Емельяна взглянула на Ульяну.

— Ну и красавица же ты, Ульяна! — сказала она. — Как розан, цветешь!

Ульяна сдержанно улыбнулась. Симион посмотрел на нее с похотливым блеском в глазах.

— Ну, — сказала, немного погодя, гостья. — Я пойду. У меня дома дела не оберешься. Так зашла — поглядеть на вас. Проводи до ворот, Ульяна, собак отгони, а то боязно.

Глядя на ядреную Емельянову хозяйку, которая, казалось, могла свободно справиться со стаей волков, трудно было поверить, что она боится дворовых псов. У ворот она взяла Ульяну за руку, притянула к себе и быстро, скороговоркой зашептала:

— Приехал Адам... На море работает с рыбаками, а сам партийный начальник, только не знаю — кто. Когда в море, так он с ними на промысле, а то в городе, в комитете. Такой же, говорят, как был, только печальный стал. Ну, прощай. Я еще забегу, расскажу.

Когда она ушла, Ульяна долго, не двигаясь, стояла в темноте. Потом оглянулась, подняв голову, посмотрела на темное звездное небо. Кругом — тишина. Подул свежий весенний ветер. Ульяна глубоко, всей грудью вздохнула и вошла в дом.

— О чем она с тобой так долго говорила? — спросил Симион, подозрительно глядя на жену.

— Мы вовсе и не разговаривали, она сразу ушла, — весело, почти ласково, ответила Ульяна. — Я одна у ворот замешкалась.

Симион с удивлением посмотрел на жену, которая обычно говорила с ним, как чужая.

Ночью, когда старики заснули, Симион обнял Ульяну и, тяжело дыша, потянул к себе. Ульяна с силой оттолкнула его.

— Отстань! — сказала она тихо.

— Что так? — усмехнулся Симион. — Или я не муж?

— Отстань и все! — повторила Ульяна. — Не могу я больше. Противен ты мне.

— О нем вспомнила? — злобно прошептал он. — Емельянова баба на хвосте принесла?

Ульяна не ответила.

— Погоди, я ее отучу сюда бегать, чертову шлюху!

— Не нынче, так завтра — все равно узнала бы, — устало возразила Ульяна.

У Симиона налились кровью глаза.

— «Нынче, завтра»... Пока что ты мне законная жена! — прохрипел он и потащил Ульяну к кровати.

Но она была сильна и упряма и так отчаянно сопротивлялась, что в конце концов Симиону все опостылело: и она, и любовь, и сам он. Униженный, озлобленный, выбившийся из сил, он, наконец, оставил ее в покое, слез с кровати, взял одеяло и отправился спать на сеновал.

Этой ночью и кончилось замужество Ульяны. Симион вскоре снова отправился на промысел, а вернувшись на очередную побывку, почти все пять суток проторчал в кабаках Констанцы, пропивая заработанные деньги.

Ульяна худела, как больная кошка, в глазах появился лихорадочный блеск. От жены Емельяна Романова она разузнала все, что могла. Потом вдруг не захотела больше ни слышать, ни говорить об Адаме и однажды объявила старикам, что уезжает в город.

— Зачем это? — спросила свекровь.

— К доктору, — ответила Ульяна, не глядя на старуху.

— Больна, что ли?

— Стало быть, больна, — отрезала сноха. — Очень даже больна! — прибавила она вдруг, потом смолкла, словно сама испугалась сказанного.

— Шлюха ты, больше ничего, в том и вся твоя хворь! — завопила старуха и принялась ругаться скверными словами.

— Не выпущу, пока Симион не приедет! — рявкнул старик.

— Это почему же? — удивилась Ульяна.

— Потому что он тебе перед господом богом законный муж и ты обязана у него спрашиваться! — кричал Евтей.

— Муж он мне перед чертом-дьяволом! — с дикой ненавистью воскликнула Ульяна. — И не трогайте меня, а то обоих убью!

Это было сказано с такой безудержной яростью, что старики долго не могли прийти в себя, глядя ей вслед с открытыми ртами.

— Стыд потеряли... — сказал Евтей, оправившись. — Ни в бога не веруют, ни закона не уважают. Ничего больше не признают... Последние времена настали... Конец света пришел.

Он поднял голову и прошамкал, глядя в голубое далекое небо, в котором высоко-высоко плыли легкие, как пух, весенние облака:

— Доколе ты будешь терпеть их, господи? Доколе?

XXXI

На следующий день, после обеда, Адам, стоя у стола в одной из комнат обкома, рылся в бумагах, приводя в порядок какие-то папки. Он был один. Рядом, в соседней комнате, за стеклянной дверью ходили, разговаривали люди, было слышно, как кто-то сердито кричал в телефон: «Не прерывайте, товарищ! Мы говорим! Да, да, говорим!»

Дверь открылась, и в нее, вопросительно озираясь по сторонам, просунул голову быстроглазый паренек.

— Товарищ Жора, — сказал он, — вас спрашивают.

— Кто? — спросил Адам, не поворачиваясь и не отрывая глаз от раскрытой папки.

Ему никто не ответил. Дверь закрылась. Адам выпрямился и резко обернулся.

Легонько отстранив быстроглазого паренька, в комнату вошла Ульяна. Она прикрыла за собой дверь и, не произнося ни слова, остановилась. Когда-то нежное лицо ее теперь огрубело. Губы, раньше свежие и влажные, были теперь сухи и придавали всему лицу выражение печали и решимости. Но длинные, словно нарисованные брови были те же, и все так же ясно из-под темных ресниц глядели большие серые глаза. Адам с трудом перевел дыхание. В серых глазах он увидел улыбку, даже вызывающую улыбку. Ульяна стояла перед ним высокая и стройная, с округленными бедрами и тонкой, гибкой девичьей талией. Ее большие, красивые, но уже изъеденные работой руки были выжидательно сложены. Смелая, вызывающая улыбка играла только в глазах. Ульяна молчала.

Адам побледнел. Несколько мгновений они неподвижно стояли друг против друга.

— Зачем ты? — хрипло спросил Адам, жадно рассматривая Ульяну.

Он заметил начавшие обозначаться морщинки у глаз и углов рта. Ему стало страшно, что красота ее скоро поблекнет.

— На тебя пришла посмотреть, — слегка краснея, сказала Ульяна.— По дороге зашла... к родным в город приехала и зашла... Дай, думаю, наведаюсь... про здоровье спрошу, — закончила она, неуверенно усмехнувшись.

— Хорошо, — низким, хриплым голосом проговорил Адам. — Видела и уходи.

И шепотом повторил:

— Уходи!

У Ульяны задрожали углы рта. Глаза заволокло слезами.

— Прости меня, — пробормотала она. — Для того и пришла... чтобы простил.

У Адама вырвался короткий, горький смешок:

— Легко сказать «прости». А чем ты заплатишь мне за те ночи, которые я провалялся в тюрьме на голых досках, думая о тебе?! Да и с тех пор...

Он хотел сказать: «Да и с тех пор я только о тебе и думаю», — но спохватился и больно закусил губу. Ульяна ждала.

— Никогда я тебя не прощу! Слышишь — никогда! За все те годы, что я промучился на каторге, чуть рассудка из-за тебя не лишился, а ты со своим Симионом в кровати валялась — поганилась...

Он с отвращением плюнул на пол. Губы Ульяны растерянно шевельнулись, но он не дал ей произнести ни слова.

— Как тебя стыд не замучил! Себе прощения просишь, а меня пожалела? За тогдашние муки кто меня пожалел? Теперь говоришь «прости»...

Тяжело дыша, почти задыхаясь, он указал ей на дверь:

— Ступай!

После минутного колебания Ульяна глянула ему прямо в глаза и рассмеялась страшным, похожим на рыдание смехом:

— Как хочешь!

Она быстрым, гибким движением повернулась и вышла. Дежурный в проходной с удивлением увидел женщину, которая, рыдая, выбежала на улицу. Адам несколько мгновений стоял в полном оцепенении, потом бессознательно подошел к окну и посмотрел на улицу. Он увидел Ульяну. Она шла очень медленно, беспомощно опустив руки и склонив голову. Сверху ее плечи казались узкими и хрупкими, да и вся она, может быть из-за высокого роста, выглядела слабой, тоненькой. Ничего не слыша и не замечая, она шагала прямо по мостовой, ежеминутно рискуя быть сбитой

с ног лошадьми проезжавшего обоза. Адам видел, как один из возчиков крикнул ей что-то, потом со смехом повернулся к соседу. Наконец возы прошли. Ульяна все так же медленно шла теперь вдоль забора по противоположной стороне улицы. Адам сорвался с места, выскочил из комнаты и пустился бегом вниз по лестнице. Догнав Ульяну, он схватил ее за плечо, нагнулся и спросил:

— Зачем ты приходила? Из-за них?

Она не поняла, что он хочет сказать. В глазах ее стояли слезы, губы, снова ставшие свежими и влажными, как прежде, дрожали.

— Из-за Прикопа и этого своего... Симиона? — хрипло спросил Адам.

Она улыбнулась ему сквозь слезы — как улыбаются ребенку, — и голова ее склонилась на сторону. Было что-то невыразимо жалкое в этом движении. Он с минуту посмотрел на нее, потом заговорил с едва сдерживаемой страстью:

— Ты теперь плачешь. А тогда не подумала, что со мной будет, какая мука ждет меня! Жизнь ведь у меня одна-единственная. Душа у меня тоже одна! Если ее, душу эту, загубишь, кто мне другую даст? Ты мне всю душу иссушила. Я бы и сейчас молодым был, если бы на мою долю хоть немного радости выпало. Об этом ты не подумала? Не знала ты, что со мной делаешь? Тебе-то легко было за Симиона выходить, легко с ним в постели лежать... да что!

Он снова с величайшим отвращением плюнул.

— Нет, Адам, милый, нет, не легко. Ох, сил моих больше нету, не могу я больше, не могу!.. — разрыдалась Ульяна, обвивая его шею руками и беспомощно прижимаясь к его груди.

На них оглядывались прохожие. Адам осторожно разнял ее руки и так же осторожно оттолкнул от себя. Не сказав больше ни слова, он оставил ее на улице, среди снова появившихся медленных скрипучих возов, и вернулся в обком. Дежурный в проходной внимательно посмотрел на него, но Адам ничего не замечал. Поднимаясь по лестнице, вдруг он вспомнил, как похудела Ульяна, и почувствовал острую жалость. Им овладело безотчетное желание вернуть ее, приласкать, накормить. Жалость душила его. Он поднялся наверх в ту самую комнату, куда пришла Ульяна, и прикрыл за собой дверь. Но оказалось, что он тут не один: второй секретарь обкома стоял у окна, заложив за спину руки, и глядел на улицу. Адам сел за стол и закрыл оставленную им папку.

— Родственницу встретили? — спросил секретарь, не выказывая особого любопытства.

Адам прекрасно понял, что это значило: «Конечно, товарищ Жора, обниматься с молоденькой женщиной, будь то родственница или не родственница — дело понятное, но зачем делать это на улице, при всех?» — и пробормотал что-то в ответ.

Он сидел, облокотившись на колени и подперев кулаками голову. Секретарь посмотрел и тихо вышел из комнаты. А Адам вспоминал, с какой вызывающей улыбкой Ульяна сказала: «Как хочешь!»

Всю ночь, лежа с открытыми глазами в комнате обкомовского общежития, где, кроме него, спали еще четыре человека, он беззвучно шептал нежные, любовные слова, о которых в другое время ему и подумать было бы стыдно. Рядом с ним громко храпел инструктор, вернувшийся поздно вечером из деревни. Двое других пришли с заседания еще позднее. Они разделись, хрипло пошептались, легли, охая от усталости, и тотчас же крепко заснули. А Адам все так же лежал, подложив руки под голову, и беззвучно шептался в темноте с Ульяной...

После того как Адам ушел, оставив Ульяну одну, она медленно двинулась вниз по улице. Позднее ее можно было увидеть в автобусе, который мчался вдоль морского берега из Констанцы в Даниловку. Ульяна

была бледна и всю дорогу смотрела на море. Вокруг нее громко разговаривали и смеялись пассажиры; в наспех сколоченных клетках крякали утки, пачкая пол пометом; на каждом ухабе дребезжали готовые вылететь стекла; но Ульяна ничего этого не видела и не слышала. Она сошла в Даниловке и направилась по темным проулкам — был уже вечер — домой. Старики сидели рядышком на скамейке, под обвившей всю переднюю стену виноградной лозой. Это была та самая скамейка, на которой много лет назад беседовали ночью Евтей с Прикопом. Старик только угрюмо посмотрел на сноху, зато старуха сейчас же затараторила:

— Нагулялась? Была у доктора? Муж в отлучке, а она — в город! Знаем мы, какие у тебя доктора на уме!

Ульяна не отвечала. Она чувствовала себя не только страшно усталой, но и нравственно слабой, нечистой и, главное, лишенной всякой надежды. У нее кружилась голова и все время звучал в ушах голос Адама: «Жизнь у меня ведь одна-единственная, душа у меня ведь тоже одна!» Не зажигая света, она принялась расхаживать по дому, бормоча эти слова и то́ присаживаясь на кровати, то вскакивая с нее как ужаленная, когда вспоминала, что говорил Адам про нее с Симионом. Тут ее охватывало такое отчаяние, становилось так стыдно, что хотелось избавиться ото всего немедленно, сейчас же, любой ценой, ждать теперь было уже нечего, надежды больше не было.

Она тихо вышла из дома. Ночь была лунная; сквозь клочья пушистого белого тумана, плававшего между деревьями, было видно, как искрится, переливаясь в лунном свете, тихое море. Ульяна прошла в коровник. Там было темно и тепло, пахло сеном, скотом, свежим навозом. Слышно было, как пыхтит, жуя жвачку, последняя корова Евтея — остальных он распродал, осталась только эта. Нащупав стену, Ульяна нашла веревку, которая всегда здесь висела, и стала вязать петлю. Несмотря на кромешную тьму и помутившийся рассудок, Ульяна, как истая дочь рыбака, умело завязала узел и, сделав прочную петлю, попробовала, хороша ли, скользит ли, не развяжется ли от ее тяжести. Кусая губы, она дернула за петлю обеими руками и, окончательно убедившись, что веревка выдержит, влезла на скамейку, нашла большой гвоздь под стрехой и, привязав к нему конец веревки, сунула голову в петлю. «Жизнь у меня ведь одна-единственная, — вспомнилось ей. — Душа у меня ведь тоже одна. Если ее, душу эту, загубишь, кто мне другую даст?»

Ульяна долго стояла на скамейке, мертвенно бледная, с петлей на шее. Было видно, как дрожит в воде серебряный луч. Она забылась, потом медленно-медленно, словно во сне, сняла, перекинув через голову, петлю и, еще постояв некоторое время, села на скамейку, уперлась локтями в колени и соединила руки: она будет его ждать.

Ее мучил стыд. Она чувствовала себя маленькой, ничтожной и беспомощной. Но она будет его ждать, хотя надежды никакой нет и ждать, по-видимому, не имеет смысла...

Симион вернулся домой пьяный и, повалившись на кровать, заснул мертвым сном. Ульяна, остерегаясь его, решила сидеть всю ночь на табурете да так и заснула, согнувшись и уперши руки в колени. Утром она встала и принялась за хозяйство. Зная, что старики непременно нажалуются на нее Симиону, она спокойно ждала, когда он проснется. Наконец Симион проснулся, вышел из комнаты и, усевшись на пороге, закурил. Он курил и пристально, испытующе глядел на жену. Ульяна чувствовала на себе его взгляды и, чтобы поменьше попадаться ему на глаза, взяла ведра и пошла к колодцу за водой.

Он не посторонился, чтобы пропустить ее, когда она вернулась, и, смерив с головы до ног наглым, вызывающим взглядом, спросил:

— Ну что, была у доктора?

Ульяна молчала, стоя перед ним с тяжелыми ведрами, которые больно оттягивали ей руки.

— Не выгорело, значит? — сказал Симион, с ненавистью глядя ей в лицо. — Зря, стало быть, ездила!

Потом поднялся и, в упор глядя на нее, спросил:

— Обратно тебя отослал, а?

Ульяна не отвечала, только низко опустила голову и слезы покатились из-под длинных ресниц.

— Или, может, сговорились? — продолжал допрашивать Симион.

Но по тому, как она плакала, и по ее молчанию, было ясно, что не сговорились. Симион отвернулся, собираясь войти в дом, и крикнул, не глядя на Ульяну:

— Убирайся отсюда! Мне в доме шлюхи не надобно. Понятно? Вон!

Ульяна прошла за ним с ведрами и опустила их на пол. Симион расселся на кровати.

— Уходи! — прошипел он сквозь зубы. — Сейчас же! А то я голову тебе размозжу! Вон отсюда, потаскуха!

Ульяна собрала кое-какие пожитки, связала в узелок и вышла во двор. Прежде чем идти дальше, она оглянулась на дом. Старики стояли на пороге. Симион, бледный от злобы, тоже вышел на крыльцо. Ульяна молча повернулась и вышла за ворота.

XXXII

С каждым днем господин Зарифу становился все самоувереннее, а его воображаемое богатство все возрастало и возрастало.

Сгорбившись и заложив руки за спину, маленький, тщедушный, он медленно прогуливался под стенами древней мечети и думал о барышах, которые можно было бы получить от продажи пшеницы и леса в портах Ближнего Востока. Потом подолгу — целыми часами — смотрел на гавань и, покачиваясь как пьяный, возвращался домой.

Анджелика сидела в соломенном кресле и читала старый детективный роман. При появлении веселого, торжествующего отца она поднимала слегка удивленный, скучающий взгляд.

— Анджелика! Дитя мое! — говорил Зарифу, гладя ее по голове дрожащей рукой. — Если бы только ты знала, какое у тебя блестящее будущее!

Он прижимал полную, пышущую здоровьем Анджелику к своей цыплячьей груди и шептал:

— Я наживу огромное состояние, оно будет твоим, только твоим! Но помни, это наша с тобой тайна, о которой никто не должен знать, кроме папочки и его дочурки!

Анджелика, между тем, по вечерам незаметно исчезала из дому, чтобы встретиться под фонарем с молодым человеком, длинные волосы которого были гладко зачесаны на висках, а узкие штаны дудочкой обтягивали ноги. Юноша ходил раскачиваясь, словно нес на каждом плече по сто килограммов, хотя плечи эти и под модным пиджаком казались худыми и костлявыми.

— Ты давно меня ждешь? — спрашивала Анджелика, глядя на него с дразнящей улыбкой из-под полуопущенных век.

— Отнюдь! Я только что пришел... — пресыщенным тоном отвечал юноша, которому было никак не больше двадцати лет. — Мне вообще некогда возиться с девчонками, я занят!

— Ерунда! — шептала Анджелика. — Чем ты занят? Собираешься открыть фабрику табачного дыма?

— Эге! Были бы денежки... Достал бы я себе грузовичок, что надо.

Знаешь, дурочка, сколько сейчас зашибают те, у кого есть грузовик? Карманы у них от денег отвисают, девать некуда, ей-богу!

— Жалко, что у тебя нет денежек! — лепетала Анджелика, прижимаясь к жилистой руке юноши.

Он только вздыхал:

— Не беспокойся, раздобуду... Возьму да и ограблю «Гастроном», когда они вечером считают кассу...

— Если бы у тебя были деньги, ты взял бы меня в Бухарест? — допытывалась Анджелика, даря юношу особенно значительным взглядом.

— Так и быть, взял бы, — соглашался он с видом покровителя, хотя наверное знал, что денег у него никогда не будет. — Одел бы тебя как куколку в магазине «Ромарта», водил бы по ресторанам, по кино. Пожили бы!..

Он снова вздыхал, она больше молчала, только раз как-то спросила:

— А сколько тебе нужно?

— Хотя бы тысченку, чтобы хватило до Бухареста. Там я уже знаю, что делать.

Анджелика больше об этом не заговаривала. Она напряженно думала, где бы достать тысячу лей, и ничего не могла придумать.

XXXIII

Первый секретарь областного комитета партии был раньше моряком, много повидал на своем веку и хорошо знал людей. У него были густые брови, крупный нос и толстые, мясистые губы. Его умные карие глаза изучали сидевшего перед ним Адама. Второй секретарь, бывший шахтер, сидел в кресле по другую сторону стола и тоже смотрел на Адама. Адам, с вытянувшимся от бессонных ночей лицом, был мрачен.

— Что вы так похудели? — спросил первый секретарь.

Адам пожал плечами:

— Не знаю... — проговорил он, нехотя.

Второй секретарь рассмеялся:

— Тоскует по морю...

— Вот что, товарищ Жора, — начал первый секретарь, — мы говорили о вас и пришли к заключению, что вам следует продолжать работу на «Октябрьской звезде».

Адам просиял.

— И в рыболовной флотилии, — прибавил он торопливо.

Второй секретарь снова рассмеялся:

— Ишь какой! Дай палец, он всю руку отхватит!

Первый секретарь испытующе посмотрел на Адама:

— Причем тут рыболовная флотилия?

— Пароход и флотилия неотделимы друг от друга, — сказал Адам и принялся объяснять свою точку зрения.

Его терпеливо выслушали.

— Ну, что же, — сказал первый секретарь. — Это дело вашей ответственности. Я слышал, что вы очень стремитесь вернуться на судно и обещаете хорошие результаты. Но еще раз подумайте об ответственности. При малейшей ошибке с вашей стороны люди скажут: «Мы обратились в обком за помощью, а вместо помощи нам навязали этого инструктора». Понимаете? Ну, отправляйтесь! Желаю успеха!

Он крепко пожал руку Адаму. Второй секретарь вышел вместе с ним в коридор.

— Смотрите, чтобы мы больше не слышали о личных счетах! — сказал он, провожая Адама.

Тот остановился:

— Даже если Прикоп Данилов окажется бандитом? — спросил он, поворачиваясь.

— Бросьте глупости! — проворчал бывший шахтер. — Поступайте, как вас учит партия, и чтобы никакие личные соображения — ни ненависть, ни дружба — не влияли на ваши решения. Это все, что я хотел вам сказать.

— Так я и поступаю всегда, — сердито ответил Адам.

Вернувшись на пароход, Адам почувствовал, что Николау, боцман Мариника, Продан, капитан и многие другие довольны его появлением. Прециосу тоже встретил его дружелюбно. И даже Прикоп. Раз, после обеда, в самую жару, когда на палубе не было никакого движения и лишь внизу, на заводе, непрерывно стучали машины, закрывающие консервные банки, Прикоп отвел Адама в тень, посадил на люк, сел рядом и начал:

— Я давно собираюсь с тобой поговорить. Слушай, Адам, до каких пор мы будем официально называть друг друга «товарищ»? Ведь мы знаем друг друга с детства. Верно?

— Верно, — подтвердил Адам. — Мы знаем друг друга с детства.

Его неприятно поразила дружеская интонация Прикопа. Адам не верил ему и не мог верить: «Мы знаем друг друга с детства»... — мысленно повторял он. — Еще бы!»

— Давай забудем, что было. Не смотри на меня, как на сына Евтея Данилова. Я с ними порвал. С этим покончено. Но ты с самого начала на меня косишься. Почему? Я тебе ничего плохого не сделал. Разве я против того, чтобы ты нам помогал? Помоги, брат, спасибо скажем. В нашей работе, конечно, есть недостатки. Мы не боги! Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

— Я вижу, что делом вы себя особенно не утруждаете, а из ошибок не вылезаете, — сухо заметил Адам.

— Опять начинаешь... Видишь, какой ты? Я с тобой по-хорошему сговориться хочу, а ты опять за свое.

— А я вовсе не намерен с кем-либо сговариваться, — сказал Адам, вставая. — Мне хочется, чтобы партийная работа шла хорошо, больше ничего.

После этого разговора Адам проводил большую часть времени не на пароходе, а с рыбаками на промысле. Но Прикопа Данилова это не успокаивало. То, что обком неожиданно вернул Адама на пароход, вывело Прикопа из равновесия, он потерял уверенность в себе, много бессонных ночей проводил в размышлениях об Адаме.

Все эти размышления, в общем, сводились к одному: необходимо как можно скорее отделаться от неудобного инструктора. Иначе ему, Прикопу, будет угрожать серьезная опасность. Слишком терпелив этот Адам Жора, ко всему присматривается и прислушивается... А Прикоп с Прециосу никогда не занимались настоящей политической работой, хотя и знали, что обязаны руководить людьми, воодушевлять и вести вперед. Но умели они только угрожать, внушать страх и властвовать грубой силой. Теперь возникла опасность разоблачения. Их могли попросту убрать отсюда.

Мысли эти так измучили Прикопа, что он не выдержал и отчасти поделился ими с Прециосу. Тот покровительственно рассмеялся, в восторге, что ему хоть раз удалось показать свое превосходство над Даниловым.

— Пустое мелешь, Прикоп, — сказал он. — Сопляк твой Жора, больше ничего. Со мной вздумал тягаться! Покажу я ему, как со мной инструктора корчить! И ты хорош — баба, а не моряк!

Однако Прикоп чувствовал, что на судне отношение к нему измени-

лось. Правда, Лае, буфетчик и еще двое-трое держались по-прежнему, но Николау стал откровенно сух и резок, а боцман Мариника несколько раз вступал в споры. Продан и вовсе не соглашался со всем тем, что делали Прециосу и Прикоп; решения партбюро теперь постоянно принимались ими двумя — против мнения Продана.

Однажды Прикопу пришлось услышать такие вещи, которые привели его в полное смятение. Это было после обеда. Солнце сильно припекало; в море был полный штиль; стаи чаек кружились возле парохода, глотая красные, розовые, коричневые кусочки рыбьих потрохов, непрестанно выкачиваемых насосами из консервного завода, откуда неслись запахи жареной рыбы и рыбьего жира. Голубой, пронизанный солнечными лучами прозрачный воздух дрожал, сливаясь на горизонте с не менее голубой и прозрачной водой. Прикоп, закусив хлебом с луком, лег отдохнуть под большой, покрытой парусиновым чехлом спасательной шлюпкой, которая как была установлена в 1902 году у левого борта, так и простояла там полвека без употребления. Выбрав это укромное, защищенное от посторонних взглядов местечко, Прикоп растянулся на животе, положил голову на руки и закрыл глаза. Как всегда, он думал об Адаме Жоре. Самое невыносимое для Прикопа заключалось в том, что Жора был сильнее его. Он пришел с правом проверять его, Прикопа, с правом судить его, решать, хорош он или плох. Адам Жора, бывший босяк, которого он, Прикоп, упек когда-то в тюрьму, шепнув о нем несколько слов старику! Адам Жора, у которого они, Даниловы, отняли свободу, любимую женщину — все! Воскресший из мертвых Адам Жора. Расправиться, расправиться с ним немедленно. Подвести под суд, снова упрятать в тюрьму! Весь вопрос — как? Подсунуть ему разве девчонку с завода и потом застукать их где-нибудь при свидетелях? Или вместе с Прециосу втравить в какую-нибудь грязную историю, в какой-нибудь пьяный скандал, после которого их обоих посадят в тюрьму?..

Лежать на солнцепеке было жарко. Откуда-то слышались негромкие голоса. Прикоп потянулся и глянул вниз через планшир. Сидя в подвесных люльках, несколько матросов красили бортовую обшивку парохода. Прямо под Прикопом, на некотором расстоянии от других, работали боцман Мариника и Продан. Плечи и лица обоих были изрядно вымазаны краской. Сейчас они отдыхали. Продан сращивал свободный конец троса, которым был привязан, расправляя толстые, в палец, пеньковые пряди, сплетая их и оттягивая, а Мариника, глядя на этот трос, тихо говорил товарищу:

— Я, Продан, понимаю свой партийный долг иначе...

Боцман был маленький, сухопарый, начинающий седеть человечек. Не сводя с троса своих спокойных, серых, как сталь, глаз, он продолжал:

— Тебе это и другие говорили: и механики, и рыбаки. Хотя бы Лука Георге или тот паренек из Емельяновой бригады. Мы тебе верим. Однако, если ты и дальше будешь молчать, нашему доверию настанет конец... Ну-ка, подержи трос — посмотрим!

Оба изо всех сил потянули трос. Он оказался мастерски сращенным. Продан принялся укладывать его в бухту. Боцман достал из кармана трубку, кисет с табаком и закурил. Продан упорно молчал. Мариника сплюнул в воду:

— С инструктором новым говорил? — спросил он.

— Вот что, товарищ боцман...— начал Продан.

Оба были старыми матросами, много плавали в разных морях и подружились давно. Но Мариника был боцман, а Продан — рулевой. Он считал, что каждый на судне должен знать свое место, и, так как дядя Мариника был гораздо старше рулевого, Продан, несмотря на дружбу, называл его не иначе, как «товарищ боцман».

— Вот что, товарищ боцман, — продолжал он, — если бы каждый на этом судне знал свой долг, было бы совсем неплохо.

— Твой долг прислушиваться к мнению коммунистов.

— Правильно. Это обязан делать прежде всего Прециосу, потом, конечно, и я.

— Прециосу этого делать не желает. Так, по крайней мере, делай ты.

Боцман говорил тихо, отрывисто, крепко зажав трубку в зубах и не отрывая глаз от моря.

— Сказал, и хватит, — ответил Продан. — Если кто-нибудь выступит, я поддержу.

Мариника затянулся, выпустил дым и посмотрел сквозь него на собеседника.

— Этого мало, Продан, — веско проговорил он. — Прециосу и Прикопу нужно сказать в лицо, что думают о них люди.

Продан рассмеялся:

— Попробуй-ка! Они тебе покажут, как разговаривать...

Боцман медленно покачал головой.

— Большую мы сделали оплошность, когда их выбирали. Простить себе не могу, что голосовал за них.

Он резко повернулся в своей люльке.

Прикоп, который слышал каждое слово, заметив движение боцмана, быстро втянул голову под шлюпку. Минуту или две он прислушивался не глядя, но разговор прекратился. Очевидно, Мариника с Проданом снова принялись за работу.

Прикоп, не шевелясь, напряженно обдумывал услышанное. Вот, значит, до чего дошло! Собираются обсуждать членов бюро? Боцман прямо сказал, что хотел бы устранить их обоих. Возможно, этого хотят и другие... А если они с Прециосу потеряют власть, не исключено, что кто-нибудь захочет поближе ознакомиться с их прошлой деятельностью. Тогда, пожалуй, всплывут такие дела, за которые могут не только списать с корабля... Еще, чего доброго, обнаружится то, что произошло в свое время на Мальте... «Нет, — твердо решил Прикоп, — нужно пресечь все это в корне. Скомпрометировать недовольных, запачкать их так, чтобы Адам Жора не мог на них опереться, чтобы в обкоме просто не пожелали слушать людей, оказавшихся недостойными доверия партии...»

Прикоп думал целый день. Потом, рассказав Прециосу все, что услышал, лежа под шлюпкой, многозначительно объявил:

— Ты сам понимаешь, партия не терпит закулисных интриг. Нас поставили сюда, чтобы не допускать никаких фракций и группировок... Ясно?

Прециосу, при всей своей ограниченности, сообразил, наконец, что обстановка для них обоих складывается более чем неблагоприятная. Слова «фракция» и «группировка» в применении к тем, кто им угрожал, означали надежду на победу. Поэтому он внимательно выслушал Прикопа и охотно согласился созвать партийное собрание в такой день, когда Адам уйдет с рыбаками в море и когда послать за ним можно будет только Симиона. Такой случай скоро представился. Адама не было, Симион со своей бригадой отправлялся в море после обеда.

— Слушай, Симион, — сказал, отыскав его, Прикоп. — Сегодня вечером будет собрание, на котором непременно должен присутствовать товарищ Жора.

Он говорил, не глядя на брата. Симион, босой, мокрый, испачканный рыбьей кровью, смотрел на Прикопа хмуро и подозрительно. Услышав про «товарища Жору», он еще больше нахмурился:

— Стосковался ты по нем, что ли? — проворчал он.

— Слушай, что тебе говорят, — строго сказал Прикоп. — Ты будешь

проходить там, где работает бригада Луки Георге. Так вот, передай товарищу Жоре, чтобы он непременно явился на собрание.

Симион с любопытством посмотрел на брата. Морщины на лбу у него разгладились.

— А если вдруг забуду? — ухмыльнулся он.

— Будет очень плохо.

— Кому? Ему или нам? — понизив голос, спросил Симион, улыбаясь и глядя на брата бледно-голубыми глазами, которые казались белыми на небритом загорелом лице. — Ему или нам? — повторил он.

Прикоп криво усмехнулся и, не отвечая, повернулся спиной к брату.

XXXIV.

Собрание началось с большим опозданием. Адам так и не явился. В море был штиль, но небо заволокло тучами и на горизонте сверкали красные зарницы. С потолка кают-компании свисала большая, яркая лампочка. Коммунисты разместились на шести длинных скамейках перед обтянутым тонкой красной бумагой столом. В центре сидел Прециосу, слева от него — Прикоп, справа — Продан. Жара и духота были нестерпимые. Открыли иллюминаторы, но в кают-компании не стало прохладнее. Зато стало слышно, как дышит и хлюпает у борта море.

Прециосу был недоволен. После вахты он долго пил один в своей каюте и потому не выспался. С похмелья у него трещала голова, и, как всегда в таких случаях, он нервничал и ко всему придирался. Настроение его было испорчено еще и тем, что перед собранием к нему явился босой, с засученными по самые колени штанами, пропахший рыбой Лука Георге. У Луки был озабоченный вид человека, напряженно о чем-то думающего. Он только что доставил на базу улов, оставив свою бригаду и Адама в море.

— Слушай, товарищ Прециосу, — начал рыбак. — Знаешь, о чем я думаю? Нельзя ли нам тоже присутствовать на партсобраниях? Членам партии, конечно. Мы здесь из разных сел, и каждый числится в своей сельской организации, но живет-то рыбак, черт возьми, больше в море, чем на суше. Вот и выходит, что мы к партийной жизни вроде как непричастны. Хорошо это?

Высокий, худощавый, со своей неизменной папиросой, прилипшей к губе, Прециосу смотрел на него туманным, непонимающим взглядом. Лука не унимался:

— Думается, все коммунисты, какие в море, должны бывать на судовых партсобраниях. А иногда можно приглашать и кое-кого из беспартийных. В бригадах много хороших людей, они интересуются, хотят обо всем новые понятия получить...

— Кто такие? — спросил Прециосу.

— Например, Емельян Романов, Косма из его бригады, старшина куттера Павилика, Сулейман... Один я человек десять могу назвать. Ты с ними не беседовал; поговори — сам увидишь, что за люди...

Последняя фраза задела Прециосу. То, что он никогда не беседовал с рыбаками, было совершенно верно, но ему не нравилось, когда это замечали другие.

— Вот что, товарищ Георге, — ответил он Луке. — Совсем не дело, чтобы всякий, кто хочет, присутствовал на партсобрании. Нельзя. Я имею право допускать только командированных из районного или областного комитетов партии, а без особого разрешения пускать не могу. Пусть хоть сам секретарь обкома приедет, и то не пущу! Такое правило.

Потупив глаза, рыбак смотрел на палубу и на свои грязные ноги. Потом он снова поднял голову и вздохнул.

— Знаешь, товарищ Прециосу, — доверчиво сказал он, — по правде говоря, дело не только в партсобраниях. Очень нужно бы поговорить о производстве. Потому, видишь ли, многие из нас вовсе никогда и не думают, зачем, как, для кого они работают... Тянут и тянут лямку...

— У тебя самого как насчет продукции? — спросил Прециосу.

Он спросил намеренно, зная, что Лука за последние дни добыл мало рыбы.

— Мне не везло, — признался рыбак. — Мы все на большие глубины ходили, а вчера и сегодня помельче место выбрали и сразу поправились. Две тысячи килограммов наша бригада сегодня на пароход доставила...

Прециосу равнодушно выпустил дым и ничего не сказал, хотя улов в две тонны означал перевыполнение нормы на сто процентов.

— Емельяна догнал, — довольно улыбнулся Лука. — Придется теперь ему побеспокоиться...

Из буфета доносился громкий говор рыбаков. Лодки слегка покачивались на розовой от заката воде. Куттеры лениво чертили воздух мачтами, словно отмечая медленное течение времени.

— Люди у нас хорошие, — снова повторил Лука, — да только нужно с ними заняться, вперед подтолкнуть, а то все вразброд...

— Разумеется, толкайте их вперед, агитируйте, беседуйте с ними. Этому нас учит партия.

Голос Прециосу звучал уверенно, даже укоризненно.

— Значит, ваше дело — сторона? — огорчился рыбак. — А я думал, как партия учит, чтоб организованно...

Прециосу рассердился:

— Вот и организуйся! Мне сейчас некогда, у нас собрание. Приходи в бюро, там поговорим.

— Ладно, приду, — пообещал Лука.

— И скажешь товарищу Жоре, что я его ждал на собрание. Три часа ждал. Если может, пускай поторопится.

— Ладно, скажу, — ответил ничего не подозревавший Лука.

Отправившись к месту лова, он попал туда около полуночи. Естественно, что Адам добрался до базы только к утру.

Открывая собрание, Прециосу прочел повестку дня. Тотчас поднялся боцман Мариника и громогласно заявил, что он требует включения в повестку дня еще одного вопроса.

— Какого? — спросил секретарь.

— Что сделано парторганизацией для увеличения продукции.

Сухопарый, маленький боцман, стоя, ждал ответа. На скамейках сидели матросы, кочегары, механики в промасленных спецовках; судовая кухарка примостилась между похожим на ежа, взъерошенным Николау и заведующей рыбоконсервным заводом — женщиной лет сорока, в чистом голубом халате с туго повязанной головой. Сзади устроились Лае и буфетчик. Все они удивленно смотрели на боцмана. Остальные, наоборот, с интересом поглядывали на Прециосу. «Сговорились?» — подумал он и вопросительно посмотрел на Прикопа. Тот прошептал чуть слышно, одними губами:

— Отставить... Мы — судовая парторганизация...

— Это не наше дело, — послушно повторил Прециосу. — Мы, товарищ Мариника, судовая парторганизация, а не рыбацкая. Ставить вопрос о продукции — неправильно с организационной точки зрения.

— Однако...

— Не будем терять времени. Кто просит слова?

— Подождите, — вмешался Продан. — Я вижу, что товарищ боцман еще стоит. Что ты собирался сказать?

— Вот что, — сказал боцман, — не знаю, как это выходит с органи-

зационной точки зрения, а рыбаки не дают и половины того, что могут давать. Наш долг — помочь им.

Прециосу недоумевал: «Что он заладил про рыбаков?»

— Предлагается, стало быть, — раздался спокойный голос Продана — обсудить, чем мы можем помочь рыбакам для увеличения продукции. Речь идет о пище трудящихся. Разве вопросы народного питания нас не касаются?

— Касаются! — крикнул старший помощник капитана.

— Правильно! — одобрило несколько голосов.

— То-то и оно! — сказал боцман, садясь на свое место.

— Кто ведет заседание, товарищ Продан, я или ты? — раздраженно заметил Прециосу. — Слово предоставляется товарищу Данилову.

— Товарищи, — тихо и мягко начал Прикоп, — это очень хорошо, что мы хотим помочь рыбакам... Но не следует очертя голову начинать дело, которое — еще не известно — по силам ли нам... Имеем ли мы на самом деле возможность помочь рыбакам? У нас своя работа на судне, свои дела и обязанности. Разве наше место в рыбачьих лодках? И когда мы можем вести работу среди рыбаков? В часы вахты это, разумеется, немыслимо. В часы отдыха?.. Нет, товарищи, это не годится. Наш секретарь совершенно правильно указал, что мы — парторганизация судна, а не рыболовной флотилии...

Закончил Прикоп свое выступление тоном, в котором звучала скрытая угроза:

— Предупреждаю, что мы не допустим никаких левацких уклонов. Мы не можем совать свой нос повсюду, все менять и всем распоряжаться! Тот, кто стремится к этому, получит самый суровый отпор. Да, товарищи, мы будем бороться, пока не образумим чересчур беспокойных.

Он рассмеялся, как человек, отпустивший удачную шутку. Но его никто не поддержал. Молчание нарушил Прециосу:

— Итак, товарищи, кто желает выступить по первому пункту?

— Погодите! — опять вмешался Продан. — Высказаны два разных мнения. Предлагаю проголосовать: будем или не будем обсуждать предложение о помощи рыбакам?

— Какое еще голосование? — возмутился Прециосу. — Что мы в буржуазном парламенте, что ли?

— Нет, — сказал Продан, — мы у себя на судне.

— Голосовать! — крикнул Николау.

Механики, кочегары, матросы требовали того же:

— Голосовать!

Прециосу обменялся взглядом с Прикопом и понял, что нужно уступить. Вслед за Николау и Мариникой руки подняли механики и кочегары. Кухарка с недоумением посмотрела вокруг и тоже подняла руку.

— Большинство за, — сказал Продан.

— Хорошо, — сказал Прециосу. — Последним пунктом повестки будет вопрос о помощи рыбакам. Заранее предупреждаю, что я против...

— Наоборот, товарищ секретарь, помощь рыбакам необходима! — резко возразил боцман.

Прециосу посмотрел на него и предложил приступить к прениям.

На море уже опустилась ночь, когда заведующая консервным заводом, рассказав о работе предприятия, добавила, что оно могло бы значительно увеличить свою продукцию.

Прикоп насторожился.

— Каким образом, товарищ Митя? — спросил он. — Что вы для этого предлагаете?

Товарищ Митя была маленькая костлявая женщина. Всегда в чистом

халате, с плотно повязанной косынкой, аккуратная, как фармацевт, она не была красива, но лицо ее украшала женственная улыбка.

— Для увеличения продукции есть два средства, — вздохнув, сказала она. — Во-первых, работать в две смены.

Она оглянулась. Механик с большим, глубоким шрамом на виске поощрительно крикнул:

— Говори, говори, не бойся!

— Я советовалась с работницами. Если бы капитан распорядился выделить нам в помощь ребят из машинного отделения, масленщиков или кочегаров, и в придачу еще кое-кого из палубной команды, у нас хватило бы людей на две смены. Девушки считают, что каждая из них могла бы работать на нескольких машинах. Если девушки на это решаются, ребята, конечно, не отстанут...

Она улыбнулась лукаво и очаровательно. Механики и кочегары зашептались.

— Второе средство, — продолжала товарищ Митя, — это, чтобы партия и профсоюз не мешали нам работать...

Наступило тягостное молчание. Слова были неслыханные, ужасные. Как она могла их произнести?

— Какая партия — крикнул Николау. — Партия мешает работать?

Прикоп даже улыбнулся от тайного удовольствия:

— Не перебивайте, товарищ Николау... пусть выскажется.

Мысленно он уже потирал руки: рыбка сама шла в сети.

Но Прециосу, не разобравшись в ситуации, грубо повысил голос:

— Думайте, прежде чем говорить, иначе мы попросим вас выйти.

Женщина, поняв свою оговорку, густо покраснела, и на глазах у нее выступили слезы.

— Я же не о партии, товарищи! Партия из меня человека сделала. Я раньше прислугой была, а теперь заведующая... Мне партия всю жизнь переменила. Мыслимое ли дело, чтобы я хоть одним словечком против партии обмолвилась?

Она перевела дух и с силой повторила:

— Нет, товарищи, я не о партии! Но только мы так товарищей Прециосу и Данилова зовем, о них и речь. Вы послушайте, как у нас выдаются премии. Я представила рапорт о работницах, которых, в общем, премировать... А они, то-есть Прециосу и Данилов, все переменили. Я не за себя обижаюсь — не бог весть какая важная персона. Но что получилось? Киву Маргарита сдала тысячу шестьсот коробок, а получила такую же премию, как и Параскив Анджела, у которой выработка две тысячи четыреста. Акулину совсем вычеркнули, хотя она сдала две тысячи. Это разве справедливо? А у девушек пропадает охота работать.

— Хотел бы я знать, кто ее подучил? — прошипел Прециосу — Выступал бы ты, Продан, открыто; смелости у тебя, что ли, не хватает?

Продан, облокотившись на стол, недружелюбно усмехнулся.

— Ты думаешь, правду можно говорить только по чужому наущению? Ты думаешь, никто тебя не видит? Секретарь парторганизации все равно что под рефлектором! Что в душе у тебя делается, и то видно!

Поджав губы, Прециосу слушал, как его критикуют.

— Премии нужно выдавать по заслугам, а не за красивые глаза,— говорил взявший слово боцман. — И пусть товарищ Прикоп помнит, что коммунист обязан быть справедливым, а не заниматься демагогией!

— Лишаю слова! — вдруг крикнул Прециосу. — Нечего смешивать критику с руганью! Здесь тебе не английский пароход, где ты на негров кричал.

Мариника умолк, но продолжал стоять. «Остерегись, Мариника,— шептал боцману внутренний голос. — Ты человек семейный, у тебя жена,

дети учатся. Чем ты их прокормишь, если тебя выкинут? Не задирайся с Прикопом и Прециосу. Они сильны, многим до тебя свернули шею».

Прециосу, взяв себя в руки, сказал:

— Продолжай, но принципиально. Понимаешь — принципиально!

Боцман вздохнул. «Принципиально» значило: не задевая Прециосу и Прикопа.

В открытые иллюминаторы глядела кромешная тьма.

— Мне кажется, — снова начал седой боцман, — следует поддержать инициативу заведующей консервным заводом. Пускай машинное отделение выделит двух-трех человек и мы, палуба, тоже поможем. Вот завод и заработает у нас с полной нагрузкой — лишь бы сырье было. Так что мы опять, как видите, уперлись в рыбаков. Все дело в рыбаках. Если, однако, товарищ Прециосу не желает себя затруднять, а товарищ Данилов потчует их демагогией и спаивает водкой, то, конечно...

— Издевательство! — завопил Прециосу.

— Ты меня криком не убедишь! — сказал Мариника.

После него выступили сначала один кочегар, потом другой, потом матрос из палубной команды — все присоединились к мнению Мариники. Выступил и старший помощник Николау. Он обливался потом: гроза приближалась, в кают-компании с каждой минутой становилось все более душно. Жара, однако, не помешала Николау четко обосновать свою точку зрения насчет помощи рыбакам.

— Это наш прямой партийный долг, — сказал он под конец, — а некоторые, вроде товарища Данилова, высказались против, думая только о том, как бы избежать лишней ответственности.

Он перевел дыхание и прибавил с еле заметной усмешкой:

— И не только товарищ Данилов, но и сам товарищ Прециосу!

Раздался страшный удар грома. Прикоп утер потный лоб. Терпение его иссякло. Не выдержав, он мигнул Лае. Тот сразу поднял руку:

— Прошу слова!

Все головы повернулись в его сторону. Лае начал говорить, пытаясь скрыть свою неуверенность под напускной страстностью тона:

— Как это мы, товарищи, сидим здесь и допускаем этакое издевательство? Разве речь идет о продукции? Разве речь идет о консервах? Речь, товарищи, идет о нашей партии. Здесь, товарищи, партию топчут ногами! Товарищ боцман не очень-то удивился, когда товарищ Митя сказала, что партия мешает им работать! А товарищ Николау с ними заодно! Все они — против товарища Прециосу, мстят не знаю за что, а до партии им никакого дела нет. Предлагаю привлечь их к партийной ответственности, товарищи! Всех троих! Они между собой сговорились, другие ничего не знали. Они еще до заседания снюхались: что и как каждому говорить и на кого нападать; все заранее решили!

— Я ни с кем не сговаривалась! — крикнула товарищ Митя.

— Не вы — товарищ боцман с товарищем Проданом. Я, товарищи, слышал, о чем они говорили, когда красили левый борт. Я за большой шлюпкой лежал — на припеке грелся — и каждое слово слышал!

Продан густо покраснел, словно его застали за каким-нибудь позорным занятием. Хуже всего было, что все это заметили. Мариника с презрением посмотрел на Лае:

— Что же, по-твоему, нам и разговаривать между собой запрещается? Тебя, ябедник, спросить забыли?

— Прошу не перебивать! — строго заметил Прециосу. — Иначе тебя придется попросить покинуть заседание!

Лае сел. Продан все еще не мог оправиться; румянец долго не сходил с его щек. Прикоп попросил слова и, нахмурившись, встал.

— Товарищи, — начал он, — у нас обнаружились очень нездоровые

явления: пренебрежение к партии, сговор между членами организации... Говорят об увеличении продукции, а на самом деле преследуют какие-то свои, скрытые цели... Предлагаю поручить партбюро расследовать все обстоятельства этого инцидента...

— Согласен! — крикнул буфетчик, поднимая руку.

Лае последовал его примеру, потом еще кто-то, и еще. Руки поднимались неуверенно, но все-таки поднимались. Кухарка тоже подняла руку, потом оглянулась и опустила ее. Люди удивленно переглядывались. Лица у многих были расстроенные, мрачные, недовольные.

Молнии блистали теперь беспрерывно, и в море было светло как днем.

— Батюшки-светы! Спаси нас, господи, и сохрани, — проговорила кухарка, поднося руку ко рту.

Механик со шрамом на виске громко рассмеялся:

— Для этого на мачтах громоотвод!

С диким свистом нагрянул ветер. В открытые иллюминаторы пахнуло прохладой, полетели соленые брызги. Судно накренилось на пять, на десять, на пятнадцать градусов... Со стола соскользнула и упала на пол чернильница, на стенах закачались портреты. Люди вскочили со своих скамеек. Некоторые закрывали иллюминаторы, другие бросились к выходу: каждый спешил на свое рабочее место. Кухарка, которой некуда было спешить, в ужасе замерла на скамейке, потом принялась набожно креститься. Кают-компания опустела. Прециосу с Прикопом задержались.

— Надеюсь, я здорово их проучил...— процедил сквозь зубы Прециосу. — Спелись, сволочи, сговорились. Ну, погоди, я им еще покажу...

— Не очень увлекайся, — пробормотал Прикоп. — Нужно все хорошенько обдумать. Напишем, конечно, и в райком, и в обком, тогда Николау и боцмана, пожалуй, уберут...

Заработала машина. Пароход, так и не выровняв крена — ветер дул ему в борт, — задрожал. Портреты на стене совсем покосились. Библиотечный шкаф со стеклянной дверцей качнулся и грохнулся на пол. Зазвенели стекла, посыпались книги. Прикоп кинулся бегом на палубу. За ним, не отставая ни на шаг, бежал Прециосу.

XXXV

Капитан накинул прямо на пижаму непромокаемый плащ и вышел на мостик. Частый дождь лил ему на голову, затекал за воротник, в надетые на босу ногу туфли. Николау, бегом поднявшегося на мостик, он встретил дружелюбной воркотней:

— Не ваша вахта, извольте отдыхать!

Затем на мостике появились Прециосу и Прикоп. Хараламб не очень любезно отправил их вниз:

— Здесь и так тесно, товарищи, ступайте на жилую палубу — там и суше, и просторнее.

Он говорил, не глядя на них, устремив взор на бурлящие пеной темные волны, по которым бешено хлестал кривой дождь.

— Передайте в машинное отделение: восемь оборотов!

Исполнив приказание, Константин передвинул рукоятку аппарата на «Внимание! Малый ход!». Судно продолжало идти с сильным креном. Ветер, оглушительно завывая, по-прежнему дул в борт. По палубам ручьями текла вода. Капитан стоял молча, заложив руки за спину. Пароход задрожал сильнее.

— Какой курс? — негромко спросил капитан.

— Двести семьдесят...— ответил рулевой, не отрывая глаз от раскачивавшегося перед ним большого компаса, медный футляр которого таинственно поблескивал в полутемной рубке.

— А сколько было?

— Сорок, — сказал рулевой и, больше для себя, прибавил: — Ветер кругом крутит...

Черная тень капитана смутно вырисовывалась на покосившейся скамье командного мостика.

— Переведите постепенно на сорок, — сказал он.

Те, кого капитан так нелюбезно отправил с мостика, стояли у входного люка в машинное отделение и возбужденно переговаривались. Сквозь ходовые решетки виднелись, словно на дне пропасти, сверкающие стальные поршни, жирно смазанные шатуны и маленькие фигурки механиков.

— Ишь, с каким креном идем, — проговорил Прециосу. — До сих пор не выровнялись!

Из пропасти машинного отделения появился старший механик.

— Фиу-фиу-фи! — насвистывал он, поднимаясь по трапу. — Что? Испугались? Раз с дождем, значит через полчаса кончится. Однажды я плыл на старом грузовом судне «Боливар» под панамским флагом. Вторым помощником капитана там был Хараламб — наш теперешний капитан. В Бискайском заливе мы попали в шторм — волна метров в пятнадцать, а то и больше. Рулевую рубку снесло вместе с капитаном, со старшим помощником, с рулевым — все чертям на закуску... Мачты поломало. Я кое-как приладил вспомогательный мотор, подвязал там четырех механиков, чтобы их не смыло; Хараламб тоже привязался и привел-таки нас в Бильбао. Хороший моряк! После этого пароходные общества наперебой приглашали его на службу, но он непременно хотел вернуться и нас вернуть на родину, все искал румынское судно... Ну, и закачало же нас тогда: десять дней на ногах стоять не могли. А тут что? Разве это шторм? Так себе, ветерок...

Дрожь парохода усилилась.

— Видите? Что я говорил! Выровняли крен. Теперь снова идем прямо.

* * *

Адам появился на базе утром, когда от ночного шторма не осталось и следа. В ясном небе безмятежно сверкало солнце. Прециосу сказал ему о состоявшемся партийном собрании.

— Что же вы меня не предупредили? — удивился Адам.

— Как не предупредили? Разве вам не передали?

— Никто ничего мне не передавал!

— Вот черти! Неужели забыли?

— Кто забыл? Через кого передавали? — спросил он быстро.

Прециосу пожал плечами с видом человека, снимающего с себя всякую ответственность:

— Это было поручено Прикопу. Он и сообщал.

— Прекрасно, но через кого же, товарищ Данилов, вы сообщали мне о собрании?

Прикоп притворился беспамятным:

— Дайте вспомнить... Столько за эти сутки дел было... Ох, да что же я? С базы отправлялась бригада моего брата — через них и передал.

— Через кого именно? — настаивал Адам.

— Я же вам говорю: через бригаду...

— Бригада вашего брата действительно вчера проходила мимо нас. Но мне ничего не передали. Кому именно вы поручили? Как фамилия?

— Видите ли, — сказал Прикоп небрежно, — я, собственно, поручил это моему брату Симиону, который должен был сообщить вам лично или через кого-нибудь из своих рыбаков...

Адам повернулся и пошел на бак, где он только что видел прибывшего с уловом Симиона.

— Послушайте, — сказал он, найдя младшего Данилова, — вы должны были сообщить мне вчера о собрании. Почему вы этого не сделали?

Они стояли друг против друга — два рыбака в серых спецовках. У Симиона, разделывавшего только что выловленную акулу, в правой руке был окровавленный нож.

— Что? — спросил он.

Адам повторил вопрос. Симион посмотрел на него в упор, не моргая, с отвращением, с враждой, с вызовом.

— Забыл, — отрезал он и наклонился к вспоротому брюху рыбы.

Адам вернулся к Прециосу и Прикопу, которые ждали его с невозмутимым спокойствием. Прециосу коротко рассказал о собрании, упомянув, что оно прошло очень оживленно, но что при этом обнаружились антипартийные элементы. Адам потребовал подробностей. Прециосу повторил рассказ, а Прикоп только вставлял скупые замечания.

— Записано у вас что-нибудь?

Прециосу с Прикопом переглянулись.

— Записано, — сказал Прециосу.

— Разрешите взглянуть?

Прикоп принес протокол, подписанный им самим и Прециосу.

— Товарищ Продан не подписал?

— Что вы! — рассмеялся Прециосу. — Он остался при особом мнении... Его этот протокол вовсе не устраивает, хе-хе.

Адам терпеливо слушал, задавал много вопросов, потом отправился к Продану, к боцману, к Николау, спустился в машинное отделение к механикам и всех подробно расспрашивал о собрании.

— Почему же вы до сих пор молчали?! — допытывался он.

Картина получалась вполне ясная: коммунисты выбрали Прециосу и Прикопа в партбюро, фактически не зная их. С первых же дней людям многое не понравилось, посыпались энергичные протесты, но после того как сначала один инструктор, потом другой, потом третий побывали на судне и уехали, ничего не добившись, люди отчаялись. Бороться было тем труднее, что Прециосу и Прикоп быстро обзавелись приспешниками: их ревностно поддерживал Лае, буфетчик и еще человека два из команды. Были и такие, которые принимали на веру все, что говорили Прикоп и Прециосу. Те, что были смелее других и пытались бороться, оказались скомпрометированными. Над ними тяготели ловко состряпанные обвинения, которые заранее обрекали на неудачу попытку сопротивления. Конечно, партийное расследование установило бы, что правда и что ложь в выдвинутых против Продана, Николау и Мариники обвинениях. Но Николау и Маринике, кроме того, ставились в вину «командирские замашки», а в этом было труднее всего оправдаться. В довершение всего необдуманное выражение тети Мити Прециосу с Прикопом уже успели раздуть в «антипартийные настроения». Все было зафиксировано в протоколе. Склока велась опытной и ловкой рукой.

«Что еще замышляют эти двое?» — подумал вдруг Адам.

Он только теперь до конца понял, с кем имеет дело.

Правда, перебои в производственной работе, низкие показатели выпуска продукции, отсутствие дисциплины были верными признаками неблагополучия на судне. Адам понял это с первого взгляда. Но, даже угадав подлую сущность Прециосу и Прикопа, для которых партийное слово было только средством в борьбе за личные цели, Адам до самого последнего времени не верил, что дело зашло так далеко. Он сам развязал им руки. Будь он на судне, они никогда не осмелились бы проделать то, что проделали на собрании.

Теперь он не сомневался, что первые два инструктора были жестоко

оклеветаны. Один будто бы пил с рыбаками и участвовал в драке. «Не были ли, случайно, этими рыбаками Симион Данилов и его друзья?» — спрашивал себя Адам. Другого инструктора Прециосу и Прикоп Данилов будто бы застали с одной из работниц рыбоконсервного завода. Кто знает, что подстроили эти два негодяя, лишь бы избавиться от неудобного наблюдателя? Оба инструктора были отозваны и получили строгие взыскания. С третьим инструктором, давшим благоприятную оценку деятельности организации, ничего плохого не случилось.

Адам не был новичком на партийной работе. Он понимал, что не только на это судно, но и во многие другие места пролезли бессовестные, хитрые как лисы, лживые и лицемерные мерзавцы. Он видел их, притаившихся, прошедших через все фильтры, тайно поддерживающих друг друга, плодящихся, как клопы. Но таких опытных негодяев, как эти, ему встречать не приходилось! Совладать в одиночку с такими врагами Адаму — он сознавал это — не под силу. Они могут так запутать нити, что в Констанце, по крайней мере в первое время, им поверят. Они могут поймать его самого в ловко поставленную ловушку, и тогда все пропало! На место Адама пришлют другого, которого они с легкостью обведут вокруг пальца.

Конечно, и его преемник обязан быть оком областного комитета партии. Но если око окажется слепым, как правда дойдет до Констанцы?

Подай он сейчас подробный доклад — доклад этот сочтут в лучшем случае его личным мнением, скорее же всего обвинят в сведении личных счетов — недаром так предостерегал Адама второй секретарь. В качестве неопровержимых аргументов будут выставлены «факты» — «нечестный поступок» Продана, «командирские замашки» одних, «антипартийные настроения» других, — вскрытые такими «преданными сынами партии», как Прециосу, Прикоп, Лае...

От этих мыслей Адама бросило в жар. «Нет! — думал он. — Этому не бывать! Не может быть, чтобы такое случилось! Но как разоблачить этих бандитов, как сорвать с них маску?»

Рейс подходил к концу. Последние дни Адам внешне держался невозмутимо. Николау, Продан и другие ждали от него советов, но он как будто решил, что разговоров достаточно и переливать из пустого в порожнее нет смысла. Он спокойно присутствовал на заседаниях бюро, не вмешиваясь в решения Прециосу и Прикопа. Казалось, человек этот оставил даже самую мысль о борьбе и ждет лишь конца рейса, чтобы отчитаться перед партийным начальством и получить другое назначение — куда-нибудь, как шутил Прециосу, «где ему больше повезет, чем здесь».

(Окончание следует)

Бэгзийн Явуухулан

Весенняя песня

Обула ледяные сапоги,
Надела шубу белую из снега.
И, бич схватив,
Сплетенный из пурги,
Хлестнула по коленям человека.

А он стоял, ненастие кляня,
Три дня,
Сто дней...
И на заре сегодня
Весна, с галопа осадив коня,
Ему, как другу, бросила поводья

И с юным пылом устремилась в бой,
Храня союз со степью и лесами.
Летели клочья шубы снеговой,
Зима рыдала мутными слезами.
И степь вздыхала гулко и свободно,
И дальше, дальше двигалась весна.

По талии рекою многоводной,
Как лентой, опоясалась она.

И, распустив листву на каждой ветке,
Собрав все шумы, шорохи во тьме,
Она запела песнь о человеке,
Который жил,
Не кланяясь зиме.

Перевод с монгольского Л. Завальнюка.

* * *

Для них разлука — неутешна.
Они детей, как счастья, ждали.
А почему любили нежно,
По простоте своей не знали.

Они прожили жизнь согласно.
Себе пример с них люди брали.
Их жизнь была простой и ясной,
А почему — они не знали...

* * *

Если в небе хойлог * парил,
Я всегда завидовать мог...
Не размахом тяжелых крыл
Удивляет меня хойлог.

Нет, он носит в груди своей
Небольшие камешки с гор,
Горсть горячей земли моей,
Над которой крылья простер.

И слежу за хойлогом я,
Пролетающим в стороне...
Если б так же земля моя
Неразлучно была при мне!

Я бы видел в том смысл иной,
Я б той горсти камней был рад —
А хойлог летит над горой
И не знает, как он богат!

Перевод с монгольского В. Семернина.

* Хойлог — горная птица.

БРАТЬЯ ЛАУТЕНЗАК

Рис. О. Верейского

Лион Фейхтвангер

Братья Лаутензак

РОМАН

Перевод с немецкого В. Станевич и Р. Розенталь

Как и можно было ожидать, выборы рейхспрезидента закончились поражением нацистов. За этим последовали неизбежные перемены: вооруженные отряды партии были запрещены, партийные кассы опустели. Это не явилось неожиданностью для руководства, но все же надо было приноравливаться, сокращать расходы.

Все организации нацистской партии ощутили эту экономию на собственной шкуре, и прежде всего «Германское мировоззрение».

Гансйорг вынужден был заявить Оскару, что больше не в состоянии выполнять его бесконечные требования и поэтому от роскошного образа жизни придется отказаться.

Оскар воображал, что его удачи будут непрерывно расти, как это было до сих пор. И планы его становились все более необузданными. Он мечтал построить себе дом, который был бы и идеальным жилищем, и студией ведущего оккультиста эпохи. Сидя в своей келье, Оскар уже мысленно построил этот дом: он высится на небольшом холме, снаружи благороден и скромен, внутри же полон таинственности и тяжелой внушительной роскоши, словом — волшебный замок Клингзора.

А сейчас перед ним стоит Гансйорг и сухо сообщает: — Всё кончено. Лопнули твои мечты.

— Две тысячи марок в месяц я еще могу тебе обеспечить, — заявил Малыш решительно. — Но сверх того — ни пфеннига.

— Две тысячи марок? — повторил мрачно и презрительно Оскар. — Теперь ясно, чего стоят все твои обещания.

— В жизни не видел такой неблагодарной скотины, — сказал Гансйорг. — Две тысячи марок — да ведь это оклад министра. Если бы тебе, когда ты еще сидел в Дегенбурге или в Мюнхене, кто-нибудь сказал, что ты будешь получать от меня ежемесячно такой куш, ты бы назвал такого человека сумасшедшим.

Против этого Оскару возразить было нечего. Он прекратил бесплодный спор, заявив:

— В общем, дело дрянь. — Потом умолк, хмурый и подавленный.

Гансйорг только этого и ждал.

— Пожалуй, — начал он осторожно, после небольшой паузы, — я укажу тебе способ поправить твои финансы.

Оскар взглянул на него с надеждой.

— Твой договор с «Германским мировоззрением» предусматривает, что ты находишься в распоряжении одной этой организации, — начал

Продолжение. Начало см. в № 1 за 1957 год.

Гансйорг. — Но ввиду сложившихся обстоятельств «Германское мировоззрение», несмотря на свои твердые принципы, честность и добропорядочность, может быть и согласилось бы пересмотреть этот параграф.

— Ты думаешь? — спросил Оскар с радостным волнением.

— Гарантировать я, конечно, ничего не могу, — ухмыльнулся Гансйорг.

— Нет, конечно, можешь, — воскликнул Оскар. — Ведь «Германское мировоззрение» — это ты.

— Ну, хорошо, допустим, — величественно согласился польщенный Гансйорг. — Если ты желаешь выступать публично, со стороны «Германского мировоззрения» возражений не будет. Правда, после того как «Союз» с таким невероятным усердием тебя пропагандировал, он мог бы претендовать на комиссионные и участие в прибылях. А взамен мы тебе расчистили бы путь. У нас есть связи, мы можем добиться договора со «Scala».

В душе Оскара поднялась целая буря. Когда Алоиз предлагал ему подготовить вместе какой-нибудь номер, то предполагалось, что они будут выступать в провинциальных городах, самое большее — в Мюнхене. А сейчас Оскар видел перед собой зал «Scala», самого большого варьете в стране, видел световые рекламы, гигантские афиши, видел множество людей, которые не сводят глаз с его уст, с его рук, изображенных когда-то Тиршенройт с такой жестокой и двусмысленной выразительностью. Да, его, как и фюрера, вдохновит отклик толпы, этот отклик вольет в него силу.

Правда, его программа должна стать теперь еще сенсационнее, его трюки — грубее, а маска окажется еще дальше от него и выше, ему будет еще труднее до нее дорасти.

Но он был бы глупцом, если бы эти соображения его остановили. Он должен выступать. Конечно, должен. Он ведь только и ждал, чтобы Гансйорг это предложил. Те материальные трудности, которые ему сейчас угрожают, может быть еще принесут счастье.

— Хорошо, — согласился он с видом мученика.— Если ты не видишь другого выхода, я согласен выступать.

Когда Алоиз узнал об этом проекте, он тоже воодушевился. Перспектива покончить с «комнатной» работой и показать свое искусство на настоящей сцене, перед настоящей публикой подействовала на него, как благодатный дождь на засыхающий куст.

Вскоре, однако, выяснилось, что «Германское мировоззрение» не намерено выпускать это дело из своих рук. Гансйорг стал во все вмешиваться, требовать то того, то другого. И настроение Алоиза омрачилось. Он изо всех сил сопротивлялся этому вмешательству.

— Я не желаю опускаться до выполнения обязанностей политического агента, — выкрикивал он своим ржавым, хриплым голосом. — Я артист и не хочу быть подручным ни у нацистов, ни у Оскара. Я полноправный сотрудник. Второй раз вам меня не одурачить. Мой договор со «Scala» будет составлять Манц и никто другой. А вы — известные ловкачи, я знаю вас.

— Напрасно вы так разоряетесь, господин Пранер, — сказал Гансйорг; сочетание берлинского жаргона с баварским выговором привело Алоиза в полное бешенство.

— «Германское мировоззрение» дает вам возможность выступить в «Scala», и это чистая любезность с его стороны! — продолжал Гансйорг.

— Знаем мы эту чистую любезность! — вскипел Алоиз. — Вы получаете двадцать пять процентов и на своем новогерманском языке называете это «чистой любезностью»? Я даже против этого не возражаю: бе-

рите себе двадцать пять процентов. Я привык к тому, чтобы меня эксплуатировали. Но чего Алоиз Пранер, по прозванию Калиостро, не позволит коснуться — это его артистической чести. Тут я ничего знать не хочу. Тут я призову на помощь Манца. И пусть Манц смотрит в оба, чтобы вы не посадили пятна на мою репутацию артиста. Манц сумеет с вами поговорить. В двадцать два сантиметра должны быть буквы моей фамилии на афишах! И больше я ничего знать не хочу!

Однако антрепренер Манц был вовсе не в восторге от того, что ему приходится защищать интересы фокусника Калиостро. Обойти «Германское мировоззрение» было нельзя — «Союз» ставил в договоре с Калиостро свои условия, а когда дело касалось нацистов, у него, Манца, была несчастливая рука. Его все больше угнетала мысль о том, что он в свое время не устроил ангажемента актеру Гитлеру. А этот Адольф Гитлер не из тех, кто забывает. Если он, в конце концов, все же станет рейхсканцлером или рейхспрезидентом, то уж он Манцу припомнит, что это из-за Манца ему, Гитлеру, пришлось отказаться от карьеры актера и податься в политику.

Поэтому переговоры между Манцем и Гансйоргом шли очень туго. В денежных делах Гансйорг не был мелочен, но ему хотелось оттеснить Алоиза — как тот и предвидел — на задний план. Маленький, колючий Гансйорг и жирный флегматичный Манц были достойными противниками. Гансйорг был напорист, Манц — упрям. Как бы безобидно Гансйорг ни формулировал параграфы договора, юркие глазки Манца сейчас же высматривали все, что могло ущемить интересы его Калиостро.

— Нет уж, милейший, — говорил он, похохатывая визгливым жирным смехом, — лучше мы этого писать не будем.

Гансйорг не отличался добродушием, и флегматичная, стойкая хитрость Манца доводила его до бешенства — он нередко испытывал соблазн отправить этого жирного наглеца на тот свет. Но ведь речь шла о Калиостро, поэтому Гансйорг сдерживался, говоря себе, что еще настанет день, когда он с этого сукина сына взыщет сполна, и продолжал переговоры.

Наконец нашли компромиссное решение.

— Видите, милейший, — сказал Манц с баварской медлительной вежливостью, — вот мы с вами все же и договорились.

Гансйорг прикинулся миролюбивым и, улыбнувшись, оскалил все свои острые мелкие зубы — зубы хищника. Но Манц знал, с кем имеет дело, знал, что, несмотря на дружелюбный, любезный тон этого сопляка, в будущем лучше не попадаться на глаза Гансу Лаутензаку.

. .

Оскар и Алоиз много работали над подготовкой сногсшибательного номера, в котором они хотели показать себя во всем блеске; снова и снова проверяли они каждую мелочь — взвешивали, меняли, отбрасывали; то они хвалили друг друга, то один обзывал другого презренным ослом; они то становились друзьями — водой не разольешь, то обменивались уничтожающими характеристиками; они увлекались новыми замыслами, ссорились, рвали навсегда, мирились.

Наконец порешили на следующем: номер пойдет под названием «Правда и вымысел». Сначала Алоиз покажет свои самые блестящие фокусы, причем публике так и заявят, что это фокусы. Тем самым подлинность экспериментов, с которыми потом выступит Оскар, будет еще более подчеркнута. Оскар решил вначале показать несколько телепатических и гипнотических экспериментов, не подготовленных заранее, без трюков. Увенчать все это он намеревался «сенсационным» номером вызывания умерших и некоторыми пророчествами.

После того как было предложено и отвергнуто немало покойников, они решили вызвать героя морских сражений Бритлинга из его океанской могилы. Алоиз предложил показать зрителям если не призрак Бритлинга, то хоть некоторые его атрибуты: Алоиз был мастер на такие штуки. Однако Оскар решительно отклонил это предложение. Он рассчитывал на силу внушения. Надо как следует внутренне подготовиться, и тогда Бритлинг так убедительно будет вещать через него, что каждый увидит покойного.

Алоиз принес кучу фотографий героя, а также грампластинки с записью его голоса. Запершись в комнате со звуконепроницаемыми дверями и стенами, Оскар и Алоиз репетировали. Голос покойного должен был звучать так, чтобы слышавшие его при жизни испугались сходства; вместе с тем, этому голосу следовало придать загробный оттенок. Оскар научился настолько хорошо это делать, что ему приходилось себя сдерживать, иначе он мог заговорить голосом погибшего морского героя при самых неподходящих обстоятельствах.

Все это так, но что же возвестит покойник? Нельзя же вытаскивать его со дна океана, чтобы потом заставить утробным голосом изрекать пошлости? Оскар тщетно ломал себе голову. Запирался в своей келье, подолгу смотрел на благородное, гордое лицо короля Людвига, на маску, на фотографии мертвого героя, и все-таки ни одна мысль не осеняла его, в груди все было немо.

С горя он обратился за советом к Гансйоргу. Тот почесал затылок. Собрать данные о жизни отдельных людей, будущее которых до сих пор «видел» Оскар, не составляло особого труда. Теперь же Гансйоргу надо было раздобыть материал о каком-то большом, касавшемся всех, политическом событии. Он уже хотел сказать «возись с этим дерьмом сам», но увидел доверие в глазах Оскара, и ему польстило, что брат в трудную минуту опять оказался вынужденным обратиться к нему.

— Ну что ж, я добуду тебе сведения о событиях, которые ты сможешь предсказать.

Знаменательный вечер приближался. Мельчайшие технические детали были выверены, но Оскара все больше угнетало то, что он до сих пор не знал, какую же сенсационную новость должен возвестить умерший.

И вот, за два дня до премьеры, к Оскару прибежал взволнованный Гансйорг.

— Есть! — заявил он, сияя. Оскар вздохнул с глубоким облегчением.

Однако:

— Да? — спросил он, приняв равнодушный вид. Но Гансйоргу было не до того, чтобы дать Оскару по морде за его наглое притворное равнодушие — он был всецело захвачен полученными новостями и сообщил брату, что в результате сложной комбинации интриг Гинденбург, наконец, согласился сместить военного министра, непримиримого и злейшего врага нацистской партии. А вновь назначенный министр отменит приказ о запрещении штурмовых отрядов, и у партии опять будут свои вооруженные силы. Может пройти еще некоторое время, пока это осуществится, но вопрос решен бесповоротно. В курсе дела лишь очень узкий круг людей.

Оскар задумался. Потом снисходительно и точно мимоходом заметил:

— Спасибо, что ты дал себе труд сообщить мне эту новость. Она лишь подтверждает то, что мне возвестил мой внутренний голос.

Гансйорг на миг даже оцепенел от этого беспримерного нахальства, однако снова взял себя в руки. Он похлопал брата по плечу.

— Ты у меня просто золото, — сказал он. — Да, мы, Лаутензаки, чего-нибудь да стоим.

Выйдя на сцену, залитую светом прожекторов, Оскар не испытывал волнения. Напротив, доходившее до него дыханье толпы, там, внизу, вливало в него силы, рождало ощущение радостной окрыленности, удачи.

Своей бодрой уверенностью он сразу же подчинил себе публику. Она ожидала увидеть мечтателя с патетическим и мрачным выражением лица, а перед нею стоял элегантный господин, и лицо у него было хоть и значительное, но все же хитрое. Он, видимо, был готов в любую минуту дать почувствовать каждому свое превосходство. Он мог сыграть с кем угодно злую шутку.

Оскар не только отгадывал мысли своих жертв, он расцвечивал угаданное иоронческими и язвительными замечаниями. Когда он по вещам, взятым у кого-либо из публики, узнавал секреты, которые мог знать только их владелец, то особенно охотно останавливался на мелких и интимных, несколько смешных подробностях.

Откровеннее всего потешался он над публикой во время гипнотического сеанса. Особенно злую шутку он сыграл с муниципальным советником Рейтбергером, лицом весьма популярным. Муниципальный советник едва ли слышал раньше об Оскаре Лаутензаке, он пошел в театр по настоянию супруги, которой хотел доставить удовольствие по случаю ее дня рождения. Когда Оскар предложил желающим подвергнуться гипнозу, в числе других вызвался, опять-таки по настоянию жены, и муниципальный советник Рейтбергер. Он слыл веселым чудаком и готов был принять участие в любой забаве. Но Оскар увидал на лице советника самодовольное выражение мещанского благополучия, прочел уверенность в том, что он, муниципальный советник Рейтбергер, найдет выход из любого положения и всегда будет прав перед богом и людьми. Алоиз с помощью шифра сигнализировал Оскару, кто этот человек. Поэтому Оскар решил: пусть высокомерный и пузатый бонза немножко попотеет. Толстый советник спокойно развалился в кресле и очень быстро дал себя усыпить. Оскар внушил советнику, что ему жарко, ужасно жарко. Рейтбергер весь побагровел, фыркал, утирал пот. Оскар внушил ему, что они едут купаться на Ванзее. И вот они уже на берегу озера. Муниципальный советник Рейтбергер разделся и остался в одних кальсонах, а публика визжала, орала, захлебываясь от восторга. И вот Рейтбергер собрался войти в воду, то есть спуститься в оркестр. В последнюю минуту Оскар удержал его. Советник смущенно оделся и вернулся к своей супруге, которая не выразила никакого удовольствия по поводу того, что он повел ее в театр; вскоре оба удалились.

Оскару ни на минуту не приходило в голову, что все это — дешевые шутки. Наоборот, его окрыляло ощущение своей власти над людьми, возможность наслаждаться их слабостями, их легковерием, их покорностью. Он отдавался этому наслаждению, играл им, как бы испытывая публику. Она подчинялась, он владел ею.

Зрители так же самозабвенно следили за ним и тогда, когда он перешел к более серьезным экспериментам. Только что они хохотали и визжали, только что хватались за животики, и вот они уже сидят с серьезными лицами и жадно слушают каждое его слово — именно так, как он этого хотел. За последнее время, начал он свой рассказ, его несколько раз посещал капитан Бритлинг, да, покойный Бритлинг, герой морских сражений. Правда, до сих пор это происходило лишь когда Оскар был один или в тесном кругу друзей. Поэтому он не знает, захочет ли покойник говорить через него перед таким многолюдным сборищем. С другой стороны, Оскар чувствует, что в зале есть люди, исполненные доброй воли и честно жаждущие просветления, познаний; может быть, умерший хочет что-либо сообщить этим людям. Оскар попытается вызвать его. Он про-

сит, чтобы никто из зрителей не оказывал ему сопротивления, — пусть ждут, отбросив на время свой скептицизм.

— Пожалуйста, не сопротивляйтесь мне, — сказал он, — пожалуйста, ослабьте всякое напряжение.

Теперь это уже не был прежний веселый шутник. На сцену вынесли небольшой черный столик, а на него поставили пирамиду в виде кристалла и положили деревянные четки. И вот Оскар сидел в мертвенном луче прожектора, освещавшем только его лицо, сцена тонула во мраке. Но разве это его лицо? Синие глаза под густыми бровями горят ярче, лоб, на котором так низко растут пышные волосы, кажется выше, нос — более дерзким. И вот это лицо, излучающее мрачное сияние, оцепенело, кожа натянулась, зрачки сузились, веки поднялись. С неистовой сосредоточенностью смотрит Оскар на верхушку пирамиды. Даже самые рьяные скептики едва ли могли бы найти в этой окаменевшей маске, в этом человеке с лицом Цезаря хоть что-нибудь смешное. Именно потому, что Оскар Лаутензак всего несколько минут назад с такой обезоруживающей откровенностью показал, как неожиданно просто можно вызвать иллюзию «сверхъестественного», именно потому, что он перед тем был так весел и пускался на такие грубоватые шутки, люди были особенно склонны поверить сейчас в его серьезность и в то чудо, которое он им обещал.

Сам Оскар совершенно забыл о том, что он играет заученную роль. И хотя он заранее тщательно обдумал и спланировал каждую деталь своего выступления, теперь он ждал совершенно искренне, что покойник явится, войдет в него и будет говорить его устами. Он слился воедино с охваченной напряжением, испуганной публикой. Сумрак, царивший в большом зале, казался ему сумраком потустороннего мира, в душе звучала бурная музыка из «Летучего голландца», и она перенесла его в царство теней. Он был взбудоражен, взбудоражены были и зрители. Его волненье передалось и им, соединило в одно чудодея и верующих в него. И когда глаза человека на сцене, только что светившиеся такой напряженной жизнью, погасли, когда лицо его окаменело и застыло, как у тех, кого он перед тем усыплял, все зрители почувствовали, что сейчас этот человек находится уже не в нашем мире, сейчас он в потустороннем, он «видит». Сейчас, сейчас появится умерший.

У какой-то женщины вырвался шумный вздох мучительного ожидания, и зал ответил ей вздохом.

— Явился, — вдруг произнес голос на сцене.

Только что, обращаясь к залу, Оскар говорил красивым звучным тенором, гибким и вкрадчивым — сейчас раздался какой-то хриплый голос, как у военных, привыкших отдавать команду. И когда прозвучал этот голос, перед теми, кто видел хоть раз фотографию покойного капитана Бритлинга, героя флота, одного из прославленных национальных героев последней войны, снова ясно и отчетливо встало его лицо.

В темном зрительном зале воцарилось гнетущее молчание. На предложение, не желает ли кто-нибудь задать Бритлингу вопрос, откликнулся один из зрителей. Он произнес заранее подготовленную фразу:

— Что ожидает в ближайшем будущем новую Германию?

— Ну, что ж, — раздался со сцены скрипучий, хриплый, привыкший подавать команду голос. — Есть ангел мира, который очень хочет отнять у нас наше оружие. Но торжество произойдет в тридцать втором. С этим господином не будут долго возиться. Его сместят...

Голос продолжал вещать. Несмотря на грубоватые обороты и несколько туманные выражения, все же было ясно, о чем идет речь; в темном зале не было человека, который не понял бы смысла этого пророчества: враждебный нацистам министр, добившийся от Гинденбурга запрещения штурмовых отрядов, скоро падет, и партия снова получит свою армию.

Зрители молчали, тяжело дыша. И вдруг среди этого молчания, так неожиданно, что всем стало жутко, Лаутензак проревел своим обычным голосом:

— Не смейтесь! Я запрещаю вам смеяться! Смеяться будете, если его слова не исполнятся!

Но никто не смеялся.

И снова воцарилось молчание. Вдруг в темноте раздался тонкий голосок, неуверенный и все же насмешливый и вызывающий:

— А когда именно это произойдет? Когда сбудутся ваши слова? Когда сместят министра?

Этого Оскар не знает. Через некоторое время — вот все, что ему сообщил Гансйорг. Поэтому он с минуту молчит. А тонкий голосок продолжает свои вопросы:

— Через год? Через пять лет? Или через десять?

Оскар должен ответить этому нахалу, ответить немедленно и точно, иначе зал начнет сомневаться. Он закрыл глаза, погрузился в транс и своим обычным голосом обратился к потустороннему миру:

— Когда военный министр будет снят? — Он прислушался к себе, затем, после долгого молчания, с усилием извлекая из себя слова, возвестил:

— Он сказал, что это произойдет в ближайшие двадцать восемь дней.

Теперь, когда он указал определенный срок, даже самый зловредный скептик уже не мог утверждать, что предсказание пророка слишком неопределенно и туманно.

Зрители были ошеломлены. Может быть, в этом выступлении покойника и было что-то странное, даже гротескное, но, вероятно, именно сама будничность его выступления убедила их.

Занавес опустился, в зале снова вспыхнул свет. Еще с минуту все сидели, погруженные в молчание. Затем публика очнулась, захлопала, сначала скупо, ибо многие еще не пришли в себя, потом все громче, сильнее и, наконец, разразились те бурные, оглушительные аплодисменты, которые Оскар так часто слышал в своих мечтах. Он покорил эту двухтысячную толпу. Они хотели верить. Они верили.

Оскар не смог бы объяснить, почему он сказал именно «в ближайшие двадцать восемь дней». Можно было бы с таким же успехом сказать и «в ближайшие двадцать дней» или «в ближайшие шестьдесят». Поистине, ему подсказал это его внутренний голос.

Гансйорг был очень встревожен.

— Я сообщил тебе сведения, верные на все сто, — сказал он. — А теперь, после уточнения срока, все стало делом случая.

Газеты напечатали пророчество Оскара как курьез. Прошло две недели, потом три, а предсказание все не сбывалось, и тогда газеты, одни — неуклюже, другие — тонко, начали над ним потешаться. Однако Оскар не разрешал ни малейшего сомнения ни себе, ни другим. Он держался все с той же уверенностью, с тем же веселым превосходством.

На двадцать третий день неожиданно распространилась новость: военный министр подал в отставку. Его падение было результатом какой-то нелепой интриги, неправдоподобно простой и, вместе с тем, очень хитрой.

Две тысячи человек собственными ушами слышали предсказание Оскара Лаутензака, которое теперь так неожиданно исполнилось. И эти люди распространили его славу. Число его приверженцев сначала сократилось от двух тысяч до двадцати человек, потом увеличилось до двухсот

тысяч. А Гансйорг, с помощью пропагандистского аппарата нацистской партии, еще больше раздул сенсацию. И двести тысяч приверженцев превратились в два миллиона.

Тираж «Звезды Германии» возрос до четырехсот тысяч. «Союзу по распространению германского мировоззрения» приходилось отказывать бесчисленному множеству людей, желающих получить у Оскара консультацию. Каждый вечер Оскара встречали бурей аплодисментов. Все немецкие варьете жаждали заполучить номер под названием «Правда и вымысел».

Теперь уже и речи не могло быть о том, чтобы отказаться от роскошного образа жизни.

— Ну, что, не бедствуем? — весело говорил Гансйорг и даже поощрял брата к мотовству, советовал «жить в свое удовольствие», как он выражался.

А Оскар твердил про себя: «Кто не богат, тот нищ», — и жил в свое удовольствие.

Одно за другим исполнялись его желания. Он стал теперь постоянным покупателем у ювелира Позенера. Он любил яркие краски, любил драгоценные камни. На письменном столе в его келье теперь стояла чаша из драгоценного дерева, она была наполнена самоцветами, и ему нравилось погружать свои большие белые руки в эту пеструю, сверкающую груду. В мюнхенской галерее Бернгеймера он приобрел гобелен «Лаборатория алхимика». Вместо вульгарной картины Пилоти «Астролог Зени у тела Валленштейна» стену его роскошной библиотеки украсил старофламандский гобелен, поражающий сумрачным великолепием красок.

Оскар заказал себе также шикарную яхту. Он назвал ее совсем просто — «Чайка», но предназначалась она для пышных пиров, и он решил отделать ее с таким небывалым великолепием, чтобы среди берлинских яхт ей не было равной.

Он не мог остановиться, ему все было мало. Неподалеку от Потсдама ему понравилось поместье — старинный маленький замок, носивший имя «Зофиенбург». Он стоял на зеленом холме, и его скромный и благородный вид полностью соответствовал представлению о доме-студии, созданному Оскаром в мечтах. Внутри дом был старомоден, к тому же он совсем обветшал и все здание нуждалось в капитальном ремонте; но это было как раз то, чего он искал. Оскар купил замок Зофиенбург и перевел на свое имя закладную на большую сумму.

Перестроить замок так, как мечталось, Оскару, разумеется, пока еще было не под силу. Пройдет немало времени, прежде чем он сможет придать Зофиенбургу тот облик тайны и тяжелой роскоши, какой подобает волшебному замку Клингзора. Пока он вынужден ограничиться одними проектами. Владение Зофиенбургом стало для него стимулом, этот дом имел для него теперь то же значение, что и пустая стена в его комнате. Он был уверен, что со временем заполнит эту пустую стену. Ведь он уже вырвал у судьбы и кольцо, и «Лабораторию алхимика», и веру миллионов в Оскара Лаутензака — вырвет и волшебный замок Клингзора.

Блаженно и доверчиво плыл он на волнах успеха. Наслаждался шквалом аплодисментов, который ежедневно обрушивался на него, лакомился газетными восторгами, сорил деньгами, радовался поклонению женщин. Удача пошла ему впрок: у него был цветущий, почти юный вид. И крепкий сон. Он часто думал, что судьба подтверждает значительность его личности, ибо внешний успех есть, разумеется, лишь выражение успеха внутреннего. А внутренний успех его заключается в том, что он сумел приобщить к вере в духовное начало сотни тысяч людей. Его бесчисленные новые приверженцы, которые были бы обречены без него всю жизнь

постигать лишь грубо материальное, теперь через него, Оскара Лаутензака, познали, что между небом и землей есть множество явлений, лежащих за пределами школьной премудрости.

Это ощущение своей значительности укреплял в Оскаре и Алоиз Пранер — он по-прежнему верил в его дар, хотя сам же разработал технику ясновидения. Антрепренер Манц все еще относился к Оскару скептически, но он, Алоиз, всегда верил в Оскара — и до Берлина и в Берлине. Именно эта вера и помогла ему достигнуть большого успеха у публики. Потому что и для Алоиза это был большой личный успех. Техническое оформление номера поражало своим совершенством, зрители наслаждались работой Алоиза и осыпали его похвалами, его фамилия печаталась на афишах буквами вышиной в двадцать два сантиметра. Однако антрепренер Манц все же не мог победить своего недоверия. «Недолго, — говорил он, — вам делать дела с этим неудавшимся актером Гитлером и его бандой, вы еще узнаете, почем фунт лиха». Но это были только придирки. Алоиз блаженствовал и каждую свою ссору с Оскаром, а ссорились они по-прежнему, заключал ворчливыми, но искренними словами, выражавшими веру в Оскара и восхищение им.

Однако душевное состояние Оскара не вполне соответствовало достигнутым успехам. Ему было мало поклонения публики, веры в него Алоиза и Гансйорга. Он должен, обязательно должен доказать, что Тиршенройт и Гравличек были неправы. Он искал все новых и новых доказательств, и каждое, даже самое ничтожное, радовало его. Чем оно было наивнее, тем он больше радовался.

В ту пору, к приятному удивлению маленькой Альмы, портнихи, ее знаменитый друг стал все чаще бывать у нее. Она смотрела на него восторженным взглядом еще тогда, когда он прозябал, непризнанный и безвестный, помогала ему, сколько позволяли силы, никогда ничего от него не требовала, а малейшее внимание, которое он оказывал ей, принимала с удивлением и благодарностью. Оскару было приятно это искреннее восхищение. В ее незначительной, глупой, милой и нежной душе он мог в любое время и без труда читать, как в открытой книге, и то, что он прочитывал в этой книге, было отрадно.

Но и веры маленькой Альмы оказалось ему недостаточно — это было слишком слабое лекарство для его внутренних недугов, он нуждался в более сильных средствах. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Порой в нем все еще плачет этот библейский стих, ему слышится голос бабушки, произносящей суровые, торжественные слова. Конечно, этот стих к нему не относится, душа его в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было, но ведь по существу он со всем своим искусством, успехом, одаренностью никого не поймал в свою сеть.

Кэтэ, честно говоря, тоже все еще не попала в эту сеть. Со времени размолвки, вызванной самоубийством Тишлера, он еще ни разу серьезно не объяснился с ней. Она мила с ним, не уклоняется от встреч, мирится с его настроениями, выказывает ему внимание, не мучает ни упреками, ни ревностью, она его любит — это красивая, нежная, прелестная подруга. Но Оскару хотелось бы большего. Ему хотелось бы делить с ней жизнь, сделать ее своей женой. Но при всей своей смелости он не решается заговорить об этом. Он ждет, чтобы она сделала первый шаг, намекнула ему. А именно этого она не делает. Очевидно, ее удовлетворяют их теперешние отношения. Она его любит, но не принадлежит ему. За всей ее ласковостью и дружелюбием он чувствует неверие, настороженность. Его дар и он сам вызывают в ней сомнение.

В один прекрасный день ему стало невтерпеж.

— Ты веришь? — спросил он вызывающе, — что я еще свое возьму и дорасту до маски? Веришь, что это не пустая претензия?

«Верь мне», — молил он ее про себя, страстно выпрашивал, приказывал. «Верь мне», — и он смотрел ей в глаза упорно, сосредоточенно, напрягая всю свою волю.

Кэтэ боялась этого вопроса, не знала, что ответить. Она и верила и не верила. Как ни странно, она в последнее время много думала о своей матери. Кэтэ была слишком мала, совсем еще ребенок, она не могла разобраться во внутренней драме, которую переживала ее мать, но в ее памяти запечатлелись некоторые жесты матери, отдельные слова, выражение ее лица в иные минуты. И то, что тогда было ей непонятно, теперь вдруг обретало смысл. Они с Паулем никак не могли постигнуть, почему мать позволила поработить себя, всецело подчинившись отцу, деспотичному, часто глухому к голосу разума. Неужели мать не разглядела, что этот человек черств? Разве она не предвидела, что не сможет вынести совместную жизнь с ним? Разумеется, предвидела. Разумеется, сразу разгадала его. Но было в нем и нечто притягивающее. Может быть, одна лишь искорка, но зато особенная, покоряющая, какой ни у кого другого не было. Эта искорка и держала ее в плену. Мать мирилась со всем остальным, все зная, все понимая. Только теперь Кэтэ разобралась в этом.

— Ты веришь, что это не пустая претензия? — еще раз спросил Оскар. Он ждал. Он слышал биение собственного сердца. Ждал напряженно. Наконец ее губы раскрылись и чуть заметная печальная улыбка озарила ее лицо.

— Не знаю, — неуверенно сказала она своим чистым голосом, и тон, которым она произнесла эти два слова, напряженный, уклончивый и все же бережный, осудил его бесповоротно, как не могла бы осудить длинная обвинительная речь.

Но нет, так быстро он не сдастся. Он повел на нее новую отчаянную атаку.

— Ты же сама убедилась, — настойчиво сказал он, — что я вижу твою душу. Ты же убедилась, что я правильно предсказал, когда придется подать в отставку министру. А ведь никто не мог этого знать заранее. Тебе ведь известно, что я одарен особой силой.

— Это все не то, — отмахнулась она. — Не в этом суть. Это не интересно, — заключила она решительно, не сознавая, что ее последние слова — излюбленное выражение Пауля Крамера.

Этот приговор не подлежал пересмотру. Оскар замолчал. Она же сказала, пытаясь придать своим словам веселый тон:

— Не гляди так, на тебя смотреть страшно. Довольствуйся тем, что я люблю тебя таким, какой ты есть. — И почти без горечи прибавила: — Я тоже вынуждена этим довольствоваться.

Оскар нашел на своем письменном столе номер одного солидного, но мало читаемого журнала со статьей, отчеркнутой Петерманом. Статья была озаглавлена «Шарлатаны», и автором ее был Пауль Крамер. Оскар прочел ее. Это был обстоятельный очерк. Доктор Крамер постарался. В начале он указал на симптоматическое значение того успеха, который сопутствовал, все нарастая, деятельности шарлатана Оскара Лаутензака. Указал на политические и экономические причины этого успеха. Сравнил оратора и чудотворца Лаутензака с оратором и чудотворцем Гитлером. Попытался доказать, что именно немецкий национальный характер благоприятствует популярности таких кудесников. Привел примеры из прошлого Германии, назвал доктора Эйзенбарта, Агриппу Неттесгеймского— прототип доктора Фауста. Читая статью, Оскар, обозленный и польщен-

ный, улыбался. Настоящая диссертация. Этот субъект относится к нему серьезно, ничего не скажешь, да и ряд, в который он его поставил, не из худших.

Далее автор статьи перешел к некоторым подробностям, касающимся жизни Оскара, так сказать, к психологическим деталям. Доктор был хорошо знаком с биографией Оскара, хорошо разбирался в технике ясновидения, отлично изучил Гравличека и умело связывал искусство Оскара с его жизнью и средой.

Теперь Оскару стало понятно, почему коварный Петерман отчеркнул статью. Сохраняя деловитый, сухо агрессивный тон, что казалось Оскару особенно подлым, господин Крамер копался в прошлом Оскара. Где он добыл весь этот материал? Он обратился даже к школьным годам Оскара, к дегенбургской полосе его жизни. И рассказал один эпизод, сопроводив его злобными комментариями.

В школьном сочинении четырнадцатилетний Оскар привел в подтверждение одной своей спорной мысли слова Гёте. На самом деле, однако, изречение принадлежало не Гёте, а самому Оскару. Учитель несколько недоверчиво спросил, из какого произведения Гёте взята цитата. Но Оскар, ничуть не смутившись, без малейшей запинки ответил: «Из «Вильгельма Мейстера». Он рассудил, что в этой толстой книге наверняка есть мысли, которые отлично могли бы придти в голову и самому Оскару. И не станет же учитель просматривать весь длинный роман в поисках этой цитаты.

Оскар ничего не имел против того, чтобы Пауль Крамер рассказал историю с цитатой — он и сам не раз ее рассказывал. Но только до этого места. Однако Пауль Крамер далее сообщал, что Оскар, солгав учителю, устремил на него пристальный взгляд и про себя страстно пожелал: «Поверь мне, поверь мне, поверь». То обстоятельство, что эта подробность, изложенная в спокойной, четкой, тонко насмешливой манере Пауля Крамера, попала теперь в печать, вызвало у Оскара приступ ярости.

Ведь как он ни привык приукрашивать свой внутренний мир, расхваливать его и выставлять напоказ, именно эту маленькую подробность он ревниво скрывал от всех. Он тогда впервые осознал свою власть над людьми, это была его первая победа, его великая тайна. Свою боязнь выдать эту тайну он не мог бы объяснить какими-нибудь вескими причинами, но боязнь эта у него была. Поэтому он всегда рассказывал только первую часть эпизода — о том, как дерзко и забавно он солгал, но заключительную часть, сокровенный смысл того, что произошло, то новое, что впервые открылось Оскару, он не хотел делить ни с кем и ни с кем не делил.

Только с одним человеком. В час душевной близости он рассказал об этом Кэтэ.

И теперь Кэтэ осквернила эту его тайну, его драгоценнейшее достояние, выдала ее одному из врагов, худшему врагу.

После того разговора, когда Кэтэ сказала «не знаю», Оскар чувствовал себя виноватым перед ней. Она любит его, хотя и не уважает, она любит его не за дар, которым он наделен, а ради него самого — и потому он в долгу перед ней. Но теперь она выдала то, что он доверил ей в час дружбы, выдала его худшему врагу. Теперь они квиты, он и Кэтэ. Подлая атака Пауля Крамера имеет свою хорошую сторону. Оскар полон острой радости: теперь у него есть оружие против Кэтэ.

В тот же день он показал ей статью Пауля Крамера и попросил прочесть тотчас же, при нем. Пока она читала, он рассматривал ее красивое тонкое лицо и с удовлетворением видел, что оно все сильнее заливалось краской гнева, стыда. Но к ее гневу и стыду примешивалось воспоминание о тех минутах, когда Оскар рассказывал ей об этом маленьком, ребя-

ческом переживании. Он был очень мил, когда рассказывал это, скромен и, однако, полон наивной гордости. Это был тот Оскар, которого она любила со всеми его хорошими чертами и со всеми его слабостями. Он был горд, как петух, тем, что еще мальчиком сумел навязать свою волю взрослому. Да, она любила его тогда, очень любила таким, каким он был, отчетливо сознавая пределы его возможностей и его недостатки.

В таком настроении она доверчиво рассказала Паулю этот эпизод — в одну из тех минут, когда говорила с ним об Оскаре. Но Пауль злоупотребил ее доверчивостью. Было подлостью с его стороны напечатать с ехидными комментариями историю, которую она рассказала в порыве откровенности и в оправдание Оскара. Да, он таков: беспощаден, нетерпим, готов на все, лишь бы доказать, что он прав. Вот что всегда становится между ними. Вот что отталкивает ее от брата. Чужое. Еврейское.

Оскар молча сидел и смотрел, и угадывал ее мысли, и оказался достаточно умен, чтобы ни единым словом не выказать своего торжества. Она тоже, прочитав статью, долго молчала. Затем сказала:

— Оскар, он поступил с тобой несправедливо, — и голос ее казался еще более чистым, чем всегда. Впервые за долгое время она снова назвала его по имени.

Он испытывал глубокое удовлетворение. И что было приятнее всего, сам враг, споткнувшись о собственное коварство, уготовил ему эту счастливую минуту.

Прежде Пауль почти ежедневно работал с Кэтэ, диктовал ей статьи. Спорить с ней, разбивать ее возражения или признавать их правильными, подтрунивать над ней — все это его подстегивало. И для Кэтэ, хотя она часто злилась на брата, эта совместная работа была радостью. Но в последнее время он предпочитал печатать сам. Все, что он писал, было как будто специально направлено против нее.

Совместная жизнь брата и сестры стала безрадостной. Между ними неотступно, почти осязаемо стояло то, о чем они никогда не говорили и что больше всего волновало их: отношения Кэтэ с Оскаром. Лицо Пауля, вся его повадка, все, что он делал и говорил, и прежде всего то, чего он не говорил, было для нее вечным укором. Уже не раз она подумывала уехать с Нюрнбергерштрассе. Однако ей вновь и вновь припоминалась гротескная сцена в отеле «Эдем» — грубое унижение, через которое прошел Пауль, когда он кружился вместе с вертящейся дверью, — и она не решалась нанести ему еще и этот удар.

Но теперь, после того как он обманул ее доверие и вероломно напал на Оскара, она свободна от всяких обязательств. В нем слишком много чужого. Все, что он унаследовал не от матери, претит ей. Она не в силах выдержать это. Близок ей не он, а Оскар. Она уйдет от Пауля и честно скажет ему, почему это делает.

Она заговорила с Паулем в тот же вечер, за ужином. Упрекала его за статью, называла ее низкой, подлой. Ее удлиненные карие глаза гневно блестели, на живом лице отражалось сильное волнение.

Пауль сидел в домашней куртке, он ел, болтал, просматривал газеты, держал себя легко и свободно, как всегда. Когда Кэтэ заговорила, Пауль поднял на нее глаза. Он не перебивал ее, и когда она кончила, против своего обыкновения, долго молчал. Он внимательно слушал ее и теперь внимательно вглядывался в нее. Она была красива в своем гневе, его милая, очаровательная сестра. Многое Кэтэ унаследовала от сурового, вспыльчивого отца; в гневе она, подобно ему, несла всякий вздор. Но Пауль особенно любил ее в эти минуты, когда жесткие вертикальные складки врезывались в ее красивый, чуть выпуклый лоб.

Вместе с тем в нем разгоралось чувство возмущения. Что он такое сделал? Назвать подлой его статью, его обдуманную, спокойную статью— это уже слишком. Ему невольно вспомнилась встреча в отеле «Эдем». Он не знает, как тогда вышел из зала, он не хочет знать, не хочет спрашивать об этом сестру. Должно быть, этот субъект подверг его чему-то мучительно позорному, и до сих пор при воспоминании об этой встрече в нем подымается бессмысленный бешеный гнев против Лаутензака и против сестры.

В то же время он чувствует глубокое сострадание к Кэтэ — сострадание это овладело им после той встречи: ведь то, что с ним случилось, вероятно, мучило ее не меньше, чем его самого.

Кроме Пауля сострадающего и Пауля гневного, есть еще третий Пауль — он глядит на все происходящее, посмеиваясь, чуть-чуть иронически, и сожалеет, что нельзя спокойно доесть и по достоинству оценить отличные оладьи. Но верх берет гневный Пауль.

— Ты что же, ожидала, что я буду церемониться с этим Лаутензаком, оттого что он тебе приглянулся? — спрашивает он, и в его голосе появляются высокие ноты. — Ожидала, что я буду проявлять «рыцарские чувства»? И не подумаю. Я не рыцарь, я писатель.— Пауль стоит в своей заштопанной куртке и в стоптанных домашних туфлях; от волнения он немножко шепелявит. Его лицо искажено гневом — благородным гневом борца.

— Рыцарь, писатель,— издевается Кэтэ. — Эти мудрствования не производят на меня впечатления. Ты обманул оказанное тебе доверие, поступил низко — этого ты, спорь не спорь, ничем не замажешь. Да и вообще ты напал на него только потому, что я с ним сблизилась. А то он был бы для тебя слишком ничтожен. Ведь ты так отталкивающе высокомерен.

— Да, мне очень жаль, что ты с ним связалась, это верно, — ответил Пауль с еще большим озлоблением. — Верно и то, что твой Лаутензак не заслуживает особого внимания. Знаю, он обладает пресловутым флюидом. Флюид — за это словечко всегда ухватываются, когда хотят пыль в глаза пустить. Весь его флюид заключается в том, что он может одурманить человека своей болтовней. И пусть бы тешился своим флюидом, это меня нисколько не интересует. Я напал на него потому, что его окружают люди, которые стремятся использовать его жалкие фокусы для мерзкого политического шарлатанства, потому что он позволяет использовать себя в этих целях. И все это в совокупности — тонко сплетенная сеть подлости и мошенничества. Я писатель. Зови меня дураком и гордецом, если тебе это доставляет удовольствие, но я считаю своим долгом указать людям на сеть, в которую их хотят поймать. Он не просто мошенник, твой Оскар Лаутензак, он опасен. И это должно быть сказано. И он должен быть разоблачен. Сделать это — мой долг.

Они стояли и смотрели друг на друга ненавидящими глазами. То, что в чудовищных оскорблениях, которые бросал Пауль, была доля истины, еще больше разъярило Кэтэ. Она не позволит обливать грязью, унижать Оскара. Не позволит отнять у нее Оскара. Благодаря ему она почувствовала, что такое величие, взлет, мечта, вдохновение.

— Ты, значит, хочешь очернить его только по объективным соображениям? — спросила она, от возмущения напрягая свой чистый голос. — И ты говоришь мне это прямо в лицо? И ты смеешь?

— Да, — сказал он, глядя ей прямо в лицо, и еще раз повторил: — Да, конечно, открыть тебе глаза я тоже хотел, было у меня и такое побуждение, но не оно было для меня самым важным. Я хочу его уничтожить, потому что он опасен для всех, — добавил он уже негромко, но его худое лицо выражало ожесточение.

А она, полная яростного презрения, не уступала:

— До сих пор ты не лгал, и это было в тебе самое лучшее. А теперь ты еще и лжешь. — И, взвинтив себя, решительно заявила: — Не вижу больше смысла жить здесь. Он близкий мне человек, к твоему сведению. А ты — нет. В тебе слишком много... — «еврейского», хотела она сказать, но после маленькой заминки сказала, — «чужого».

Но даже от этих смягченных слов ей стало больно. Она надеялась, что он не поймет всего их злого значения. Надеялась, что он ответит запальчиво и несправедливо. Тогда ей стало бы легче.

Но он, конечно, понял злой смысл ее слов. И вовсе не собирался отвечать запальчиво и несправедливо. Напротив, весь его гнев сразу испарился, третий Пауль Крамер, вдумчивый наблюдатель, одержал победу над двумя другими. Он медленно, слегка шаркая, подошел к столу — сразу постаревший, мудрый, — машинально взял ложку, оглядел ее и сказал сдавленным голосом, в раздумье:

— В подобном же случае Ницше когда-то написал своей сестре: «Бедняжка Лама... — в минуты особенной нежности он называл ее «Лама», — бедняжка Лама, теперь ты докатилась до антисемитизма». И, все еще рассматривая ложку, произнес: — Жаль. — И добавил: — Бедняжка Кэтэ.

Кэтэ усталым шагом пошла к дверям.

— Прощай, Пауль, — сказала она.

— Разве ты хочешь уйти сегодня же? — спросил Пауль.

— Да, упакую вещи и уеду.

А он, все еще с ложкой в руках, повторил:

— Жаль. Очень жаль.

Оставшись один, он принуждает себя сохранять спокойствие. «А, пустяки, минутная вспышка. Не может же она всерьез выбрать из нас двоих этого мрачного шута. Утром она, как всегда, позовет меня завтракать. Постучится в ванную и скажет: «Пауль, нельзя же так долго сидеть в горячей воде». А я отвечу: «Уж так и быть, из уважения к тебе — выхожу».

«Нет, — окончательно решает он, — я не такой дурак, чтобы мучиться из-за этой нелепой истории. Кэтэ, конечно, вернется. Жалко, что оладьи остыли». И он принимается за еду.

Из смежной комнаты доносится голос Кэтэ, она говорит с кем-то по телефону. Слов не разберешь. «Неужели она заказывает такси? Неужели она действительно?.. Вздор, быть того не может...»

Он погружается в раздумье. Но встряхивается, заставляет себя есть. Несколько жирных крошек падает на его брюки. «Надо заказать себе новый костюм,— решает он.— Это будет сюрпризом для Кэтэ. Но она будет ругать меня, зачем я позволил Вайцу навязать себе вещь, которая мне не к лицу».

Звонят. «Так и есть, это шофер, он пришел забрать чемоданы». Пауля тянет к дверям. «Надо удержать Кэтэ, ведь это ребячество, нельзя же отпустить ее». Но ему вдруг становится совершенно ясно, что удержать ее он не может: нечто более глубокое, чем сегодняшний спор, гонит ее от него, влечет к Лаутензаку.

Он сидит длинный, нескладный, вытянув шею, и ждет. «Вздор. Не может она сделать такую глупость. Она же разумный, взрослый человек. Она останется. Непременно останется. Она войдет сейчас, сию минуту, и сделает вид, что решительно ничего не случилось». Он напряженно ждет. Но слышит только басистый голос шофера и тихий, чистый голос Кэтэ; и никто не входит; и вот они удаляются, и вот... вот хлопнула дверь и звякнул замок.

Боль пронзила его насквозь. Он сидит неподвижно. На мгновение его охватывает жалость. «Бедный цветок, берегись!» — ожил в памяти старинный стих. Но вдруг на него нахлынула новая жаркая волна бешенства, она подняла его со стула. Сердце глухо стучит, он слышит, как оно стучит.

«Низостью» назвала она его статью. Как раз наоборот. Он слишком благороден для своего противника. Такое зловещее явление, как Лаутензак, не устранишь тем, что отнесешь его к такой-то категории. С людьми этого сорта надо говорить иначе. К счастью, он, Пауль, сумеет в случае надобности заговорить другим языком. Кэтэ бросила ему вызов. Он покажет и ей, и этому господину Лаутензаку, что он, Пауль, способен действовать и иными способами».

Но тут заговорил новый Пауль, третий, вдумчивый наблюдатель, все время стоявший рядом. «Теперь ты видишь, как права была Кэтэ. Ты лгал с начала до конца. Сам по себе этот Лаутензак тебе глубоко безразличен, никогда бы ты не стал тратить время и силы на такое ничтожество. Ты хочешь «показать» ему и ей — вот и все».

И Пауль со стыдом понял, понял отчетливо, что́ заставило его написать статью. Он попросту не может вынести мысли, что его сестра Кэтэ спит с этим человеком. Он стыдил себя, успокаивал, призывал к порядку. И в то же время мысленно уже набрасывал новую статью против Оскара Лаутензака — язвительную, всем понятную статью, которую надо будет напечатать в большой газете.

Два дня спустя, после многих сомнений и колебаний, он написал эту статью. Написал умно, с ненавистью, с ядовитым расчетом. Старался действовать на массы теми же средствами, что и противник. О, Пауль Крамер умел быть грубым и эффектным, если хотел. А теперь он хотел этого. Мир Оскара Лаутензака, эту блестящую и зловонную лужу, он описал, не жалея красок. Не ограничился сдержанными намеками. Приводил точные данные, называл цифры. Описал салон баронессы Третнов со всем ее зверинцем снобов, авантюристов, карьеристов, политиканов, ландскнехтов. Описал бюро «Союза по распространению германского мировоззрения». Называл суммы гонорара за консультации с Оскаром. Показывал, как выгодно материализуются силы потустороннего мира, — «в виде солидного текущего счета». Нет, на этот раз Пауль Крамер отнюдь не был изыскан, он платил противнику той же монетой; Оскар Лаутензак вызвал дух Бритлинга, известного героя, а Пауль вызвал дух художника Видтке. Он вытащил на свет дело об убийстве, в котором обвинялся Гансйорг, разоблачал Карфункель-Лисси и всю ее любовную коммерцию. И особо подчеркнул роль старого, доброго, честного фокусника Калиостро в выступлениях Лаутензака. Он без всяких обиняков называл вещи их именами, а Оскара Лаутензака падким на деньги и славу мошенником и шарлатаном, опасным в силу своих политических связей.

Многие газеты подхватили эти обвинения. Вокруг ясновидца снова поднялась неистовая шумиха.

Оскар не знал, как держаться. Ему льстило, что он изображен могущественной личностью, но, с другой стороны, многие удары были нанесены метко. Многие атаки было трудно отбить. Как ему ответить на них?

Гансйорг успокоил его. Он, подобно всем нацистским вожакам, питал какое-то бездонное презрение к массам. «Совершенно неважно, — сказал он, — что именно пишут об Оскаре газеты. Лишь бы писали. И единственным результатом этой атаки будет то, что сенсация, связанная с именем

Оскара Лаутензака, еще усилится, и от всего этого шума у читателей останется в памяти одно имя: Лаутензак. Главное — не поддаваться на провокацию и ни в коем случае не опровергать отдельных фактов. Ни звука, полное игнорирование — это единственный разумный выход».

Оскару этот совет пришелся по вкусу. Впереди было лето, которого он жадно ждал. Он разрешил Алоизу уехать в его любимый Мюнхен и сам тоже собирался отдыхать. Он не хотел бороться, он хотел наслаждаться и в эти летние месяцы вкусить, наконец, от плодов тяжелого труда. Он забыл о нападках Пауля Крамера и наполнил лето неистовством наслаждения.

У Хильдегард фон Третнов и Ильзы Кадерейт были поместья в окрестностях Берлина: у Хильдегард — недалеко от Мекленбурга, у Ильзы — в Кладове; и обе дамы, вопреки обыкновению, проводили там лето — ради него, с гордостью думал Оскар. Он часто бывал у обеих. Ездил он и к друзьям, от одного к другому, в каком-то диком упоении.

Оскар нетерпеливо подгонял владельцев верфи, где была заказана яхта; ее уже достраивали, он ездил через день смотреть, как идут работы.

Дорога на верфь вела мимо Зофиенбурга. Оскар часто останавливался там и обходил свое будущее поместье, мысленно намечая план перестройки.

А эта перестройка была связана с большими трудностями, не говоря уже о деньгах, которые предстояло добыть. Оскар, как многие баварцы, любил строиться — и строиться с шиком. Он вбил себе в голову, что волшебный замок Клингзора может создать архитектор Зандерс — только он, и никто более. А тот отнюдь не был в восторге от планов Оскара, по его мнению слишком причудливых. Он с грубой прямотой указывал на невозможное смешение стилей. Оскар, между тем, не желал отступиться ни от своих проектов, ни от своего архитектора. Вот и реши эту задачу — сущая головоломка.

Впрочем, Оскар, прогуливаясь по Зофиенбургу, приходил к выводу, что сделал весьма удачную покупку. Дело было не только в том, что местоположение и фасад маленького замка соответствовали его планам, но и в том, что каждый уголок здесь дышал историей. Обходя участок, он иногда останавливался и многозначительно говорил своему спутнику — архитектору или кому-нибудь другому: «Стойте. Здесь, именно на этом месте, совершались страшные события: я чувствую кровь, я чувствую рок».

И дом, и вся местность, казалось ему, были наполнены сплетенными между собой, уже отжитыми, а для него все еще живыми человеческими судьбами. Его сверхутонченное чутье подсказывало ему, что здесь творились ужасные деяния — нарушение верности, месть, предательства, убийства. Здесь ненавидели и знали мало счастья. Он поручил Петерману разузнать подробнее историю этого дома. Секретарь составил сухую и добросовестную хронику поместья Зофиенбург и описал его прежних обитателей.

Дом был построен придворным кондитером короля Фридриха-Вильгельма. Кондитер надеялся после жизни, полной труда, найти здесь покойную и приятную старость. Но не это было ему суждено, не много радостей увидел он в этом доме и был вынужден расстаться с ним еще до своей смерти. Как и почувствовал Оскар, дом этот все сто двадцать лет его существования населяли люди, отмеченные роком. Но Оскару пришлось, конечно, основательно переиначить и перекроить факты, точно и трезво изложенные в докладной записке Петермана, чтобы приспособить их к тем картинам, какие ему мерещились.

А политическая жизнь шла своим чередом. Газеты сообщили о новом падении кабинета. Предвыборная борьба, в которую с энтузиазмом рину-

лись нацисты, была в самом разгаре. И Оскар, уверенно предсказавший нацистам поражение на выборах президента, с той же уверенностью предсказал им победу на выборах в рейхстаг.

Однажды он встретился с фюрером. Он и ему предрек, что выборы пройдут с неслыханным успехом — с успехом, который превзойдет все ожидания. Гитлер, очень довольный, тоже выразил уверенность, что теперь, после короткого затишья, волна движения будет все нарастать. Из разговора с Гитлером Оскар вынес убеждение, что теперь ему недолго ждать открытия академии оккультных наук, и это заставило его всерьез заняться перестройкой Зофиенбурга.

Он сделал последнюю попытку убедить архитектора Зандерса. Тот отбивался руками и ногами. Зандерс был известен своей грубостью и без околичностей заявил Оскару, что тот, видно, хочет построить какой-то оккультный балаган, и очень жаль будет, если за простым и благородным фасадом дома раскинется настоящая ярмарка. Но Лаутензак остался тверд.

— Кто не богат, тот нищ, — заявил он. — То, что рисуется мне, милый Зандерс, может показаться варварством. Но это варварское величие Рихарда Вагнера. Поймите же меня, — убеждал он архитектора, — фюрер обещал мне академию оккультных наук. Дом президента этой академии должен быть отражением определенной идеи, символом. Так же, как у подлинного ясновидца за спокойными чертами лица кроются величественные и грозные лики, так за спокойным фасадом Зофиенбурга должна кипеть великая борьба между Аполлоном и Дионисом.

— Чепуха, — сказал Зандерс. — Я буду строить что-нибудь порядочное или вовсе не буду строить.

Оскар уже собирался сделать лицо Цезаря. Но ему нужно было во что бы то ни стало заполучить Зандерса. Волшебный замок Клингзора удастся создать при единственном условии, если строить его будет Зандерс. Он просил и заклинал, он говорил о планах колоссального строительства, которое предпримет фюрер, он льстил и угрожал, и, наконец, ему удалось уговорить архитектора. Зандерс угрюмо согласился, и Оскару казалось, что это одна из самых больших его побед.

Теперь он снова целые дни просиживал с Зандерсом. Делал наброски, отказывался от них, спорил, сам шел на уступки и вырывал их у Зандерса. И, наконец, замок Клингзора стал принимать те формы, о которых мечтал Оскар. Правда, когда смета была составлена, итоговая цифра оказалась такой высокой, что у Оскара захватило дух. Он попросил двадцать четыре часа на размышление. Показал смету Гансйоргу. Тот покачал головой.

— Ты что, взбесился? — спросил он.

Но Оскар ответил:

— Я вижу. Я верю.

Он говорил негромко, но в его словах прозвучала такая неистовая надежда, что Гансйорг проглотил язвительные замечания, которые собирался сделать, и, ошеломленный, отступил.

— Не советую, — сказал он сухо.

Оскар подписал договор на перестройку Зофиенбурга.

За два дня до выборов Ильза Кадерейт позвонила Оскару из своего загородного дома в Кладове.

— Скажите, Оскар, — спросила она. — Послезавтра будет одна из обычных незначительных побед или большая, настоящая?

Он ответил:

— Это будет небывалый, грандиозный триумф. Последствия его ни с чем не сравнимы.

— Вы в этом совершенно уверены? — спросила она голосом насмешливого подростка.

— Мы победим. Это так же верно, как то, что я глубоко почитаю вас.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда я предлагаю вам пари. Если действительно будет одержана блестящая победа, вы получаете черную жемчужину, которой так восторгались. Если нет, вы мне даете опал из вашей деревянной чаши.

Оскар почти испугался. Что это — одна из ее шуток? Черная жемчужина стоит целое состояние; она предлагает ему сказочный подарок. Он не вполне ее понимал. Значит, она так любит его? «Расстилается перед ним» — вспомнилось ему баварское выражение.

— Этого я не могу принять, — не совсем уверенно сказал он.

— Нет, можете, — ответила Ильза. — Сделаете из нее булавку к фраку.

— Меня обижает, что вы все еще не верите в меня.

— Я верю и не верю, — сказала Ильза на этот раз тем голосом, который напоминал щебетанье птички. — Я не верю и потому заключила с вами пари. И верю — поэтому я сегодня же разошлю приглашения на день выборов. В тот же вечер мы отпразднуем победу. Само собой, вы тоже придете?

— С радостью, — ответил он.

— А пари остается в силе, — сказала она в заключение. — Я уже заранее радуюсь вашему опалу.

Черная жемчужина. Ильза. Зофиенбург. Выборы. Академия. Богатство. Слава. Власть. Мечты Оскара сбывались с такой быстротой, что у него начинала кружиться голова.

Пришел день выборов. Оскар на этот день назначил только приятные встречи. Утром он ожидал архитектора Зандерса и ювелира Позенера. Часов в двенадцать собирался поехать с маленькой Альмой в Шпандау, пообедать там и осмотреть свою яхту «Чайка», которая уже была почти готова. А вечером он поедет в Кладов, к Ильзе.

Но утром, придя домой после голосования, он вдруг почувствовал, без всякой видимой причины, гнетущую тоску. Все и вся стали ему противны. Он был полон дикой, угрюмой вражды к людям. Даже не велел предупредить Зандерса и Позенера, а попросту приказал не принимать их.

И заперся в своей келье. Вынул из ящика стола пожелтевшую фотографию отца; пристальным и строгим взором смотрел на него секретарь муниципального совета, над сомкнутыми губами лежали взъерошенные жесткие тюленьи усы. Но, несмотря на всю свою важность, папаша уже не импонировал Оскару. Насмешливо рассматривал он фотографию. Ошиблись, ваша честь! Вот и не издох бездельник Оскар под забором. Он идет своим путем — да еще каким! Мальчиком он мечтал завоевать Дегенбург, юношей — Мюнхен, зрелым мужем — Берлин. И своего добился. Теперь, как раз теперь, в сотнях тысяч избирательных участков люди обеспечивают победу партии, партии и ему. А когда победа будет объявлена, важная дама, его возлюбленная, пошлет ему черную жемчужину.

И не внешними средствами завоевал он победу, а внутренней духовной силой. Он сломил сопротивление Кэтэ, он, «ловец человеков», уловил ее в свои сети. Она рассталась со своим братом, врагом, и стала на сторону его, Оскара; глубоко живет в нем, даруя счастье, воспоминание о ее лице, о ее губах, о ее голосе, в то мгновение, когда она сказала ему: «Оскар, он поступил с тобой несправедливо». И скоро он введет Кэтэ в свой новый дом, в волшебный замок Клингзора, как хозяйку, как госпо-

жу. Она придет, она преодолеет себя, она намекнет ему, что следовало бы укрепить их союз.

А если нет? Если она не заговорит? Она ведь до мозга костей немка, очень застенчива, очень горда. И все же она переломит себя. Ведь и Зента приносит жертву, и Элизабет приносит жертву. А он имеет право требовать жертв.

Нет, он не потребует этой жертвы. Он великодушен. Счастье делает человека великодушным. Если Кэтэ слишком горда, он заговорит первый. Он старается представить себе, какое будет лицо у Кэтэ, когда он привезет ее в Зофиенбург и предложит ей вступить в этот замок в качестве его жены. Но странно, это ему не удается. Что выразит ее лицо, как она ответит на его великодушные слова? Он окунает руки в деревянную чашу с самоцветами, и они медленно, равномерно скользят сквозь эту пеструю искрящуюся массу. Он пытается «видеть». Но образ Кэтэ не встает в его воображении.

И вот... вот он слышит ее голос. Но этот голос идет не из будущего, он идет из прошлого, к сожалению, еще не отошедшего прошлого. Это тот самый ответ на его вопрос, верит ли она в него, те самые неясные, осторожные слова: «Не знаю».

В его великом торжестве есть брешь, маленькая брешь, но вся его радость уходит сквозь эту маленькую брешь. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир...» — почти ощутимо для слуха наполняет комнату старческий голос бабушки, старательно выговаривающей суровый библейский стих..

И вдруг ненависть к людям и злая хандра, загнавшие его в келью, вернулись, наполнили его душу, стали нестерпимы, обратились против самого Оскара.

Он прав, голос Кэтэ, и прав старческий голос, произносящий библейский стих. А он, Оскар, сыт по горло этой жизнью, сыт, сыт. Выборы будут грандиозным триумфом, Кадерейт подарит ему жемчужину, наступит, пожалуй, день, когда он будет носить на груди еще более дорогое украшение, и день, когда у него будет, кроме замка Зофиенбург, дом на Лазурном побережье и замок «Монрепо» или как они там еще называют свои берлоги, а к своей коллекции светских дам он прибавит еще какую-нибудь титулованную особу — герцогиню или эрцгерцогиню. Пусть они все убираются к чертовой матери! «...А душе своей повредит».

В комнату неслышным шагом вошел Петерман. Он доложил своим вкрадчивым голосом, что звонит господин Гансйорг Лаутензак. Он сообщает, что, судя по предварительным сведениям, результаты выборов превосходят все ожидания.

— Из-за этого вы меня беспокоите,— накинулся на него Оскар. Он издал какое-то восклицание, выражавшее злобную насмешку. Да, вот они, сокровища мира сего, они хлынули целым потоком. Теперь, значит, жемчужина принадлежит ему. То есть, нет, еще не принадлежит. Он должен еще пойти за ней. Должен за нее заплатить. Вероятно, госпожа Кадерейт будет его поддразнивать, может быть и ужалит. Вероятно, потребует, чтобы он показывал фокусы. Не хочет он. Что он, собачка, которая служит на задних лапках за кусок сахара?

— Позвоните к Кадерейтам и скажите, что сегодня вечером я не приеду.

Как ни вышколен был Петерман, он с удивлением поднял глаза на Оскара.

— Должен ли я объяснить причину? — спросил он.

— Если бы я хотел объяснить причину, — грубо ответил Оскар, — я сказал бы вам об этом.

Смиренно стоявший секретарь метнул злой взгляд в спину Оскара и удалился.

— Тупица, тупица, — бранился Оскар ему вслед. — Тихоня, хитрая бестия.

Но не так-то легко было избавиться от Петермана. Он тут же вернулся назад. И на лице его было плохо скрытое злорадство.

— Госпожа Кадерейт выразила желание поговорить с вами лично,— сообщил он.

— Скажите ей, что я болен, — сердито ответил Оскар. — Или нет, — поправился он, — я сам ее спроважу.

— К сожалению, я вечером прийти не смогу, — сказал он, взяв трубку. Говорил он зло, бесцеремонно, четко. Ждал, что она будет настаивать. Но она и не подумала. Только сказала:

— Да? Жаль. — И после короткой паузы прибавила своим обычным насмешливым тоном: — А какой вы придумали предлог? Выборы, что ли, не соответствуют вашим предсказаниям?

— Результаты выборов превосходят все ожидания, — надменно ответил Оскар. — Я не приду сегодня вечером, — продолжал он нагло, — просто потому, что меня удерживает мой внутренний голос. «Получай»,— думал он. — «Не хочу — вот и все, ты это и сама понимаешь». Снова наступила короткая пауза. Затем она ответила с подчеркнутой любезностью:

— Это, разумеется, причина, против которой возражать не приходится.

В глубине души он вынужден был сознаться, что ее спокойная ирония выгодно отличается от его грубой дегенбургской бестактности. Она, между тем, продолжала все тем же легким, любезным тоном:

— Итак, до следующего раза. Очень жаль, что вы не придете за вашей жемчужиной. Ну, что ж, я вам ее пришлю. — И она положила трубку.

Оскар, несколько растерянный, сидел у телефона. Он отвел душу, осадил эту спесивую даму. «Мы можем себе позволить такую роскошь. Мы это Мы — и пишемся с большой буквы. Ради ее паршивой жемчужины я отнюдь не намерен разыгрывать скомороха. Надо вправить ей мозги». Такого рода мысли мелькали у него в голове во время разговора. После того как она положила трубку, все удовольствие, доставленное ему этим бунтом, сразу улетучилось. «Она была слишком любезна. Она — дама влиятельная», — это Гансйорг достаточно крепко вбил Оскару в голову. «Проглотить такую пилюлю она не захочет, и добром это не кончится. Отец в таких случаях говорил: «Обер давит унтера». Пожалуй, умнее всего было бы отступить, снять трубку и сказать, что все это было недоразумением, шуткой и он, конечно, придет.

Придет? Черта с два! Это в нем говорит врожденное смирение перед сильными мира сего. Но ведь он не похож на своего папашу, который чувствовал себя польщенным, если его приглашал господин коммерции советник Эренталь».

Ворчливый и угрюмый, в ссоре с самим собой и со всем миром, просидел он весь день дома. Вечером ужинал в одиночестве, без аппетита. Устроил скандал из-за того, что соус был слишком острым. Но и это не помогло. Перешел в библиотеку. Взял одну книгу, вторую, третью. Но не читал. Его несколько раз вызывали к телефону, он не шел. Чувствовал себя усталым, раздосадованным, но и спать еще не хотел. Он представлял себе, как приятно проводил бы время в гостях, в Кладове, у Ильзы Кадерейт, среди многолюдного, оживленного общества. А он торчит дома, злясь на себя, жалея себя. Поздно вечером еще раз вошел своим крадущимся шагом секретарь Петерман.

— Простите, что беспокою вас, — извинился он, — но я видел, что у вас горит свет. Эту новость я не могу вам не сообщить: голоса подсчитаны. Победа гораздо значительнее, чем все мы ожидали. В рейхстаге всего 586 мест, из них мы получили 230. После нас идут социал-демократы, у них только 133 места. Это огромная, беспримерная победа.

— Спасибо, — сказал Оскар.

«Жемчужина наша»,— думал он. «Обер давит унтера»,— думал он.

Ильза Кадерейт сидела на террасе своего загородного дома в Кладове и читала Пруста. Стояли жаркие дни. С террасы было видно маленькое озеро на фоне приятного, непритязательного бранденбургского ландшафта.

Воздух над озером струился, неподалеку от Ильзы гудел комариный рой. Ильза Кадерейт любила лето и жару, она любила Пруста, она любила иногда оставаться наедине с собой. Но сегодня она не наслаждалась всем этим. Она заставляла себя читать; часто опускала Пруста на колени и с недовольным выражением на смугло-бледном лице откидывала назад голову. Что-то беспокоило, злило ее. Она была недовольна собой.

А ведь все уже позади. Именно то, что Оскар совсем не так скоро догадается, какую шутку она сыграла с ним в заключение всей истории, делает эту шутку особенно забавной. Ведь она и сама не отличит обеих жемчужин одну от другой — настоящую, ту, что хранится в сейфе, от фальшивой, которой восхищался Оскар. Пусть же Оскар тешится подделкой.

Была ли она счастлива с Оскаром, который тоже насквозь фальшив? Ей с самого начала было ясно, что у него есть и чего нет. Даже лежа с ним в постели, она знала, что обнимает мошенника. Она открыто заявила ему: «Мне нравятся ваши глупые, грубые руки, а не ваше глупое, значительное лицо».

Он позволил ей сказать это — и тысячи других дерзких, язвительных слов. Он рассчитывал, что под конец она расплатится с ним за то удовольствие, которое он доставил ей. И со всем мирился, сдерживал себя. Но напоследок он так и не сумел обуздать своей врожденной мещанской наглости и бестактности.

Она оплачивает свои счета. Она заплатила бы ему жемчужиной. Но у него не хватило выдержки, он не выполнил своей задачи. Ильза радуется, представляя себе, какую он скорчит гримасу, узнав, что жемчужина фальшивая. Фальшивая, как те глубокие, демонические взгляды, которые он бросал на нее.

Анекдот с жемчужиной неплох. Но этого недостаточно. Этот молодчик держал себя слишком бесстыдно. Она сидит ради него в Кладове вместо того, чтобы проводить лето в Венеции или Остенде, а он заявляет ей в лицо: «Я не приду к тебе, не хочу, мне слишком скучно у тебя».

Что с ней, почему бестактность этого Оскара так волнует ее? Ведь она всегда видела в нем придворного шута, и никогда — любовника. Она всегда давала ему это понять. На этот счет между ними было полное согласие.

Нет, выяснилось, что никакого согласия не было. Он, придворный шут, вышел из повиновения. Вот это и не дает ей покоя: бунт, мятеж.

Она немало сделала для того, чтобы ее муж и другие тесно связались с нацистами, наняли бандитов для расправы с красными. Возможно, это была жестокая ошибка. Нам кажется, что мы играем ими, а на самом деле они играют нами. Это видно на примере Оскара: как только им представляется, что победа на их стороне, они дают нам пинка.

Оскару надо втолковать, что пока еще господа положения — мы. И прибегнуть для этой цели к более сильным средствам, чем шутка с жемчужиной. Это надо сделать по чисто принципиальным соображениям, холодно, деловито.

Принципиальные соображения. Вздор. Не обманывай себя, Ильза. Вернее сказать, очень личные, очень женские соображения. Это и тревожит Ильзу. Неужели этот человек был для нее чем-то большим, чем придворный шут? Это было бы отвратительно. Мистер Кингсли, психолог, однажды сказал ей: «Видите ли, darling, вся моя наука укладывается в одну формулу: «есть две разновидности женщин — пылкие коровы и холодные козы». Это ей понравилось, и в глубине души она всегда гордилась своей принадлежностью к «холодным козам» — к тем сильным и в то же время холодным женщинам, которые любят наслаждение, но никогда не теряют контроля над собой. Было бы ужасно, если бы она ошиблась в себе и в ней оказалось бы нечто и от «пылкой коровы».

Нет, нет, Оскар был придворным шутом, не возлюбленным. Забавно смотреть, как этот зазнавшийся молодчик смиряется, становится жалким. Только для того, чтобы потешиться, она связалась с ним. И будет очень любопытно наблюдать, как он приползет на брюхе. Она ему покажет «внутренний голос»!

На ее губах блуждает чуть заметная злая улыбка. Легкомысленный он человек, этот милейший Оскар. Ему приписывают мошеннические проделки, его обвиняют бог весть в чем. У него не одна ахиллесова пята, а бесчисленное множество. У кого столько уязвимых мест, тому следовало бы хорошенько подумать, прежде чем надерзить Ильзе Кадерейт в угоду своему «внутреннему голосу».

Нет, фальшивой жемчужины недостаточно. Это не сразит его. Он подл, но на деньги не падок. Сутенер — не он, а его брат. Оскара надо наказать иначе.

И она знает, как.

Да, она знает, решение принято, у нее есть план, она довольна. День стоит чудесный, жаркий. Воздух над озером от жары струится, на солнце гудит комариный рой. Ильза снова берется за томик Пруста и читает теперь с интересом и наслаждением.

На следующий день, разговаривая с Фрицем Кадерейтом, она как бы мимоходом бросает: «Если бы только ваши нацисты не были так безнадежно тупы в вопросах вкуса. Раз вы уже связались с ними, нельзя смотреть сквозь пальцы на некоторые их недостатки».

Они обедали на террасе. Фриц Кадерейт настороженно взглянул на жену своими хитрыми сонными глазами. «Ваши нацисты?» Это что-то новое. Вопрос в том, будет ли это новое приятным или неприятным. Никогда не знаешь, что тебе преподнесет Ильза.

— Я что-то туго соображаю, дорогая, — сказал он дружелюбно. — Должно быть, от жары. Не можешь ли ты выразиться яснее?

— Возьми, например, — непривычно ленивым тоном ответила она, — возмутительные нападки на нашего Оскара в красных газетах. Это не какие-нибудь туманные обвинения, а вполне ясные, подробно обоснованные выпады. По-моему, авторитет партии может пострадать от того, что видный ее представитель позволяет обзывать себя обыкновенным мошенником. Мне кажется, он должен защищаться.

Фриц Кадерейт медлительным движением поднял слегка запотевший бокал и стал внимательно разглядывать вино, мозельское. В сверкавшем на солнце стекле оно отливало то зеленым, то желтым. Он медленно отпил несколько глотков — хотел выиграть время, продумать свой ответ.

В душе он улыбался. Она как будто собирается преподнести ему нечто отрадное.

Фриц Кадерейт любил Ильзу. Он не старался убедить себя, что не страдает от ее любовных связей. Он понимал, что на нее действует ореол романтики и славы, которым окружен Оскар; недаром он иногда называл ее своим маленьким снобом. Но ему было неприятно, что она выбрала именно Лаутензака, и он с растущей тревогой наблюдал, как она все больше отдается этой игре. Теперь он понял, что она, видимо, решила поставить на место этого нахала, и это было большим облегчением. Роман, кажется, приближается к концу.

Не надо сразу соглашаться с ней, умнее будет осторожно поспорить.

— Ты действительно считаешь необходимым, дорогая, — спросил он тем же флегматичным тоном, каким говорила она, — отражать эти атаки?

Она ответила именно так, как ему хотелось.

— Я всегда говорила, — холодно и с напускным простодушием сказала она, — что вы слишком носитесь с нашим Оскаром. Он забавен, что и говорить, но его поведение может послужить поводом для упреков по адресу партии. Разве ты не согласен со мной?

Фриц Кадерейт подавил невольную улыбку.

— Видишь ли, Ильза, если о ком-нибудь из нас говорят, что он мошенник, негодяй, и приводят доказательства — обоснованные или необоснованные, мы считаем необходимым дать отпор. Так нам внушалось с детства. Но эти господа, эти Гитлеры и Лаутензаки, это же совсем другая среда. О порядочности, о достоинстве они понятия не имеют. Не знаю, считает ли господин Лаутензак обидным для себя, если его называют шарлатаном.

Это были умные слова, и Ильза опять ответила на них так, как хотелось ее мужу.

— Дело тут не во взглядах Оскара, — сказала она, подумав, и посмотрела ему прямо в лицо, — дело в партии, за которой стоит Фриц Кадерейт. Оскар не имеет права молча принимать эти оскорбительные обвинения, он должен на них ответить — уже ради нас.

Ильза высказалась на этот раз необычайно решительно.

«Ради нас, — подумал Кадерейт, — это, пожалуй, верно». И опять подавил улыбку. «Enfin, il n'est pas de notre monde»*.

— Хорошо, — сказал он вслух и добавил любезно, своим обычным тоном добродушного медведя: — Если ты считаешь это необходимым, я приму меры.

Доктор Фриц Кадерейт снабжал партию деньгами и сделал некоторых ее главарей акционерами своих заводов. Следовательно, к его словам прислушивались, ему охотно оказывали любезности.

— Послушай-ка, — сказал Манфред Проэль Гансйоргу вскоре после разговора между супругами Кадерейт, — быть толстокожим недурно, но во всем нужна мера. — Он положил на плечо приятелю свою большую мясистую руку, и Гансйорг тотчас же почувствовал, что его игривость не предвещает ничего доброго.

— Ты любишь говорить темно и загадочно,— пошутил он.— Но я не ясновидец, как мой брат.

— Как раз о твоем брате я и говорю, дорогой, — ответил Проэль. — Именно он и толстокож. Нам прислали вырезки из газет, целую кипу, ну, да ты ведь сам знаешь. Его называют попросту мошенником, шарлатаном. И кое-кто ставит ему в вину, что он спокойно сносит оскорбления.

* Словом, это человек не нашего круга (*франц.*)

Гансйорга эти слова ошеломили. Какого нового врага сумел нажить себе Оскар?

— Ведь красные только и дожидаются такого скандала,— сказал он. — Я сам посоветовал Оскару прикинуться мертвым.

— Я знаю, что у тебя есть здравый смысл, — благожелательно отозвался Проэль. — Но в данном случае высшая власть, к сожалению, приказывает не слушаться голоса здравого смысла.

— Смею ли я спросить, как называется эта высшая власть?

— Она называется Фриц Кадерейт, — ответил Проэль.

Теперь Гансйоргу все стало ясно. Петерман в свое время не преминул сообщить ему о странном капризе Оскара, о том, как нагло Оскар отказался от приглашения фрау Кадерейт. Правда, потом Оскар показал ему черную жемчужину, немалоценный дар, вещественное доказательство добрых отношений. Но женщина — сфинкс, иногда она одной рукой преподносит подарок, а другой бьет. Гансйорг познал это на собственном опыте, во времена Карфункель-Лисси. Теперь в этом убедится и Оскар. Жалко Оскара, но поделом ему.

— Я не знаю, — сказал Проэль, — почему Кадерейт именно в данном случае так настаивает на том, что честь партии должна оставаться незапятнанной. Но это факт, и от твоего братца требуют, чтобы он отразил подлые атаки красных.

— И ты в самом деле полагаешь, — спросил расстроенный Гансйорг, — что нам необходимо обратиться в суд с жалобой на клевету?

— Боюсь, — ответил Проэль, — что от этого вам не отвертеться. Придется найти свидетелей, готовых принести ложную присягу, — это вы обязаны сделать во имя чести партии. Но может быть твой брат обратится непосредственно к Ильзе Кадерейт?

Когда Гансйорг остался один, его охватил бешеный гнев. Вот баран, деревянная башка! Он, Гансйорг, портит себе жизнь, губит свои молодые годы, все его существование — какой-то сплошной танец на канате. Одно неверное движение, один неловкий шаг — и сорвешься. Да еще Оскара тащи на своих плечах. А это дерьмо, эта скотина неблагодарная еще к тому же, видите ли, брыкается.

И очень хорошо, что его теперь проучат за наглость. Пусть на собственной шкуре испытает, каково попасть в ловушку.

Встретившись с Оскаром, он с самого начала заговорил с ним резко и зло. Без долгих околичностей заявил, что д-ра Кадерейта удивляет поведение Оскара Лаутензака. Он не понимает, как такой выдающийся член партии позволяет красным газетам обливать себя грязью. Партия разделяет мнение Кадерейта. И желает, чтобы Оскар положил конец такому ненормальному положению.

Оскар почувствовал — надвигаются неприятности, но не понимал, что их породило. Разумеется, он вспомнил о злополучном разговоре с Ильзой. Но его дерзость сошла ему с рук: все в порядке. Нежно и мрачно сияет на его рубашке черная жемчужина. Чего же, собственно, хочет от него Гансйорг?

Он сделал лицо Цезаря.

— Положил конец? — спросил он, высоко подняв брови.— К чему это? Оскар Лаутензак не вступит в драку с этим сбродом. Ты сам объявил, что это правильный метод.

— Это был единственно правильный метод, — ответил Гансйорг, резко подчеркивая слово «был». — Но с тех пор ты, как видно, опять набедокурил. — И так как Оскар все еще, по-видимому, не понимал, он пояснил: — Я тебе не раз говорил, что нельзя обращаться с баронессой фон Третнов, а тем более с Кадерейт, как с твоим Али, или с секретарем Пе-

терманом, или со мной. Не выйдет. Д-р Кадерейт владеет деньгами, а кто платит, тот и получает. Профессор Ланцингер еще в Дегенбурге пытался вбить это тебе в голову. — Он заговорил зло, тихо, точно с самим собой: — Надо же наделать таких потрясающих глупостей. Этот осел дает пинка в зад Кадерейт вместо того, чтобы денно и нощно, на коленях, благодарить бога за то, что может спать с ней.

Оскар сидел съежившись, смущенный и подавленный. Недаром говорил он, сам себя предостерегая: «Обер давит унтера». Но как же так? Она ведь подарила ему жемчужину? Правда, он не видел Ильзы после того разговора, свидание все как-то не могло состояться, всякий раз у нее не оказывалось времени. Но причины, на которые она ссылалась, были правдоподобными, три-четыре раза он разговаривал с ней по телефону, и она беседовала с ним чертовски любезно. Конечно, в ее словах чувствовался легкий оттенок насмешки, но ведь это ее обычная манера.

Однако, перебирая в уме все эти соображения, он в глубине души знал, что Гансйорг прав. По совести говоря, после того глупого инцидента он все время опасался, что вся эта история добром не кончится.

И вдруг в нем закипело яростное возмущение против Ильзы. Вот подлая тварь! Вот лживая гадина! Целая неделя прошла, она все говорит ему любезности, мило щебечет своим птичьим голоском и сладка как мед. Таковы они, эти светские дамы! Какое преступление он совершил? Он был честен и напрямик заявил ей, что у него скверное настроение, а она вместо того, чтобы столь же прямо сказать ему, насколько это ее задело, глубоко затаила обиду и теперь, неделю спустя, вспомнила о своем женском достоинстве и хочет уничтожить его, Оскара. Но тут она просчиталась.

— И не подумаю обратиться в суд, — сказал он решительно. — Я не буду жаловаться.

Гансйорг заставил себя быть спокойным, взял сигарету, сделал затяжку.

— Туго же ты соображаешь,— ответил он.— Партия решила, чтобы ты обратился в суд. Это не совет, это приказание.

— Я не пойду в суд, — запальчиво крикнул Оскар. — Неужто я стану объяснять юристам и разным бюрократам, что такое душа? — Актер Карл Бишоф был бы доволен его пафосом. Но в воображении Оскара возникла страшная картина: перед судом выступит, опираясь на палку, Анна Тиршенройт... Гравличек, коварный гном, свидетельствует против него перед сотнями тысяч людей. И, внезапно переменив тон, улыбаясь, умоляя, почти льстя, он старается уговорить Гансйорга, словно тот высшая партийная инстанция.

— Ведь ты же сам тогда сказал мне: «Игнорировать, не отзываться».

— Да, сказал, — спокойно ответил Гансйорг. — Три недели тому назад. А сегодня я говорю, как наш старый учитель Ланцингер: «Сумел провиниться — умей и ответ держать». К сожалению, дорогой, — холодно продолжал он, — ты очень заблуждаешься, если рассчитываешь увернуться от последствий своих капризов. Придется расплачиваться.

Оскар понял, в какое отчаянное положение он попал. Тщедушный Гансйорг сидел в громадном кресле и следил за братом, а тот бегал взад и вперед по комнате, скрежеща зубами. Все было в точности так, как представлял себе Гансйорг. Когда Оскара ткнешь носом в содеянное, когда ему растолкуешь, какие сверхъестественные глупости он натворил, какие беды навлек на себя своим сумасбродством, он становится беспомощным, как маленький ребенок. Жестоко наслаждался Гансйорг растерянностью брата, его полным бессилием. Он упивался этим зрелищем, его глаза сверкали злым блеском. «Как волчьи», — думал Оскар. Он прекрасно сознавал и свою беспомощность, и злорадство Гансйорга. Особен-

но его раздражало, что брат, насмехаясь над ним, пересыпает свою речь берлинскими словечками.

— Не пойду я в суд, — снова вспылил он. — Я не дурак.

— Вот именно дурак, — ответил Гансйорг, — настоящий дурак. Прячешь голову, как страус. Но этим разве спасешься? Ты не только фантазер, ты и трус.

Оскар в изнеможении упал в кресло. Он сидел, удрученный, весь скорчившись, в своем широком роскошном фиолетовом халате, посреди пышной библиотеки, перед старофламандским гобеленом, поражавшим мрачным великолепием красок. «Само отчаяние»,— думал Гансйорг, и жалость постепенно примешивалась к его торжеству: «Все-таки они ведь свои, Оскар и он». И как раз в это время Оскар спросил жалобно, с мольбой:

— Неужели ты не можешь дать мне совет?

«Ах, — подумал Гансйорг, — жаль, что нас не видят сейчас женщины — гордого, сильного Оскара и несчастного маленького Гансйорга. Но и от этого было бы мало проку. В первый же вечер, когда он выйдет на сцену и они увидят его глупую, значительную рожу, они снова облепят его, а на меня и глядеть не станут. Уж тут ничего не поделаешь».

— Может быть и есть еще выход, — сказал он. — Иди к твоей Ильзе. Постарайся задобрить ее и уговорить — всего лучше в постели, — чтобы она отказалась от своей глупой выдумки. Может, она смягчится, и тогда тебе не придется жаловаться в суд на твоего дорогого шурина.

Оскар молча выразительно покачал головой.

— Не пойду я к госпоже Кадерейт, — бросил он. — Не стану перед ней унижаться. Не хочу идти в Каноссу.

— Не куражься, — хладнокровно сказал Гансйорг. Он достал сигарету. — Даю тебе три дня сроку, — заявил он решительно. В его звонком голосе появилась повелительная нота. — Если до тех пор не столкуешься со своей Ильзой, я приду опять. С адвокатом. И жалоба будет подана.

Оскар с ненавистью посмотрел на брата, но ничего не ответил.

Он позвонил госпоже Кадерейт. Она спросила тем неопределенным тоном, который оставлял у собеседника чувство неуверенности — то ли она шутит, то ли говорит серьезно:

— Что-нибудь случилось? Конечно, вы для меня всегда желанный гость, но в ближайшие дни я буду очень занята.

Он ответил, что, кроме всегдашнего желания видеть ее, у него есть к ней особая просьба.

— Рада вас видеть, — приветливо встретила его Ильза. Она была оживлена, светски любезна. Он еще раз восторженно поблагодарил ее за жемчужину. Затем с хорошо разыгранным раскаянием заговорил о злополучном разговоре по телефону. Он был в тот день слишком взволнован, нервы ему изменили. Не легко согласовать требования его истинной профессии с бесчисленными делами, которые взваливает на него партия, и обязательствами перед внешним миром. Вот и позволяешь себе иногда понервничать, особенно перед людьми, которых считаешь близкими и ценишь за чуткость.

— Дальше, придворный шут, — сказала Ильза. И улыбнулась. Это была прежняя Ильза. У него появился проблеск надежды. Он продолжал говорить, разошелся, воодушевился. Стал прежним Оскаром, почувствовал себя мужчиной, держался, как подобает мужчине.

— Ну, а теперь забудем это нелепое недоразумение, — сказал он победоносно, подошел к ней, обнял ее.

Ильза отстранилась легким, ловким движением.

— Оставьте, — сказала она, и в ее насмешливом тоне не было ни капли кокетства, одно лишь учтивое безразличие звучало в нем. Волей-неволей пришлось от нее отойти. А он в эту минуту и в самом деле жаждал ее.

— Не перейти ли нам к деловой части нашего разговора, — предложила она. — К тому делу, ради которого вы пришли.

Оскар покорно заговорил о деле.

— Мне намекнули, — начал он, — и намек этот исходит из высших партийных сфер, что я должен отразить атаки красных газет. Но все во мне восстает против этого. Мои лучшие чувства были бы осквернены, если бы пришлось раскрыть их перед людьми непосвященными, враждебными, живущими одним лишь трезвым рассудком. — И Оскар попросил Ильзу посоветовать, что ему делать.

Как ни радовалась Ильза унижению этого человека, она не выразила этой радости даже тенью улыбки.

— Мне кажется, — сказала она задумчиво, — что вам следует защищаться от обвинений красных газет, пусть даже нелепых. Ведь вы все-таки не какой-нибудь там Майер или Мюллер, вы — пророк партии. Даже сам фюрер просил у вас совета. Noblesse oblige*, друг мой. Пророк в запятнанном одеянии — куда это годится?! Я нахожу, что плащ пророка должен быть без единого пятнышка, словно только что из чистки.

Если бы она хоть улыбалась. Нет, она прикидывалась наивно-деловитой, и это вызывало в нем бессильное бешенство.

— Не думал я, — сказал он обиженно, — что подобные чисто внешние соображения заслоняют от вас внутреннюю суть вещей.

В ответ на эти жалобы она лишь пожала плечами.

— Внешний, внутренний, — сказала она. — Могу вам дать совет лишь с моей, женской и, значит, непосредственной точки зрения. Я, как уже говорила вам, стою за чистоту и ясность. У вас есть долг перед самим собой, и вы должны его выполнить.

Лицо ее было все так же приветливо.

— Значит, вы хотите, чтобы я обратился в суд? — грубо и прямо спросил Оскар. — Хотите, чтобы я проституировал свой дар перед судом?

— Я ничего не хочу, — ответила она любезно, но решительно. — Но если у меня просят совета, а это делает иногда мой муж, я никогда не поддакиваю, я говорю то, что велят мне сердце и разум.

Она наслаждалась этой игрой, чувствовала, что живет. Да, теперь **она** может причислять себя к женщинам, которые умеют брать от жизни **ее радости**, но не теряют контроля над собой. Пусть теперь кто-нибудь **посмеет сказать**, что она «пылкая корова».

Он молчал, уйдя в себя, и она дружески сказала ему своим прелестнейшим птичьим голоском:

— Я лично, откровенно говоря, радуюсь предстоящему процессу. Подумайте только, какой гигантской аудиторией вы будете располагать. Ею станет вся Германия. Лучшей возможности показать ваш дар и желать нельзя.

— Это тоже правильное соображение, — сказал Оскар. Он хотел придать своим словам иронический оттенок, но она уловила в них горькую беспомощность, и эта нотка ласкала ее слух.

Да, сердце Оскара было полно горечи. Но горечь внезапно превратилась в другое чувство. Раз он уже приехал к ней, то надо хоть что-нибудь выгадать на этом хождении в Каноссу.

— Так, — сказал он, — а теперь разрешите мне поблагодарить вас за совет, — и он снова подошел к Ильзе и схватил ее своими большими,

---

* Положение обязывает *(франц.)*

белыми, грубыми руками. Но она увернулась тем же гибким движением, что и в первый раз.

— Да вы что, с ума сошли? — спросила она удивленно и весело, как будто между ними никогда ничего не было.

Но он был полон гневной решимости, он сильно желал ее, кинулся к ней, ей трудно было вырваться. Наконец это ей удалось. Оба были разгорячены, оба задыхались.

— Вы глубоко заблуждаетесь, дорогой, — сказала она, успокоившись. — Я допустила вас к испытанию, но вы его не выдержали. Игра кончена.

Ее лицо стало жестким и веселым, она была очень красива. Только теперь Оскар до конца понял, каких радостей лишился по своему легкомыслию, какие опасности навлек на себя тем разговором по телефону.

Он отошел от нее, до отчаяния униженный.

Гроша ломаного не стоит весь его триумф. Прав был покойный папаша, правы учитель Ланцингер и Гансйорг. «Обер давит унтера», а он — унтер. И вот он опять оказался в дураках.

В его жизни было немало унижений. Подвыпившие рабочие издевались над ним, когда он выступал в балагане. Как наказанный ученик, стоял он перед Тиршенройт, перед Гравличеком. Он не раз испытывал унизительное чувство стыда перед Кэтэ и самим собой.

Но благодаря его успехам эти раны зарубцевались. Теперь, под насмешливо-злым взглядом Ильзы, они вновь раскрылись. Он чувствовал себя как побитая собака. Назойливо вспоминалась фраза, которую когда-то сказал ему Алоиз: «У тебя сейчас так отвисла нижняя губа, что хочется на нее наступить».

В этот же день, тринадцатого августа, рейхспрезидент Гинденбург ожидал фюрера национал-социалистской партии Адольфа Гитлера.

Фельдмаршал радовался этой встрече; он многого ждал от нее.

Гинденбургу уже не раз приходилось встречаться с господином Гитлером, и тот отнюдь не произвел на него хорошего впечатления; этого субъекта следовало бы вышколить — он не умеет уважать других. С отвращением вспоминал старик свою первую «беседу» с Гитлером. Тот ораторствовал один, чуть ли не битый час, напыщенно и восторженно, как он имел обыкновение выступать на своих собраниях. А старый фельдмаршал привык, чтобы окружающие говорили с ним по-военному, скупо и определенно. Пафос Гитлера, необузданный поток его речи испугал президента, к тому же он многого не понял из-за ужасного богемско-баварского диалекта, на котором объяснялся этот молодчик. Не скоро он оправился от чувства неприятного удивления, вызванного этой первой встречей, и с тех пор называл Гитлера не иначе, как «богемским ефрейтором». Но, к сожалению, об этом субъекте много говорили, и президенту пришлось еще не раз встречаться с ним; однажды ему даже дали понять, что надо-бы предоставить Гитлеру какой-нибудь портфель в кабинете, но он, фельдмаршал, проворчал в ответ: «Этого господина я бы не сделал даже министром почты».

Теперь ему снова заявили, что господина Гитлера надо принять, даже предложить ему пост канцлера, и поручить сформировать правительство — этого требует парламентская традиция, ибо, к сожалению, национал-социалисты получили 230 из 586 мандатов в рейхстаге. Старик выслушал все это угрюмо и недоверчиво; он был очень доволен, когда ему затем сообщили, что прием можно оттянуть, и еще более доволен, когда выяснилось, что переговоры, которые от его имени велись с Гитлером, очень осложнились, что этот господин претендует на всю полноту

власти, а, между тем, нет никакой нужды вручать ему всю власть, достаточно предложить господину Гитлеру второстепенное место; он, однако, на это не пойдет.

Так, значит, обстояли дела, и старик, уступая чувству злой старческой мстительности, решил воспользоваться предстоящей встречей, чтобы преподать урок этому молодчику, Гитлеру. Гинденбург был умудрен опытом прежних встреч, он не намерен был еще раз терпеливо выслушивать ораторские упражнения богемского ефрейтора и потому составил точный план наступления. Он был не очень-то одарен, этот старый господин, не очень образован, он даже гордился тем, что со школьных лет не прочитал ни одной книги. Но долгая деятельность на военном поприще научила его двум вещам: немного разбираться в стратегии и подолгу стоять. Теперь, готовясь принять Гитлера, президент твердо решил применить свое умение в обеих областях. И вот он стоит, старый фельдмаршал, очень высокий, очень дряхлый, и его изношенным мозгом владеют две мысли: «Во-первых, не позволять господину Гитлеру садиться, во-вторых, не позволять господину Гитлеру говорить». Он стоит, окруженный своими ближайшими сотрудниками, выжидательно взирающими на него, держит в руках бумажку, на которой большими буквами записано, что он должен сказать богемскому ефрейтору, и про себя бормочет: «Во-первых, не позволять этому человеку садиться, во-вторых, не позволять ему говорить».

А этот человек, господин Гитлер, богемский ефрейтор, фюрер, едет тем временем в своей серой машине, в сопровождении нескольких соратников во дворец рейхспрезидента. Фюрер заказал для этого случая новый сюртук, опять длинный, черный, так называемый «гейрок». Портной Вайц робко уговаривал его отказаться от этого старомодного фасона, но ему, фюреру, строгий, до верху застегнутый сюртук — нечто среднее между офицерским мундиром и одеянием пастора — казался самым подходящим для совещания двух великих политических деятелей.

Эх, надел бы он лучше сегодня свой потертый старый пиджак. Но он не знал, что ему предстоит, не знал, какие козни против него строят. Все те, кто создал ему репутацию: военные, магнаты тяжелой промышленности, крупные помещики — напуганные успехом нацистов на выборах, решили оттеснить его на задний план. Они, презирающие Гитлера и вместе с тем покровительствующие ему «аристократы», как их обыкновенно называли в нацистской среде, рассчитывали продержаться некоторое время, опираясь на своего рода военную диктатуру и на авторитет Гинденбурга; они не хотели допустить, чтобы нацисты, эти наемные бандиты, стали слишком большой силой, они опасались, как бы эти бандиты не переросли их самих и, сделав свое дело, не захватили бы всю власть в свои руки. Потому они решили поставить Гитлера на место, и старик-президент со злорадным удовольствием взял на себя эту задачу. Доверенные лица партии, сами введенные в заблуждение, передали Гитлеру, что Гинденбург не может составить себе ясной картины о ходе переговоров и окончательное решение вопроса зависит от предстоящей беседы с Гитлером. Гитлер имел основания предположить, что теперь от его красноречия зависит, какая мера власти будет ему отпущена. Теперь уж его дело выговорить себе, наконец, всю полноту власти, а в своей способности убеждать словом он был уверен.

Полный радужных надежд, в своем черном сюртуке и цилиндре, с перчатками на коленях, геройски выпятив грудь, ехал он к президенту; упрямо и дерзко поднимал он кверху свой большой, мясистый, скошенный набок нос.

Он вошел во дворец, вступил в зал, рывком отвесил бойкий поклон. Но тут взялся за дело коварный старик. «Не позволять садиться, не позволять говорить», — твердит он про себя, и, строго держась плана, с пер-

вой же минуты ставит своего противника в невыгодное положение — не предлагает ему сесть, не садится сам, заставляет его стоять.

Но Гитлер не научился, подобно фельдмаршалу, стоять. Неуверенный по натуре, он делается вдвойне неловким, встретив такой прием. От тяжелого сюртука его прошибает пот, клок волос прилип ко лбу, он переминается с ноги на ногу. Но старик, опираясь на костыль, стоит против него, как могучий хотя и одряхлевший дуб. Гитлер ждет возможности произнести речь. Тогда преимущество окажется на его стороне. Тогда, при первом же звуке собственных слов, он вновь оправится и будет сильнее этого зловредного старика, который маячит перед ним, словно столб. Но говорить-то фельдмаршал ему как раз и не позволяет. На сей раз говорит не Гитлер, на сей раз говорит он сам, старый фельдмаршал.

Рейхспрезиденту подают записку, и по ней он читает свою речь: как он мыслит себе образование национального правительства. И это вовсе не кабинет Гитлера, это кабинет, где победоносному фюреру предлагается второстепенное место, где он должен играть какую-то смешную роль.

Обманут. Гитлер обманут. Он стоит и потеет, его обошли. Традиции, обычай, торжественный прием — все было лишь предлогом. Его заманили сюда для того, чтобы старик мог нанести ему пощечину своей железной рукой.

Великан-фельдмаршал оглушительно трескучим голосом с высоты своего огромного роста спрашивает взбудораженного фюрера:

— Так как же, господин Гитлер? Угодно вам принять участие в таком национальном правительстве?

Беспомощный, обманутый Гитлер вялым тоном, запинаясь, отвечает, что может войти лишь в такой кабинет, за который сам будет нести всю ответственность, ведь он уже объяснял это представителям президента.

— Я должен быть на руководящем посту, — говорит он.

— Другими словами, вы претендуете на всю полноту власти, господин Гитлер? — угрожающе спрашивает своим басовитым, дребезжащим голосом старик. Гитлер пытается объясниться. Быть может, ему еще удастся произнести речь, убедить фельдмаршала, заполучить власть.

— Отказаться от революционной перестройки — а именно этого требуют от меня ваши представители — было бы тяжелой и безнадежной капитуляцией. Движимый чувством ответственности, я, вождь нации, одержавший победу и все же готовый к жертвам, соглашаюсь на большие уступки. И мои обещания остаются в силе. С другой стороны, я, руководитель самой сильной партии в государстве, не могу примириться с тем, что меня оттесняют на второй план, это не соответствует нравственным требованиям истинно немецкого политического деятеля. В этом качестве я должен... — и он уже воспрянул духом от звука собственных слов, он уже чувствует подъем. Но старик приказывает себе: «Не позволять садиться, не позволять говорить».

— Все ясно, господин Гитлер, — перебивает он гостя. — Вы настаиваете на том, чтобы получить всю полноту власти.

И, заглянув в свою бумажку, огромный, строгий, он заявляет:

— Этого я, по совести, не могу взять на свою ответственность, ибо вы намерены использовать полученную власть односторонне.

Фюрер хочет возразить. Но не имеет возможности. Как только он открывает рот, Гинденбург снова перебивает его:

— Рекомендую вам, господин Гитлер, — предостерегает он фюрера, — по крайней мере, вести борьбу по-рыцарски. — И, заглянув в записку, он пускает в ход свой главный козырь: — Я, впрочем, весьма сожалею, господин Гитлер, — говорит он, — что вы отказываетесь поддержать пользующийся моим доверием национальный кабинет, как вы мне лично пообещали перед выборами.

И старик стоит, опираясь на костыль, огромный, как статуя, — олицетворение возмущенной честности.

А перед Гитлером, принужденным выслушивать упреки и выговор, встает образ его папаши, таможенного инспектора. Это одна из самых тяжелых минут его жизни.

Он молча откланивается. Ему еще удается рывком отвесить поклон, как учил его актер Бишоф, но к дверям он уже идет неловкой походкой, ссутулившись.

Ровно девять минут назад он переступил порог этого зала, надеясь уйти отсюда канцлером германского рейха. Теперь он бредет обратно, униженный, с пустыми руками, и сердце его разрывается от бессильной ярости.

«Наконец-то я довел его до точки,— возликовал Пауль, получив на руки жалобу Оскара Лаутензака. — Наконец ему придется держать ответ». Он пытается отнестись к делу трезво. «В поле выйдет наша рать, и врагу несдобровать»,— напевает он. Но ему не удается приглушить свое настроение. Он окрылен. Удлиненные карие глаза сияют, радость красит его худое лицо.

Его спор с Лаутензаком — плодотворный спор. Хотя Пауль и начинал его, чтобы открыть глаза Кэтэ, спор этот выходит далеко за пределы личного столкновения — это борьба науки и человеческого разума с суеверием.

В эти дни на лице Пауля Крамера всегда светилась улыбка, то лукавая, то радостная и все же серьезная. Он еще чаще обыкновенного острил, удачно и неудачно. Со времени разрыва с Кэтэ он редко бывал у своей подруги Марианны, и она уже собиралась с ним расстаться. Теперь она находила его таким добродушным, дерзким, оживленным и милым, что примирилась, вздыхая и улыбаясь, с его недостатками. Даже женщина, приходившая к нему убирать квартиру, отметила, что господин доктор всегда хорошо настроен и что на прежнем месте она никогда не слышала так много острот и анекдотов.

Пауль даже заказал себе новый костюм, о котором так часто говорила Кэтэ. Не мог же он явиться на процесс в потертом коричневом — Пауль Крамер составил бы слишком резкий контраст с великолепным Оскаром Лаутензаком. И он пошел к портному Вайцу. Тот стал с веселыми шутками и прибаутками показывать ему разные материалы. Была среди них темно-серая шерсть, чуть ли не самая дорогая из всех имевшихся у него тканей.

— Зато в таком костюме, — уверял портной Вайц, — господин доктор будет выглядеть прямо героем, представительной солидной личностью. А носить этот материальчик вы будете не год и не два, а до мафусаиловых лет. Будете щеголять в нем до самой своей блаженной кончины, поминая добром портного Вайца.

Размышляя о процессе — а он почти все время размышлял о нем, — Пауль Крамер мысленно видел перед собой не только шарлатана Оскара Лаутензака, но и весь темный, злой, губительный мир обманутых обманщиков, мир, окружавший этого человека и стоявший за ним. И то, что ему, Паулю, было предназначено померяться силами с этим миром, наполняло его гневной радостью.

В эти же дни Пауль Крамер написал статью о Гитлере как литераторе, одну из тех статей, благодаря которым и перед более поздними поколениями образ Гитлера предстал во всей своей красе. Глубоко убеж-

денный в том, что натура человека отражается в его стиле, Пауль Крамер показал, как отражается мутная душа Гитлера в мутной манере его письма. Отчетливыми штрихами обрисовал он этого жалкого имитатора Наполеона, Ницше и Вагнера, это взбесившееся ничтожество, которое стремится отомстить всему миру за собственную неполноценность.

Статью эту прочел, одобрительно улыбаясь в свою светло-рыжую бородку, Томас Гравличек. «Ну, этот его разделал!» — думал он по-чешски. Статью прочел Манфред Проэль. Он хихикал над многими меткими выражениями и думал: «Хорошо, что наша братия в таких вещах ничего не смыслит». Немало умных людей прочло статью с радостью, они говорили: «превосходный анализ» и «этого человека он стер в порошок». Прочел статью и Гансйорг. Он подумал и решил: «Вся эта шайка интеллигентов вскоре замолчит навсегда». Статью прочел Оскар Лаутензак, он вспомнил о маске, до которой ему уже не дано дорасти, и весь задрожал от ярости и огорчения.

Прочел статью и граф Цинздорф, молодой человек с красивым, порочным, жестоким лицом. Он читал ее очень внимательно, улыбался. Отложил в сторону. Отыскал среди своих бумаг один список. Занес в него имя Пауля Крамера. И подчеркнул это имя.

Фюреру эту статью не показали. Иногда после чтения таких вещей на него находил «стих». Дикие вспышки гнева вдруг сменялись глубокой подавленностью; в такие минуты с ним было трудно иметь дело. Решили не беспокоить его подобными пустяками.

Пока Пауль Крамер писал статью, он был в радостно-приподнятом настроении. Но едва он ее окончил, как радость его погасла: он почувствовал себя усталым, опустошенным.

Вот он написал хорошую статью, несколько тысяч людей прочтут ее, и несколько сот будут усмехаться и одобрительно кивать умными головами. А дальше что? Дальше ничего. Толку ни на грош. Эмоции, которые возбуждает Гитлер и его Лаутензак, можно побороть не разумом, а только эмоциями. Против глупой хитрости этих людей нужно действовать их же средствами. Но этого мы себе не разрешаем. Этого мы не можем допустить. Вот почему мы не ведем за собой массы. Вот почему мы не в состоянии справиться с Гитлерами и Лаутензаками.

«В поле выйдет эта рать, нам тогда несдобровать».

«Теперь ты еще и лжешь», — сказала ему Кэтэ. Он ясно видит ее крупное, красивое, выразительное лицо, и в нем снова поднимаются те же чувства: ярость, сострадание, желание доказать свою правоту. И все же права Кэтэ: он лжет самому себе.

Его интересует не столько принцип, сколько Кэтэ.

Иногда, против воли, он вспоминает ту встречу в отеле «Эдем». И именно потому, что он не знает, что же, собственно, с ним произошло, его охватывает глухое бешенство, звериная ненависть к Лаутензаку.

И все-таки это благородная борьба. Оскар и его присные запакостили всю страну. Они сеют ложь и грязь. Нельзя дышать одним с ними воздухом. «Это не то что болтовня, это факт», — говорит в таких случаях Марианна.

Это факт. А Кэтэ не права. И вдруг, повинуясь внезапному порыву, он садится и начинает писать письмо Кэтэ.

«Я все же заказал себе костюм, — пишет он, — серого цвета, у Вайца, костюм, который я буду носить, по словам этого классика, «до конца дней своих». И он продолжает писать о самом будничном, будто разговаривает с Кэтэ; наконец, он доходит до Лаутензака, углубляется в раз-

мышления и цитирует Гёте. «Особенно ужасно проявление демонического начала в тех случаях, когда оно в том или ином человеке преобладает. Такие личности не всегда стоят выше других по уму и таланту. Но от них исходит огромная сила, они получают невероятную власть над живыми существами. Тщетно более светлые умы пытаются доказать, что это обманутые или обманщики, — такого сорта люди притягивают к себе массу». Я радуюсь всем твоим радостям, Кэтэ, — заклинает он ее, — но я не могу себе представить, чтобы этот мрачный шут мог долго доставлять тебе радость. Не цени себя так низко. Вернись, Кэтэ, забудем все».

Он останавливается. Ведь только сейчас он признал, что против эмоций нельзя бороться доводами разума.

Он представляет себе твердое, точно отлитое из металла лицо Оскара, производимое им впечатление романтической мужественности. И против такого человека он выходит на бой, вооружившись цитатой из Гёте. Да на него самого следовало бы надеть смирительную рубашку.

Он рвет письмо на мелкие клочки.

И, тщательно подобрав их, бросает в корзину.

Пауль начал энергично готовиться к процессу. Поехал в Мюнхен. Посетил профессора Гравличека. Спросил, можно ли будет вызвать его в суд в качестве эксперта.

Гном не был в восторге от этого предложения. «Разоблачать мошенника — дело полиции, а не науки»,— проговорил он пискливым голосом на богемском диалекте. Быть может, это звучит не особенно человечно, но человеческие свойства медиумов его не интересуют. Он пристально взглянул на Пауля Крамера маленькими светлыми глазами. Молодой человек ему понравился, и так как на его худом лице отразилось разочарование, Гравличек продолжал развивать свою мысль.

— Подавляющему большинству людей, — заявил он, теребя маленькими ручками рыжеватую бороду,— самой природой, к сожалению, предназначено жить во мраке непроходимого невежества. В нынешней Германии, по причинам, о которых тут говорить не место, возможность познания особенно ограничена, поэтому разным чародеям здесь так легко воздействовать на людей своими заклинаниями. Неужели вы думаете, молодой человек, что положение хоть на йоту изменится, если мы с вами покажем, какими бесчестными средствами пользуется Лаутензак на своих сеансах? Значит, вы плохо знаете человеческую душу, господин...— он посмотрел на визитную карточку гостя,— господин Крамер.

Паулю понравилась резкая, злая манера гнома.

— Я знаю, — сказал он, — что тяжба между мною и Лаутензаком вас не интересует. Но благодаря шуму, вызванному всей этой историей, многие воспримут процесс как решающее сражение между наукой и суеверием. Только поэтому я и посмел к вам обратиться.

Томас Гравличек чуть заметно и почти благожелательно усмехнулся. Вероятно, этот молодой человек верит в благородные и важные мотивы, о которых он говорит, но на деле им, разумеется, движут самые обыкновенные чувства — те самые, какие движут любым живым существом. И профессор Гравличек признался себе, что у него самого возникает озорное мальчишеское желание как следует проучить Лаутензака.

— Послушайте, милейший, — сказал он, и усмешка на его розовом лице проступила яснее. — Я не отказываюсь окончательно. Разрешите мне подумать. В ближайшие дни я дам вам ответ.

Пауль горячо поблагодарил Гравличека. Стареющий профессор и молодой журналист расстались, чувствуя расположение друг к другу, их

сблизило молчаливое лукавое единодушие на почве их общей большой задачи и общих маленьких слабостей.

Паулю не легко было обратиться к Гравличеку, но еще более тягостное чувство он испытывал, стоя у дверей Анны Тиршенройт. Он ясно понимал, что эта женщина разрывается между любовью и ненавистью. Она прикипела душой к Лаутензаку, попалась в его сети, как многие другие, затем пережила жестокое разочарование. Разве не мелочно, не бестактно с его стороны пытаться использовать ее смятение?

А когда он взглянул в ее крупное, изрезанное жесткими морщинами, скорбное лицо, мужество совершенно покинуло его. Он заранее обдумал, что именно сказать ей, но серьезный, значительный облик этой женщины, ее серые, усталые и мудрые глаза выражали такую глубокую скорбь, что ему стало страшно подступиться к ней со своими плоскими доводами. Он заговорил с трудом, запинаясь.

— Оскар Лаутензак, — начал он, — становится все опаснее для общества. Без сомнения, никто лучше художницы, создавшей «Маску», не знает, какой соблазн исходит от этого человека. Но с тех пор, очевидно, вы увидели и то безобразное, злое, вредное, что творит Лаутензак. Иначе вы не исключили бы из своей выставки такого произведения, как «Маска». Поэтому прошу вас выступить свидетелем против этого человека.

Анна Тиршенройт слушала. Она смотрела на Пауля своими мудрыми глазами, глазами скульптора. Поняла его большую правду и маленькую ложь, его глубокую ненависть. Когда ей доложили о его приходе, она, разумеется, тотчас же догадалась, зачем он явился. Она хотела посмотреть, что он за человек, этот враг ее Оскара.

Горестно, все с бо́льшим разочарованием следила она за тем, как Оскар, падая все ниже и ниже, превращается в пошлого фокусника. Когда он подал жалобу на людей, обвинявших его в мошенничестве, — а мошенничество ведь было явным, — она возмутилась его дерзостью и с болью думала о страданиях и поражениях, которые он себе готовит. В то же время она почувствовала и некоторую надежду: быть может, поражение, предстоящее Оскару, вернет его на истинный путь?

Все это она передумала и перечувствовала, слушая Пауля. А слушала она его рассеянно. Ах, все, что доказывал этот молодой человек, она понимала гораздо лучше и гораздо глубже, чем он.

Чего он, собственно, хочет? Ну, да, чтобы она публично выступила против Оскара. Не следовало ей принимать Пауля Крамера. Ведь если она, вне себя от гнева и боли, и подумывала о том, чтобы пойти против Оскара и для его же блага во всеуслышание сказать, каким пошлым, низким и пустым он стал, то все же с самого начала чувствовала: никогда она на это не решится.

Слушая Пауля, Анна тихонько постукивала палкой о пол. Как он возмущен, как горячится. Он-то почему? У него-то какие причины? Да разве он знает, как низко и подло обманул Оскар тех, кто ему верил и помогал? Пауль предлагает ей публично обвинить Оскара, гневно обрушиться на него перед всем миром. Да ведь никакой пользы от этого не будет, решительно никакой ни для Оскара, ни для других, ни для нее самой.

Пауль умолк. Он не смел торопить ее с ответом, он едва осмеливался взглянуть ей в лицо, такое утомленное и измученное. Наконец, она спохватилась — молчание длилось слишком долго. Своим медлительным, хрипловатым голосом, борясь с одышкой, она сказала:

— Благодарю вас за ваши откровенные слова. Быть может, вы и правы, быть может, было бы полезно показать всем, каков он. Но разве я нужна вам для этого? Вы и сами знаете все, что следует сказать об

Оскаре Лаутензаке. А сказать можно многое. Улик против него сколько угодно. Я же — старая, усталая женщина. Нет, лучше вам обойтись без меня.

Известие о том, что Оскар привлекает к суду людей, дерзнувших усомниться в нем, еще усилило сенсацию, которую он производил. Партия целиком стала на его сторону. Где бы и когда бы он ни выступал, его шумно чествовали. Он принимал овации с самодовольным и вызывающим видом. Теперь, когда ему предстояло перед судом померяться силами с противником, он выказывал наглую уверенность в победе.

О нем много говорили в конце лета и осенью 1932 года, накануне его процесса. Передавали друг другу слухи об оргиях, которые он устраивал на своей яхте «Чайка». Он теперь часто появлялся в обществе графа Цинздорфа: на зло Гансйоргу Оскар старался всюду и везде показать, как он дружен с графом. Надо сказать, что дружба с Ульрихом Цинздорфом обходилась недешево.

Много говорили также о знаменитой красавице, актрисе «варьете», чьи ласки делили между собой Оскар и Цинздорф. Без нее не обходилась ни одна оргия на яхте. По слухам, Оскар однажды внушил ей в присутствии гостей, что она находится в объятиях мужчины; впоследствии зрители шепотом, возбужденно рассказывали другим о поведении этой дамы.

Но больше всего толковали о перестройке замка Зофиенбург. Архитектор Зандерс, трясясь от еле сдерживаемого смеха, рассказывал по секрету о странных прихотях своего заказчика. Он говорил про него: «помешанный» и «отчаянный сумасброд». А так как Зандерс по настоянию Оскара не приводил подробностей и ограничивался намеками, то о Зофиенбурге пошли совсем уж фантастические слухи. Сам Оскар не допускал на стройку никого из посторонних; когда его расспрашивали о его новом жилище, он отвечал лишь загадочной и высокомерной улыбкой. Он часто выезжал в Зофиенбург и был гораздо больше занят строительством, чем предстоящим процессом.

Заботы о процессе он предоставил Гансйоргу. Это было нелегкое дело. Исход процесса бесспорно зависел от дальнейших успехов нацистской партии. Надо было выждать, пока нацисты придут к власти.

Но, как на зло, всю вторую половину 1932 года их влияние падало. «Аристократы», испуганные крупной победой этой партии на июльских выборах, проводили свою программу. Они управляли страной, опираясь только на авторитет Гинденбурга и на рейхсвер, а победившую партию отстранили. Финансисты стали скупиться на субсидии нацистам, избиратели охладели к ним. Внутри партии начался разлад, многие лица и группы отвернулись от нее. На новых выборах, всего лишь несколько месяцев спустя после большой победы, нацисты потеряли шестую часть своих мандатов.

Нет, нельзя было допустить, чтобы процесс начался при таких обстоятельствах. Но Гансйорг и нанятые им адвокаты уже три раза добились отсрочки. Четвертой отсрочки суд не желал предоставить.

Когда Гансйорг намекнул Проэлю, что следовало бы нажать на все пружины, тот ответил весьма сухо. Точно играя в какую-то жестокую и капризную игру, он в последнее время оказывал предпочтение красивому, необузданному, знатному и бессовестному Цинздорфу. «В данный момент я не могу заниматься второстепенными вещами», — решительно заявил Проэль Гансйоргу. «Обстановка слишком серьезна, я не стану размениваться на мелочи. Уж на сей раз вам придется выпутываться самим», — сказал он.

Попав в столь затруднительное положение, Гансйорг обратился к Хильдегард фон Третнов. Он не ждал слишком многого от этого шага.

Бессовестный Оскар, вопреки его, Гансйорга, советам, игнорировал Хильдегард, словно последнее ничтожество. «С другой стороны,— думал Гансйорг,— такая женщина, как Хильдегард, из одного самолюбия не допустит падения человека, которому она некогда оказала услугу».

Когда он начал говорить об Оскаре, на ее резко очерченном лице выразилось удивление и недовольство. Но Гансйорг призвал на помощь всю свою изворотливость, сыграл на ее чувствительных струнках, польстил ее тщеславию. Ведь Хильдегард фон Третнов немало души вложила во вдохновенный труд Оскара. И разве не от нее исходила самая мысль о его переселении в Берлин? Если Оскар, под натиском чуждого ему внешнего мира, порой и забывает об этом, он все же остается созданием Хильдегард фон Третнов.

Гансйорг смотрел на высокую, элегантную даму почтительно и дерзко. Он видел ее красивые, рыжеватые волосы, тонкий нос с горбинкой, ускользающий взгляд. Оскар был преступно избалован, а то бы он ни за что не пренебрег этой женщиной. Он, Гансйорг, повел бы себя иначе. Жаль, что инстинкт не подсказывает женщинам, какой любовник пропадает в нем.

От того, что Хильдегард так нравилась Гансйоргу, он говорил с большим подъемом. И она, слушая его, постепенно забывала, какой неблагодарностью отплатил ей Оскар, как грубо пренебрег ею. Гансйорг говорил ей о «нашем Оскаре», «нашем балованом ребенке», и словечко «наш», создавая связь между ним и Хильдегард, облегчало дальнейшую беседу. «Наш Оскар,— уверял он свою собеседницу,— полон горечи и тоски, он ведь видит, как несправедливо судят теперь о нем те, у кого он встречал понимание и признание. Выходит, что враждебное настроение против нацистов целиком сосредоточилось на Оскаре. И когда начнется процесс, судьи, без всякого сомнения, рады будут нанести удар пророку».

Хильдегард слушала его задумчиво и растроганно. «Все это правда, Оскар Лаутензак стоил ей немало денег, времени, труда, сил. И что же, все это списать в убыток? Не лучше ли пойти на новые затраты?» При данном положении вещей, уверял Гансйорг, она, и только она, может помочь Оскару. Дело Оскара — это ее дело. Нельзя допустить, чтобы процесс проходил в такой враждебной атмосфере. Она должна использовать все свои связи и добиться отсрочки.

Гансйорг смотрел на нее все более дерзко, все с большим благоговением и вожделением. Нельзя сказать, чтобы это не нравилось Хильдегард. Она вспомнила о своих беседах с ним в Моабитской тюрьме, когда их разделяла решетка, вспомнила едва уловимый, возбуждающий запах крови, приключений и агрессивного патриотизма, исходивший от этого человека и будораживший ее. Конечно, Гансйоргу не хватало той искры, которая была в Оскаре, но между братьями Лаутензак чувствовалось что-то общее во взгляде, во всей повадке.

— Дорогой мой Гансйорг,— сказала она,— не понимаю я вас: такой умный, бывалый человек, как вы, теряет сон и аппетит из-за такого пустяка. Пришли бы сразу к вашей Хильдегард.

Она что-то записала в свою книжечку.

— Вопрос об отсрочке я улажу, — заявила она решительно. — Можете на меня положиться, дорогой мой. И спите спокойно.

Она не переоценила своих возможностей. Процесс был отсрочен, и на столь долгий срок, о котором Гансйорг не смел и думать. Если национал-социалисты до тех пор не придут к власти, то им уж никогда до нее не добраться.

Гансйорг поехал на Ахорн-аллее. Пылко поблагодарил благосклонную златокудрую Норну, которая изготовила эту пряжу. И еще вырази-

тельней смотрел на нее, а она нашла еще больше сходства между братьями. Забота об отсутствующем друге, о непрактичном ясновидце все больше связывала Хильдегард фон Третнов с Гансйоргом, который твердо решил исправить то, что легкомысленный Оскар чуть не погубил навеки. Он, Гансйорг, ни за что не порвет восстановленную связь с этой обаятельной светской дамой.

Неудачи все еще преследовали нацистов, но фюрера это не тревожило. Перед ним лежал ясно начертанный путь: надо было только вовремя поворачивать то вправо, то влево. Он часто открывал ящик своего письменного стола и показывал своим приближенным лежащий на дне револьвер. «Кто полон железной решимости победить или умереть, у того вера в будущность Германии останется незыблемой, даже в самые тяжелые минуты»,— говорил он многозначительно.

Среди противников нацистской партии, «аристократов», тем временем начались разногласия. Военные, помещики, банкиры, заводчики ссорились между собой и интриговали друг против друга. И каждая группа, когда ей наносили чувствительный удар, вспоминала о нацистах, и каждая группа, стремясь окрепнуть и успешнее бороться с другой, подумывала, не нанять ли снова бандитов, которым только что демонстративно дали расчет.

Человек, занимавший пост рейхсканцлера и военного министра, задумал раз навсегда покончить с таким уродливым явлением, как нацизм. Старик Гинденбург охотно предоставил бы ему свободу действий; он всем сердцем почитал прусскую военную традицию, честь, верность и силу. Но, с другой стороны, старый фельдмаршал, с тех пор как его умные друзья, аграрии, в знак благодарности преподнесли ему от имени всей нации поместье Нейдек, привязался, опять-таки всем сердцем, к сельскому хозяйству. А военный министр, чтобы прибрать к рукам строптивых помещиков, грозился разоблачить их, показать, как плохо эти господа хозяйничают и как неумеренно пользуются помощью государства и его казной. Но стоило только военному министру приоткрыть этот котел, как от него пошло зловоние. Это было угрозой не только для помещиков, но и для Гинденбурга, как владельца имения Нейдек. Об этом министр не подумал.

И престарелый фельдмаршал оказался в конфликте с самим собой. На чью сторону стать? На сторону тех, кто защищает, или тех, кто кормит? Что важнее — германский меч или германский хлеб?

Умные друзья посоветовали фельдмаршалу пойти на компромисс. Богемский ефрейтор, этот бандит, дал честное слово, что если его сделают канцлером, он так крепко закроет крышку зловонного котла, что даже самый чувствительный нос ничего не ощутит. Кроме того, он готов на сей раз согласиться на некоторые ограничения, которые помешают ему злоупотреблять властью. Так будут соблюдены интересы военной касты наряду с интересами помещиков, а честь старого фельдмаршала не будет запятнана грязью, которой угрожали обдать его недисциплинированные представители военной власти.

Восьмидесятипятилетний фельдмаршал не вполне разбирался в этом хитросплетении причин и следствий, но ему все разъяснили. Он безуспешно силился разрешить противоречие между своими двумя обязанностями и пришел к выводу, что обстоятельства изменились: теперь он может с чистой совестью предоставить власть господину Гитлеру. А если она будет ограничена точными оговорками и если богемский ефрейтор пообещает лично ему твердо держаться этих оговорок, тогда и подавно нечего беспокоиться.

На том и порешили. И снова фюрер отправился к престарелому фельдмаршалу. Еще полгода не прошло с тех пор, как этот коварный старик всадил ему нож в спину. Но на сей раз Гитлер принял меры предосторожности. На сей раз все до мельчайших подробностей было продумано заранее. На сей раз его сюртук оказался к месту.

— Говорят, господин Гитлер, — сказал фельдмаршал, — что вы уже не требуете всей власти и согласны придерживаться тех ограничений, какие обсуждали с вами мои подчиненные. Вы действительно согласны? Можете вы мне дать торжественное обещание?

— Как же, — ответил фюрер. — Бог тому свидетель. Даю вам честное слово, господин рейхспрезидент. Если я говорю «да», так это уж твердо. Что обещано, то обещано.

Опираясь на костыль, президент стоит, как могучий старый дуб.

— Да поможет нам бог, — говорит он своим низким, дрожащим голосом и торжественно смотрит в глаза человеку в сюртуке. Тот так же торжественно перекладывает перчатки из правой руки в левую, подает правую старику и многозначительно произносит бархатным голосом:

— Клянусь.

Вечером того же дня штурмовики, эта армия нацистов, парадным маршем проходят мимо здания рейхсканцелярии. У одного из окон стоит Гинденбург, у другого Гитлер. Фельдмаршал машинально и по-стариковски весело постукивает своим костылем в такт музыке. А Гитлер, именно теперь, когда он достиг вершины власти, нервничает, дрожит, делает судорожные усилия сохранить спокойствие и вынужден снова и снова отлучаться на короткое время.

Но в душе он ликует: хойотохо! так разит меч Зигфрида!

Значит, исход процесса предрешен. Разве Оскар этого не предсказывал? То, что противники замышляли ему на погибель, обернулось большой удачей; коварство власть имущих посрамлено, верх берет его талант, его счастье.

До процесса осталась какая-нибудь неделя. В эту неделю, полную радостных ожиданий, Оскару предстоит уладить одно неприятное дело, от которого он все время уклонялся. Надо поговорить с Алоизом. Алоиз должен выступить свидетелем на процессе, противники на этом настаивают. А если его не подготовить хорошенько, то он с его характером наделает глупостей. Нет смысла инструктировать его через адвокатов — он только будет еще больше упрямиться. Оскар вынужден взять это на себя.

Алоиз прекрасно отдохнул в Мюнхене во время летнего отпуска. Соприкосновение с родной почвой влило в него новые силы. Он нашел способ согласовать свою любовь к другу с любовью к родине даже зимой. Он перестал считаться с расходами и всякий раз, когда позволяло время, ездил в Мюнхен хотя бы на одну ночь. Там его всегда ждала квартира на Габельсбергерштрассе, экономка Кати, старый халат и стоптанные туфли. При такой спешке нельзя, конечно, отдохнуть как следует, по-королевски, по-баварски, но ведь абсолютного счастья на свете не бывает, а для Алоиза Пранера судьба не делает исключений.

В общем к Алоизу теперь было легче подступиться; резкие споры, все еще происходившие между друзьями, потеряли свою остроту. И все же Оскару трудно было пересилить себя и заговорить с Алоизом о процессе.

Действительно, Алоиз никак не мог понять, чего от него хотят.

— А почему я не могу говорить то, что есть? — негодовал он. — Ведь мы с тобой фокусники. Разве это позор?

Когда же Оскар, после долгих виляний, решительно потребовал от

Алоиза ни в коем случае не признавать, что в некоторых случаях они применяли трюки, возмущенный Алоиз спросил:

— Как же так? Ведь я принесу присягу. Прикажешь мне идти на клятвопреступление? На старости лет отправляться на каторгу ради тебя?

Оскар многозначительно промолчал, и тут в Алоизе поднялась долго копившаяся ярость — вспомнилось все, что ему пришлось годами терпеть ради Оскара.

— Невмоготу уже мне, — кричал он своим глухим голосом. — Не позволю больше так распоряжаться собой! Что я тебе — половая тряпка? Негодяй ты! Пес!

Оскар чуть не вскипел. Хотел втолковать Алоизу, что только жалкий мещанин способен наложить в штаны при слове «клятвопреступление». Но Алоиз коварен, от него можно ожидать, что он отомстит ему двусмысленными показаниями на процессе. Памятуя это, Оскар удержался и ограничился серьезным предостережением:

— Я надеюсь, что ты сам одумаешься и настоящую истину предпочтешь формальной.

Алоиз злобно взглянул на него.

— Убирайся к чертовой матери со своей настоящей истиной, — угрюмо проворчал он.

Кэтэ в те дни подолгу сидела одна в своей маленькой квартире на Кейтштрассе.

Известие, что Оскар и Пауль предстанут перед судом, очень испугало ее. Для нее предстоящий процесс был глубоко личным спором, поединком между двумя самыми близкими ей людьми. И суть предстоящего суда для нее была не в том, кто из них будет признан правым, а в том, как раскроется натура одного и другого. Она ясно понимала, что каждый из них нанесет противнику глубокие, может быть, смертельные раны. Ведь по силе они были равны друг другу. Если на стороне Пауля — острый, светлый, ясный ум, если он превосходит своего противника способностью логически мыслить, то от Оскара исходит глухая, дикая, необоримая сила, покоряющая людей.

Кэтэ, во всяком случае, не могла обороняться от этих чар. Голос Оскара покорял ее разум, точно музыка, которая поднимает и уносит на своих волнах. Когда он устремлял на нее свои пылкие синие глаза под черными густыми бровями, когда она ощущала прикосновение его больших белых рук, у нее дрожали колени. Она тянулась к нему всем своим существом, растворялась в нем.

В последние дни достаточно было одной мысли об Оскаре, чтобы глубоко всколыхнуть все ее чувства. Ей казалось, что она беременна. В ближайшее время это выяснится.

Кэтэ хотелось поговорить с Оскаром о своих надеждах, страхах, сомнениях. Она знала, что он хочет жениться на ней; стоит ей сказать слово и он предложит ей стать его женой. Но все, что в ней еще оставалось разумного, восставало против такого шага. Не желает она еще теснее связывать себя с ним, боится этого, не хочет совместной жизни. Но и терять его не хочет. Пусть Оскар — отрава, но она уже не может себе представить жизнь без него.

В самый разгар своих сомнений и страданий она получила телеграмму из Лигница, ее родного города. У отца был сердечный припадок. Непосредственной опасности нет, но не мешало бы ей повидаться с ним.

У кого просить совета и помощи? Надо забыть свою глупую злую ссору, пойти к Паулю, поговорить с ним откровенно и ясно. Но как раз

теперь, накануне этого злосчастного процесса, нельзя этого делать. Как раз теперь она не может помириться с ним. Оскар был бы прав, если бы назвал такое поведение предательством.

Еще не дочитав телеграмму, Кэтэ решила поехать в Лигниц. Это избавит ее от необходимости встречаться с Оскаром во время процесса, видеть его высокомерное торжествующее лицо и при этом знать, что он наносит удары ее брату. Раз она не может говорить о своих сомнениях с Паулем, пусть, по крайней мере, Оскар не влияет на ее решения своим присутствием. Вдали от Берлина, наедине с собой, в тихом городке, где протекало ее детство, она скорее справится с одолевающими ее сомнениями. Она поедет в Лигниц, поедет сейчас же.

Кэтэ позвонила Оскару. Сообщила ему о своем решении.

Оскар до сих пор избегал говорить с ней о процессе. В своей победе над Паулем он был уверен, но не был уверен, что борьба с Паулем не усилит отчужденность между ним и Кэтэ. В сущности, ее отъезд будет очень кстати. Она рассчитывает провести у отца две-три недели. Таким образом она не будет свидетельницей его торжества, но зато в дни процесса он не будет чувствовать на себе ее испытующий недоверчивый взгляд.

Но вот о чем надо подумать. Ведь он решил, прежде чем переехать в свой новый дом, предложить ей выйти за него замуж.

Замок Зофиенбург будет готов в ближайшее время, значит — еще до ее возвращения из Лигница. Не поговорить ли с ней теперь, до ее отъезда? Или подождать, пока она вернется, пока будет закончен волшебный замок Клингзора?

Как бы то ни было, он должен повидаться с ней перед ее отъездом. От того, как она будет держать себя, зависит, сделает ли он ей предложение.

И Оскар горячо заявил Кэтэ, что раз она уезжает, то, по крайней мере, должна провести с ним этот последний вечер.

Вернувшись, она уже не застанет его на Ландграфенштрассе, он переселится в Зофиенбург. Надо бы устроить праздник на прощанье, перед началом новой жизни.

Она была в нерешительности, он настаивал, она согласилась.

Оскар много ждал от этого вечера. Он ее проверит, он подвергнет испытанию ее любовь. Войти в замок Зофиенбург полновластной хозяйкой может только та женщина, которая безусловно в него верит, всецело ему принадлежит. Она должна сделать выбор между своим братом, своим прежним миром и той новой жизнью, куда он, Оскар, хочет ее ввести. Он поговорит с ней о процессе, и если она скажет: «Оскар, мой брат перед тобой неправ», — значит, она выдержала испытание, и он предложит ей вступить с ним в брак. Если она скажет: «Не знаю»,— он будет молчать.

В этот вечер он впервые заговорил с Кэтэ о своей тяжбе с Паулем Крамером. Объяснил ей, почему высшая правда на его, Оскара, стороне.

— Формально, — разъяснял он ей, — твой брат прав, обзывая меня мошенником. Нечто от фокусника есть в каждом ясновидце, в каждом основателе религии, в каждом творце нового мировоззрения. Если бы Адольф Гитлер был только фюрером, если бы он не был в то же время актером, комедиантом, он не поднялся бы так высоко.

И Оскар пропел Кэтэ тот гимн мошенничеству, который в свое время спел ему Гансйорг. Но в устах Оскара этот гимн звучал более вдохновенно, более патетично. Его прекрасный голос передавал все, во что верил Оскар, во что он хотел заставить верить других. Он произнес целую речь — эта речь была так построена, чтобы найти доступ к Кэтэ. И в ней снова заговорило чувство, захватившее ее, когда он впервые диктовал свою книгу в бюро «Кэтэ Зеверин. Переписка на машинке». Она жадно слу-

шала музыку его слов, блаженно плыла на волнах его красноречия. Но вдруг ей померещилось худое, умное лицо брата, и в красивые фразы Оскара врезался нетерпеливый, высокий голос Пауля: «Это не интересно». Ее разум насторожился, она стала освобождаться из-под влияния Оскара.

— Прости, — сказала она, — разве это по существу не то самое, в чем тебя упрекает Пауль? А если так, почему ты жалуешься на него в суд?

Оскара эти слова сразили. Он был уже уверен, что завоевал ее.

— Совсем это не похоже на то, что он говорит, — раздраженно возразил глубоко задетый Оскар. — Тон делает музыку. Этот крючкотвор своим толкованием все обращает в свою противоположность.

Кэтэ, как будто без всякой видимой связи, сказала:

— Но я люблю тебя, Оскар. — Это прозвучало нежно, скорбно.

Оскар почувствовал искренность ее слов, он был осчастливлен ими. И сейчас же снова рассердился. Разве это любовь, если не веришь в того, кого любишь? Ведь любить значит верить в любимого, несмотря на его слабые стороны. Ему стало горько. Нет ему счастья. Те, кто его любит, слишком ясно видят его слабости, не прощают их. Анна Тиршенройт, Кэтэ — нет у него лучших друзей, нет у него худших врагов.

«Но я люблю тебя, Оскар» — она ведь сказала правду. В этих словах выражена вся ее внутренняя готовность, желание верить ему. Теперь все зависит от него. Он должен ей помочь. Он может ее околдовать, может внушить ей эту веру, как гипнотизер он не имеет равного себе, уж этого никто не будет оспаривать. Он должен заставить Кэтэ преодолеть сомнения, которые посеяли в ней злые люди. Он должен укрепить в ней веру. Это ему по силам.

Оскар подготовляет Кэтэ, взрыхляя ее сознание. Надо сначала внушить ей несложные мысли, проложить путь более сложным. Он бережно берет ее руку.

— Это наш последний вечер на Ландграфенштрассе, — говорит он.

Про себя он приказывает ей подойти к нему ближе, из роскошной библиотеки перейти в его келью. Он с удовлетворением видит, что ее лицо становится задумчивым, что она делает над собой усилие, ищет чего-то в себе самой.

— Не покажешь ли ты мне еще раз свою маску? — спрашивает она.— Не ту, которая висит здесь, а твою любимую.

Первая попытка удалась: она повинуется ему. Он тихонько смеется над тем предлогом, который она придумала, чтобы удовлетворить более глубокое желание — его желание.

Они идут в келью. Про себя он приказывает ей сесть. И она сидит за старым письменным столом из Дегенбурга, все с тем же задумчивым, ищущим выражением лица, погружая свои красивые, тонкие, большие руки в пеструю груду сверкающих самоцветов, как он ей безмолвно приказывает.

Теперь она подготовлена. Теперь он попытается внушить ей более важные мысли.

Он продолжает говорить о безразличных вещах. На каком поезде она поедет, где будет жить по приезде в Лигниц: в гостинице или у отца? Кэтэ слушает, отвечает. Но на ее лице остается все то же ищущее напряженное выражение, а он, продолжая болтать о пустяках, собирает все свои силы, просит ее, заклинает, приказывает: «Вырви с корнем свое неверие, свои глупые сомнения. Верь мне, верь мне. Я одарен этой силой. Верь мне».

Руки Кэтэ перебирают камни равномерным движением, деловито, как будто выполняя задание, ее лицо становится еще напряженнее, она

еще глубже погружается в себя. Хочет повиноваться ему, это ясно, стремится к этому всей своей волей. «Верь мне, верь»,— приказывает он ей все с большей силой, с большей горячностью. Ее лицо застывает, глаза выражают муку, черты заостряются. Это в ней действуют силы сопротивления, дьявол интеллекта. Необходимо изгнать его, и он изгонит его. «Верь мне, верь»,— умоляет он, приказывает.

Она делает последнее отчаянное усилие. Ее руки скользят, хватают камни, ее пальцы стремятся что-то удержать, но это что-то снова и снова уходит от нее. «Я ведь должна что-то поймать, я ведь хочу поймать. Надо же сказать это, почему же я не говорю?» И вот, наконец, — схватила. Вот оно, это слово! Найдено! Она уже открывает губы.

Обрадованный Оскар ждет. Его большие руки делают движение, как бы помогая ей извлечь что-то из себя. Он весь — радостное напряжение.

Но слово не вылетает из ее открытых уст. На какую-то долю секунды оно явилось, но опять ушло в глубину, никто уже никогда не сможет поднять его на поверхность. Перед ней возникла новая картина, она заслонила собой это слово — новая отчетливая картина. Кэтэ ее не звала, никто ее не звал, но она здесь, яркая, слишком яркая, она целиком заполняет сознание. Перед Кэтэ — ее брат Пауль в вертящихся дверях ресторана, он кружится вместе с дверью и не может найти выход.

И вдруг она очнулась. Она видит свои руки, бессмысленно играющие камнями, она спрашивает себя: «Что же я здесь делаю?» — и вынимает руки из вазы с самоцветами.

Проводит ладонью по лбу, откашливается.

— Уже поздно, — говорит она своим чистым голосом. — Мне пора идти. Завтра рано вставать. Как хорошо, что я провела этот вечер с тобой.

Оскар ее не удерживает. Он знает, что потерпел поражение.

Он приказывает Али подать машину. Вежливо провожает Кэтэ до парадной двери. Они с минуту стоят, затем подъезжает машина. Оскар остается у дверей и смотрит ей вслед, пока она не скрывается из виду.

«Тем хуже, — говорит он громко, гневно, — тем хуже для нее». И возвращается к себе. «Глупа, до чего глупа», — бранится он. Подходит к холодильнику, достает бутылку пива, наливает стакан. «Глупа», — с ожесточением повторяет он.

Одиноко сидит он в роскошной библиотеке; на великолепном письменном столе стоит обыкновенная бутылка с пивом, обыкновенный стакан.

Кэтэ любит его — это не подлежит сомнению. Но даже женщина, которая его любит, и та ускользает от него, даже над ней он не властен. Даже ее волю он не может освободить от чуждых влияний — он, ловец человеков. Был — и весь вышел. Растратил всю свою силу на фокусы.

Он достает вторую бутылку пива. Сидит в библиотеке, сидит и пьет, и думает, и бранится. Гипнотизировать умеет каждый школьник. Такой опыт, как сегодня с Кэтэ, прежде был для него сущим пустяком. Значит, права Тиршенройт, прав Гравличек, коварный гном. Дарование его пропало, он его промотал.

Оскар снова подходит к холодильнику, но пива больше нет. Он будит слуг, поднимает скандал. Али спрашивает его, не угодно ли ему чего-нибудь другого. Ведь в холодильнике есть коньяк, и виски, и шампанское, и всякие вина; пива почти никто не требовал в последнее время, разве что господин Калиостро. Но Оскар продолжает браниться. На что ему нужно дрянное шампанское? Пива он хочет. Подать сюда пива. И Рихард,

второй лакей, вынужден среди ночи отправиться за пивом. Он возвращается с пятью бутылками. И снова сидит Оскар в роскошной библиотеке, за громадным письменным столом, а перед ним выстроились бутылки. Он выключает все лампы, кроме одной, и остается в полумраке; маска дремлет, «Лаборатория алхимика» дремлет, а он сидит и пьет.

Шампанское? Да, шампанское он может пить с утра до вечера, но за него он дорого заплатил. За это дрянное шампанское он продал душу. И в довершение всего это пойло ему даже не по вкусу. Пиво ему нравится куда больше. Он с самого начала знал, что Тиршенройт права, но поддался Гансу. Гансль его оплел, Гансль показал ему все сокровища мира. Вот каковы они — эти сокровища: шампанское вместо пива. И за это он погубил свою душу.

Он рыгает. Он сильно пьян. Душа — это чушь, но и шампанское тоже чушь. Не следовало ему отпускать Кэтэ. Надо было, по крайней мере, переспать с ней. Чего она не видала в Лигнице? Она принадлежит ему.

Во всем виноват Ганс. Этот сукин сын, эта дрянь. Нет, не Ганс, Гравличек.

Он с трудом подходит к книжной полке, с трудом достает толстый том в серо-голубой бумажной обложке. «Томас Гравличек. Основы парапсихологии». Дрожащими руками, но решительно вырывает он страницы одну за другой и бросает их в корзину для бумаги. «Вот где тебе место»,— говорит он, сам не зная, относится ли это к Гансу или к Гравличеку. Затем поливает эти страницы пивом, топит их в пиве. Всматривается в кольцо на своем пальце, потом в смятые намокшие листы, медленно поливает их снова, и на его массивном лице блуждает глупая довольная улыбка.

«Чушь, — говорит он. — Все это гроша медного не стоит». И снова пьет. Он чувствует себя таким одиноким, что впору завыть.

Пауль Крамер поехал в суд. В новом темно-сером костюме сидел он в вагоне трамвая, молодой, худощавый, освеженный крепким сном, готовый к бою.

Он ни на минуту не сомневался, что теперь, после победы нацистов, его осудят. На этом процессе никому не будет дела до выяснения истины, до установления фактов. Все с начала и до конца несомненно окажется лишь забавным и трагическим, жалким и грубым фарсом, в котором каждому уже заранее отведена особая роль — судьям, свидетелям, экспертам, адвокатам, Лаутензаку. И самая неблагодарная — ему, Паулю.

Но даже полная уверенность в предстоящем поражении не удручала Пауля. Ему придется уплатить огромную сумму, целые годы жить в ужасающей бедности, может быть его на некоторое время посадят за решетку, а в тюрьме при нацистах будет, конечно, не сладко. И все же он ехал в суд с гордо поднятой головой. Он не был склонен к пафосу, но не мог не чувствовать, что на него возложена миссия. Пусть хоть кто-нибудь покажет будущим поколениям, что даже в гитлеровской, лаутензаковской Германии нашлись люди, которые посмели среди всеобщей глупости и трусости встать и заявить: все это ложь, все это мракобесие.

Далеко за границами рейха стало известно, что бессовестные авантюристы использовали Лаутензака и его сомнительное искусство, телепатию, в своих политических целях и что человек этот с восторженной готовностью дал себя использовать. Не случайно возвышение этого мошенника и расцвет «германской мистики» совпали с торжеством Адольфа Гитлера и его «тысячелетнего рейха». Пауль Крамер имел все основания

предполагать, что не он один понимает символичность своего спора с Лаутензаком. Разумеется, этот спор при сложившемся положении вещей безнадежен. Одиночка, выходящий на бой против грубой физической силы, вооружившись только своей правотой, такой одиночка — Дон Кихот. «Лучше немного силы, чем много права», — справедливо говорит немецкая пословица. Но Пауль ни в чем не раскаивается. Он весело улыбается, думая о Лаутензаке, несомненном «победителе». Лучше быть Дон Кихотом, чем мельницей, которую принимают за великана.

Когда Пауль Крамер предстал перед судьями, худой и гибкий, с умным живым лицом и прекрасными выразительными карими глазами, многие смотрели на него с симпатией, и он радовался этому. Но рядом с воинствующим Паулем Крамером стоял, как всегда, Пауль-созерцатель, и от него не укрылось, что в этой симпатии с самого начала чувствовалось нечто покровительственное. Ибо он защищал безнадежное дело, и потому даже сочувствие друзей было слегка окрашено тем презрением, которое обыкновенно вызывает неудача, несчастье.

Много времени ушло на формальности; у Пауля было достаточно досуга, чтобы всмотреться в своего противника. Раньше он видел его на сцене и в отеле «Эдем», теперь мог рассмотреть его вблизи. Он чувствовал дыхание этого человека, полного животной алчности, этого комедианта до глубины души, и все в нем было противно Паулю. Он ненавидел его всем сердцем и чувствовал сострадание к Кэтэ; ему было стыдно за нее, стыдно за то, что она имеет отношение к этому спесивому петуху.

Наконец формальности были выполнены, и началось слушание дела. Судьи с самого начала старались затемнить основной вопрос: дурачил ли Оскар Лаутензак публику, прибегал ли к недозволенным трюкам? Вместо этого судьи всеми силами помогали Оскару блеснуть своим искусством, которого никто не оспаривал, и уклоняться от обсуждения предмета спора. Судьи прикидывались, что они искренне стараются установить истину, а на самом деле бежали от нее. Пауль был охвачен гневным изумлением. Неужели возможно, чтобы достойные ученые мужи, поседевшие на своем почетном посту, восседая в своих парадных мантиях, предавались этой глупой комедии?! Неужели им не стыдно?

А все эти люди, собравшиеся в зале, неужели они не интересуются фактами? И весь этот процесс для них всего-навсего захватывающий сенсационный спектакль? Воинствующий Пауль, оскорбленный праведник, возмущался. Ведь всякому видно, что здесь насилуют истину и оскорбляют право. Неужели никто не встанет, не крикнет: «Все это наглый, глупый фарс!».

Но из-за плеча Пауля-борца все время выглядывал Пауль-созерцатель. Он окидывал зал критическим, ироническим, мудрым взглядом. Он, созерцатель, понимал людей, которые были глубоко равнодушны к фактам и хотели одного — позабавиться этим цирковым зрелищем. Он понимал и судей: они играли свой лживый фарс ради куска хлеба, ради своей семьи, ради своей пенсии. Пауль-созерцатель бранил Пауля-борца за то, что он, уже так много видавший на своем веку, все еще возмущается несправедливостью мира и несовершенством человеческой натуры.

В общем для подсудимого Пауля Крамера вся эта комедиантская сторона процесса была помехой — охватившее его возмущение и свойственная ему способность критического анализа не давали сосредоточиться.

Истцу же Оскару Лаутензаку именно эта театральность была на руку. Чувствуя себя как бы на сцене, зная, что на эту сцену устремлены глаза всего мира, Оскар был воодушевлен. Сознание того, что каждое произнесенное им слово, каждый жест будут тотчас же переданы по телеграф-

ным проводам во все концы света, поднимало его настроение. Он использовал все возможности, которые давал ему этот грандиозный спектакль. Был дерзок, самоуверен, вежлив, глубокомыслен, насмешлив, таинствен, обольстителен, величав, гибок, властен и полон чувства превосходства.

С царственно спокойной наглостью он признал, что иногда потешал публику «ловкостью рук». Еще с ранней юности он любил ошеломлять людей диковинными фокусами. Такова уж натура художника: ему приятно уходить из мира действительности в мир вымысла, украшать серьезное и глубокое каким-нибудь причудливым орнаментом. Он никогда не скрывал, что сочетает серьезные опыты с разного рода трюками, и уже самое название, которое он избрал для своего представления — «Правда и вымысел», показывает, что он не намерен ограничиваться строго научными экспериментами. «Но когда дело шло о самом существенном,— подчеркнуто произнес Лаутензак, — я никогда не играл, не лгал. Никогда фокусник Лаутензак не мешал ясновидцу Лаутензаку и тем более не подменял его».

Только на одно мгновение он утратил свое спокойствие, когда защитник Пауля Крамера спросил, не существует ли рукописи, в которой сам Оскар ясно очертил границы телепатии. Не заявил ли господин Лаутензак в статье, рукописный экземпляр которой имеется у защитника, что некоторые эксперименты — как раз те, которые он сам теперь проделывает,— являются шарлатанством? Оскар к этому подготовился, и все же у него засосало под ложечкой. Он испугался — не держит ли защитник в резерве Анну Тиршенройт, не появится ли здесь, опираясь на палку, старуха с крупным скорбным лицом. До сих пор он отвечал на все вопросы без запинки, но тут на несколько секунд онемел. Однако он взял себя в руки и вызывающе ответил: «Да, он вспоминает, есть такая рукопись. Но там говорится исключительно о телепатии, а телепатия — это лишь одна из ветвей мощного дерева оккультных наук. То, что для телепатии недосягаемо, вовсе не является непостижимым для других таинственных сил души».

— Во мне, — многозначительно заключил он, — из года в год растут силы, не имеющие ничего общего с телепатией, — силы, о которых я прежде даже не мог и мечтать. — Рассуждения противника он назвал буквоедством и тем окончательно свел на нет значение документа, в котором были изложены его собственные взгляды.

Защитники Пауля Крамера нашли четырех свидетелей, показавших, что предсказания Оскара, советы, данные им за большое вознаграждение, оказались неправильными. За спиной этих свидетелей, как грозное обвинение, стояла тень самоубийцы Тишлера. Но секретарь Петерман предъявил заявления, подписанные этими свидетелями. Каждый из них был своевременно поставлен в известность, что маэстро — не часовой механизм, и если кто желает следовать его советам, то должен делать это на свой страх и риск. «Голоса из бездны, — насмешливо и дерзко заявил Оскар, — не всегда ведь отличаются ясностью и точностью юридического документа». Если господа, пользовавшиеся его консультацией, неправильно истолковали эти голоса, то они сами во всем повинны. «Хоть немного смекалки,— сказал он, улыбаясь,— должно же быть у того, кто решается на такую опасную затею — вопрошать голоса из бездны».

Но один из четырех свидетелей, старик Эдмунд Вернике, финансовый советник в отставке, отнюдь не удовлетворился этими общими фразами. Он подробно рассказал о своей консультации с Лаутензаком. На вопрос, соглашаться ли ему на операцию, предписанную врачами, Лаутензак ответил отрицательно: он предсказал, что операция будет иметь неблагоприятный исход.

— Смотрел он в свою пирамиду, — сварливо и настойчиво говорил старик, — и три-четыре раза повторил мне: «Берегитесь ножа». Какое же здесь возможно недоразумение, милостивые государи? Какого же ножа я должен был беречься? Надеюсь, не о столовом ноже шла речь, а, совершенно очевидно, о ноже хирурга.

И вот финансовый советник остерегался ножа, а его желудочное заболевание все обострялось. Врачи объявили, что уже, пожалуй, вообще бесцельно делать операцию, но если ее все-таки делать, то немедленно, так как в противном случае он наверняка больше трех месяцев не протянет. Наконец он решился, вопреки совету Лаутензака, уступить настояниям хирургов. Операция была сделана и сошла удачно.

— И вот я стою перед вами, — с ожесточением заявил финансовый советник, — цел и невредим, в чем все вы, милостивые государи, можете убедиться лично. И я, старый чиновник, которому к тому же напомнили о значении присяги, говорю вам: этот человек со своей пирамидой чуть не отправил меня на тот свет. «Берегись ножа». Слава богу, я не поберегся. Позвольте вас спросить, господа, если человек, глядя в свою пирамиду, без колебаний дает советы, которые затем оказываются неверными, если он чуть не толкает в могилу своих клиентов, как назвать такого человека? Знахарем и шарлатаном. Господа, я утверждаю, что требование регистрации, а это единственное требование, которое полиция предъявляет знахарям, совершенно недостаточно для охраны нашего с вами благополучия. Оправившись после операции, я вступил в «Общество борьбы со знахарством» и призываю всех вас сделать то же самое, если вам дорога ваша жизнь. Таких людей, как этот Лаутензак, надо гнать в шею. Им не место в новой Германии. Я знаю, что говорю, господа. Я старый чиновник, я проверил десятки тысяч налоговых бюллетеней, я знаю, что такое мошенничество, и прекрасно понимаю значение присяги.

Хотя Оскар всячески подчеркивал комическую сторону этой речи и несколько раз вызвал у слушателей смех, непримиримость старика произвела впечатление. Показания Алоиза Пранера, по прозванию Калиостро, тоже не очень-то порадовали Оскара. Алоиз обещал другу показать в соответствии с фактами, что оба они, Оскар и Алоиз Пранер, часто занимались фокусами — практически и теоретически. Но Алоиз ни в коем случае не должен был признавать, что он помогал разными трюками своему партнеру, когда тот пророчествовал и вызывал тени умерших. Разумеется, враги Оскара остановились подробно именно на этом. Алоиз отвечал, как было условлено. Но когда противная сторона многозначительно напомнила ему, что он дает показания под присягой, Алоиз вспотел, начал запинаться. Он вертелся и так и этак, путался; этот странный человек с длинной лысой головой и морщинистым носом произвел на всех неблагоприятное впечатление.

Однако Оскар без труда исправлял такого рода тактические оплошности. Прибегал он не к логике, а к своей способности действовать на человеческие эмоции. У него давно уже в плоть и кровь вошла уверенность в том, что во время выступления вовсе нет надобности думать о сути, что все дело в манере подачи. Пауль же, замечая, что судья и слушатели позволяют Оскару обманывать их напыщенными и пустопорожними речами, сосредоточил все свои усилия на том, чтобы показать, как нелогичен его противник. Он снова и снова пытался заставить Оскара вернуться к сути дела, производя впечатление придирчивого, упрямого человека, досаждал суду и аудитории.

Наконец Оскар сказал со снисходительной усмешкой:

— Большинство собравшихся в этом зале понимает мои слова. А доктор Крамер, филолог, ученый, не понимает их. Если мне так труд-

но, — заявил он обращаясь к судьям, — столковаться с патентованной наукой, то дело здесь в том, что мы, наука и я, представляем области познания, не имеющие друг с другом ничего общего. Профессор химии учит, что человек состоит из таких веществ, как соль, известь, белок и пр. и пр. Шекспир считает, что мы сделаны «из такого вещества, которое располагает к мечтам». Полагаете ли вы, — любезно обратился он к Паулю, — что на этом основании можно назвать Шекспира мошенником?

— Это не интересно, — возразил Пауль, — это не относится к делу.

Председательствующий тоже заявил с оттенком кроткого порицания в голосе, что это к делу не относится, но многим и многим доводы Оскара показались убедительными.

Еще худшее впечатление, чем сам Пауль, произвел его первый эксперт, профессор Томас Гравличек. Человек этот неприятно поразил аудиторию своим внешним видом; его сухая, педантичная манера выражаться вызвала веселые улыбки, его богемский говор — громкий смех. Оскар использовал настроение публики. Он даже позволил себе с насмешливой любезностью переводить слова Гравличека на «понятный профанам немецкий язык». Он говорил: «Господин эксперт хочет сказать...» — и передавал слова профессора гладко, просто, чуть-чуть приправляя их легкой иронией. От его любезных замечаний смех еще более усилился, и председательствующий пригрозил, что прикажет очистить зал.

Оскар до самой последней минуты все еще боялся, что его противники вызовут Анну Тиршенройт. При допросе Тиршенройт никто не смеялся бы, да и сам он не знал бы, как ослабить силу ее показания. Но оказалось, что Анна Тиршенройт не вызвана, и Оскар с облегчением вздохнул.

Нет, противная сторона покончила со свидетельскими показаниями. И тут берет слово Оскар. Он настойчиво просит суд позволить ему наглядно продемонстрировать свои способности, взятые под сомнение обвиняемым.

На это адвокат Пауля Крамера заявил, что если господин Лаутензак намерен демонстрировать свое искусство вызывать умерших и предсказывать будущее, то его подзащитный господин доктор Крамер против этого не возражает. Но он вынужден протестовать против телепатических экспериментов, ибо не эти эксперименты, а именно предсказания и заклинания доктор Крамер и считает шарлатанством.

Разумеется, Оскар и не помышлял вызывать души умерших и предрекать будущее, но он ни за что не хотел отказаться от великолепной возможности использовать трибуну суда, чтобы показать всему миру свое телепатическое искусство. Его адвокат заявил, что поведение Оскара Лаутензака, когда в нем говорит его гений, не зависит от его воли. Возникнут ли в нем мысли живых или умерших, будет ли он говорить о настоящем, прошлом или будущем — этого он заранее сказать не в состоянии. Самый талантливый композитор не может поручиться за то, что в определенное время и на определенном месте у него родится мелодия к определенному тексту. Но маэстро, когда в нем пробуждалась таинственная сила, неоднократно передавал мысли умерших и делал предсказания, которые впоследствии оказывались поразительно правильными. Нет смысла заранее под малоубедительным предлогом запрещать ему демонстрировать перед судом эту его способность.

Судьи согласились с доводами адвоката и разрешили Оскару выступить.

Оскар радостно вздохнул. Теперь он получил то, чего желал, вели-

чайший шанс в своей жизни. Теперь на него смотрят не только люди, собравшиеся в этом зале, но и весь мир, вся планета. Успех зависит только от его умения. Эта мысль окрыляла его, удесятеряла его силы. Ему казалось, что плоть и кровь человеческая вокруг него исчезает, все тела прозрачны, как стекло, и он может читать мысли и чувства, словно огненные письмена.

Он приступил к своим опытам. Начал с самых простых. Попросил судей и даже адвоката противной стороны выбрать двух-трех человек из публики, которые подадут ему в запечатанных конвертах записки с вопросами, а он затем ответит на них, не распечатывая конвертов. Его смелость, уверенность тотчас же подействовали на всех. Тогда он пошел дальше. Снова попросил судей и адвоката противной стороны указать ему несколько человек и прочел их мысли. Он действовал, как обычно на сцене, играл со своими партнерами, угадывал, внушал. «Правильно? Правильно?» — спрашивал он, и не нашлось никого, кто ответил бы отрицательно.

Происходило все это средь бела дня, в одном из залов берлинского суда. Тысячи людей со все возраставшей симпатией смотрели на этого спокойно работающего человека. Все казалось таким будничным: кто-то читает письма. Но читал он не письма, а лишь то, что было отпечатано в мозгу опрашиваемого; однако этот человек читал так, будто письма лежат перед ним, написанные черным по белому. С напряженной и смущенной улыбкой смотрели на него судьи и слушатели; увлеченные удивительным явлением, они забыли, что все это к делу не относится. Несколько раз адвокат Пауля пытался вмешаться, но от него отмахивались, ему почти не давали говорить. «Правильно? Правильно?» — спрашивал Оскар Лаутензак и снова получал подтверждение, и каждый раз публика с трудом удерживалась, чтобы не разразиться ликующими аплодисментами, как в театре.

Гансйорг, ошеломленный, смотрел на своего брата. Он сам всевозможными хитроумными способами изготовил напиток, которым Оскар теперь угощал публику. Он сам создал доверие к Оскару, которое было предпосылкой этого триумфа. Но то, что Оскар показал здесь, было нечто большее, чем искусно подготовленное представление, и не имело ничего общего с актерскими эффектами. Ток, исходивший от Оскара, шел из других источников, «от праматерей, из глубины глубин». Гансйорг знал брата как самого себя, он относился к его слабостям с ненавистью, знал, как безмерно тщеславен Оскар, как он жаден, ленив, смешон; и все же теперь, глядя на массивное лицо этого человека, который казался одержимым, Гансйорг снова почувствовал, что его критическое отношение к брату, его ненависть превращаются в любовь и восхищение. Он понял, почему брат его с юных лет увлекал за собой окружающих, родителей, учителей, женщин, его самого; и он, Гансйорг, охотно давал увлечь себя, как другие, он гордился тем, что он — брат этого великого, да, этого гениального человека. Даже Пауль Крамер не мог избавиться от впечатления, какое производил Оскар. Он напряженно всматривался в него и поймал себя на том, что сам желал успеха экспериментам своего противника. Да, Паульсозерцатель знал, что теперь все в этом зале заражаются друг от друга интересом и доверием к Лаутензаку. Каждый был частицей самого Лаутензака, и если эксперимент удавался, каждый воспринимал это, как свою собственную удачу. Весь зал кипел, даже противники желали этой удачи. Все жаждали уйти от своих будней, все жаждали чего-то сверхъестественного, чуда, и все способствовали тому, чтобы это чудо свершилось.

Оскар, счастливый, продолжал работать. Присутствующие, эти скептические жители скептического Берлина, до конца оставались под властью

чар ясновидящего. С увлечением и страхом смотрели они на него и ждали еще и еще новых чудес.

Все пожалели о том, что представление кончилось так скоро. Оскар достиг поставленной цели. Корреспонденты посылали сообщения во все страны света: «„Ясновидение Оскара Лаутензака не есть шарлатанство",— подтверждает германский суд».

Мотивируя свое решение, суд объявил: истец Оскар Лаутензак убедительно доказал, что он обладает способностями, которые отрицает за ним обвиняемый Пауль Крамер. Крамер был приговорен к максимальному наказанию — штрафу в десять тысяч марок и году тюремного заключения.

Среди сверкающих киноаппаратов, окруженный толпой репортеров, приветствуемый бурными аплодисментами удивленных, испуганных, восхищенных зрителей, стоял Оскар Лаутензак, глашатай нового германского духа, на лестнице, которая вела из здания суда в город Берлин.

(Окончание следует.)

СКАНДЕРБЕГ

Рис. А. Орлова

Генри Уодсуорт Лонгфелло

Стихи

27 февраля 1957 года исполняется 150-летие со дня рождения знаменитого американского поэта Генри Лонгфелло. Глубокий гуманизм поэзии Лонгфелло, его сочувствие ко всем угнетенным и гонимым, его широкий демократизм выдвинули его в ряды лучших передовых писателей мира, борцов за светлое будущее человечества. Всемирную известность создала Лонгфелло замечательная эпическая поэма «Песнь о Гайявате». Искусно использовав и объединив отдельные отрывки сказаний гонимых и исчезавших индейских племен, Лонгфелло создал глубокопоэтический и трогательный образ мудрого и человеколюбивого индейского вождя Гайяваты, который курит «трубку мира» и призывает все племена к мирной счастливой жизни. «Песнь о Гайявате» Лонгфелло стала одной из любимейших книг не только у взрослых, но и у юношества и детей разных стран мира.

Написанные во времена борьбы за уничтожение рабства «Песни о рабстве» Лонгфелло нашли глубокий отклик в сердцах всех боровшихся и сочувствовавших освобождению негров. Эти песни Лонгфелло были еще в шестидесятых годах прошлого столетия переведены на русский язык соратником Чернышевского и Добролюбова поэтом М. Михайловым и получили широкую известность, особенно «Сон невольника».

Другой сотрудник «Современника», поэт-демократ Д. Михаловский, перевел известное стихотворение Лонгфелло «Арсенал в Спрингфильде», в котором американский поэт выразил свой гуманный протест против войн и милитаризма. Особенно широкую популярность получила у наших читателей «Песнь о Гайявате» в поэтическом переводе И. А. Бунина, вновь изданном недавно массовым тиражом.

К 150-летию со дня рождения поэта в Гослитиздате выходит однотомник его лучших поэм и стихов в переводах наших поэтов.

Наш журнал, отмечая 150-летие со дня рождения замечательного американского поэта, дает два его стихотворения, еще не переводившиеся на русский язык. В стихотворении «Скачка Поля Ривира», широко популярном и заучиваемом наизусть в школах на родине поэта, поэтически повествуется об известном эпизоде из эпохи американской революции и борьбы за независимость. В ночь с 18 на 19 апреля 1775 года британские войска готовили неожиданное нападение на Лексингтон и Конкорд, чтобы врасплох захватить восставших, арестовать главарей и забрать склад оружия. Но тридцать молодых людей во главе с Полем Ривиром бдительно следили всю ночь за британскими судами и войсками в Чарльстауне и вовремя заметили их выступление. По сигналу с колокольни Старой Северной Церкви Поль Ривир, ожидавший на другом берегу реки, вскочил на оседланную лошадь и поскакал в Лексингтон и Конкорд, давая везде по пути сигналы тревоги. Полю Ривиру удалось прискакать на рассвете в Лексингтон и предупредить восставших, которые встретили британские войска с оружием в руках и отбили их натиск. В своем известном стихотворении, написанном в ритме тревожного ожидания в начале, а потом в ритме скачки с ударами рифм, как конских копыт, Лонгфелло глубоко поэтически передал этот патриотический эпизод американской революции.

В стихотворении о Скандербеге Лонгфелло повествует о Георге Кастриоте (род. около 1405 г. — умер в 1468 году) — национальном герое Албании, руководителе борьбы албанского народа против турецкого владычества.

Скандербег происходил из княжеского рода Кастриот. Мальчиком был отдан в заложники турецкому султану Мураду II; впоследствии служил в его войсках. Георг Кастриот за одержанные победы получил титул бея и в честь Александра Македонского был назван Искандером (Скандербег — искаженное Искандер-бей). В 1443 году Скандербег во главе вооруженного отряда оставил армию султана и вернулся на родину, в Албанию, где возглавил борьбу за освобождение страны.

Лонгфелло, к сожалению, мало что было известно о национальном герое Албании. Поэт описывает лишь один легендарный эпизод, историческая достоверность которого сомнительна, но в конце рассказа Лонгфелло выражает искреннее сочувствие албанскому народу, восставшему и боровшемуся за свое освобождение и независимость.

Скандербег

(ИЗ ЦИКЛА „РАССКАЗЫ ПРИДОРОЖНОЙ ГОСТИНИЦЫ")

Победителем в этом сраженье
Был венгерский король Владислав,
И османы в великом смятенье
С поля битвы бежали стремглав.
Обжигало их пламя ада,
Леденила их гибели тень,
И растаяло в Духов день
Сокрушенное войско Мурада.

Этой рати могучей герой,
Искандер, избалованный славой,
Бросил турок разрозненный строй,
Поредевший на жатве кровавой.
И покрыла ночная тень
Всех зарубленных в Духов день,
Всех убитых людей Мурада —
От бойцов головного отряда
До бойцов из последнего ряда,
Пораженных уже на бегу,
Так и павших спиною к врагу.

О князьях, господа́рях, баронах
Он не думал, скитаясь в ночи;
Он следил, как играют лучи
Роковых созвездий, зажженных
Над опущенным пологом тьмы.
Он ударил коня боевого
И сказал лишь четыре слова:
«Вот теперь посмеемся мы».

И скакал он во мраке, с оглядкой.
И догнал его в полночь гонец.

То Мурада был главный писец,
Он носил его перстень с печаткой,
И промолвил сурово и кратко:
«Берегись, Георг Кастриот,
Запятнал ты свой гордый род!
Как ты здесь очутился ныне,
Если войско Мурада, увы,
Средь багровой от крови травы
Бездыханным лежит на равнине?»

И ответил Георг Кастриот:
«Мертвецами все поле покрыто,
Мертвецов растоптали копыта...
Но любого сраженья исход
Предрешается волею бога!
Кто мы, с нашею силой убогой,
Чтобы действовать вопреки
Мановенью его руки?»

И охране своей приказал он,
Чтобы связан был дерзкий старик,
И железною цепью связал он
Человека пера и книг.
И взмолился писец с тоскою:
«В чем вина моя пред тобою?»
И сказал Искандер: «Ни в чем.
Я тебе не желаю худого,
Но боясь, что в пути ночном
Ты уйдешь от меня тайком,
Я с тобой обошелся сурово.

А теперь садись и пиши,
Во спасенье своей души.
Напиши мне бумагу такую:
Пусть паша, занимающий Крую,
Окруженную рвом и стеной,
Сдаст мне крепость — мой город родной.
Печатью султана как надо
Пусть приказ этот будет скреплен,
Ибо каждое слово Мурада
Для любого из смертных — закон».

И писец, преклонив колена,
Искандеру сказал смиренно:
«Справедлив и велик аллах,
Мы же только пепел и прах.
Мне нельзя на подлог пуститься:
Я за этот предательский шаг
Головою могу поплатиться!»

И взметнулся клинок кривой,
Занесенный рукой могучей
Над поникшею головой,
И быстрее звезды падучей
Он сверкнул, и в ночной тиши

Искандер загремел: «Пиши!»
И смирился писец... И посланье
Он писал, содрогаясь, в мерцанье
Бивуачных багровых огней,
А прохлада ночная студила
Влажный лоб, и холод могилы
Ощущал он в груди своей.

И сказал Искандер ему снова:
«А теперь последуй за мной,
И забудь о дороге иной,
И не бойся. Даю тебе слово:
Возвеличу, как брата родного,
И почету не будет конца».
Но, исполненный тайной тревоги,
Был угрюмым ответ писца:
«Мне с тобою не по дороге...»

Не успела замолкнуть речь,
Как обрушился острый меч,
И свалился писец молчаливо;
Так стремительный камень с обрыва
В черный омут срывается вдруг,
В неподвижную воду влетает
С легким хлюпаньем и пропадает...
Было пусто и тихо вокруг.
Все застыло в глубоком покое,
Лишь копыт доносился стук,
Нарушая молчанье глухое:
Искандер уходил на юг.

Триста воинов шло с Кастриотом
По тропинкам овечьих отар,
Через мрачный хребет Аргентар,
По горам, по лесам, по болотам;
Триста смелых забилось сердец:
Искандер увидал, наконец,
За последним речным поворотом,
Белый замок отца — Ак-Гиссар,
Украшающий милую Крую,
Город Крую, что рвом окружен,
Город Крую, где был он рожден,
И над ним звезду молодую.

И в блестящие трубы свои
Затрубили горнисты. Толпою
Шли албанцы и турки к герою —
Звуки горна их вместе свели.
А потом на пиру богатом
Он с друзьями пил заодно,
И когда их согрело вино,
Он ударил по кубку булатом
И сказал им: «Смотрите, друзья,
Какова провиденья стезя
И судеб какова награда!

Я вернулся по праву истца:
Есть приказ султана Мурада
Возвратить мне владенья отца».
И торжественно, с пышною свитой,
Но доспехов не сняв боевых,
Во главе храбрецов своих
В Белый замок вступил он открыто.
И наместнику отдал тотчас
Именной султана указ,
Султанской печатью скрепленный.
И ответил паша изумленный:
«Справедлив и велик аллах,
Я всевышнего волю приемлю.
Будь правителем в этих краях,
Отдаю тебе город и землю».

И спускается с башни флаг
С полумесяцем. И над стенами
Искандера взвивается знамя,
Словно вольности вещий знак,
В синем небе, овеянный славой,
Реет черный орел двуглавый!
И албанского знамени взлет
С ликованьем встречает народ:
Слишком долго, подвластный османам
Он страдал под ярмом чужестранным
От поборов и тяжких работ...
И над скалами горного края,
Над простором равнин и рек,
Будто гром гремит, не стихая:
«Да здравствует Скандербег!»

Так на земли отцовские снова
Искандер возвратился. И вот —
Весть о том, что пришел Кастриот,
Словно пламя пожара лесного,
Разнеслась далеко по стране,
И Албания мести и горя,
От угрюмых вершин и до моря,
Вскоре вся запылала в огне...

Перевод с английского Р. Морана.

Скачка Поля Ривира

Прислушайтесь, дети, ведь слышал весь мир,
Как в полночь глухую скакал Поль Ривир.
То было в семьдесят пятом году
В апреле, и день, мне памятный, тот
Не помнит никто из тех, кто живет.
Он другу сказал: «Я сигнала жду.
Когда британцы начнут наступать
Из города ночью, ты дай мне знать,
На Северной Церкви зажги звезду, —
Одну, если сушей, а морем — так две.
Я с лошадью буду бродить по траве
На том берегу и, увидев сигнал,
Коня бы я в бешеной скачке погнал,
Чтоб всюду с оружьем народ восставал!

Спокойной ночи!» И вот в челноке
К Чарльзтауну он поплыл по реке.
Всходила луна, ее призрачный свет
Залив серебрил, где стоял «Сомерсет»,
Британский военный корабль, как фантом,
И каждая мачта и рея средь тьмы
Казалась железной решеткой тюрьмы,
А черный корпус огромным пятном
По воде расплывался в приливе морском.

Бродил по улицам верный друг,
Прислушиваясь ко всему вокруг.
В тиши ночной услышал он вдруг
Во дворе казарм подозрительный стук,
Оружия звон и размеренный шаг:
То шли гренадеры британцев сквозь мрак,
К военным судам на посадку спеша.

На башню церкви, темневшей средь звезд,
Рассыпанных в черной глуби небес,
По лесенке ветхой он тихо полез,
Распугивая голубей с их гнезд
На пыльных балках темных стропил,
И мрак тенями его обступил.
Он слышал ступенек тревожный треск,
Голубиных крыльев испуганный всплеск,
Прислушался — всюду ночная тишь,
И только по гребням бесчисленных крыш
Струится холодный лунный блеск.

Внизу, словно лагерь ночной мертвецов,
Стоят, как палатки, холмы могил,
И каждый мертвец, как солдат, опочил,

Улегшись навеки в защитный ров,
А ветер, заняв караульный пост,
Патрулем ночным проверяет погост
И шепчет всем спящим: «Тревоги нет!»
На миг, словно в белый саван одет,
И он почувствовал чары луны
И мертвой кладбищенской тишины.
Но тут же очнувшись, взглянул он туда,
Где узким потоком речная вода
Втекала в широкий морской залив,
Где поднял уже океанский прилив
Готовые с якоря сняться суда.

Готовый к скачке, на том берегу
Стоял Поль Ривир на росистом лугу,
В ботфортах и шпорами тихо звеня,
Пройдется, погладит по шее коня,
Потом в нетерпении топнет ногой
И пристально смотрит на берег другой,
Подтянет подпругу, поправит седло,
Уже от месяца стало светло,
А башня Северной Церкви во тьме
Над кладбищем мрачно стоит на холме.
Он ждет все и смотрит. Уж время прошло.
Вдруг видит — звездой огонек замигал,
Вот он — с колокольни желанный сигнал!
В седло он вскочил и повод в ладонь
Зажал, и храпит в нетерпении конь.
Второй сигнал! Он коня погнал!

Еще деревушка спокойно спит,
Но в лунном свете промчалась тень
Да искру метнул дорожный кремень
У лошади скачущей из-под копыт, —
И все! Но в безудержной скачке его
Решалась судьба народа всего,
Та искра, что высек подковою конь,
Повсюду зажгла восстанья огонь.

Вот он на холме, и Мистик-река,
Встречая прилив, блестит, широка.
Он слышит, как ветер в ушах свистит,
Как мягко бьют под ольхой по песку,
Как звонко о камень гремят на скаку
Удары быстрые конских копыт.

На башне пробило двенадцать часов,
Когда проскакал он в Медфорд через мост.
Он слышал первый крик петухов
И яростный лай цепных собак.
С реки повеял сыростью мрак
И саван туманный окутал погост.

На башне гулко пробило час,
Когда прискакал Поль Ривир в Лексингтон,
И флюгер дремал, позолотой лучась,

Когда по улице мчался он,
И окна дома собраний, пусты,
Мерцали мертвенно из темноты,
Как будто страшась той крови, что тут
На площади утром пред ними прольют.

Пробило два, когда наконец
У Ко́нкорда он проскакал через мост.
Он слышал на фермах блеянье овец
И щебет проснувшихся птиц средь ветвей.
Заря над лугами блеснула светлей,
Померкло мерцанье последних звезд.
Храбрец не один еще мирно спал,
Кто в этот памятный день на мосту
От пули мушкетной британцев пал
В бою за свободу на славном посту.

Остальное по книгам известно вам:
Как пришлось британцам бежать по полям,
Как фермеры гнали наемных солдат,
Подстреливая, словно дичь, из засад,
И били без промаха в красный мундир,
Стреляли метко со всех сторон,
Нанося врагу тяжелый урон,
Останавливаясь, чтоб вложить заряд.

Так в полночь глухую скакал Поль Ривир,
Его тревожный призывный крик
До каждой деревни и фермы достиг,
Нарушив дремотный покой и мир.
Вдруг голос из тьмы, в дверь удар кулака
И слово, что эхом несется в века!
То слово из Прошлого ветер ночной
Разносит всегда над нашей страной,
И в час тревоги, нарушившей мир,
Народ весь, поднявшись, слышит сквозь тьму,
Как в полночь с призывом несется к нему
На скачущей лошади Поль Ривир.

Перевод с английского Мих. Зенкевича

ПОЭЗИЯ средневековой КОРЕИ

Перевод с корейского П. Пак Ира и А. Жовтиса

Неизвестный поэт

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДРУЗЬЯМИ

Имеющий душу размером в пядь
Умом не охватит тысячу ли́.
Но если душа твоя в тысячу ли́,
Тогда ты умеешь иначе считать.
Пускай мы в разных концах земли,
Меж нами пядь, а не тысячи ли́!

Тхэ Дён

(XIV век)

КАК ПОДНИМАЕТСЯ ХМЕЛЬ

Сколько бед у меня — я один свои беды несу.
Сколько бед у тебя — и один ты влачишь свои беды.
Посмотри, поднимается хмель по кремнистому склону Мансу,
Крепко тонкие ветви сплетая с ветвями соседа.
Разве он, этот хмель, не дает нам пример и совет? —
Дай же руку, сосед, чтоб прожили мы в дружбе сто лет!

Менг Са Сен

(конец XIV — начало XV века)

Я ОТДЫХАЮ

В шляпе из листьев бамбука, в коротких штанах
Под моросящим дождем грядки полол я в горах.
Солнце пробилось сквозь тучи, уплыли они.
Жарко мне стало — прилег под кустом в тени.
Только недолог был отдых, непрочен кров —
Стадо меня разбудило, мычанье коров.

Сен Сам Мун

(XV век)

ЧЕМ Я ХОТЕЛ БЫ СТАТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Когда я скончаюсь,
Что станет со мною?
Хотел бы на склоне горы Поннэ-Сан *
Стоять величавой и стройной сосною,
Чтоб даже зимою к седым небесам
Зеленой главою тянуться упорно.

Дё Хен

(XVI век)

МИЛЫЙ МЕНЯ ПОКИНУЛ...

Падают, падают капли дождя на озерную гладь,
Ивы, плакучие ивы окутал туман немой.
Где же тебя, молодой мой рыбак, искать?..
Лишь одинокая лодка к берегу жмется кормой.
Сумерки опустились над лоном поблекших вод,
Белая чайка бесцельно взад и вперед снует...

Тен Чер

(XVI век)

СТАРЦУ, ИДУЩЕМУ С НОШЕЙ

Старец, идущий с ношей,
Дай-ка, ее возьму я!
Я молод и поднимаю
Даже тяжелые камни.
А ты свою старость тащишь —
Она тяжела без ноши.

* Поннэ-Сан — по корейским преданиям, гора Счастливых Трав, где растет трава вечной молодости.

Пак Ин Но

(конец XVI — начало XVII века)

О ЧЕЛОВЕКЕ

В мире тысячи ценных предметов,
Но один Человек бесценен.
Только он трудолюбию верен,
Только он справедливости ищет.
А без этого безразлично —
Человек, или зверь, или птица.

Нам Гу Ман

(XVII век)

РАССВЕТАЕТ...

Посветлело в окошке небо.
Где-то жаворонки запели.
Только спят усталые дети
И быков на пашню не гонят.
А в предгориях дремлет поле,
И будить его надо тоже.

Юн Ду Дё

(XVII век)

ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ

У края большой дороги
Многих прохожих ноги
В грязь затоптали кусок
Яшмы.
Жизнь ее долго топтала...
Но яшма грязью не стала!

Ким Дин Тхэ

(XVIII век)

ЧЕГО ХОЧУ Я

Время мое бежит водой.
Но прежде, чем стану совсем седой,
Прежде, чем вечный найду покой,
Прежде, чем кончу жить,
Хочу одного: земле родной,
Ближним своим послужить.

Ли Дён Бо

(XVIII век)

МЕЧТА У МЕНЯ ТАКАЯ

Мечта у меня такая:
Хочу, превратившись в птицу,
В синее небо прянуть,
Чтобы развеять тучи,
Нависшие над землею
Между людьми и солнцем.

Ли И

(XVIII век)

ТОМУ, КТО ТВЕРДИТ О ВЫСОТЕ ГОРЫ

Как бы гора ни была высока,
Все же над ней плывут облака.
Стремящийся вверх, идущий упорно
Встанет однажды над высью горной...
Но не поднимется наверняка
Тот, кто твердит, что гора высока.

И. Бернштейн

Заметки о современном чехословацком романе

Один из участников острых и страстных литературных дискуссий, которые разгорелись в последние месяцы в Чехословакии, заявил, что первый рецепт, как написать схематический роман, создал... Золя. По его мнению, подобный рецепт заключается в натуралистическом принципе романа не о герое, а о теме: у Золя — об алкоголизме, о бирже, о рынке, а в чешском и словацком романе — о новостройках, о кооперировании деревни и так далее. Мы приводим это парадоксальное суждение потому, что сходные мысли повторяются в высказываниях ряда чехословацких критиков, в центре внимания которых — вопрос о причинах схематизма в современной литературе.

Чехословацкие товарищи вскрыли в своих дискуссиях корни многих недостатков литературы, связанных с последствиями культа личности. Много выступлений на прошедшем съезде писателей, в предсъездовской и послесъездовской дискуссиях было посвящено в этой связи ведущему жанру современной чехословацкой литературы — роману. И мысль о «мрачном владычестве темы», по выражению одного из критиков, была высказана и в основных съездовских докладах о прозе — Бурианека и Минача — и во многих выступлениях.

Верная по существу мысль, что темой литературы является, по выражению Минача, «человек, строящий плотину, а не строительство плотины», получает иногда и у Минача и у некоторых других критиков несколько одностороннее развитие.

Прежде всего, думается, теоретически не обосновано само сравнение основ творческого метода современного чехословацкого романа с натурализмом. У натуралистов явный перевес темы над героем, обстановки над действием, среды над характером своеобразно отразил чуждость, враждебность человеку всего мира вещей и отношений, созданного капитализмом. В натуралистическом романе часто возникают такие статичные символы, как Чрево Парижа, как Западня, абсолютизирующие враждебные человеку, подавляющие его и почти непонятные ему в своем существе силы. Такое соотношение человека и среды, героя и темы невозможно в современном чешском и словацком романе, потому что в общественной жизни Чехословакии навсегда ликвидировано подобное общественное противоречие.

Роман в странах социалистического лагеря отражает изменившееся отношение человека ко всем формам своей деятельности, отношение человека — хозяина своей страны, сознательного строителя социализма. И практика чехословацкого романа с очевидностью показывает, что судьба завода, стройки, коллективного хозяйства в деревне может быть пружиной романического действия в такой же степени, как и судьба отдельного человека.

Но разве роман о стройке, являющейся в действительности кровным делом трудящихся, может не стать романом о людях, строителях социализма, если речь идет о подлинно художественном произведении? Конечно, не может. Так, например, судьба героев романа Сватоплука «Без шефа» настолько тесно сплетена с судьбой нового Ботостроя, что перипетии острой борьбы старого и нового на заводе, в которой участвуют Паздера, Прокоп, Стазка, определяют их судьбу и являются источником напряженного драматического интереса. Так же тесно связана судьба героев романа Отченашека «Широким шагом» с борьбой за социалистическую перестройку завода. И история организации кооперативного хозяйства в деревне Стодолиште вызывает интерес у читателя романа Ф. Гечко «Деревянная деревня» именно потому, что автору удалось показать живые и многообразные связи жизненных судеб героев с этой основной линией действия.

Все эти достижения литературы Чехословакии, неоднократно отмечавшиеся критикой, говорят о том, что само противопоставление «судьбы человека» и «судьбы стройки» незакономерно ввиду тесной, нерасторжимой связи обоих этих моментов; в этом — новаторская черта и современного чехословацкого романа. Может быть, на эту сторону вопроса недостаточно обращают вни-

мание те критики, которые в своей справедливой борьбе за живого и полноценного героя обрушивают главные удары против «мрачного владычества темы».

Но, конечно, сам вопрос о месте героя в романе возник из тех реальных трудностей, которые переживает чешский и словацкий роман. На них нам бы хотелось остановиться.

В послевоенные годы углубившееся понимание роли народа часто не находит в романе адэкватного воплощения в художественных, ярких образах героев. Многие писатели пытаются выразить роль коллектива путем создания так называемого «коллективного героя» — большого количества персонажей, играющих равноправную роль в произведении. Коллективный герой выступает в таких романах о сопротивлении чешского народа оккупантам, как «Северный вокзал» (1948) и «Санитарный поезд» (1950) Бранальда или «Деревня под землей» Марека (1949); в дальнейшем этот «коллективный герой» занял центральное место в романах о новой действительности, например, в таких, как «Путь открыт» Бернашковой, «Сильное поколение» Гашковой и многие другие. В этих романах появляется огромное количество персонажей, неожиданно возникающих как бы из небытия, снабженных самыми скудными анкетными данными и отличающихся друг от друга только по возрасту и цеху, где они работают.

Внимание к производственной обстановке, порожденное той новой, исключительно большой ролью, которую начал играть труд в жизни и литературе, определило сильные стороны послевоенного романа в Чехословакии. Это один из тех моментов, которые, судя по всему, недостаточно учитывают критики, утверждающие, как, например, В. Коцоурек в своем недавнем выступлении, что послевоенный роман за редким исключением не открывает ничего нового в человеке и действительности. Однако это достоинство превратилось в серьезный недостаток там, где производственный процесс оттеснил на задний план человека. Наглядный пример — роман молодого писателя Яника «Трактор» (1949), героем которого является первый трактор, изготовленный на обновленном заводе, а сюжетом — процесс изготовления этого трактора.

Существование подобных произведений, разумеется, вовсе не доказывает правоту тех, кто утверждал (а такие голоса раздавались в Чехословакии и получили отпор), будто труд вообще не может явиться темой художественной литературы и что именно здесь создается питательная почва для схематизма.

Мы полагаем, что существование на страницах чешского и словацкого романа безликой, неиндивидуализированной массы связано с тем явлением, которое получило в Чехословакии название «натурализма композиции».

В романах, о которых идет речь, каждая сцена прибавляет нечто к познанию читателем фактов жизни на изображаемом участке, но отнюдь не двигает вперед действия, не помогает понять людей, их судьбы. И так же, как сущность новой жизни писатели пытаются передать путем нагромождения репортажных зарисовок, так и нового героя — рабочий коллектив — они воспроизводят простым количественным нагромождением героев-рабочих, толпящихся независимо друг от друга, как статисты, на страницах романа. Так коллектив, масса представлены как механическое множество. Писатели не поднимаются до яркого воплощения в судьбе героя типических явлений судьбы народа. Однако сравнение подобных недостатков с натурализмом нуждается, как мне кажется, в оговорке: здесь нет ничего общего с безразличной фотографичностью современных мелких эпигонов Золя в литературах капиталистических стран.

Думается, что корни этих недостатков — в стремлении отразить как можно больше фактов новой, бурно меняющейся действительности (так, Бернашкова близко придерживается реальных фактов истории комбината в Мосте) и в неумении передать их в художественно адэкватной форме, путем типизации ведущих тенденций развития действительности. С другой стороны, эта тенденция проявилась и у некоторых писателей, владеющих подлинным мастерством. Здесь она вызвана, можно думать, главным образом ложно понятой идейностью, отождествлением «всей правды» с фактической полнотой, с чисто количественным охватом общественных явлений. Именно этим можно объяснить подробное, но лишенное художественного смысла сообщение о деятельности прачечной и хорового кружка во вновь организованном сельскохозяйственном кооперативе в «Деревянной деревне» или ряд иллюстративных сцен в «Битве» Ржезача (прежде всего связанных с общественной деятельностью положительных героев — Багара и Гальчика). Под влиянием догматической критики многие писатели ставили перед собой невыполнимую задачу отразить в каждом произведении все стороны изображаемой действительности во всех деталях.

Очевидно, что подобные теории и практика исходят из непонимания специфических выразительных средств искусства, его отличия от научного познания. Таким образом, стиралась грань не только между романом и репортажем, но часто — между романом и политической статьей. Это в равной мере относится и ко многим произведениям советской литературы. Подобные тенденции отнюдь не противоречат тому, что сам отбор фактов часто был подчинен узко, а иногда и неправильно понятой политической актуальности, злобе дня. Несомненно, здесь сказалось понимание типического как категории исключительно политической. Прав словацкий критик Ян Рознер, когда в своей статье, опубликованной в ходе дискуссии о социалистическом реализме, которая развернулась в настоящее

время в Чехословакии, он утверждает, что таким образом «из требования реалистического искусства, направленного против натурализма, выросло требование, по существу направленное против реализма». Хотя, думается, вывод Рознера о необходимости дать место на страницах романа «нерегламентированному потоку жизни» также не дает определения законов реалистической типизации.

Из категорического противопоставления «судьбы человека» и «судьбы производства» делается вывод, что в основе сюжета романа должно быть в первую очередь развитие характеров главных героев в их отношениях к людям и обстоятельствам, а не изображение общественных событий или процессов.

Подобного мнения, например, придерживается критик Иржи Гаек. И Ян Рознер утверждает, что причиной бедности фабулы романов является совпадение динамики сюжета с динамикой общественного развития и ограничение развития персонажа его общественным развитием.

Понятно, что эта точка зрения направлена против вульгаризации изображения человека как «продукта» общественных событий. Но само по себе подобное категорическое противопоставление ведет к односторонности. И лучшие художественные достижения чехословацких писателей не подтверждают ее. Вспомним, что Пуйманова смело ломает традиционную композицию семейной хроники и ставит в центре второй части своей трилогии историческое событие — Лейпцигский процесс. Пуйманова справедливо связывает Лейпцигский процесс с дальнейшими событиями, приведшими к Мюнхену и оккупации Чехословакии фашистами. И когда прямо из здания суда читатель снова переносится в Чехословакию, то он уже иными глазами смотрит на события мирной жизни. Теперь осью действия становятся не только отдельные человеческие судьбы, но и судьба родины, и это находит художественное выражение в том, что рядом с главами, посвященными эпизодам из жизни того или иного героя, появляются главы, соответствующие этапам исторических событий трагического для Чехословакии 1938 года.

Но в то же время именно события, связанные с Лейпцигским процессом, помогают наиболее полному раскрытию центральных образов — коммуниста Гамзы и его жены Неллы. И когда в центре внимания Пуймановой в последних главах романа оказываются общественные события, она и тут умеет показать какие-то новые черты, обогащающие внутренний облик героев (вспомним, например, полную удивительного лиризма сцену, когда Нелла и Гамза сжигают документы накануне вступления в Прагу оккупантов). С другой стороны, «мнение народное» в эти трагические дни складывается из индивидуализированных переживаний отдельных персонажей. И здесь проявляется тончайшее мастерство изображения человека со всеми его достоинствами и недостатками, надеждами и воспоминаниями, с часто едва уловимыми особенностями.

В заключительной части трилогии — романе «Жизнь против смерти» — писательница еще шире пользуется композиционным приемом непосредственного введения в действие исторических событий и исторических персонажей. Это помогает раскрытию основной темы романа — изображению героического сопротивления чешского народа оккупантам.

И здесь Пуйманова мастерски раскрывает связь между духовным миром человека и его местом в общественной жизни, показывает через человеческие судьбы судьбу родины.

Это относится к изумительным в своей неповторимой индивидуальности образам Елены, выросшей в подлинную героиню, Неллы, Гамзы, Ружены, маленького Мити. Но все же кажется, что и Пуйманова не избежала здесь той погони за полнотой «охвата», о которой уже говорилось. Мы согласны с Иржи Гаеком, что для некоторых частей романа, повествующих об исторических событиях, характерна известная отрывочность, «репортажность», снижающая их художественность. И, может быть, потому, что персонажей так много, не все они так жизненны, как в первых двух частях. В третьей части появляется много фигур — воинов чехословацкого корпуса, грузинских колхозников, участников Пражского восстания, о которых упоминается только мельком и которые остаются статистами.

Трилогия Пуймановой явилась, пожалуй, наиболее ярким выражением одной из ведущих тенденций современного романа — стремления к эпическому синтезу. Характерное проявление этой тенденции — художественное представление об общественном смысле жизненного пути каждого человека — сказалось и в «Наступлении» Ржезача. Здесь в увлекательном повествовании о судьбе четырех членов административной комиссии, приехавших в пограничное местечко, раскрываются типические общественные закономерности, характерные для чешского пограничья, более того — для всей республики. Это же можно сказать и об Отченашеке, который, глубоко раскрыв трагический конфликт в душе своего гражданина Бриха, остановившегося только «без пяти минут двенадцать» перед предательством родины, показывает существенные стороны исторических событий февраля 1948 года, смысл которых его герой долго не мог постигнуть. В этом сказался историзм, характерный для чешского и словацкого романа о современности не в меньшей степени, чем для исторического романа.

Другое дело, когда малоталантливые или малоопытные авторы, часто под влиянием догматических представлений о социалистическом реализме, искусственно связывают действие своих романов с общественными событиями.

Так, в чешском романе стало своего рода шаблоном, что завязка совпадает с маем

1945 года, а развязка — с февралем 1948. В ряде произведений (например, у Бернашковой) такое приурочение по существу мало связано с судьбами героев. Однако в тех произведениях о предфевральской эпохе, где судьбы людей по-настоящему, органически связаны с общественными событиями, как, например, в «Битве» Ржезача, в «Без шефа» Сватоплука, или «Деревянной деревне» Гечко, сюжетные коллизии, охватывающие большие пласты действительности и достигшие в силу этого большого напряжения накануне 1948 года, естественно, находят свое разрешение в исторические февральские дни. Это относится и к личной судьбе героев, например, Прокопа и Паздеры у Сватоплука, или Пюхлера и Росмусов у Ржезача.

У Пуймановой, Ржезача, Сватоплука, Отченашека общественный процесс является непосредственным двигателем романического действия. Это стало возможным потому, что он нашел свое органическое, адэкватное воплощение в сложном переплетении человеческих судеб, дающем широкую картину общественной жизни, в характерах и событиях, типизирующих важные исторические тенденции в их многообразных связях и опосредствованиях. Поэтому и представляется незакономерным само противопоставление человеческой судьбы, как основы сюжета, событиям общественной жизни.

С подобными взглядами связана, как нам кажется, известная канонизация композиционного построения «Гражданина Бриха» Отченашека, наблюдающаяся у некоторых чешских критиков.

Вызывают всяческое сочувствие выступления чешской критики против сюжетов, превратившихся в шаблоны. Такова сюжетная схема стройки, находящейся в катастрофическом положении и победоносно завершаемой после разоблачения вредителей, у Седлачека в романе «Завод в тени», у Купки в «Бурных днях» и во многих других романах. Или же успешная организация сельскохозяйственного кооператива в результате изгнания кулака в таких романах, как «Две весны» Ржиги, «Единственная дорога» Плевы, «Оптимист» Татарки. Несомненно, что «Гражданин Брих» является большим достижением чешского романа. Но противопоставление сюжетным шаблонам композиционного построения романа, как «душевной биографии героя», в качестве единственного рецепта освобождения от схематизма также ведет к односторонности, своего рода «схематизму наизнанку» и не соответствует живому и многообразному процессу развития чешского и словацкого романа.

* * *

Другая проблема, с которой чехословацкая критика связывает обедненное, схематическое изображение человека,— это проблема конфликта.

В своем докладе на II съезде чехословацких писателей Ян Дрда указал на один из серьезных недостатков чешской литературы за последнее десятилетие. «Боязнь нанести вред партии и строительству социализма показом реальных недостатков привела нас к тому, что мы прибегли к способу насквозь фальшивому и некоммунистическому, стали на путь прославления». Этот метод сказался в сглаживании и, главное, в одностороннем раскрытии конфликтов у многих писателей, в тенденциях ложного оптимизма.

Участие в борьбе на стороне сил прогресса определяет оптимизм новой чехословацкой литературы. Однако некоторые чешские и словацкие романисты представляли себе оптимистическую перспективу, как непосредственное счастливое улаживание судеб всех положительных героев, как непременное торжество прогрессивных сил во всех конфликтах тут же на страницах романа. «Многие, или даже почти все наши романы в конце имеют привкус старых счастливых развязок в новой социалистической форме», — замечает в своем докладе Бурианек. Так, например, разоблачение вредительских действий на стройке плотины в романе Купки «Бурные дни» ведет к немедленному улаживанию абсолютно всех конфликтов, в том числе и семейных, что нивелирует и лишает жизненной правдивости многие остро и интересно задуманные образы и ситуации.

Привкус «хэппи-энда» чувствуется и в заключительной главе даже такого далекого от схемы произведения, как «Гражданин Брих», где уже после разрешения основного конфликта всем «воздается по заслугам»*.

С тенденциями ложного оптимизма, лакировки было связано и требование критики, чтобы положительные герои даже и количественно преобладали над отрицательными и чтобы они торжествовали над ними тут же на страницах романа. Так, некоторые сторонники теории и практики бесконфликтности, борьба с которой только начиналась в тот период, обвинили Сватоплука в чрезмерном сгущении темных красок. Верно, что Сватоплук не избегает в романе «Без шефа», как это делали многие писатели в те годы, важных и трудных вопросов общественной жизни, и борьба нового со старым предстает во всей ее остроте и драматичности. Однако, изображая те трудности, которые являлись типическими для периода между 1945 и 1948 годами, он ходом повествования раскрывает неодолимость нового, оптимистическую неизбежность его победы. Именно поэтому февральские события являются органической развязкой романа.

Смелый и не традиционный конфликт раскрыт в талантливом романе словацкой писательницы К. Лазаровой «Осиное гнездо». Этот конфликт связан с деятельностью председателя районного Национального ко-

* В авторизованном переводе романа на русский язык, опубликованном в журнале «Иностранная литература», эта глава отсутствует.

митета Бараника, создающего с помощью запугивания и принуждения крестьян видимость быстрой и успешной организации сельскохозяйственных кооперативов в своем районе. В борьбе с враждебными народу действиями этого опасного и хитрого противника раскрываются живые и яркие характеры честных и принципиальных коммунистов Ионаша и Гречо.

Конечно, торжество нового отнюдь не тускнеет, если враги и трудности изображены в полную силу, как у Отченашека, Сватоплука, Лазаровой, если писатели смело поднимают самые жгучие и острые проблемы общественной жизни. И чешский и словацкий роман дали за десятилетие ряд примеров такого безбоязненного, подлинно реалистического подхода к действительности.

Литература Чехословакии знает такой великолепный пример подлинного революционного оптимизма, как «Репортаж» Фучика. Этот же оптимизм, которому не чуждо и трагическое начало, придает мужественное обаяние роману Птачника «Год рождения 21-й» и «Жизни против смерти» Пуймановой. Нам кажется, что такой подлинный оптимизм в гораздо большей степени присущ сцене смерти Елены, чем сценам чудодейственного спасения Кето и случайной встречи ее и Ондрея в конце романа.

Закономерно, что романисты в поисках основных жизненных столкновений уделяют большое место классовому конфликту. Изображение острых и открытых классовых конфликтов, отвечавшее истинной ситуации перед Февралем, внесло в роман действенность и драматичность («Наступление», «Битва», «Без шефа»). Однако частое повторение подобного конфликта как основного привело к созданию тех сюжетных шаблонов, о которых мы говорили, к непременному изображению деятельности классового врага в качестве движущей силы сюжета.

Особенно вредно сказался этот шаблон на изображении послефевральской действительности, для которой характерна иная расстановка сил. Следы его можно ясно видеть в романе Купки «Бурные дни». Уступкой шаблону является, как нам представляется, и пожар на заводе, который устраивает инженер Малек в романе Отченашека «Широким шагом». И, несомненно, в угоду ему Седлачек сильно снизил очень интересно задуманный образ демагога Кнайпа в романе «Завод в тени». В этом образе Седлачеку удалось запечатлеть те черты демагогического диктаторства, которые, проявляясь в деятельности некоторых партийных работников, нанесли большой ущерб партии и делу построения социализма и против которых партия повела беспощадную борьбу. Этот образ, новый в литературе, явился смелым достижением Седлачека. Однако он выиграл бы еще больше, если бы Седлачек все же не поддался известному шаблону: честным людям стройки удается справиться с Кнайпом только благодаря тому, что они обнаруживают его темное прошлое — Кнайп был сотрудником гестапо в годы протектората. Это подводит жизненно убедительный образ под шаблон врага, пробравшегося в партию, распространенный в романе пятидесятых годов, и снижает его типическое значение. В жизни подобные карьеристы и демагоги часто имели и имеют безупречную анкету, и борьба против них представляется гораздо более сложной.

Канонизация внешнего конфликта повела к пренебрежению внутренним конфликтом, связанным с борьбой старого и нового в человеческом сознании, борьбой, охватывающей не только мир политики, но и весь эмоциональный мир человека. Этим объясняется то невнимание к внутренней жизни героя, о котором настойчиво говорит критика и которое постепенно преодолевается чехословацким романом.

Именно в этом плане «Гражданин Брих» Отченашека и явился новым словом. В этом произведении в основу сюжета положен конфликт интеллектуального порядка: идейные искания героя, его внутренняя борьба. Но этот конфликт не исчерпывает содержания многопланового романа. В нем с большой художественной силой представлена борьба общественных сил в знаменательном для Чехословакии 1948 году. Замечателен в этом отношении образ дядюшки Мизины, являющийся, пожалуй, самым «объемным» в новом чехословацком романе воплощением страшного в своей косности мещанства, отчаянно пытающегося «перекраситься», приспособиться к новому.

* * *

С этой тенденцией представить борьбу общественных сил в прямом, непосредственном виде связано то деление героев на «положительных», «отрицательных» и «колеблющихся», которое так высмеивают сейчас чехословацкие товарищи, а также шаблонные схемы «развития» характеров в виде чудодейственной «перековки» «отрицательных» персонажей или непонятного «перерождения» «положительных».

О многих героях как словацких, так и чешских романов В. Минач в своем докладе на съезде писателей справедливо говорил: «Под давлением общих истин о классовой борьбе мы наделяли своих героев судьбами, которые не трогали нас самих; речь шла скорее о решении более или менее интересного политического уравнения, чем об индивидуальной судьбе человека».

Одним из проявлений этой тенденции, несомненно, явилось характерное для ряда чешских и словацких романов выделение личных отношений героев в какую-то особую сюжетную линию, являющуюся своего рода необязательным «привеском», как бы уступкой «несовершенным вкусам читателя». Эта тенденция отчетливо проявилась, например, в романе Седлачека «Луизиана пробуждается»: многие герои этой книги успевают в течение недели влюбиться, но никто не находит времени объясниться и все линии личных отношений остаются незавершенными и, главное, изображены совершенно схематично.

Мы полагаем, что эта тенденция в своей основе имеет стремление выделить в человеке основное—его отношение к труду, его, так сказать, общественное лицо. Но это законное стремление осуществляется нехудожественным путем, что и ведет к своего рода частичной характеристике, обедняет и то главное, что автор хочет показать, порождает схематичные образы.

Чешский и словацкий роман в своих лучших образцах достиг большого мастерства полноценного и многогранного изображения человека во всех его проявлениях. Можно ли, например, представить себе «Анну пролетарку» Ольбрахта, если «изъять» оттуда историю любви Тоника и Анны? Конечно, нет. И отношения Ондрея к Лидке в «Людях на перепутье», несомненно, являются частью того «воспитания чувств», которое проходит герой на казмаровских предприятиях.

Именно это целостное изображение человека во всех его проявлениях, умение раскрыть типические закономерности в неповторимой человеческой индивидуальности делает трилогию Пуймановой выдающимся явлением нового чешского романа. Усиление внимания к внутреннему миру человека, к его индивидуальному духовному облику — характерная черта ряда романов последнего времени. Несомненно, что Птачник именно благодаря тонкой индивидуализации образов своих героев, чешских юношей, угнанных оккупантами в Германию, сумел дать, пожалуй, самую яркую в чешском романе последнего времени картину рождения человеческого коллектива, представляющего огромную моральную силу.

И та трудная душевная борьба, которую вызвали в Брихе февральские события 1948 года, находит свое выражение не только в его политических мнениях, но и — более сложно и опосредствованно — в его чувстве к Ирене, в том смешанном ощущении уважения и недоверия, которое вызывает у него сослуживец коммунист Бартош, в сочувственной зависти к теплу и свету, которые он находит в семье своего соседа, рабочего Патеры.

В лучших книгах писателей Чехословакии реалистически изображается становление человеческого характера. Достаточно вспомнить, например, образ главы шахтерского семейства мамаши Гудец в «Сирене» Майеровой или образ Ондрея Урбана в «Людях на перепутье», в котором Пуйманова отразила одно из важных явлений тогдашней общественной жизни, пробуждение сознательности у рабочих, сбитых с толку псевдо-демократической демагогией. Этот процесс получает яркое художественное воплощение именно потому, что он связан с живым раскрытием неповторимых индивидуальных черт Ондрея, только ему свойственного взгляда на вещи, и естественные жизненные связи героя приводят к событиям, явившимся этапами на пути его прозрения.

Традицию романа, прослеживающего судьбу героя с ранних лет, успешно продолжает в последние годы В. Каня в своем романе «Испорченные войной», рассказывающем историю мальчика Станды в годы первой мировой войны и буржуазной республики. И здесь процесс превращения мальчишки-беспризорника в сознательного борца против капиталистической несправедливости изображен с большой художественной убедительностью.

Не менее ярко изображен этот же процесс формирования личности в результате взаимодействия между человеком и общественным окружением во многих романах, показывающих короткий период или переломный момент в жизни героя, например, в «Гражданине Брихе» или «Наступлении» Ржезача Так, динамичность и увлекательность «Наступления» обусловлена не только напряженными сюжетными коллизиями, но и тем, как живо и убедительно раскрываются в этих коллизиях индивидуальности четырех членов комиссии, приехавших в пограничье в одной машине и пошедших потом разными путями. В этих лучших произведениях чехословацкой литературы не классовая принадлежность фатально определяет характер героя, а герой в ходе действия становится на ту или иную сторону в общественной борьбе.

Конечно, писатель, обладающий ясной социалистической сознательностью, видит общественные факторы, формирующие характер и определяющие жизненный путь человека, иногда даже независимо от его сознания. Но изображение этих факторов становится художественным только тогда, когда они выступают в жизненной сложности и естественности. В противном случае становление характера заменяется молниеносной «перековкой», как, например, у героев Бернашковой, ряда персонажей Купки и многих других. Художественный успех достигнут тогда, когда писателю удается глубоко вскрыть диалектику личных и классовых интересов и стремлений, случайности и общественной необходимости, далеко не всегда прямо совпадающих. Так, случайным сцеплением событий вызвано в конце концов решение Бриха эмигрировать, но глубоко закономерно и то, что ему не удалось в этот решающий момент в истории родины сохранить позицию невмешательства, и то, что его ложные взгляды приводят этого субъективно честного человека на край пропасти, и то, что он все же вовремя останавливается. Решение Бриха вернуться с границы обратно подготовлено всей тонко раскрытой эволюцией этого цельного и яркого образа, в котором с большой убедительностью выражена основная мысль романа о неодолимости новой правды.

Художественное, реалистическое изображение эволюции человеческого характера непременно связано с раскрытием диалектики положительных и отрицательных качеств в человеке, их конкретного смысла. Именно так подходит Сватоплук к изображению образа Ланга в романе «Без шефа». У Ланга много положительных качеств, вызвавших доверие коллектива, избравшего его директором комбината, он — не

скрытый вражеский агент. Но, оторвавшись от рабочего коллектива, от партии, поставив собственные интересы, интересы карьеры выше интересов дела, он постепенно превращается в пособника врагов. К сожалению, удачно намеченная эволюция характера, отразившая важное общественное явление, не получает глубокого психологически достоверного раскрытия. Но Сватоплуку удалось все же поднять этот образ до известной высоты художественной типизации. Недаром в Чехословакии появился термин «лаиговщина».

Думается, необоснованно опасение Яна Рознера, что художественные возможности, которые дает конфликт нового и старого, могут быть в скором времени исчерпаны. Но критик, несомненно, прав, утверждая, что роман не может ограничиться только этим конфликтом.

Статичность, нежизненность характерны для тех героев чехословацкого романа, которые представляют собой рационалистически сконструированное воплощение определенных сторон общественной действительности. И это, в первую очередь, относится к образу положительного героя. Чехословацкая критика уделяет очень много внимания проблеме создания образа нового героя именно потому, что этот вопрос представляет значительные трудности для молодой литературы.

Особенно часто в качестве «идеального героя» выступал партийный руководитель. Он появлялся в произведении с исключительной целью «воплощать руководящую роль партии», участвовал в действии только тем, что разрешал трудные вопросы производственного или даже семейного характера и не проявлял, да и не имел возможности по своей роли в произведении проявлять какие-либо индивидуальные человеческие качества.

Удача образа Бартоша в «Гражданине Брихе» во многом объясняется тем, что он имеет в романе свое, так сказать, «сквозное действие», проявляющееся в его чувстве к Марии Ланд, в сложных отношениях с Брихом и с другими сослуживцами. Бартош не только воздействует, он и сам испытывает воздействие людей и обстоятельств, меняется в ходе действия, радуется и страдает, ошибается и торжествует. Активной фигурой, носителем романического действия является Багар в «Наступлении» Ржезача, один из любимых чехословацкими читателями литературных героев. И гораздо менее удачным представляется и этот образ и образы других положительных героев во второй части задуманной Ржезачем трилогии — в романе «Битва», прежде всего потому, что они не столько борются, сколько плывут по течению, со всей несомненностью влекущему их к победе. Их действия заключаются, главным образом, в прениях на заседаниях. И такая позиция заставляет их терять индивидуальные человеческие качества, превращаться в глашатаев истины, в схематичные образцы поведения. К такого рода образам относятся, по нашему мнению, Адамец у Бернашковой, Черный у Седлачека, Никодим у Сватоплука и ряд других персонажей. Чехословацкие товарищи справедливо считают, что это связано с созданным в обстановке культа личности неверным представлением об облике партийного руководителя. Бурианек отмечает эволюцию образа коммуниста от персонажей, стоящих высоко над окружающими и самолично решающих все вопросы, к образам более скромным и незаметным по внешности, но сильным своим человеческим обаянием, жизненной мудростью и уважением к коллективу, как Паздера у Сватоплука, Доубрава у Купки, Бартош у Отченашека, добавим — Ионаш у Лазаровой.

Разрешая трудную задачу создания образа нового героя, чехословацкие писатели используют богатую национальную традицию изображения героя-борца у основоположников социалистического реализма в литературе Чехословакии — Ольбрахта, Майеровой, Илемницкого. Особенно глубоко характерные качества нового героя эпохи, носителя коммунистического мировоззрения, новой морали, активного борца за народное счастье воплощены в живых, глубоко индивидуальных образах бессмертного «Репортажа» Фучика.

Фучиковская традиция находит свое развитие в образах Гамзы и особенно Еленки в «Жизни против смерти» и в образе Гонзы в «Годе рождения 21-ом» Птачника, и в героях «Хроники» Илемницкого, и в образах многих героев сопротивления в чешской и словацкой литературе.

* * *

Путь развития чешского и словацкого романа ведет к более глубокому раскрытию внутренних конфликтов, борьбы мыслей и чувств в человеке. Естественно, что в центре внимания чехословацкой критики оказались в последнее время вопросы раскрытия психологии. Литераторы утверждают, что в чешском и словацком романе были оттеснены на задний план такие приемы характеристики, как внутренний монолог, прямая передача мыслей героя, анализ причин его решений. Все эти приемы догматическая критика объявила «болезненным психологизированием», и на этом основании они изгонялись из романов.

Думается, что в угоду этой тенденции такой, например, тонкий мастер изображения человеческой психологии, как Ржезач, иногда обедняет внутренний мир своих героев, особенно положительных. Так, Ржезач во всей глубине и сложности изображает в «Битве» противоречивые отношения между эстетствующим буржуа Пюхлером и дочерью судьи Аленой, безуспешно пытающейся вырваться из того круга, в который замкнул ее собственный эгоизм, праздность, душевная опустошенность. Но как бедно и схематично изображена здесь любовь Багара и Здены!

Закономерно, что чехословацкий роман является прежде всего романом действия. Это связано с изображением активного ге-

роя-борца и бурно меняющейся действительности. Но несомненным недостатком является невнимание к интеллектуальному миру героя, связанное, как справедливо считают чехословацкие критики, со скованностью в развитии марксистской мысли в обстановке культа личности. И в этом отношении новаторскую роль сыграл в последнее время «Гражданин Брих», в котором дается смелый и точный анализ мысли героя, трудных поисков правильного мировоззрения, и борьба общественных сил, напряженно и увлекательно изображенная в романе, протекает и как борьба за сознание героя.

Замечательное мастерство анализа тонких душевных движений мы найдем, например, в ряде произведений Ольбрахта, в «Прекраснейшем мире» Майеровой, в «Рубеже» Ржезача, в романах А. М. Тильшовой, Ф. Краля и других.

Чехословацкие критики много говорят о мастерстве внутреннего монолога у К. Чапека. Мы бы прибавили к этому замечательные, своеобразные внутренние монологи у Пуймановой, где взволнованный или чуть иронический голос автора как бы сливается с голосом персонажа, передавая не только его мысли, но и их оценку. Большого мастерства изображения борьбы идей, острых конфликтов в интеллектуальной сфере достигает И. Ольбрахт в романе «Странная дружба актера Есения». И путь развития современного романа с несомненностью доказывает, что он следует именно этой реалистической традиции.

В последнее время в Чехословакии появился ряд романов, которые свидетельствуют о более многостороннем и глубоком подходе к человеку, знаменуют поворот к более тонкому психологическому мастерству. Тут следует назвать «Гражданина Бриха» Отченашека, «Год рождения 21-ый» Птачника, «Осиное гнездо» К. Лазаровой, «Девичье поле» Кржижа, «Ящичек с живыми» Н. Фрида.

Внутри современного чешского романа существует большое богатство индивидуальных стилей. Можно многое сказать о чарующей иронии Пуймановой, о ее удивительной свежести видения и тончайшем мастерстве создания неповторимых человеческих образов. Ее авторская речь, в которой с таким обаянием проявляется индивидуальность писательницы, непохожа на лаконичный, как бы передающий напряженный темп и драматичность изображаемого стиль Сватоплука. Динамичность сюжета отличает романы Ржезача от медленно текущего повествования Птачника с его поэтическими картинами видимого мира, и точный, глубокий психологический анализ — своеобразное качество таланта Отченашека.

Все эти разные по художественному облику писатели вносят глубоко индивидуальный вклад в развитие чехословацкого романа, но всех их объединяет одно общее стремление — активно участвовать в деле построения социализма.

Думается, что и в дальнейшем чехословацкий роман ждут успехи на этом пути.

* * *

Конечно, на чехословацкую литературу оказало вредное влияние некритическое отношение к слабым, схематическим произведениям советской литературы. Об этом сейчас справедливо говорят и чехословацкие товарищи. Но, наряду с этим, они говорят и о большом положительном значении примера и опыта советской литературы. Несомненно, что советская литература, особенно произведения таких мастеров социалистического реализма, как Горький, Маяковский, Шолохов, А. Толстой, сыграли благотворную роль и для писателей Чехословакии, как и для писателей многих других стран. Опыт советской литературы помог им найти художественные способы для изображения новой действительности, нового героя времени, для выражения нового социалистического сознания, помог им в создании литературы, служащей народу, борющейся за коммунистический идеал. Эту роль советская литература играет и сейчас.

Передо мной лежат последние номера чехословацких журналов. Как живы и разнообразны их отклики на новые явления советской литературы. Здесь мы найдем главы из второй части «Поднятой целины» Шолохова, «Времена года» и «Сережу» В. Пановой, отрывки из прозаических произведений С. Щипачева и К. Паустовского, «Трудную весну» Овечкина, стихи П. Антокольского, Н. Заболоцкого, Л. Мартынова, Б. Слуцкого, О. Берггольц. В издаваемом в Брно журнале «Гост до дому» появилась статья о новой советской прозе, в которой выделены как крупнейшие достижения последнего времени произведения Овечкина, Тендрякова, Троепольского, роман А. Рыбакова «Екатерина Воронина», рассказы С. Антонова и других писателей. В этом же номере мы можем прочитать рецензию на сборник стихов М. Исаковского. А в журнале «Светова литература» мы читаем рядом с рецензией В. Достала на роман Э. Казакевича «Дом на площади», статью С. Штут «У карты нашей литературы», перепечатанную из «Нового мира». Тот же журнал опубликовал ряд писем М. Горького, содержащих мысли великого писателя о сущности социалистического искусства. Все эти примеры, выбранные из множества подобных, говорят о том, какую важную роль играет советская литература в духовной жизни Чехословакии.

Опираясь на свою богатую национальную традицию, на лучшие достижения мировой литературы, используя опыт советской литературы, писатели Чехословакии ищут новые пути создания подлинно художественных произведений.

Ю. Юзовский

Бертольт Брехт и его „Добрый человек"

Перед самой смертью Брехта, такой неожиданной и всех нас поразившей, особенно поразившей тем, что хотя он многое уже сказал, но казалось, главное еще только скажет,— перед самой его смертью я получил от него письмо, извещавшее, что он и его театр «Берлинер ансамбль» приглашены на гастроли в Москву.

Жизнерадостной нотой было пронизано это лаконичное письмо.

Случилось так (дело было летом), что я приехал из-за города и нашел письмо Брехта рядом с газетой, объявлявшей о его смерти. Был разительный контраст между двумя этими сообщениями, контраст донельзя обидный.

Видно было, в каком настроении писалось полученное письмо: наконец Москва, наконец-то Москва, после триумфов его театра в Париже и Лондоне, после того как его пьесы обошли многие сцены мира, вызывая горячий отклик зрителей и страстные споры театралоз, — с этим итогом он едет в Москву, которая часто бывала источником, откуда он черпал свои идеи — общественные, литературные, театральные! И вдруг — эта черная рамка.

Было тут еще нечто другое, в этом письме, что, впрочем, я почувствовал еще раньше, весной того же года, когда из Берлина прибыл ящик с его пьесами, книгами и литературой о нем в сопровождении письма, приглашающего со всем этим ознакомиться, поскольку... поскольку у нас в Москве с этим все же мало знакомы.

Был понятен этот намек, этот скрытый упрек, этот проникнутый веселым недоумением, впрочем, без всяких претензий, но не без горечи, намек. И в самом деле! Знают ли у нас Брехта, выдающегося драматурга современности, Брехта, который предназначил себя для масс, Брехта, по своим идеям, по самому своему жанру т р и б у н а? Знают ли его у нас сколько-нибудь широко, сколько-нибудь серьезно?

Есть здесь о чем подумать, о ком подумать, речь идет в первую очередь об иных режиссерах, о так называемых ведущих режиссерах! Я скажу об одном из них (во всяком случае, об одном), который (он же прекрасный актер) в последние годы играет преимущественно одну-единственную роль, достигнув возможного в этой области совершенства, а именно: роль представителя; он представляет то или это, тут или там, и так полно вошел в эту роль, так комфортабельно себя в ней чувствует, так все, помимо этой роли, кажется ему второстепенным и неважным, что я не знаю, задумывается ли он порой над тем, что он в результате собой представляет?

Он не загордился, о нет, он охотно поделится с вами своими переживаниями, если только (он скромен!) вы захотите его выслушать!

С достойной меланхолией он начнет с того, что если бы он получил внешнюю возможность и так далее раскрыть свои внутренние возможности и тому подобное, если бы его бездействующий, увы, режиссерский рычаг и так далее получил бы точку опоры в достойной его драматургии и тому подобное, то...

Тут ведущий режиссер умолкает в надежде, что чуткий собеседник с жаром продолжит его мысль и скажет, что в этом случае, конечно, наш режиссер «перевернул» бы театр так же, как в свое время сделал это Станиславский, опираясь на Чехова и Горького, или, скажем, Мейерхольд, опираясь на Маяковского и Вишневского. Однако собеседник, нарушая предложенный режиссером тон беседы, спрашивает:

— А Брехт? Скажем, Брехт? Брехт, например? Какое поле, нераспаханное поле для ваших режиссерских замыслов, которые, как вы подозреваете, в вас зреют! Вы неоднократно декларировали насчет того, какой должна быть и какой не должна быть драматургия для того, чтоб она вас удовлетворила: она не должна отставать, она должна идти вперед, она должна быть идейной, она не должна быть безыдейной, она не должна быть ремесленной, она должна быть художественной и прочее, и прочее, не буду повторять ваших речей, ваших статей, которыми вы нас всех, в том числе и себя самого, изрядно уморили. Отлично —

за чем же дело — вот она, эта драматургия, опыт этой драматургии — современной, передовой, идейной, художественной. А где же вы, как понять ваше гордое одиночество? Знаю, что́ вы сейчас скажете: культ личности и его последствия в области искусства — администрирование, бюрократическая опека, зажим инициативы и т. д. и т. п. Да, но не кажется ли вам, что время уже не только переживать все это, но при этом что-то еще и делать? Рискнул же один из театров после огромного перерыва поставить «Оптимистическую трагедию», а другой «Баню», и с каким успехом! Чем бы вы рисковали, если бы рискнули поставить Брехта, тем более, что и раньше, между нами, в этом не было особенного риска?! Вспомните вашу молодость — чего вы только тогда «загибать не умели»?

Здесь наступает пауза, после которой «ведущий» с меланхолией, усугубленной тем, что недооценили его чувствительности, впрочем, сокрушенно кивая головой, говорит, что — конечно, конечно,— если бы его режиссерский голод и так далее, могла бы удовлетворить высококалорийная драматургическая пища и тому подобное, если бы...

Он говорит и говорит, а вы, слушая его, с ужасом начинаете подозревать, что ему больше нравится переживать, чем действовать, ибо если в первом случае вы еще склонны поверить, что в нем что-то заложено и так далее, то, во втором вы, пожалуй, усомнитесь, заложено ли там что-либо, и тому подобное.

Если режиссер А. отнесет все вышеизложенное к режиссеру Б., а режиссер Б. к режиссеру А., то, возможно, они оба окажутся правыми, и прискорбно будет, если они почувствуют себя задетыми выпадом, который мы себе позволили (самым незначительным из тысячи имеющихся у нас в запасе), вместо того, чтоб, ориентируясь не столько на самолюбие, сколько на совесть, задаться всерьез вопросом: почему в своих репертуарных поисках они все видели, высмотрели, а слона-то и не приметили?!

В упомянутом письме Брехт просил содействовать установлению контактов с советской общественностью — и вот хотелось бы для начала представить вниманию читателя самую любимую пьесу Брехта «Добрый человек из Сезуана».

Поэт и философ встречаются в этой пьесе, так же как и других брехтовских пьесах, несколько иначе, чем это происходит в традиционной драме,— они не сливаются и, вместе с тем, не соперничают, они распространяют свою власть над зрителем, апеллируя не только к его сердцу, но к его разуму, ставя на этом последнем определенный акцент. И надо сказать, что все опасения и все предостережения насчет того, что эта тенденция поведет к рационализму и даже резонерству (вообще говоря, подобный уклон не исключается), все эти зловещие и даже злорадные прорицания оказались неосновательными, судя по блестящим опытам Брехта и проверке их сценой.

У Брехта есть определенная задача, можно сказать, художественная программа, которой он упорно и упрямо добивается: он хочет, чтобы его зритель не только страдал и радовался, не только испытывал симпатию к одним и антипатию к другим, он, наконец, не ограничивается тем, чтобы сквозь все испытания, которым он подвергает чувства зрителя, в душе зрителя откладывалась, складывалась та мысль, которую он вложил в свою пьесу как известную концепцию. Нет, он хочет также, чтобы зритель думал, чтобы он мыслил в самом процессе своих чувствований, чтоб он не поглощался своим страданием, своей радостью, своей любовью, своей враждой, чтобы без ущерба для полноты, для яркости эмоций не дремала в то же время его мысль — разбуженная, деятельная, осмысливающая этот опыт чувства. Мысль, мышление, которое не только расширяет масштаб познаваемого мира, но приносит также и эстетическое наслаждение и, хочется сказать, внушает гордость самим собой — человеком, который состоит не только из впечатлений, но, так сказать, еще и из уразумений.

Этот принцип, утвержденный в драматургии Горьким, смело развил Брехт, его новаторство носит явные приметы эпохи, когда человеку недостаточно чувствовать на себе исторические закономерности, но важно еще и осознавать их и, наконец, управлять ими,— принцип построения жизни не только на основе исторической интуиции и стихийного приспособления, но также исторического разума. Разве теория и практика научного социализма не должна была найти свой отклик в искусстве?

Вот мы его и обнаруживаем и предполагаем, что он открывает перспективу дальнейшего развития мировой драматургии, давая выход уже имевшимся в ней, но прозябавшим резервам, способствуя ее освобождению от стесняющих ее норм, после того как она однажды уже освободилась от сковывающих ее правил аристотелевской поэтики.

Следовательно, смелость и неожиданность брехтовских драматургических идей нельзя приписать ни капризам его драматургического вкуса, ни даже отнести полностью за счет его индивидуального стиля, ни даже закрепить за какой-нибудь школой или течением. Корни тут уходят значительно глубже.

Когда брехтовский герой обращается непосредственно к публике, оставаясь в образе или чуть поднимая маску, чтоб показать лицо актера, то защитник традиций может сказать, что этот прием, и раньше довольно известный и при его применении время от времени нарушавший течение драмы, приобретает у Брехта настолько систематический или, точнее сказать, органический характер, что ведет к недопустимому разрушению сценической иллюзии Последняя же состоит в том, что герои не подозревают, что за ними и их отношениями смотрят со стороны, да и тот, кто смотрит со стороны, допускается к этому при условии невмеша-

тельства в ту жизнь, которая протекает перед ними как независимая от него объективная данность.

Брехт считается с этой иллюзией, однако не делает из нее фетиша и мог бы возразить тем, кто доводит этот принцип до полного тождества сцены и жизни, что даже самый восприимчивый зритель, как бы он ни предавался иллюзии, отдает себе отчет в том, что это иллюзия, и хотя этот зритель тяжело переживает, когда Отелло убивает Дездемону и самого себя, однако не доходит до такой одержимости, чтоб удивиться и, может быть, даже обидеться, когда оба мертвеца, словно посмеявшись над его доверчивостью, поднимаются и раскланиваются перед публикой.

Правда, есть люди, восторгающиеся легендой о том, как некий зритель настолько возмутился поведением шекспировского Яго, что выстрелил в него из зрительного зала, а затем, опомнившись, застрелился сам, как обоих похоронили вместе, написав на их могиле «Лучшему актеру и лучшему зрителю». Вероятно, Брехт сказал бы, что здесь уместнее была бы другая надпись — «худшему актеру и худшему зрителю», ибо оба они переступили порог искусства и очутились в жизни: и если такова была задача, зачем понадобился этот окольный путь искусства, когда легче было бы обойтись без него, стреляя подряд во всех мерзавцев, которые попались тебе в жизни, раз уже ты решил посвятить себя этому славному занятию.

Брехт пользуется этой способностью зрителя отдаваться иллюзии и знать, что это иллюзия. Брехтовская Шен Те общается со зрительным залом не только в смысле обычного контакта актера и публики, но и с целью вовлечь ее в дела пьесы, в размышления автора, не только показать ей объективный мир, но и ввести ее в эту объективность в качестве ответственного за нее лица, не позволяя отделаться, «освободиться» слезами или смехом, заставляя еще подумать и принять решение.

Отражается ли подобная установка на непосредственности впечатления, на силе впечатления?

«Добрый человек из Сезуана» прижился на многих сценах мира, а очевидцы последней премьеры этой пьесы в Варшаве рассказывали нам, что зрители следят за действием что называется не переводя дыхания, глубоко взволнованные судьбой Шен Те, которую в польском спектакле играет Галина Миколайска. Мы хорошо помним эту актрису, оставившую глубокий след в сердцах москвичей, когда она выступала в спектакле «Юлиус и Этель» в роли Этель во время гастролей Театра Польского.

Талант Миколайской есть талант простоты — безыскусной, проникновенной, скромной. Миколайска не то что хочет быть простой, она не может не быть простой — это сама ее натура, и актриса следит за тем, чтоб ничто не помешало этой натуре проявиться и чтобы, с другой стороны, не слишком ей «помогать». Самый звук голоса актрисы, движение руки вызывают к себе необъяснимое доверие, ей не нужно ничего особенно доказывать, стараться: она сказала, и мы ей верим. Мы представляем себе, как она играет роль Шен Те в пьесе Брехта и как заодно проверяет самого Брехта, ибо проверка простотой, чистотой самая «опасная» (и не только в искусстве), любая неестественность тотчас даст себя знать. Вот мы и подошли к самой пьесе Брехта.

Возможно, что актриса, которой поручили бы эту роль, захотела бы спросить: как ее играть? Ведь это двойная роль: в одной картине она — женщина, в другой — мужчина, следовательно, должно быть заметно, что здесь она — о н а, а там — о н, женская и мужская характерность — в поведении, физическом и духовном, в походке, жесте, взгляде, голосе, да еще подчеркнуто «женское» — женственность, подчеркнуто «мужское» — брутальность, так, чтобы люди на сцене, а когда нужно, и в зрительном зале не узнали, что Шен Те и Шуи Та одно и то же лицо. Этого-то контраста, собственно, и надо добиваться, ведь так? И так, и не так, ответили бы мы,— скорее даже не так. Понятно, что если в одном случае она — женщина, в другом — мужчина, то соответствующие признаки того и другого само собой разумеются. Но если актриса и режиссер, ею руководящий, соблазнятся этой задачей трансформации и сюда устремят все свое искусство, они могут оказаться за его пределами, во всяком случае за пределами искусства Брехта.

Превращая Шен Те в Шуи Та, Брехт воодушевлялся примерно той же мыслью, что Чайковский, когда в «Лебедином озере» Одиллию превращал в Одетту. Обеих исполняет Уланова, и перед нами сразу возникают два различных образа, тем более враждующих друг с другом, чем более они друг друга з н а ю т,— белоснежное оперение одной и зловеще черное другой словно выражают, проникают в их сущность, в их душевные движения, проявляющиеся наружу благодаря гениальной пластике Улановой. В Одиллии она защищает то, что ей дорого, а то, от чего она хочет избавиться, запечатлено в Одетте: подчеркиваем «избавиться», ибо оно, навязанное ей, насильственное в ней, вот почему Одетта — это з а к о л д о в а н н а я Одиллия.

Та же мысль у Брехта. У него здесь два полюса, воплощенных в живых человеческих образах, которые, однако, было бы упрощением свести к различным человеческим характерам обычной драмы,— они выходят за эти границы. Они не отягощены бытом и теми натуралистическими подробностями (когда двумя-тремя штрихами накладывают румянец жизни на бледные щеки), к чему так любит прибегать, кокетливо заметая следы, догматизм в искусстве.

Это живые образы, но тяготеющие к обобщениям, сходным с музыкальными идеями, глубоко проникающими в душу человека. Недаром брехтовский герой может свободно перейти от бытовой фразы к стихотворной строфе, не вызывая ощущения

искусственности и не мотивируя даже традициями условного театра — дело в том, что здесь проза и поэзия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, дело в том, что автор не только воспроизводит жизнь ту или эту, но и квинтэссенцию жизни. Читая пьесу Брехта, я вспоминал его лицо, добрую улыбку и пристально глядящие глаза.

Образ Шен Те — это и просто добрая девушка, но также авторская миссия добра. Если считать, что доброта это прежде всего потребность быть добрым, то у Шен Те эта потребность так же естественна, как потребность утолять жажду и, пожалуй, даже бо́льшая, потому что доставляет ей большее наслаждение. Доброта возникает в ней непроизвольно и неодолимо и доходит до такого уровня, когда Шен Те осознает свою доброту как нечто должное, как принцип, который она уже не может не высказать. Но благодаря такому возникновению этого принципа у Шен Те (от жизни, от сердца, а не от абстрактной морали) вам ни разу не приходит в голову, что эта милая девушка — философ, получившая задание от автора наставлять нас в истинах добра, ей самой это в голову не придет, хотя автор не скрывает своего участия, и его профиль обозначается на светлом фоне этого образа.

Когда на наших глазах Шен Те превращается в Шуи Та и ее легкая поступь сменяется мертвенной дробью его каблуков, когда — и это, нам кажется, главное — меняется тональность голоса (как говорится, в голосе вся душа), то перед нами не столько появляется мужчина вместо женщины, сколько один человек вместо другого человека, совсем иной человек, а точнее сказать,— н е ч е л о в е к вместо человека, которому все нечеловеческое не чуждо, нечеловеческое, проявляющееся столь же естественно, непроизвольно и логично, как человечное у Шен Те. Это вежливый и жестокий молодой человек дышит холодом, замораживающим душу, только что раскрывшуюся для добра. В нем нет ничего сверхъестественного — это банальная, можно сказать, пошлая ввиду своей ординарности и каждодневности фигура, однако же она вырастает до жуткого символа, ибо Брехт дает резкий, решительный рисунок, вот эту квинтэссенцию, ибо он не допускает никаких послаблений, никакого снисхождения нашим или его нервам: «Чтоб добрым быть, я должен быть жесток».

И вот она перед нами, эта бездушная сила — сила буржуазного общества — которая движется по инерции (только отдавшись машинальной инерции бездушия, можно сыграть эту роль — и не только в пьесе), движется маниакально, не разбирая, кто перед ней, эта чудовищная кукла, смешно было бы рассчитывать договориться с ней, воздействовать на нее, умолить ее, ибо она не подозревает за собой ничего предосудительного, зло есть ее добродетель, и она осознает себя как определенную закономерность — Шуи Та тоже владеет своим принципом.

Предполагаемая актриса, о которой мы говорили, готовясь к роли Шен Те, должна бы, на наш взгляд, уделить больше внимания душевной подготовке, чем внешнеизобразительной. И если бы эту актрису заинтересовал наш совет, то он заключался бы в том, чтоб актриса находилась среди людей, в особенности, может быть, среди детей, в их обществе, чтоб у ч и л а с ь быть доброй, подходила к людям с оптимистической гипотезой, как выразился бы Макаренко, старалась быть д о б р о ж е л а т е л ь н о й, искала в себе эти струны, добиваясь их звучания, чистого звучания, сдала бы для себя самой экзамен на человечность прежде, чем рискнуть выступить в этой роли. Все же остальное, что этому мешает, можно бы отнести по ведомству Шуи Та.

Ибо смысл пьесы состоит в том, что человек х о ч е т б ы т ь добрым, а в ы н у ж д е н б ы т ь з л ы м, что природа человека добро, а мир, в котором происходит действие, устроен зло, и вопрос, который ставит пьеса, выглядит так: как же быть, человеку ли приспособиться к этому миру, или этот мир приспособить к человеку? Ответ же, не навязываемый автором, напрашивается сам собой: если зло торжествует, пользуясь добротой добра, то ведь добро может взяться за ум и, если зло не уступит добром, принудит его к этому, обуздает тем способом, которому оно само подает пример,— мысль, которую можно выразить шекспировскими словами, уже приведенными нами, «чтоб добрым быть, я должен быть жесток!»

Брехт, несмотря на свою тенденциозность, а вернее, благодаря своей тенденциозности, позволяет себе быть максимально объективным, он настолько убежден, что выиграет его точка зрения, что бросает все карты на стол,— смотрите сами!

Добрый к человеку, поэт воспевает высшие блага человеческие — любовь и материнство. Однако, чтоб оставаться добрым, человек должен быть жестоким, и вот автор показывает изнанку этих благ: счастье Шен Те и ее возлюбленного возможно за счет несчастья двух любящих друг друга стариков, дитя Шен Те не будет голодно, если будут голодны другие дети,— такова механика этого мира, мира собственности и эксплуатации. Шен Те не может не превратиться в Шуи Та.

Существует ли иная точка зрения? Да, существует, освященная сединой веков, мудростью философов, воспетая поэтами. Ее уполномоченным в лице трех богов автор предоставляет широкую возможность ознакомиться с положением вещей на местах. А в результате обследования богам остается либо признать правду, с которой они имели неосторожность ознакомиться, либо закрыть на нее глаза, что они и делают, спасаясь бегством на розовом облаке. С печальной иронией смотрит им вслед Брехт.

Своей трагически прекрасной вершины пьеса достигает там, где Шен Те, превратившись в Шуи Та, все меньше в состоянии играть эту роль. И эта неспособность воз-

растает в ней по мере того, как она все больше чувствует себя матерью. Природа материнства — добро, а жизнь заставляет выступать ее против своей природы. Этой трагической коллизией был захвачен Горький, когда писал свою «Вассу Железнову». Недаром «Васса Железнова» и горьковская «Мать» были любимыми произведениями Брехта, и он их показал в своем театре.

Человек хочет быть добрым, дайте же ему эту возможность — вот простой смысл этой пьесы, вся ее суть, человек тут причина, человек тут и цель...

Брехт писал свою пьесу еще до образования Китайской Народной Республики. С тех пор прошло немало лет. Строительство нового общества в народном Китае является в этом плане как бы развязкой, которую дописала история к пьесе Брехта, является как бы ее ответом на упования «Доброго человека из Сезуана» и его автора.

В заключение вернемся к тому, с чего мы начали, к нашему театральному деятелю. Его ударило не только по самолюбию, но уже и по карману (государственному) то обстоятельство, что с некоторых пор очередь у кассы его театра не растет в том масштабе, какой он определил в своем воображении, а если растет, то, выражаясь фигурально, в обратном направлении. Озадаченный этим феноменом, деятель занялся проработкой вопроса о том, «что нужно зрителю?»

Во-первых, открыл деятель, нужна занимательная интрига, и с этой целью он стал добывать «отборнейшие» заграничные марки этого сорта, пьесы с фабулой, завинченной до отказа.

Второе открытие деятеля состояло в том, что нужна, оказывается, личная тематика, поскольку зритель одно время был сильно обойден в этом плане. Однако деятель возжаждал при этом такого реванша и столь ревностно принялся активизировать означенную тематику, что довел ее до уровня приснопамятного «интимного жанра».

Но вопреки прогнозам многоопытного знатока нашего зритель все же заполнял те залы, в которых шли героико-романтическая «Оптимистическая» и героико-сатирическая «Баня».

Быть может, после всех испытаний и передряг наш добрый знакомый не только будет гадать и выспрашивать с этой целью соседа, что же, наконец, нужно зрителю, но обратится также и к себе, заглянет в самую глубину самого себя, советского художника, чтобы там спросить себя, что нужно е м у с а м о м у, художнику, — и тут, пожалуй, может оказаться, что то, что нужно ему, нужно как раз и зрителю.

Н. Таманцев

Новое собрание сочинений Бальзака

Гослитиздат завершил издание нового собрания сочинений Бальзака, начатого пять лет тому назад. За короткий срок издательство подготовило и выпустило в свет пятнадцать томов художественных произведений, писем и статей Бальзака. Перед советским читателем во всем величии предстала фигура выдающегося французского художника-реалиста, задумавшего воссоздать в своей «Человеческой комедии» жизнь и нравы современной ему Франции. Издание собрания сочинений Бальзака — дань высокого уважения к имени и творчеству великого сына Франции и, вместе с тем, достойный вклад в дело культурного сближения советского и французского народов.

Высокий уровень рецензируемого издания становится очевидным при сравнении его с прежним собранием сочинений Бальзака (1933 — 1947 г.г.). Новое издание значительно шире прежнего по своему составу. Оно включает почти все значительные произведения «Человеческой комедии» и, кроме избранных драм и «физиологических очерков», входивших и в первое собрание, дополнено «Озорными рассказами», а также письмами, предисловиями и статьями Бальзака, никогда ранее у нас не издававшимися (за исключением небольшой их части, напечатанной в сборнике «Бальзак об искусстве» (1941), который давно уже стал библиографической редкостью).

О составе собрания сочинений можно высказать лишь частные критические замечания. Так, например, напрасно не включены в издание романы «Лилия в долине» и «Сельский священник», философская повесть «Палач». Каждое из этих произведений уточняет творческий портрет писателя, и опускать их в столь полном собрании не было серьезных оснований.

Большую помощь читателю, наряду с алфавитным указателем произведений, оказал бы, несомненно, еще один вспомогательный указатель, а именно: список персонажей «Человеческой комедии».

Бесспорным достижением нового издания является качество переводов, подавляющее большинство которых выполнено на высоком профессиональном уровне. Коллектив переводчиков и редакторов, пополнившийся новыми именами, с честью справился с трудной и благородной задачей — сделать собрание сочинений французского писателя достоянием советской культуры. Сохранивший индивидуальную манеру языка и стиля Бальзака и в то же время подлинно русский по форме, перевод собрания сочинений является новой победой советской переводческой школы.

Среди сделанных заново следует отметить переводы «Беатрисы» (Н. Жарковой), «Музея древностей» (В. Станевич), «Комедиантов неведомо для себя» (А. Кулишер), «Озорных рассказов» (Н. Соколовой и С. Вышеславцевой). Обращают на себя внимание также новый перевод «Тридцатилетней женщины» (А. Худадовой) и появлявшиеся уже в печати «Гобсек» и «Шуаны» (Н. Немчиновой), «Утраченные иллюзии» (Н. Яковлевой), «Драма на берегу моря» (А. Кулишер), «Надежды Кинолы» (М. Лозинского). Необходимо отметить также и работу редакторов издания, в первую очередь В. Дынник и Н. Немчиновой, роль которых в подготовке собрания сочинений Бальзака не менее значительна, чем работа переводчиков.

Конечно, не все переводы равноценны. Не вполне, скажем, удовлетворяет несколько сниженный, упрощенный, лишенный приподнятости бальзаковского стиля перевод «Предисловия к «Человеческой комедии» — этого блестящего образца эстетической мысли Бальзака. Изобилует тяжелыми и иноязычными оборотами перевод «Отца Горио». «Вот вам моя прежняя жизнь *в трех словах*» (калька с французского en trois mots, говорит Вотрен Растиньяку). В переводе много архаизмов, но в то же время он явно прозаизирован. Отдельные неточности встречаются в перево-

О. Бальзак. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Т. 1—15. М. Гослитиздат, 1951—1955.

дах «Сцен частной жизни» и т. д. Но эти частные неудачи ни в коей мере не нарушают хорошего впечатления от переводов собрания сочинений в целом.

Новое собрание сочинений Бальзака рассчитано прежде всего на массового читателя, и поэтому его историко-литературный аппарат предельно сокращен: он сведен к вступительной статье и к историко-литературным и реальным комментариям к каждому из томов. Подобное сокращение научного аппарата возражений не вызывает. Первое собрание сочинений Гослитиздата перегружено статьями и комментариями, которые, хотя и содержали немало интересных наблюдений, но носили подчас узко специальный характер, и к тому же были лишены единства и целеустремленности.

В рецензируемом издании эта целеустремленность пронизывает весь его научный аппарат. Редакторы издания поставили своей задачей показать читателю обличительный смысл и конкретно-историческое наполнение всего многообразного и сложного творчества Бальзака. «Глубокое понимание реальных отношений, умение прорваться сквозь мифы и легенды к трезвой материальной основе буржуазного существования, кропотливое исследование страшных последствий господства частной собственности, многообразных по форме, но совпадающих в своей бесчеловечной сущности, — таковы черты критического реализма Бальзака», — говорится во вступительной статье к первому тому. Статья (автор А. Иващенко) заключает в себе идейно-тематический анализ творчества Бальзака, начинающийся с изложения эстетических взглядов писателя. За этим следует рассмотрение главных тем и основных образов «Человеческой комедии», позволивших Ф. Энгельсу узнать из произведений Бальзака «больше, чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых». В статье показано, каким правдивым свидетельством исторически сложившегося положения вещей во Франции эпохи Бальзака явилась его «Человеческая комедия».

В литературных комментариях к отдельным произведениям общие положения вступительной статьи развиваются на конкретном материале. Так, философский роман «Шагреневая кожа» получает в комментарии к тринадцатому тому более подробную характеристику в развитие основного тезиса статьи о губительном воздействии буржуазного общества на нравственность, талант и чувства человека. Роман «Шуаны», упомянутый в статье лишь как первое зрелое произведение писателя, находит в одиннадцатом томе социально-исторический комментарий и т. п. Все пояснительные тексты содержат краткую историю публикации, иногда творческую историю произведений и ряд других фактических сведений. За немногими исключениями (к числу которых следует отнести ошибку автора комментария к первому тому, приписавшего Бальзаку на стр. 662 легитимизм в то время, когда тот еще был либералом) в статье и примечаниях дана в общем правильная оценка социальной значимости произведений Бальзака и степени их исторической достоверности.

Представление читателя о Бальзаке обогащается тщательно составленной летописью жизни и творчества Бальзака, помещенной в 15-м томе (автор летописи И. Лилеева).

Тем не менее, к научному аппарату издания приходится предъявить целый ряд серьезных претензий. Социальный смысл художественого произведения далеко не ограничивается суммой заключенных в нем политических взглядов писателя или социальных выводов, которые можно и нужно сделать из произведения. Этот смысл значительно шире и определяется не только социально-политическими представлениями писателя, как получается у авторов статьи и комментариев, но *всей системой* его мировоззрения, в которой политические взгляды не всегда составляют самую значительную и ценную часть, тем более, что они могут оказаться консервативными, как это и случилось у Бальзака после 1830 года. Заметим, кстати, что эти взгляды писателя не обязательно совпадают со взглядами его политических единомышленников. Так, именуя католицизм и монархию «вечными истинами», Бальзак был совершенно свободен от личной симпатии к партии легитимистов и называл ее «отвратительной». Его легитимизм представлял собою скорее своеобразную философско-этическую концепцию, нежели свод традиционных политических убеждений.

Все это, конечно, было хорошо известно коллективу литературоведов, работавших над изданием Бальзака, и, тем не менее, во вступительной статье и комментариях Бальзак-мыслитель, с его высоким нравственным пафосом и философским беспокойством, не получил выразительной характеристики. Бальзак оказался лишенным сложившейся и продуманной системы взглядов, этических идеалов и эстетических принципов, так как никакие ссылки на «вдумчивость», «честность», «прозорливость» писателя, на «своеобразие его реализма» не могут заменить серьезного анализа его мировоззрения.

Вот почему разговор о важнейших эстетических манифестах Бальзака, начиная с «Предисловия к «Человеческой комедии», во многом свелся к поверхностным аналогиям, ошибочным противопоставлениям и странным обвинениям писателя в неумении «возвыситься до диалектического взгляда на практическую деятельность людей» (т. 1, стр. IX). Неясным остался поэтому и смысл членения «Человеческой комедии» на этюды нравов, этюды философские и аналитические. А между тем, читателю это было бы важно знать. Это членение не столь условно и произвольно, как оно представлено во вступительной статье, и определяется отнюдь не только желанием «исчерпывающе многосторонне» изобразить свою эпоху, но

и философски осмыслить ее, что явствует из предисловия к «Человеческой комедии» и из других выступлений Бальзака.

Обедненными оказались и исторические взгляды писателя. Так, за фактической историей вандейского восстания в «Шуанах» авторы примечаний к одиннадцатому тому не сумели увидеть широкой философско-исторической концепции Бальзака, сложившейся у писателя еще в «школе Вальтер Скотта», влияние которого они объясняют только «интересом Бальзака» к воспроизведению «местного колорита», то есть по сути дела, сводят к эпигонству.

Годы ученичества Бальзака не освещены ни в статье, ни в примечаниях.

Реализм писателя рассматривается в издании как антипод романтизма, хотя хорошо известно, что Бальзак воспитывался именно в традициях романтического движения двадцатых годов XIX века. Полемика Бальзака с некоторыми явлениями романтической литературы тридцатых годов представлена как борьба со всем направлением в целом, которому во вступительной статье приписаны «произвол и субъективизм» и некий нравственный индифферентизм. Старые, давно отвергнутые нашей наукой противопоставления реализма романтизму, как истинного искусства — ложному, к сожалению, вновь появились на страницах собрания сочинений Бальзака.

От небольшой вступительной статьи и кратких историко-литературных справок мы не могли, разумеется, ожидать исчерпывающей полноты в освещении творчества писателя. Однако, принимая во внимание, что статья и комментарии ставят важные проблемы творчества и эстетики Бальзака и претендуют на обобщающий характер, мы вправе требовать от них хотя бы сжатых ответов на вопросы об особенностях художественного метода Бальзака, о литературных, философских и эстетических источниках его творчества, о связи творчества с мировоззрением писателя и о том, наконец, что же до сих пор волнует читателя в произведениях великого французского реалиста.

Эти вопросы, к сожалению, оставлены без ответа. Точнее говоря, в подавляющем большинстве случаев эти ответы в комментариях ограничиваются аннотациями и оценками с сильно выраженным привкусом вульгарной социологии. Например: «Наибольший интерес в этой «сцене частной жизни» («Дом кошки, играющей в мяч».— *Н. Т.*) представляет характеристика быта и нравов французской торговой буржуазии начала XIX в.» (т. 1, стр. 658); «на примере членов семьи де Фонтэна... («Загородный бал»,— *Н. Т.*) Бальзак реалистически показывает процесс поглощения и растворения старинных дворянских родов крупной буржуазией» (т. 1, стр. 660); в повести «Дочь Евы» Бальзак «реалистически изображает и резко осуждает алчность и бессердечие французской финансовой буржуазии периода Июльской монархии» (т. 1, стр. 666). Основное значение всемирно-известной «Тридцатилетней женщины» сводится, оказывается, к «разоблачению истинной сущности буржуазно-аристократической семьи» (т. 2, стр. 627). Сложный многоплановый образ знаменитого бальзаковского ростовщика-философа Гобсека является всего-навсего «олицетворением страшной власти денег» (т. 3, стр. 662); тема «Полковника Шабера»—«буржуазное хищничество, разлагающее семейные отношения» (т. 3, стр. 663); и даже женитьба Бальзака на Э. Ганской рассматривается как «звено в цепи» его попыток «обеспечить материальную независимость от буржуазного общества» (т. 1, стр. VIII)!

Спору нет, Бальзак был одним из самых прозорливых людей своего времени, не случайно Маркс назвал его писателем, «замечательным по глубокому пониманию реальных отношений», а Энгельс пользовался сочинениями Бальзака как источником важных экономических сведений. Но из этого вовсе не следует, что сложная проблематика творчества Бальзака может быть сведена к нескольким простейшим экономическим или социальным формулировкам, как получилось, хотели они того или нет, у авторов статьи и литературных комментариев. Вместе с тем, подобные формулировки лишили Бальзака его писательского своеобразия, стерли неповторимые краски его произведений.

Реальный комментарий в общем составлен удовлетворительно, он достаточно точен и сжат. Но и он оказался не свободным от следов небрежности. В отдельных случаях (и, к сожалению, нередких) он сведен к обычной (иногда излишне подробной) энциклопедической справке и не разъясняет контекста, в котором употреблено то или иное понятие, термин, имя. Так, например, текст Бальзака «каждый швыряет камень в князя, который... не допустил раздела Франции» комментируется ничего не объясняющей и к тому же грубо тенденциозной справкой о Талейране (т. 3, стр. 659); по поводу слов «между холмами Монмартра и пригорками Монружа», означающих всего-навсего «в пределах Парижа», сообщаются не идущие к делу сведения о том, что южная и северная окраины Парижа холмисты (т. 3, стр. 656)...

Очень многие места текста остаются из-за отсутствия примечаний непонятными. В одном только романе «Отец Горио» мы насчитали около двух десятков таких мест. Вот несколько примеров. Слова г-жи Воке «плакали, точно Магдалина Элодийская» (т. 3, стр. 164) требуют объяснения, так как хозяйка пансиона говорит явную бессмыслицу, путая библейскую Магдалину с Элодией — героиней модного тогда французского писателя Д'Арленкура. Ироническое сравнение той же г-жи Воке с римским полководцем Марием на развалинах Карфагена, а ее сетований — с жалобами байроновского Тассо (т. 3, стр. 194) также нуждаются в комментарии. Слова Вотрена, обращенные к начальнику тайной полиции: «Прошли те времена, когда ты бывал веж-

лив» (т. 3, стр. 179) непонятны, если не знать, что последний в прошлом был таким же каторжником, как и Вотрен.

Вообще принцип комментирования не ясен. Комментатор объясняет, что такое всем хорошо известная Сорбонна (т. 6, стр. 650), но ни словом не обмолвился о Коллеж де Франс (т. 3, стр. 31); рассказывает, кто такой Тициан, но обходит молчанием Бенвенуто Челлини (т. 3, стр. 94).

Не обошлось и без ошибок. Учебное пособие аббата Ломонда, которым во времена Бальзака пользовались в коллежах при изучении латинского языка, приписано римскому историку Корнелию Непоту (т. 3, стр. 662); вместо Жоффруа Сент-Илера, вслед за комментатором французского издания собрания сочинений Бальзака, ошибочно назван Гете (т. 6, стр. 652).

При невнимании к мысли писателя, к содержанию его произведений, к их художественному своеобразию, теряют смысл собранные в 15 томе письма и статьи Бальзака, так же как и справки о датах замысла, написания, опубликования и прочие сведения о творческой истории произведений. К чему они, если с ними никто не считается? Неужели суждение Бальзака о «Дочери Евы» нужно приводить только для того, чтобы его опровергнуть (т. 1, стр. 666), а письмо писателя, в котором он говорит о том, что «Сцены частной жизни» созданы им в качестве иллюстрации к «Физиологии брака» (т. 15, стр. 552), печатать для того, чтобы пренебречь его мнением при анализе «Сцен»?

Научный аппарат издания — его наиболее уязвимое место. И самое досадное, что этого недостатка без труда можно было бы избежать. Следовало только использовать опыт и предыдущего издания и достижения всего советского бальзаковедения, а не строить комментарий на пустом месте. Когда читаешь вступительную статью и примечания, создается впечатление, что советского бальзаковедения вообще не существует. А между тем, советские литературоведы внесли значительный вклад в дело изучения творчества Бальзака. Не говоря уже о работах В. Гриба, Б. Грифцова и Б. Реизова, над исследованием Бальзака успешно трудится отряд не одного, а двух поколений литературоведов и критиков. Всем специалистам известно также, что французские бальзаковеды, несмотря на отдельные ошибки, заблуждения, а иногда и прямые искажения творчества Бальзака, сделали немало для увековечения памяти великого сына Франции. Прежде всего они подготовили превосходное издание его сочинений, которым, несомненно, пользовалась редакция, о чем, однако, нигде во всем собрании сочинений не сказано ни слова.

Редакция да и весь коллектив литературоведов во главе с А. Иващенко, под наблюдением которого осуществлялось издание, остались в большом долгу и перед нашими читателями, и перед советскими учеными и их французскими коллегами. Готовя издание, авторский коллектив должен был использовать все лучшее, добытое советским и зарубежным литературоведением, и, учтя его опыт, а отчасти и в полемике с ним, сказать массовому читателю в доступной форме последнее слово науки о великом писателе. Коллектив авторов этого не сделал и поэтому не сумел достигнуть им же самим поставленной цели—показать обличительный смысл произведений Бальзака и их конкретно-историческое наполнение. Не сумел потому, что сделать это можно, только считаясь с художественной спецификой литературного произведения, не сводя ее к выражению «сущности социальной силы», взятой, так сказать, «в чистом виде», без всякого учета законов отражения в искусстве.

Новое собрание сочинений Бальзака — большая творческая победа талантливого коллектива советских переводчиков, к сожалению, не подкрепленная достижениями советского бальзаковедения.

Б. Бялик

Пора начинать!

(ПО ПОВОДУ СТАТЬИ К. Т. ТЕПЛИЦА „КРУШЕНИЕ ПРОРОКОВ“ „НОВА КУЛЬТУРА“, 1956, №№ 38–39)

Более двадцати лет тому назад автор этих строк выбрал для своей диссертационной работы тему: эстетические взгляды Горького. Эта тема не получила вначале одобрения. Были высказаны сомнения в том, могут ли эстетические взгляды художника, не изложенные им самим в виде трактата, стать предметом специального научного исследования. Указывалось, что такая тема просто не даст достаточно материала для целой диссертации. Говорилось и об ошибках Горького. Особенно решительно возражал против выбранной мною темы один человек, утверждавший, что никаких эстетических взглядов, которые можно было бы привести в стройную систему, у Горького вообще нет. Этим человеком был сам Алексей Максимович Горький.

С тех пор и мною и многими другими были написаны десятки работ на тему, вызывавшую когда-то столько сомнений. Я меньше всего хочу здесь хвалить эти работы. Ухватываясь за отдельные формулировки Горького, брошенные им в пылу полемики, или даже за отдельные термины, имевшие у него весьма специфическое значение, мы иногда строили на этой зыбкой почве многоэтажные теоретические здания, за которые сам писатель нести ответственности не мог. Конечно, Горький был неправ, когда говорил, что у него нет целостной эстетической системы и что он ни в коей мере не является критиком, а о книгах судит лишь как читатель, любящий литературу. В этом сказывалась вся скромность великого писателя. Горький и как критик, и как теоретик искусства оставил большое и ценное наследие, без знания которого нельзя считать себя стоящим на уровне современной эстетической теории. Но неправы были и те исследователи, которые стремились подогнать все сложные и противоречивые искания Горького под одну заранее изготовленную схему, пытались изобразить литературные и эстетические взгляды писателя, неразрывно связанные с его творческими замыслами и непонятные вне этой связи, как некий теоретический катехизис.

Следует ли из всего этого, что заниматься указанной темой не надо было или что ею надо было заниматься меньше? Нет, из этого следует прямо противоположный вывод. Я особенно ясно понял это недавно, познакомившись с некоторыми статьями, появившимися в различных зарубежных газетах и журналах. Если в этих статьях иной раз дается крайне превратное толкование литературных взглядов Горького, то виноваты в этом не только авторы этих статей, уведенные в сторону от истины ложной концепцией или полемическим задором, но и мы, советские литературоведы, до сих пор не разъяснившие многого, что давно можно и должно было разъяснить.

В этой связи мне и хочется остановиться на статье Кшиштофа Теодора Теплица «Крушение пророков», опубликованной в польском еженедельнике «Нова культура». Ранее в польской печати уже раздавались голоса о том, что теоретические суждения Горького, содержащиеся в его докладе на Первом съезде советских писателей, были «легкомысленными» и явились одной из причин многих ошибок и бед литературы. Теперь нечто подобное утверждает и Теплиц. Но он не хочет ограничиваться бездоказательными заявлениями. Он требует от других и от себя самого конкретно-исторического рассмотрения вопроса, обращения к реальной действительности, к фактам. Достаточно уже было мифов в наших литературно-теоретических построениях — необходима голая правда! Достаточно было заклинаний, откровений, пророчеств — необходимо рациональное знание! Таковы установки Теплица. И вот, если при этих установках получились очень далекие от них результаты, если картина, нарисованная в статье «Крушение пророков», вступила во многом в разлад с истиной и оказалась новым видом мифотворчества, то дело здесь не только в предвзятости исходных позиций, не только в том, что волна литературной дискуссии подхватила критика и понесла его на себе. Дело здесь и в недостаточном знании фактов, ибо некоторые свои обвинения в адрес Горького Теп-

лиц просто не смог бы произнести, если бы знал, как они явно, бесспорно, наглядно несправедливы.

Статья Теплица не посвящена специально Горькому — она охватывает широкий круг вопросов советской и польской литературы. О Горьком, о его литературных взглядах Теплиц говорит попутно, «обосновывая» свое отрицательное отношение к социалистическому реализму. Однако то, что он об этом говорит, имеет принципиальное значение, составляя едва ли не главное теоретическое ядро его статьи. Стремясь раскрыть объективный смысл суждений Горького, высказанных им на Первом съезде советских писателей, Теплиц отмечает «особый привкус», который приобрел весь этот съезд в обстановке тридцатых годов. На съезде, как кажется Теплицу, была сделана попытка ликвидировать ленинские нормы жизни в области литературы и утвердить здесь «новый курс». И вот Горький, оказывается, помог этому тем, что, выступив с критикой буржуазного искусства, противопоставил ему, главным образом, фольклор — «самодеятельное», «необученное» творчество. По мнению Теплица, это означало ставку на слои, «отсталые в культурном отношении».

В статье «Крушение пророков» Горькому предъявляется упрек в том, что он умолчал «об очень живой в ленинское время проблеме стремления пролетариата и крестьянства к культурному прогрессу, которое должно было повлечь и повлекло за собой возникновение искусства, в формальном отношении «просвещенного», «интеллигентского», а в идейном — совпадающего с устремлениями народных масс». Таким образом, получается, что Горький был человеком, удовлетворенным отсталостью некоторых слоев и равнодушным к задаче их интеллектуального развития, человеком, который желал повернуть искусство вспять — от новейших его достижений и открытий к первоначальным примитивным формам. Теплиц делает оговорку, что «нет причины сомневаться в субъективной честности Горького». Но тогда в чем же дело? А в том, что Горький подпал под влияние «нового курса», связанного со стремлением «нейтрализовать оппозиционные элементы» в среде интеллигенции и заручиться поддержкой малокультурных и поэтому более «поддающихся мистификации» слоев.

Следует отметить, что Теплиц — не первый литератор, который в суждениях Горького о фольклоре, содержащихся в его докладе на съезде писателей, хочет видеть нечто конъюнктурное, продиктованное потребностями политического момента. В статье М. Бошкович-Стулли «Проблемы фольклористики в СССР», появившейся в 1955 году в югославском альманахе «Погледи», также говорилось, что эти суждения были «не индивидуальной концепцией Горького, а общим сбдуманным курсом». М. Бошкович-Стулли ставила вопрос несколько иначе, чем Теплиц. Она тоже утверждала, что похвальное слово фольклору было похвальным словом примитивизму в искусстве: «Фольклору чужды сомнения и колебания именно потому, что он примитивен и наивен и не развился до философского пессимизма». Но главное влияние общего «курса» на доклад Горького М. Бошкович-Стулли усматривала не в этом, а в приписывании фольклору «апофеоза труда». Взгляд Горького на некоторые произведения народного творчества как на «гимн труду» Бошкович-Стулли оценила как фантазию писателя — фантазию красивую и, несомненно, связанную с характером его собственного творчества, но тем не менее лишенную какого-либо научного значения. По мысли югославской фольклористки, в народных сказках выражено не стремление к труду, а стремление избежать его, о чем якобы неоднократно говорил сам Горький, пока не стал утверждать иное, стремясь в интересах государства «поднять трудовой энтузиазм народа при помощи литературы, кино, фольклора и всех прочих средств». В статье Бошкович-Стулли сказано: «Горький в своих ранних статьях много раз говорил о любимом идеале русской крестьянской сказки — Иванушке-дурачке, который без труда и усилий в конце концов всегда достигает благополучной и богатой жизни. В этом докладе этот сон русского крестьянина был забыт».

Итак, мы должны поверить, что Горький, говоря на Первом съезде советских писателей о фольклоре, отказывался от своих прежних взглядов на этот счет. Но как мы этому поверим, если для нас очевидна глубочайшая внутренняя связь всего, что было сказано Горьким о фольклоре в докладе на съезде писателей, с тем, что он десятки раз говорил до этого, начиная с девяностых годов прошлого века? Следует прежде всего заметить, что в докладе Горького нет противопоставления «необученного» творчества — «обученному», «непросвещенного» — «просвещенному», но есть совсем другое противопоставление: фольклора — декадансу. Это означало у Горького противопоставление первоначальной цельности искусства, когда оно неотделимо от жизни трудового народа, крайнему распаду искусства, когда оно сознательно отделяет себя от жизни народа и от сферы труда. Было ли в такой постановке вопроса нечто новое для Горького? Нет, не было. Правда, его представления о фольклоре, как и все его литературные и эстетические воззрения, развивались с годами, обогащаясь и приобретая новые черты. Он пересматривал свое отношение к отдельным фольклорным произведениям, например, он отказался в советские годы от своего прежнего понимания сказки об Иванушке-дурачке, связанного с неверной оценкой крестьянской массы. Однако указанное противопоставление неизменно звучало в его выступлениях: здесь было нечто, связанное с основой основ творчества Горького, с основой основ самого его мироощущения.

Вспомним, как высоко оценил писатель в 1896 году творчество замечательной олонецкой сказительницы Орины Федосовой. Молодой Горький утверждал: «Она — рапсод. Она живая легенда, и, полуумирающая, — она всеми остатками своей жизненной энергии воскрешает перед публикой умершую эпическую поэзию... Это истинно народная поэзия, это тот стон, который создал народ, наша стомиллионная масса»*. И он так описывал впечатление, произведенное Федосовой на слушателей: «Публика молчит, все более поддаваясь оригинальности этих за душу берущих воплей... Так близка сердцу каждая нота этих мотивов, истинно русских, небогатых рисунком, не отличающихся разнообразием вариаций — да! — но полных чувства, искренности, силы — и всего того, чего нет ныне, чего не встретишь в поэзии ремесленников искусства и теоретиков его, чего не даст Фигнер и Мережковский, ни Фофанов, ни Михайлов, никто из людей, дающих звуки без содержания...» (т. 23, стр. 233). Мережковского Горький считал в то время идейным главой русских декадентских поэтов, ярко выразившим присущие им «пессимизм и полное безучастие к действительности» (т. 23, стр. 122). Пройдет тридцать лет, и Горький вспомнит о выступлении Орины Федосовой и изобразит этот эпизод на страницах романа «Жизнь Клима Самгина», чтобы показать, как нарушила душевное равновесие мещанского «умника»-индивидуалиста олонецкая сказительница, выражавшая чувства и мысли народа.

Такое же противопоставление фольклора декадансу мы находим в замечательной статье Горького «Разрушение личности», опубликованной в 1909 году, — в статье, которая в одном из своих вариантов называлась «От Прометея до хулигана» и в которой рассказано о пути искусства от древних мифов и эпических сказаний, отразивших на заре человеческой истории мысли и чаяния народов, до антинародного, проникнутого индивидуалистическим духом искусства декаданса. В этой статье уже содержалось немало мыслей, развитых Горьким позднее, на новой основе, в докладе 1934 года. Но одного в этой статье, как и позднее в докладе, не было: призыва вернуться к пройденной ступени художественного развития человечества, к древним фольклорным формам. Горький высоко оценивал многие произведения более поздних эпох, особенно — реалистические творения XIX века, открывшие новые пути и возможности для искусства. В фольклоре он видел, во-первых, чудесный материал для обработки, для аранжировки его мастерами современного искусства и, во-вторых, великолепное противоядие против влияния декаданса. Такие мысли настойчиво развивались Горьким на протяжении всего его творческого пути.

Я не могу здесь подробно разбирать горьковские фольклористические воззрения. Это большая тема, которая уже не раз освещалась в работах советских литературоведов (назову вышедшую несколькими изданиями книгу Н. К. Пиксанова «Горький и фольклор»). Замечу лишь, обращаясь к Бошкович-Стулли, что свои взгляды на народную природу многих фольклорных произведений и на присущий им пафос трудового, творческого, активного отношения к жизни — взгляды, которые кажутся ей красивой фантазией, Горький подкрепил ссылками на десятки и сотни сказок, легенд, песен и т. д. Югославской фольклористке, надо думать, будет интересно узнать, что одной из таких ссылок, сделанных Горьким еще в 1896 году (в «Беглых заметках»), была ссылка на «образчик народной поэзии хорват» — на замечательную песню, воспевающую Хорватию и ее сынов, их «сильные руки» и «спорую работу». Кстати говоря, эта песня, как и многие другие творения фольклора, показывает, что присущий фольклору оптимизм отнюдь не связан с поверхностно-благодушным, лишенным сомнений взглядом на жизнь. «Велико твое горе — но велики и твои люди» — так звучат в переводе Горького слова этой песни, обращенной к отчизне.

Не все, что Горький говорил о фольклоре, было бесспорно. Есть преувеличение в его мысли, что «индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество, ни одного мирового типа, который не существовал бы ранее в народных сказках и легендах» (т. 24, стр. 27). Такого рода преувеличения возникли в пылу борьбы против реакционных фольклористов, которые доказывали, что сам народ к подлинно художественному творчеству не способен, что он может лишь искажать творения, опускающиеся в его среду из среды высших классов, что фольклор является лишь «осадком» писанной литературы и т. п. Но, как бы то ни было, ясен глубокий смысл горьковского понимания фольклора как воплощения народных стремлений и чаяний. И совершенно очевидно, что ни о какой — сознательной или бессознательной — «конъюнктурности» мыслей Горького о фольклоре, развитых им в докладе на съезде писателей, не может быть и речи. Скорее можно говорить о конъюнктурности тех статей, в которых эти горьковские мысли истолкованы столь превратно.

Ядвига Секерская в статье «О социалистическом реализме и в защиту Горького» («Нова култура», 1956 г., № 44) уже отметила ошибочность статьи Теплица. Она признала, что Первый съезд советских писателей «был могучей искренней политической демонстрацией абсолютного большинства советских писателей, партийных и беспартийных, старого и молодого поколения,

* М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 23, стр. 189. В дальнейшем ссылки на это издание даются в самом тексте.

разного художественного облика, которых на этом съезде объединила преданность делу социализма». Она пишет, что принципы социалистического реализма были поняты большинством советских писателей не как узкая догма, а, напротив, как освобождение от прежних догм, которые навязывались теоретиками РАППа,— социалистический реализм был воспринят этим большинством как «широко понимаемый метод, открывающий возможность творческих поисков...» Секерская возражает и против заявления Теплица, будто мысли Горького о фольклоре могли «снижать цивилизационные усилия».

К этому надо добавить, что почти каждое из выступлений Горького, включая самые последние, свидетельствуют о глубокой неправде слов Теплица, будто Горький стал в тридцатых годах умалчивать «об очень живой в ленинское время проблеме стремления пролетариата и крестьянства к культурному прогрессу...» Это Горький-то?! «За мое преклонение пред людьми науки и техники надо мною всегда посмеивались, кое-кто и сейчас продолжает заниматься этим безобидным для меня, а объективно и социально вредным развлечением невежд, — писал Горький в 1933 году в статье «О кочке и о точке», — ...Но в современности нет ничего более поучительного, как поучительна общая картина интеллектуального роста масс и личностей Союза Советов» (т. 27, стр. 45—46) Таких суждений Горького можно привести сотни. Но, может быть, Горький умолчал об этом в докладе на съезде писателей? Весь доклад проникнут пафосом интеллектуального подъема широчайших народных масс. Горький обрушивается на эксплуататорские классы за «преступный процесс исключения, устранения миллионов людей из работы миропонимания»; он с глубоким удовлетворением отмечает, что в Советском Союзе «рабоче-крестьянской властью призвана к строительству новой культуры вся масса народонаселения»; он критикует писателей за то, что они недостаточно ярко изображают «интеллектуальный рост рабочего фабрик»; он говорит о необходимости «возвратить всей массе рабочего народа отнятое у нее всюду в мире право на развитие разума, талантов, способностей» (т. 27, стр. 319, 321, 322, 331) и т. д. и т. п. И это — не частные замечания. Все это неразрывно связано с главной мыслью доклада — о том, что эксплуататорские классы стремились оторвать «руки» от «головы», трудовой люд от культуры, а социалистическое общество призвано преодолеть этот разрыв. Какими же глазами читал К. Т. Теплиц доклад Горького, если пропустил все это? Секерская, имея в виду рассуждения Теплица о докладе Горького, пишет: «...диагноз Теплица кажется мне ошибочным и оскорбительным для памяти Горького».

Можно было бы одобрить выступление Секерской «в защиту Горького», если бы не одно печальное обстоятельство: эта защита сочетается в ее статье с нападками на то, что невозможно отделить от Горького,— на метод социалистического реализма.

Теплиц считает, что принципы социалистического реализма были выдвинуты во имя лакировки действительности, нивелирования художественных форм и т. п. Секерская возражает: сначала эти принципы не играли такой роли, но якобы стали играть эту роль позднее. И здесь дело не только в том, что художественным принципам ставятся в вину те недостатки и провалы, которые были связаны с отступлениями от них. Главное в другом: нападки на социалистический реализм оказываются прямым выражением политических шатаний некоторых литераторов, их отхода от марксизма (это явственно проявилось в другой статье Секерской, опубликованной 2 декабря 1956 года в еженедельнике «По просту»).

Коснемся сначала некоторых историко-литературных моментов. Незаметно для отдельных участников дискуссий происходит очень существенная подмена. Литература, которая всем ходом своего развития вызывала к жизни определенные формулы и термины, начинает рассматриваться не как их причина, а как их следствие, как их порождение.

Представим себе, что историю классицизма, романтизма, критического реализма, символизма и т. д. будут вести не с того времени, когда они начали определяться в конкретных художественных произведениях, а с того времени, когда впервые прозвучали самые термины «классицизм», «романтизм» и т. п.? Термин «социалистический реализм» прозвучал не как директива о необходимости создания некоего нового направления, а как определение тех творческих принципов, которые практически складывались в произведениях Горького, Серафимовича, Маяковского, Шолохова и многих других писателей — у одних еще с эпохи первой русской революции, у других — с начала советской эпохи. При всем различии этих писателей, при всем многообразии их стилей и форм в творчестве каждого из них ощущается нечто новое, объединяющее их всех, нечто, вызванное приходом широких народных масс к идеям социализма, к учению Маркса и Ленина. Вот об этих новых особенностях в творческой практике многих писателей и следует говорить, спорить, дискутировать, если есть желание глубже понять сущность творческих принципов.

Что касается тех мыслей о социалистическом реализме, которые Горький высказал на Первом съезде советских писателей, то и они, как и его суждения о фольклоре, явились итогом длительных исканий и раздумий. Вопрос о творческих принципах, о методе литературы давно волновал Горького, и это понятно: Горький прокладывал новую тропу в искусстве, выступая выразителем поднявшихся к революционному сознанию широчайших народных масс. Поставленный в докладе на съез-

де писателей вопрос о том, как надо относиться к критическому реализму и к романтизму, ставился Горьким еще в начале 900-х годов, в целой серии критических статей, посвященных новым произведениям Чехова, Ростана, Гауптмана, Эстонье, Брюсова, Бальмонта и других писателей самых различных направлений. Известно, что Горький колебался тогда в своих оценках реализма и романтизма, то восторгаясь Чеховым за то, что он «никогда не прикрашивает людей», то призывая — в письме к тому же Чехову — создавать новое искусство, которое бы «немножко начало прикрашивать жизнь». Говоря о «прикрашивании», Горький отнюдь не подразумевал лакировку действительности — этому противоречило все его бесстрашно правдивое творчество. Горький хотел, чтобы в искусстве усилился героический пафос, чтобы нарисованная художниками картина жизни была освещена перспективой движения вперед, к торжеству социалистических идеалов.

Характерно, что в 1931—1932 годах, непосредственно перед тем, как возник термин «социалистический реализм», эстетические искания Горького, как и ряда других крупных советских писателей, носили особенно напряженный характер. С одной стороны, Горький указывал в статье «Равнодушие не должно иметь места», что наша литература ставит перед собой задачу «создать приемами реализма эпическое искусство», и при этом заявлял, что наиболее талантливые советские писатели «правильно понимают, что эпос реалистичен и что реализм отнюдь не стесняет воображения» (т. 26, стр. 245). С другой стороны, почти в то же самое время Горький в статье «По поводу одной полемики» обращался к писателям со следующими словами: «Если изобразить героя эпохи в освещении, которое он заслужил, вам мешают приемы реализма, ищите других приемов, вырабатывайте их» (т. 26, стр. 296). В статье «Наши задачи» Горький высказался против применения к нашему искусству термина «романтизм», поскольку с этим термином обычно связывают стремление «ослепительно раскрасить личность и действительность», в чем наша действительность и наши люди не нуждаются: «Нам прикрашивать нечего... Нам нет нужды припудривать своих героев пыльцой красивеньких слов. Наши герои — не романтичны, они — просто герои» (т. 25, стр. 394 — 395). Но прошло немногим больше года, и Горький в одной из бесед говорил: «Новая жизнь, созданная у нас, не охватывается приемами реализма. Эти приемы не отражают пафоса нашей действительности. Реализм и пафос не совмещаются. Литературные приемы требуют повышения по сравнению с методом реализма. Наша действительность героична и поэтому романтична»*.

* «Правда», 6 мая 1932 года.

Можно, конечно, сказать не мало язвительного по поводу колебаний Горького, его непоследовательности и т. п., по поводу самого его стремления найти краткую формулу нового творческого метода. Но все это шло бы мимо цели. Во-первых, некоторые противоречия в суждениях Горького были связаны с тем, что он употреблял понятия «романтизм» и «реализм» в разных значениях, в каких они употреблялись многими писателями и литературоведами (в одном случае имелся в виду пассивный романтизм, в другом—активный, в одном случае под реализмом подразумевался лишь критический реализм, в другом — реализм нового типа). Во-вторых, и те противоречия в суждениях Горького, которые выходили за пределы терминологии, отражали не слабость нашей эстетической мысли, а ее рост, не отвлеченное умствование, а насущную необходимость теоретически разобраться в том, что уже накопила художественная практика. Вспомним литературные дискуссии 1931 — 1932 годов: какое огромное количество противоречивых определений и терминов вводили тогда в обиход многие работавшие бок о бок писатели! Один предлагал назвать метод нашей литературы «революционным реализмом», другой — «социалистическим романтизмом», третий — «социалистическим символизмом» и т. д. и т. п. Откуда возникло вдруг это массовое производство различных творческих формул? Большинство советских писателей глубоко чувствовало значение перемен, происшедших в нашей стране в связи с построением социалистического общества, — перемен, величие которых не меркнет от того, что одновременно с ними в жизни назревали явления, принесшие с собою позднее столько тяжкого и трагического. В свете этих великих перемен стало особенно ясно, как схоластичны и мертвы, как мешают подъему искусства на новую высоту те определения и формулы, которые были почерпнуты не из развития самого искусства, а механически перенесены в него из области философии или политики, те формулы и определения, которые усиленно насаждались теоретиками РАППа.

И вот прозвучавшие в этот момент два слова «социалистический реализм» были восприняты большинством советских писателей как слова, которые позволяют отбросить в сторону множество схоластических, туманных, неточных определений, низводящих литературу к роли иллюстратора политических формул, толкающих ее к лакировке действительности или к смакованию ее отрицательных сторон, открывающих лазейки декадансу и т. п. Из предложенной формулы большинство писателей делало лишь тот вывод, что необходимо стремиться к бесстрашной правдивости, к проникновению в самые глубины движущих сил действительности, к такому изображению жизни, которое не боится преград, неудач, поражений и при котором никакие

преграды, неудачи, поражения не могут затемнить общей перспективы развития — к полному торжеству социализма. Могут возразить: мало ли как восприняло формулу «социалистический реализм» большинство писателей, нашлись ведь и такие, в руках которых эта формула сама приобрела схоластический характер и стала орудием борьбы против правдивости в искусстве и за лакировку действительности, даже прямым орудием утверждения культа личности И. В. Сталина. Да, были и такие. Но причина здесь не в том, что эту формулу предложил И. В. Сталин. Те, кто относят на счет культа личности все, что связано с этим именем, бросают вольно или невольно тень на многие крупнейшие достижения советского народа. Дело и не в том, что плоха сама эта формула. Причина совсем иная. В то время как большинство наших писателей, художников, деятелей музыки, театра и кинематографии искало определений для того, что было уже творчески достигнуто и что надо было развить в дальнейшем, другие (в этом особенно повинны мы, критики и литературоведы) занялись умозрительным выведением из предложенной формулы различных категорий желательного и должного. Занятие это не прошло бесследно не только для некоторых сторонников социалистического реализма, но и для некоторых его противников. И у тех, и у других нередко получается так, что не термин возник для характеристики определенного круга произведений, а произведения возникли в ответ на провозглашение термина. И у тех, и у других литература иной раз оказывается чем-то таким, что приводится в движение преимущественно указаниями, лозунгами, писательскими съездами, а не всем ходом жизни.

Вернемся к докладу Горького на Первом съезде советских писателей. Отнюдь не все, что говорит здесь Горький о социалистическом реализме и об отношении его к предшествующему искусству, является бесспорным. Замечание Горького о том, что старый реализм был способен лишь критиковать, а если пытался утверждать, то приходил к утверждению того, что им же отрицалось,— это замечание было ошибочно, хотя понятно, откуда оно выросло: Горький страстно полемизировал с теми, кто видел главную задачу советского искусства в критицизме и кто отодвигал на второй план задачу утверждения. Однако есть ли во всех этих суждениях хоть что-либо, свидетельствующее об отступничестве Горького от его прежних идейных и творческих позиций? Нет, всякий, кто хоть немного знаком с литературными фактами и кто берет их такими, какие они есть, видит, что весь доклад Горького на съезде писателей вместе с содержащимися здесь суждениями о социалистическом реализме закономерно вырос из всего длительного творческого пути великого писателя, из его многочисленных настойчивых попыток творчески осмыслить собственный литературный опыт и опыт других писателей.

К. Т. Теплиц заявляет, что в тридцатых годах Горький как теоретик искусства отошел от «ленинской линии». Но как он понимает эту линию? «Основной чертой ленинской линии» Теплиц считает «рационализм и демократизм, рассмотрение широкой идейной дискуссии как основного двигателя революции». Такую характеристику нельзя считать правильной и марксистской. Теплиц прав, когда говорит, что В. И. Ленин делал большой упор на «просвещенные элементы, на прогресс цивилизации, на создание и культивирование революционной интеллигенции». Да, это несомненно так, и мы могли бы вспомнить десятки примеров того, как В. И. Ленин в самые тяжелые для Советской власти годы заботился об ученых и писателях, о росте науки, искусства, культуры. Известно, что В. И. Ленин сурово осуждал отрицательное, «маниевское» отношение к интеллигенции и решительно восставал против административного, бюрократического вмешательства в сложные процессы идейного творчества. Но вопрос имеет и другую сторону, не менее важную, без учета которой все отмеченное выше утрачивает свой истинный смысл. Из поля зрения Теплица выпала такая «черта» деятельности В. И. Ленина, как воинственное отстаивание им принципов диктатуры пролетариата, как страстная, непримиримая борьба со всеми и всякими противниками этих принципов. В. И. Ленин при этом критиковал и ошибки тех товарищей, которые были ему очень дороги и близки. Поучительно вспомнить в этой связи о разногласиях между Лениным и Горьким в 1917—1918 годах, о тех разногласиях, которые чуть было не разрушили их давнюю глубокую дружбу. Этот эпизод поможет понять, в чем состоял действительный, а не выдуманный отход Горького от ленинских принципов в области культуры и каковы были в действительности сами эти принципы.

В период свершения Октябрьской социалистической революции, в один из самых критических и ответственных моментов человеческой истории Горький оказался далеко не единственным революционером, испугавшимся тех конкретных форм, которые принял подготовленный всей его жизнью социалистический переворот. Опасаясь, что передовой отряд революционного пролетариата будет захлестнут крестьянской стихией, Горький видел выход лишь в союзе рабочего класса с интеллигенцией. Он призывал тогда Ленина перенести основное внимание с области политики на область культуры и смягчить идейную борьбу с враждебно настроенными отрядами интеллигенции во имя организации широкой просветительной работы. Прозвучавший 30 августа 1918 года выстрел в Ленина потряс Горького и заставил его многое пересмотреть. Алексею Максимовичу стало ясно, как заблуждался он в своей «суммарной» оценке

интеллигенции, считая ее всю по самой ее природе прогрессивной и революционной. Мощный протест широких масс помог Горькому осознать и другую его ошибку: он увидел, как глубоко уже проникли идеи Ленина в массы. Горький отметил в своих автобиографических заметках, что в те дни он снова почувствовал себя большевиком. Нельзя сказать, что ошибки 1917—1918 годов были изжиты Горьким сразу, легко и безболезненно—они еще не раз давали о себе знать на протяжении двадцатых годов. Но Горький уже снова был, как и в годы первой русской революции, не противником Ленина, а его соратником и другом, снова был бойцом ленинской армии, искренне стремившимся освободиться от своих иллюзий и заблуждений.

Об этом эпизоде писатель сам с предельной правдивостью рассказал в своем широко известном очерке «В. И. Ленин». В центре этого очерка — проблема революционного гуманизма, которая решается здесь с помощью великого примера В. И. Ленина, всей его жизни и деятельности. Революционный гуманизм не имеет ничего общего с призывами к всеобщему примирению или к непротивлению злу насилием. Революционный гуманизм — гуманизм борьбы, беспощадной борьбы против всего, что мешает осуществлению лучших идеалов человечества. Отсюда отнюдь не следует, что тот, кто стоит на позициях революционного гуманизма, исходит из неизбежности насилия. Горький приводит слова Владимира Ильича Ленина: «Мы, в идеале, против всякого насилия над людьми» (т. 17, стр. 40). К насильственным мерам революция прибегает лишь в тех случаях, когда ее принуждает к этому контрреволюция. «...На нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? — спрашивал Ленин Горького в годы гражданской войны.—Не должны, не в праве бороться, сопротивляться?» (там же, стр. 33). Горький рассказал в своем очерке о том, как В. И. Ленину и его соратникам приходилось порою «держать душу за крылья», когда обстоятельства вынуждали их прибегать к суровым формам борьбы. И Горький со всей прямотой признал, что он допустил глубочайшую ошибку, осудив в 1917—1918 годах эти формы борьбы как «негуманные», не поняв, что в тех исторических условиях они были выражением самого высокого гуманизма.

1917—1918 годы были годами действительного отклонения Горького от ленинской линии. Это отклонение заключалось не в том, что Горький не мог подняться до ленинского «рассмотрения широкой идейной дискуссии как основного двигателя революции» (слова Теплица), и не в том, что он не делал упора «на просвещенные элементы, на прогресс цивилизации», как пишет Теплиц, а в том, что Горький тогда слишком злоупотреблял такого рода понятиями, слишком злоупотреблял словами о демократии вообще, когда надо было по-ленински ставить вопрос: для кого демократия? Горький должен был многое продумать, прочувствовать, пережить, чтобы понять не только умом, а всем своим существом, что демократия «для всех», открывающая дорогу антидемократическим силам,— иллюзия или обман и что только диктатура пролетариата, преграждающая путь этим силам, есть подлинная демократия. Ход жизни показал Горькому, что если бы не были применены те меры борьбы, против которых он возражал в 1917—1918 годах, Советская власть была бы потоплена в морях народной крови. Можно, конечно, сказать, что позднее, когда исторические условия переменились, а И. В. Сталин продолжал говорить о росте сопротивления со стороны врагов внутри страны в связи с победами социализма, Горький, как и многие другие, не понял неправильности и пагубности таких взглядов. Горькому, когда-то ошибочно обвинившему В. И. Ленина в нарушении демократизма и глубоко пережившему эту свою ошибку, теперь трудно было взять на себя роль критика и судьи в этих вопросах.

Однако это отнюдь не должно мешать нам видеть действительную сущность временного отхода Горького от ленинской линии и действительную сущность того пути, который снова привел его к ленинизму. Об этом пути, о пути идейной непримиримости, о пути непоколебимого признания ленинизма «единственной боевой руководящей идеей в творчестве, в живописи словом», Горький говорил в заключительной речи на Первом съезде советских писателей, приветствуя победу ленинских идей на съезде: «Я высоко ценю эту победу, ибо я, литератор, по себе знаю, как своевольны мысль и чувство литератора, который пытается найти свободу творчества вне строгих указаний истории, вне ее основной, организующей идеи» (т. 27, стр. 338).

К. Т. Теплиц утверждает, что суждения Горького о социалистическом реализме были продиктованы всем тем, что мы называем культом личности И. В. Сталина. Это глубоко неверно. Обосновывая принципы социалистического реализма, писатель обращался прежде всего к В. И. Ленину, к его указаниям и советам, в том числе и к тем советам, которые были даны когда-то самому Алексею Максимовичу. Характерно, что чаще всего Горький вспоминал при этом о своем «разноречии» с Лениным в 1917—1918 годах. «Мне кажется, что здесь «разноречие» не только в силе познающего разума и в несокрушимой правильности теории, а в чем-то еще, кроме этого,— писал Горький в одном из писем в 1933 году.— Это «еще» может быть высотой точки наблюдения, которая возможна только при наличии редкого умения смотреть на настоящее из будущего. И мне думается, что именно эта высота, это умение и должны послужить основой того «социалистического реализма», о котором у нас начинают говорить, как о новом и необходимом для нашей литературы» (т. 30, стр. 301—302). Тогда же, упрекая одного советского писателя за допущенный им «грубый эмпиризм», Горький писал ему: «Позвольте мне напомнить Вам

мой случай разногласия с Владимиром Ильичем. Я считал себя человеком более широкого опыта, чем он, теоретик... В 17-м году мой эмпиризм послужил основой моего скептического отношения к силе пролетариата, и, как Вы знаете, «теоретик» оказался сильнее эмпирика, ближе к исторической правде. Ошибка эта дорого стоила мне. Вот, дорогой товарищ, над этим случаем Вам надобно подумать, он крайне поучителен». (Архив А. М. Горького).

Поучительность этого эпизода действительно очень велика: он проливает свет на важные особенности искусства социалистического реализма. «Эмпиризм», вызванный ошибочной позицией Горького в 1917—1918 годах, заключался в том, что писатель, потеряв верную перспективу, отдал себя во власть различных отрицательных впечатлений. Отдельные проявления темноты озлобленности и т. п., о которых Горький писал тогда в своих очерках и статьях на страницах «Новой жизни», соответствовали действительным фактам. Но в целом картина получалась далекая от действительности, ибо не эти факты характеризовали ее сущность, а великий процесс разрушения старого мира и начавшегося созидания нового. И если этот процесс не попадал в поле зрения художника, если поле зрения оказывалось заполненным одними обломками старого мира, художник отходил от подлинного реализма и его творчество утрачивало социалистический пафос. То же самое происходит и в том случае, если художник отворачивается от действительной жизни и противопоставляет ей прикрашенный, освобожденный от реальных трудностей мир. Горький не раз указывал, что отход от реализма к натуралистическому ковырянию в отрицательных фактах и отход от него к лакировке действительности — две стороны одной и той же медали. От этих опасностей Горький и предостерегал постоянно писателей.

При этом он указывал на вернейший способ избежать их: ни на мгновение не терять из виду задач социалистического строительства, оценивать с точки зрения этих задач и их решений все явления действительности, всегда видеть главное направление развития жизни, «смотреть на настоящее из будущего». К этому сводились многие суждения Горького о социалистическом реализме. Как же можно усматривать в такого рода взглядах что-то ограничивающее свободу творчества? О какой свободе в этом случае идет речь? О свободе от правдивости, от глубокого проникновения в сущность жизненных процессов, от социалистических идеалов?

Поясню сказанное одним, если так можно выразиться, гипотетическим примером (надеюсь, что меня не обвинят за это в склонности к «пророчествам»: пример будет тесно связан с содержанием статьи Теплица). Я хочу поставить следующий вопрос: в каком виде предстанет перед нами период тридцатых годов, если его изобразят писатели, знающие о дальнейшем развитии нашей страны, знакомые с материалами XX съезда КПСС, но стоящие на разных позициях? Один писатель может изобразить этот период так, как будто никаких особенных поправок в наши представления о нем XX съезд не внес. Да, был культ личности со всеми его последствиями, в том числе — с нарушениями законности; да, это пагубно сказалось на некоторых человеческих судьбах. Но обо всем этом в таком произведении будет сказано вскользь, как о маленьком пятнышке на огромном ослепительном диске солнца. Если подобное произведение будет написано, мы лишний раз увидим, как легко превращаются догматически усвоенные политические истины в художественную ложь. Это происходит в тех случаях, когда писатель показывает ведущие тенденции действительности в безвоздушном пространстве, когда писатель закрывает глаза на все то, что тормозило наше развитие и приводило к ничем не оправданным трагедиям и утратам, когда он изменяет реализму.

Нетрудно представить себе и другое произведение, в котором та же тема будет трактована прямо противоположным образом. Автор такого произведения не станет закрывать глаза на то тяжелое и ложное, что было в нашей жизни, но только это и будет видеть. Подавленный впечатлениями отрицательного порядка, он может совсем потерять представление о ведущих тенденциях действительности. Я говорю в данном случае не о противнике социализма. Я говорю о писателе, для которого бесстрашная правда, прозвучавшая на XX съезде КПСС, оказалась ношей не по силам и который растерялся, утратил перспективу. Но, как бы то ни было, такой писатель будет не менее далек от истины, чем самый завзятый лакировщик. Он тоже будет напуган противоречиями реальной действительности, только испуг свой выразит иначе — не барабанным боем, а истерикой. Именно о такого рода писателях говорил Горький еще в 1908 году, стоя на страже тех творческих принципов, которые тогда только формировались, одерживали первые свои победы: «Надоел субъективизм, чужд человек, который все стонет, плачет, отрицает, подчеркивает страшное, жестокое и не видит за единичными проявлениями борьбы за жизнь ее великий процесс, ее могучий рост...» (т 29, стр. 60). И я представляю себе совсем иное произведение, где указанный период предстанет перед нами во всей его действительной сложности. Здесь будет показано и то, что мешало нашему движению, и то, что двигало жизнь вперед, оказавшись сильнее всех препятствий; здесь будут вскрыты и причины скверны, и источники великих побед на военных фронтах и в мирном труде. Речь идет о пафосе произведения, а не о пропорциях в изображении хорошего и плохого, не о характере финала и не о других художественных особенностях, которые могут быть бесконечно разнообразны. К классическим образцам новой литературы относятся «Мать» Горького,

«Тихий Дон» Шолохова, «Разгром» Фадеева и ряд других произведений, финалы которых глубоко трагичны. Но правда этих произведений не подавляет читателя, а закаляет его и дает новые силы. В этих произведениях все индивидуальные судьбы освещены могучим прожектором: судьбой народа. В этих произведениях все время напоминает о себе главная движущая сила жизни: историческое творчество народных масс. Вот такое искусство, проникнутое глубочайшим убеждением в том, что жизнь идет сквозь все препятствия, испытания и трагедии к торжеству передовых идей,— искусство, в котором ясность перспективы соединена с глубочайшим чувством действительности, бесстрашный реализм одухотворен социалистическим идеалом, мы и называем социалистическим реализмом.

В пределах такого искусства, в границах таких творческих принципов могут, должны быть и уже существуют разнообразные течения и формы. Каждый подлинный художник приходит к этим принципам своим особым путем и по-особому развивает их дальше. Надо хорошо видеть и то общее, что объединяет всех художников социалистического реализма, и то индивидуальное, что отличает их друг от друга. Впрочем, есть люди, которые готовы превратно истолковать и то, и другое. Им говорят об единстве принципов — они кричат: унификация! Им говорят о многообразии форм — они злорадствуют: разлад!

Конкретизировать общие представления о творческих принципах можно только одним способом: изучением всего накопленного творческого опыта, анализом отдельных произведений и всего историко-литературного процесса. Делать это надо всем нам — и советским, и польским литераторам, и литераторам других стран. Здесь никто никого не может учить, но все должны друг у друга учиться. Однако такой коллективной работе очень мешают попытки приклеить Горькому и другим защитникам социалистического реализма, как и самому социалистическому реализму, несправедливые политические ярлыки. Путь к такой работе, как это было не раз и в прошлом, преграждает стремление подогнать явления искусства под различные предвзятые схемы. Вот на это обстоятельство, мешающее всем нам, я и хотел указать в своей статье.

Теплиц кончает «Крушение пророков» хорошими словами, которые звучали бы еще сильнее, если бы им не противоречило основное содержание его статьи:

«Слава мыслям, а не пророчествам...

Слава мыслям, которые осмелится высказать в новой действительности научная, рациональная, основанная на творчески понятом марксизме критика. Пора начинать».

Действительно — пора начинать. Пора переводить споры о социалистическом реализме в область конкретного изучения фактов литературы и общественной жизни; в область изучения, свободного от всякого — даже бессознательного — субъективизма, от всякой — даже самой «искренней»—истерики; в область изучения, одухотворенного одним стремлением: понять, на каких путях литература может лучше всего помочь полному торжеству социалистических идеалов.

Письмо в редакцию

Уважаемый товарищ редактор!

Только что я прочел в двенадцатой книжке «Иностранной литературы» повесть Джона Стейнбека «Жемчужина» и был потрясен активной силой гуманизма, жестокой правдой и человечностью этой маленькой поэмы в прозе. С равной поэтической силой переданы в повести и манящая музыка утренних волн и тихая песня скромного любящего сердца, песнь семьи простого рыбака Кино, его жены Хуаны и их маленького Койотито. Но семья Кино живет в стране, где трудящийся человек лишен самых обычных прав, где даже счастливая удача обертывается для него кровавой трагедией и неизбывным горем. Много чувств и мыслей вызывает эта повесть. Но мне сейчас хочется говорить лишь об одном — как мне представляется, очень важном ощущении. Автор заставил меня выстрадать вместе с героями трагедию народа, ограбленного колонизаторами до нитки, ввергнутого ими в ад, перед которым меркнет самая мрачная фантазия средневековых создателей ада мифического. Хотел этого Стейнбек или нет, но он укрепил во мне своей повестью чувство святой и справедливой ненависти к колониализму и его апостолам, мне захотелось протянуть ему руку, как соратнику по борьбе.

Но надо же было случиться так, что не успел я закрыть повесть, как газеты принесли известие о том, что в США опубликовано от имени группы интеллигентов «Открытое письмо президенту Эйзенхауэру». Эта группа интеллигентов и лиц свободной профессии обращается к правительству США, призывая его, как сказано в письме, «к решительному установлению мира на Ближнем Востоке», который мыслится авторам письма в виде американского протектората над этим районом. Я прочел это письмо, типичное для такого рода выступлений, полное недопустимых выпадов против президента египетской республики и клеветы на Советский Союз. Авторы письма старательно умалчивают о подлинных злодеяниях реальных агрессоров против Египта, злодеяниях англо-французских и израильских интервентов. Они умалчивают и о том, что народ Египта встал на защиту своей родины в справедливом гневе, ибо не желает для себя той судьбы, какую Стейнбек так ярко изобразил в своей талантливой повести о ловце жемчуга. Зато они не скупятся на ложь о мнимом «русском наступлении» в этом районе и открыто призывают: «Если русские будут сопротивляться, тогда США должны будут использовать все свое могущество, чтобы так или иначе добиться этого», то есть осуществления США жандармских функций на Ближнем Востоке. Менее всего меня удивило само это письмо. Планы американских империалистов прибрать к своим рукам плоды англо-французской агрессии сейчас для всех очевидны.

Но среди почти ничего не говорящих мне имен авторов письма было и имя Джона Стейнбека. То самое имя, которое стоит на титуле «Гроздьев гнева», антифашистской повести «Луна зашла» и только что прочитанной мной «Жемчужины» — книг, полных сострадания к судьбе маленького человека, книг, полных сочувствия самой его борьбе против угнетения и угнетателей.

Чем же это объяснить? Ведь Стейнбек — писатель, не без права претендующий благодаря своему художественному таланту на роль учителя жизни. Неужели ему неясно теперь, когда уже опубликованы документы Эйзенхауэра—Даллеса, что подписанное им письмо лишь служило своего рода артиллерийской подготовкой к этим документам? Неужели ему безразлично, какие заявления подписывать? Но ведь его подпись отнюдь не безразлична читателям Стейнбека во всех странах мира. Одни будут обвинять писателя в лицемерии, другие будут считать его наивным, подписавшим письмо сгоряча. Я кое-что смыслю в искусстве и понимаю, что человек не мо-

жет быть полным лицемером в своих художественных творениях, иначе он перестает быть художником. Мне хочется думать, что и подпись Стейнбека под письмом, как и другие его выступления, — проявление его блужданий по сложным перепутьям XX века, ибо выход, подсказываемый самой историей, он, как видно, отвергает.

Стейнбек мог бы сказать, что названные мною произведения — его старые вещи, что «Жемчужина», которую я только что прочел, написана в 1945 году, а сейчас он относится к миру иначе. Что ж, для нас не секрет, что за последнее десятилетие писатель отошел от лейтмотивов «Гроздьев гнева», и мы не раз с горечью отмечали это, не без оснований видя отрицательное влияние его политической позиции—впрочем, можно ли говорить о твердой позиции? — на художественное творчество. Но мы никогда не забывали и о том, что, при всей идейной путанице «Консервного ряда» или «Заблудившегося автобуса», в этих книгах есть и поиски человечности среди отверженных изгоев современного общества, и гневное отрицание собственничества. Бывает, что книги оказываются более жизнеспособными, более стойкими в великой битве века, чем создавший их автор. Они переживают своего автора, становятся иной раз и его врагами. Это печальная судьба для автора, но не для книг.

Многие книги Стейнбека честно и хорошо выполняют свой долг, возбуждая любовь к простому человеку, побуждая ненавидеть поработителей. Не горько ли, что от имени поработителей выступает создавший эти книги автор?

Александр Макаров.

Александр Чаковский

Встреча в Цюрихе

С 24 по 27 сентября прошлого года в Цюрихе состоялась встреча представителей восьми литературно-художественных и общественно-политических журналов Советского Союза, Польши, Югославии, Англии, Франции и Италии.

После того как участники совещания покинули гостеприимную Швейцарию, они не без улыбки прочли в ряде западных газет короткие, но многозначительные сообщения о своем пребывании на берегу Цюрихского озера. Я позволю себе процитировать некоторые наиболее характерные фразы из этих сообщений. «Газетт де Лозанн» (номер от 1 октября 1956 г.) под заголовком «Таинственный культурный коллоквиум Запад — Восток» писала: «На прошлой неделе в Цюрихе, в полном секрете, происходила встреча редакторов литературных журналов Западной и Восточной Европы...» Газета «Фигаро литтерер» (13 октября 1956 г.) поведала своим читателям: «Не без таинственности вернулись из Цюриха несколько редакторов литературных журналов...» Корреспондент пишет, что содержание встречи хранится в тайне и судить о ней можно только по разноречивым слухам. «Во всяком случае, никакого коммюнике или заявления опубликовано не было. Такая дымовая завеса нужна, возможно, для того, чтобы обеспечить последующие встречи...»

Поводом для этих, исполненных детективной патетики сообщений, помимо традиционного тяготения буржуазной прессы к сенсации, в жертву которой часто и привычно приносится логика, здравый смысл и если не правдоподобие, то уж, во всяком случае, правда, послужило на этот раз совершенно реальное основание. Можно быть только благодарным упомянутым газетам за то, что они в своих драматических сообщениях о встрече удержались от догадок относительно того, что на ней происходило.

В действительности представители западных журналов — инициаторы нашей встречи — решили не приглашать на нее корреспондентов газет, проводить заседания, так сказать, в закрытом порядке и не публиковать никакого коммюнике. Я думаю, что сказанное может в какой-то мере объяснить нашим читателям, почему эти строки появляются с таким опозданием, хотя и не поясняет, почему же они все-таки появились. Чтобы устранить это последнее недоумение, необходимо сообщить, что во французском журнале «Леттр нувель» появилась большая, подробно излагающая и комментирующая цюрихскую встречу, статья редактора этого журнала Мориса Надо.

М. Надо — один из инициаторов собрания в Цюрихе, и ему, конечно, виднее, как следует толковать свое же собственное предложение, направленное против публичности этого собрания. Мы же не имеем к нему никаких претензий, поскольку всегда стоим за гласность, и, поскольку теперь встреча «оглашена», преследуем в данном случае единственную цель — объяснить советскому читателю причину того, почему наша статья была написана и печатается с некоторым опозданием.

После появления статьи Надо мы имеем, естественно, все основания рассказать читателям о «таинственном коллоквиуме» или, попросту, о беседах представителей восьми литературных журналов.

Итак, в середине минувшего года редакция «Иностранной литературы» получила следующее, подписанное Морисом Надо письмо:

«Я пишу вам от имени четырех журналов Западной Европы: английского журнала «Энкаунтер», руководимого Стивеном Спендером, итальянского журнала «Темпо презенте», руководимого Никола Киаромонте и Игнацио Силоне, и двух французских журналов: «Критик», руководимого Жоржем Батайем, и «Леттр нувель», которым руковожу я.

Все эти журналы заинтересованы в возросших возможностях, которые, кажется, имели место в течение некоторого времени в области литературного и культурного обмена между Западной Европой и Восточной

Европой. Конечно, официальные или полуофициальные съезды различных организаций представляют время от времени писателям Востока и Запада возможности для встреч. Нам все-таки кажется, что частная встреча между редакторами и главными сотрудниками нескольких литературных журналов Западной Европы и Восточной Европы могла бы представить особый интерес. Ежемесячные литературные журналы являются подходящей почвой для того, чтобы иностранные писатели узнали друг друга, и для того, чтобы распространять, пояснять и комментировать точки зрения различных культур. Для того чтобы изучить возможности поощрить эти культурные связи, мы и предлагаем вам участвовать в рабочей встрече, на которую мы собираемся пригласить также следующие журналы:

«Знамя», редактор Вадим Кожевников, Москва,

«Твурчость», редактор Ивашкевич, Варшава,

«Книжевность», редактор Эли Финци, Белград.

Может быть, сейчас еще слишком рано думать об окончательном предложении места и даты такой встречи. Прежде чем делать это, мы хотели бы знать, была бы такая встреча, по вашему мнению, полезной и возможной?

В порядке информации. Мы думали устроить ее где-нибудь в Швейцарии, к концу сентября 1956 года. По нашему мнению, каждый журнал должен был бы послать своего главного редактора и двух из своих основных сотрудников. Мы думаем, что для того, чтобы дать полную возможность обмена идеями, встреча должна продлиться четыре-пять дней.

Естественно, было бы полезным, чтобы наша встреча не была предана гласности, по крайней мере, если мы по общему согласию не решим иначе в ходе нашей дискуссии. Мы думаем, что между редакторами литературных журналов, естественно, встанет столько конкретных проблем, что не имеет смысла вырабатывать предварительную повестку дня. Мы будем исходить, следовательно, из принципа рабочей встречи». (Далее следуют предложения, связанные с финансовой стороной организации встречи.)

В заключение в письме говорилось: «Я горячо надеюсь, что вам будет возможно принять участие с двумя из ваших сотрудников, выбранных по вашему усмотрению, в этой встрече и что вы согласитесь как можно скорее сообщить мне ваш ответ, чтобы я мог информировать о том своих друзей.

Примите, дорогой господин, выражение моих лучших чувств.

Морис Надо».

Мы обсудили это письмо на очередном заседании редакционной коллегии. Всем нам было известно, каких политических направлений придерживаются приглашающие нас журналы. В них систематически появляются статьи антисоветского содержания. Жизнь нашего народа, события в нашей стране часто изображаются этими журналами в извращенном виде. Многие материалы, которые из номера в номер появляются в них, кажутся нам далекими от объективности, тенденциозными, вводящими в заблуждение читателей. Явления мировой политики и литературы трактуются с позиций, которые, мы убеждены, являются ложными и не способствуют делу взаимопонимания и дружбы между народами. Хотя, должен оговориться, мы видим некоторое различие между ними и не склонны ставить знак полного равенства между, скажем, выходящим в Англии «Энкаунтером» и французским «Критик». Не сомневаюсь, что наше отношение к названным журналам отнюдь не является секретом для их редакций. Однако мы не сочли возможным отказаться от приглашения по мотивам коренных разногласий в важнейших политических и литературных вопросах. Такой отказ был бы только формально-логическим выводом из нашего принципиального отношения к этим журналам. Мы же стояли на позиции, которая нам кажется единственно правильной. Она заключается в готовности встречаться и вести обсуждение с представителями любых органов печати, если с их стороны проявлены к тому желание и добрая воля.

Мы, естественно, не рассчитывали на то, что убедим Надо, или Спендера, или Силоне отказаться от представлений и взглядов, которые им, очевидно, кажутся правильными и которые мы считаем ложными. Полагаем, что и эти литераторы не надеялись на что-либо подобное с нашей стороны. Это было бы одинаково наивно с обеих сторон.

Но мы считали, что если нас приглашают встретиться, значит и инициаторы встречи верят в то, что, *несмотря* на глубокие идейные разногласия, все мы сможем найти сферу применения доброй воли.

Именно этими соображениями и руководствовалась наша редакционная коллегия, когда решила направить в Цюрих И. И. Анисимова и автора этих строк в качестве представителей «Иностранной литературы». Вскоре нам стало известно, что редакционная коллегия журнала «Знамя» также приняла приглашение и направляет в Швейцарию В. М. Кожевникова.

***

Мы прибыли в Цюрих с небольшим опозданием, вызванным пересадкой с самолета на самолет в Копенгагене. Первое утреннее заседание уже состоялось. Участники встречи стояли у подъезда гостиницы «Золотой меч», собираясь отправиться на вечернее заседание, когда мы подъехали к ней прямо с аэродрома. Нам оставалось только познакомиться с ними и «забросить» свои вещи в номера, что не вызвало затруднений, особенно у меня, так как я «избавился» от своего чемодана еще в Стокгольме: во время очередной пересадки его ошибочно направили... в Нью Йорк.

Я несколько неточно употребил слово «познакомиться», потому что с Ярославом Ивашкевичем и Анной Барановской, представлявшими польский журнал «Твурчость», а также с представителем югославского журнала «Книжевность» Эли Финци некоторые из нас встречались прежде. Однако с большинством участников встречи мы увиделись впервые.

Опоздание, в котором мы не были виноваты, все же «отомстило» за себя. Каждый впервые попадающий в новый, незнакомый ему город, знает, сколь приятно прежде всего отправиться в спокойную неторопливую прогулку по улицам, конечно, пешком и, конечно, «куда глаза глядят», без определенной цели, без маршрута... Эта жажда «открытий» особенно обостряется в незнакомой стране, где все для тебя ново. И если И. И. Анисимову уже довелось раньше побывать в Швейцарии, то мы с В. М. Кожевниковым, впервые посетившие эти края, испытали чувство особого разочарования, когда были вынуждены, едва взглянув на гостиницу, в которой нам предстояло прожить несколько дней, немедленно мчаться в такси к дому профсоюзов, в котором происходили наши встречи.

Итак, машина с аэродрома, машина из гостиницы, лифт в доме профсоюзов — и мы в зале заседаний.

Мы расселись за длинными столами, расставленными в форме буквы «П», в относительно небольшой комнате, лишенной какой бы то ни было обстановки, кроме этих трех столов и стульев.

На заседании имел место небольшой «инцидент». Поскольку не все из нас знали французский язык, на котором было решено вести заседания, мы попросили двух швейцарских граждан стать нашими переводчиками. Однако председательствующий Игнацио Силоне, редактор «Темпо презенте», воспротивился этому, указав, что заседания имеют «закрытый» характер. Швейцарцам пришлось на следующее заседание уже не приходить, и если бы не Т. Франкель, парижский врач и сотрудник журнала «Критик», одинаково превосходно знающий французский и русский языки, мы оказались бы в несколько затруднительном положении.

Итак, заседание началось. Силоне сообщил нам, что на утреннем заседании участники встречи информировали друг друга о характере представляемых ими журналов. Затем Стивен Спендер, редактор «Энкаунтера», высокий, краснолицый и, по-видимому, очень спокойный человек, внес предложение, чтобы и представители советских журналов, в свою очередь, рассказали собравшимся о целях и, так сказать, «профиле» своих изданий. Мы охотно выполнили эту просьбу. На этом, собственно, закончилось вечернее заседание, и мы вернулись в гостиницу.

***

Я бы не хотел начинать рассказ о городе с описания «ночного» Цюриха. Этот своеобразный швейцарский и, вместе с тем, очень немецкий город заслуживает, конечно, более всестороннего и объективного описания. Но я намерен рассказывать о событиях в той последовательности, как они происходили.

В десятом часу вечера мы снова оказались у подъезда нашей гостиницы. Она помещалась в очень узкой и извилистой улочке, носившей название Маркт-гассе. Как мы узнали потом, улочка имеет репутацию самой «веселой» в этом, в общем-то довольно чопорном городе.

Улочка послала нам свою «визитную карточку» немедленно, как только мы приблизились к подъезду гостиницы. Напротив помещался бар, там грохотал джаз, неоновая реклама кокетливо подмигивала нам, всячески убеждая, что, помимо высоких материй, связанных с заботой о культурном обмене и расширении деловых связей, есть еще «буги-вуги» и даже «рок энд ролл», что приблизительно можно перевести, как «качание и вращение», и что находится примерно в таком же соотношении со «старомодным» «буги-вуги», как чарльстон двадцатых годов нашего века с менуэтом восемнадцатого столетия.

Группа молодых людей медленно приближалась к нам из дальнего конца улицы. Это было своего рода «приближение с препятствиями», непроизвольный «рок энд ролл». Парни, одетые в короткие, несколько выше колен, широкие пальто с витыми, петлеобразными застежками, идущими через всю грудь, были изрядно навеселе и шли зигзагообразно. Время от времени они почему-то устремлялись к освещенным витринам и громко лаяли на них по-собачьи. Описывая это, я не прибегаю ни к каким приемам гротеска. Все было так, как я говорю: парни шли зигзагообразно и время от времени лаяли на витрины. Чем они руководствовались, выбирая ту, а не другую витрину, осталось для меня загадкой. Не знаю также, какие эмоции вкладывали они в собачий лай, которому довольно удачно подражали. Восторг? Осуждение?..

Двое полицейских стояли посреди улицы и внимательно глядели на парней. Те их, видимо, не замечали. Я предвидел само собой разумеющуюся сценку: сейчас парни увидят стражей порядка, умолкнут, а затем выслушают соответствующее внушение. Я ошибся. Парни, действительно, увидели наконец полицейских, приумолкли на секунду, но затем развеселились пуще прежнего и даже попробовали изобразить вокруг них нечто вроде хоровода и исполнить что-то напоминающее детскую песенку «Как на Колины именины испекли мы каравай...» Полицейские по-прежнему стояли безмолвно, а парни, полаяв еще немного, скрылись в дверях того самого бара, о котором речь шла выше. Видимо, все было в порядке.

Конечно, описываемый эпизод не имеет отношения к жизни трудового Цюриха, не характерен для стиля жизни этого промышленного города. Это просто одна из «химер» ночной жизни...

Мы пошли спать. Наши номера оказались обычными средними номерами вполне приличной средней европейской гостиницы, в которых обычно все внимание обращено не на «роскошь» обстановки, а на качество обслуживания. В наших комнатах не было ковров, картин, бронзового или чугунного литья, но зато, сняв телефонную трубку, мы могли в любое время дня и ночи в кратчайший срок получить еду, газеты, послать посыльного с поручением, получить справку от портье, заказать какой угодно и куда угодно билет.

К сожалению, весь этот «сервис» не мог доставить нам одного, крайне необходимого в эти минуты. Невозможно было потребовать прекращения грохота джаза в баре напротив, который не давал нам спать, а ранним утром мы оказались бессильными против визга лебедки: рядом с гостиницей производились какие-то строительные работы.

***

...Утреннее заседание началось опять-таки с неожиданности — с «демарша» Мориса Надо. Он заявил своего рода протест в связи с приемом, оказанным нам на вчерашнем вечернем заседании, и который он, Надо, считает грубым, похожим на допрос. Мы стали вспоминать, что же произошло вчера. Однако так и не припомнили повода для протеста. Стивен Спендер, взявший слово следом за Надо, заявил, что если его французский коллега усматривает «грубость» в том, что он, Спендер, просил советских редакторов охарактеризовать свои журналы, то он же, Спендер, ни в коей мере не желавший быть невежливым, охотно берет все свои слова обратно.

Инцидент грозил разрастись, и мы заявили, что не видим ничего неуважительного в адресованной нам просьбе охарактеризовать свои журналы; что тем не менее мы благодарим Мориса Надо за его внимание; просим участников конференции, не задерживаясь на этом инциденте, перейти к обсуждению стоящих перед нами вопросов.

Какова же была повестка дня?

Ее попросту не было. Председательствующий Силоне, предварявший каждое заседание своим вступительным словом, сказал, что единственная тема встречи — это разговор о контактах, взаимообмене духовными ценностями, и призвал участников говорить обо всем, что они считают нужным, не придерживаясь какого-либо «протокола».

Нас это устраивало. Ведь в конце концов дело не в повестке, а в доброй воле, а эту последнюю необходимо проявлять, а не «планировать».

Выступил Стивен Спендер. Он заявил, что хотел бы получить от нас информацию о лучших произведениях советской литературы и поспорить в своем журнале о состоянии марксистской литературной критики, а также о социалистическом реализме.

Французский литератор и сотрудник «Критик» и «Леттр нувель» Жан Дювиньо говорил о том, что культурный обмен — это обмен не только романами, но и мыслями о судьбах цивилизации. Однако он не против и «конкретного» обмена, в частности, статьями, в которых анализируются определенные общественные ситуации, и анкетами с читательскими и зрительскими мнениями о той или иной книге или кинокартине.

Совладелец «Темпо презенте» театральный критик Н. Киаромонте говорил о своем интересе к современному этапу общественного развития СССР...

Обсуждение пошло в хорошем, деловом темпе. Обмен информацией дополнялся взаимными предложениями. Высказывались мысли о необходимости продолжить контакты между отдельными журналами, о целесообразности обсудить вопрос об издании международного литературного альманаха, об обмене литературными новинками и так далее.

Здесь я позволю себе небольшое отступление. Мне доводилось присутствовать на нескольких встречах с представителями «Запада», происходивших за рубежом. Еще чаще приходилось мне читать статьи о подобных встречах. И мне кажется, что всякий непредубежденный человек должен, подобно мне, отчетливо видеть проявляющиеся, как правило, две линии, два метода выступлений тех западных представителей, которые придерживаются противоположных нам политических убеждений.

Первый метод заключается в безудержной пропаганде. Оратор размахивает картонным мечом или водородной бомбой (в зависимости от темперамента и общественного положения). Если же встреча происходит в «интеллектуальной сфере», то, пытаясь оклеветать нашу страну, он не жалеет пышных противопоставлений: «непреходящие духовные ценности», «свободный мир», «независимое мышление» и тому подобное.

Но есть и другие люди. Они так же не любят нас, как и первые. Но они умнее. Они действительно озабочены дальнейшими судьбами мира и отдают себе отчет в том, что, поскольку советская страна и идеи коммунизма, овладевшие миллионами людей, реально существуют, то, предоставив политическим кликушам и церковным проповедникам изрекать проклятия, следует подумать, как жить дальше.

Некоторые из западных участников встречи были когда-то близки коммунистическому движению. Они были в Испании, где фашизм репетировал в тридцатых годах вторую мировую войну. Впоследствии они отошли от коммунизма и, больше того, стали его врагами. С нашей точки зрения, эти люди пошли по неправильному, ложному пути.

Я говорю об этом не для того, чтобы лишний раз подчеркнуть наши противоре-

чия. Совсем наоборот. Мне просто хочется отметить, что *невзирая* на эти противоречия, невзирая на то, что некоторые из перечисленных литераторов не нашли в себе силы воли, чтобы в отдельных случаях не использовать трибуны нашей встречи для заведомо антисоветских «эскапад», *в основном* они все же проявили здравый смысл и добрую волю. Именно в этой связи хочется прежде всего остановиться на выступлении Жоржа Батайя.

Мне не приходилось ранее встречаться с редактором журнала «Критик», автором ряда философских работ и исследований в области искусства, хотя я знаю о политических взглядах Батайя, как и о линии руководимого им журнала. Наши серьезнейшие разногласия с ним очевидны. Но я хочу прямо сказать, что этот медлительный на первый взгляд, неторопливый и тихо говорящий француз произвел на меня впечатление серьезно и позитивно мыслящего человека, умеющего мгновенно схватить и оценить ситуацию. Я почувствовал в нем спокойное и уверенное желание объективно разобраться в положении и по крайней мере в ряде конкретных вопросов отказаться от предвзятых мнений. Жорж Батай сказал, примерно, следующее*:

— Мы представляем так называемый «свободный мир», однако вынуждены признать, что находимся в менее выгодном положении в смысле распределения богатств, нежели русские представители. Как выяснилось, они — богаче. (Ж. Батай имеет в виду наши заявления о многотысячных тиражах советских журналов.— *А. Ч.*). Таким образом, будет справедливо признать, что вопросы культурного обмена имеют дополнительную трудность. У нас маленькие тиражи, и мы говорим для сравнительно узкого круга людей. У них все обстоит иначе. То, что говорится для двух тысяч человек, не всегда интересно ста тысячам. Поэтому обмен, скажем, статьями не всегда будет достигать цели, поскольку мы не в равном положении и рассчитаны на разные аудитории. То, что кажется интересным нам, может законно показаться неинтересным русским. Поэтому несправедливо навязывать им для печатания то, что мы считаем нужным печатать у себя, и критиковать их за то, что печатают они. Я думаю, что такая постановка вопроса вряд ли может стать базой для позитивного обсуждения. Однако мы вполне можем обмениваться информационными бюллетенями о публикациях в наших журналах.

— Я полагаю, — продолжал Батай,— что хотя разница тиражей и велика и ваши ценности обращаются в более широком человеческом кругу, чем наши, мы все же должны стремиться к максимальному культурному обмену, поскольку цели у нас общие (Батай подразумевает здесь общность таких целей, как мир, просвещение и т. д. — *А. Ч.*).

Французский критик, сотрудничающий в журналах «Леттр нувель» и «Критик», Р. Бартес выступил с позиций, которые, вероятно, кажутся ему «ультра-левыми». Мы уже привыкли к тому, что представители «Запада» сознательно закрывают глаза на то, что мы широко печатаем и таких далеких от коммунизма писателей, как, скажем, Хемингуэй, или Колдуэлл, или Мориак, и упрекают нас в том, что мы публикуем «только» своих политических единомышленников. Бартес же обвинил нас в том, что мы печатаем «буржуазных» и «мелкобуржуазных» писателей — при этом он назвал имя А. Моруа,— в то время как их надо, с точки зрения Бартеса, «обесценивать».

Нам было известно, что Бартес причисляет себя к литераторам «левого» направления, того самого «левого», которое характерно своим антикоммунизмом и связями с троцкизмом. Однако, признаюсь, сектантство подобного рода, когда литератор видит в качестве одной из задач литературы «обесценение» признанных и известных писателей своей страны, показалось нам чересчур «эксцентричным». «Отстаивать» того же Моруа перед французом было довольно странно, но нам пришлось это сделать. Мы прибегли для этого к методам несколько хрестоматийным, но их предопределила сама элементарно нигилистическая постановка вопроса нашим оппонентом.

После того как Стивен Спендер выразил желание помочь нам рекомендациями лучших произведений современной английской литературы, мы, поблагодарив участников встречи за ряд интересных и вполне приемлемых предложений, поставили перед ними вопрос, который казался нам одним из главных. Дело заключалось в том, что Жорж Батай, говоря о «неравности» наших возможностей в применении к тиражам наших журналов, затронул лишь одну сторону этого важного вопроса. На самом же деле «неравность» гораздо шире. И мы сказали, обращаясь к западным коллегам:

— Мы привели цифры и факты, из которых явствует, что иностранная литература, представляющая писателей *самых различных направлений,* широко издается в СССР. Но нам ничего не известно о *советских* произведениях, которые бы систематически печатались в западных странах. Долго ли будет продолжаться такое «неравенство»? Что думают по этому поводу участники встречи? Считают ли они такое положение ненормальным? Будут ли они, по крайней мере в своих журналах, содействовать его исправлению?

— Мы, естественно, готовы вести обсуждение по всем вопросам, связанным с теми или иными частными сторонами организации обмена, готовы рассмотреть и принять интересные предложения, детализирующие этот обмен... Но мы хотели бы начать с «первоосновы», с призыва привести в не-

* Подобно М. Надо в его упоминавшейся статье, я оговариваюсь, что не ручаюсь, конечно, за буквальность пересказа отдельных выступлений.

которое соответствие, в «равновесие» тот обмен, который уже имеет место, но, к сожалению, пока остается односторонним.

Я должен с сожалением сказать, что на этот призыв, на эти вопросы мы не получили ясного ответа...

***

...В первые же свободные от заседаний часы я отправился осматривать Цюрих.

Хочу предварить свои очень поверхностные и разрозненные впечатления об этом городе (мы пробыли в Цюрихе только четыре дня, почти целиком заполненные заседаниями) словами о том, что многие места в Швейцарии произвели на меня гораздо большее впечатление, чем Цюрих, яркостью красок и темпераментом жителей.

Благодаря гостеприимству швейцарских властей и приглашению общества швейцарско-советской дружбы мы смогли провести в этой стране еще несколько дней после того, как наша конференция окончилась. Мы побывали в столице Берне, проехали по головокружительной альпийской дороге, перевалили через Сен-Готард и, очутившись в итальянской части Швейцарии, посетили Лугано и Локарно. Мы были также в Лозанне, этом типично французском городе, настолько похожем на некоторые районы Парижа, что кажется будто вот-вот выйдешь на Елисейские поля или Большие бульвары, и в несколько холодноватой Женеве. В некоторых городах мы выступали с докладами о советской литературе.

Цюрих — типично немецкий, в традиционном значении этого слова, город, респектабельный и спокойный (Маркт-гассе «не в счет»). Это крупный промышленный, торговый, банковский и культурный центр. Горные отроги охраняют покой этого лежащего в котловине древнего (он возник более 2000 лет назад) города, а изогнутое полукругом Цюрихское озеро кажется по вечерам гигантским полумесяцем, упавшим к его подножью.

В Цюрихе строят машины, паровозы, вагоны, его текстильная промышленность славится в Европе, а как центр химического производства этот город уступает в Швейцарии только Базелю.

С Цюрихом связаны некоторые дорогие для нас воспоминания. В его Центральной библиотеке Владимир Ильич Ленин работал над своей знаменитой книгой об империализме. Город был одним из центров русской революционной эмиграции.

На набережной реки Лиммат, в долине которой расположен Цюрих, недалеко от озера возвышается древнее здание Цюрихской библиотеки. Перед этим зданием стоит памятник Ульриху Цвингли. Одухотворенное лицо его обращено к озеру, и кажется, что взор этого четыреста лет назад погибшего человека настойчиво хочет проникнуть в даль, в будущее. Этот простой сельский священник был гордым и смелым человеком. Друг Эразма Роттердамского, он ненавидел мракобесие и суеверия, в каких бы формах они ни проявлялись, и боролся с ними. Он мечтал о независимости Швейцарии и был врагом найма швейцарцев на военную службу в армии соседних государств. Он добился запрещения продажи в Цюрихе папских индульгенций, был инициатором создания нового Университета и врагом католицизма. Он погиб во время разгрома цюрихской армии при Каппеле. Католические фанатики, не довольствуясь смертью великого реформатора, инсценировали тут же, на поле битвы, суд над своим мертвым врагом. Палач четвертовал его труп, который затем был сожжен, а пепел развеян по ветру. Народная легенда хранит память об одном из учеников Цвингли, который будто бы нашел в прахе своего учителя его вечно живое сердце, отвез в Цюрих и похоронил на родной земле...

В Цюрихе много достопримечательностей, относящихся к области искусства. Здесь есть кафе, которое посещал Джеймс Джойс,— ныне там висит его цветная фотография, а из статьи Мориса Надо я узнал, что в Цюрихе есть еще и «Кабарэ Вольтера», из которого начали свой шумный, но бесславный поход первые дадаисты. Мы посетили в этом городе большую и интересную выставку работ Сезанна...

Однако, где бы я ни был, я мысленно видел устремленный в вечность взгляд великого швейцарского патриота Ульриха Цвингли. Я думал о суевериях наших дней, о том, как трансформируется в течение веков реакция, какие препятствия воздвигает она на пути прогресса, дружбы народов и доброй воли, и о том, что наша встреча станет, может быть, едва заметной, но все же вехой на этом пути...

***

...На другой день спокойное и, я бы сказал, позитивно-деловое течение нашей конференции снова нарушилось. Это было вечернее заседание, но из сумерек вылетела, к сожалению, не сова Минервы, а летучая мышь холодной войны. Видимо, она задела своим крылом председательское кресло, и Игнацио Силоне задал нам несколько «коварных» вопросов.

Я уверен, что редактор «Темпо презенте» субъективно умный человек, и с большим уважением отношусь к его антифашистской деятельности в военные годы. Я мысленно оценивал не только такт Силоне, но и некоторый прогресс в его политических убеждениях, сравнивая ту антисоветски ограниченную терминологию, которой он часто пользовался во время встречи «Восток — Запад» в Венеции, с той сдержанной и относительно доброжелательной манерой разговора, которой он до сих пор придерживался на нашей встрече. Однако нам пришлось все же разочароваться: Силоне, как бы совершенно игнорируя цифры и факты издания иностранной литературы в СССР и ничего не ответив на наши связанные с этим вопросы, стал критиковать нас за то, что в Советском Союзе не распространяется буржуазная пресса.

Ссылаясь на заявление молодого амери-

канского писателя Трумена Капота, который недолго пробыл в СССР, Силоне начал утверждать, что у нас неизвестен Зигмунд Фрейд, призывал к переписке между журналами «без посредства посольств» и так далее.

Полагая, что уважение к участникам встречи обязывает нас отвечать на любые вопросы, сколь нелепыми они бы нам ни казались, мы разъяснили Силоне, что Фрейд известен в нашей стране и что наше право не придавать его учению столь всеобъемлющего значения, как это делают на Западе; что «Иностранная литература», ведя переписку с примерно 250 зарубежными литераторами, ни разу не прибегала к «посредству посольств» и что его заботе о распространении буржуазной прессы мы бы предпочли заботу об издании советской литературы за рубежом, хотя бы приблизительно в той же мере, в какой мы издаем иностранную. На это замечание Силоне ответил, что знает советскую литературу, но ценит ее невысоко, что современные советские писатели хорошо известны на Западе, и просил назвать фамилии тех, кого бы там не знали.

Мы спросили, известно ли ему что-либо о таком старейшем писателе, как М. Пришвин, или о молодом писателе С. Антонове? Оказалось, что как эти имена, так и ряд других Силоне (как, впрочем, и остальные представители западных журналов) слышит впервые.

Должен заметить, что Силоне не раз оказывался в положении, по меньшей мере, неловком, когда выяснялось, что его с апломбом произносимые утверждения опровергаются фактами, которым он ничего не мог противопоставить.

Нападки Силоне, видимо, показались тенденциозными не только советским представителям. Жан-Жак Майу, историк англо-саксонской литературы и критик, также вступил в полемику с Силоне. Он сказал, что не согласен с председателем, который старается сосредоточить внимание конференции на прошлом, и уверен, что вопрос о продаже западных журналов в СССР не имеет приписываемой ему актуальности, особенно принимая в расчет проблему знания языков. Майу считает, что главное внимание надо уделить деловым задачам связи между представленными здесь журналами.

Не могу сказать, что И. Силоне воспринял замечания Майу «самокритично». Он повысил голос, заявил, что готов сложить с себя председательские полномочия, если кому-то не нравится его манера говорить, и так далее. Нам показалось, что такая реакция была чрезмерной для человека, претендующего на роль защитника демократии, поскольку в нашем представлении демократизм ассоциируется не столько с желанием поучать, сколько с готовностью выслушивать критику.

Однако Силоне остался председателем, оставил в покое Майу, снова обратился к нам и спросил, как мы относимся к процессам «десталинизации» в нашей стране.

Мы ответили, что отвергаем сенсационно-примитивный термин - «десталинизация».

...В связи с этим вопросом мне хотелось бы вернуться к той статье Мориса Надо, описывающей ход нашей беседы, о которой я упоминал вначале. Надо утверждает, что когда Силоне произнес слово «десталинизация», «за столом русских началось некоторое волнение».

Пусть извинит меня Морис Надо, но я позволю себе назвать эти его строки чистейшей «драматургией». Я живо представляю себе некий схематический литературный сценарий, который мог бы быть написан «на Западе» на тему о нашей встрече еще до того, как она состоялась. В нем был бы, конечно, предусмотрен «кульминационный момент» конференции, когда представители «Запада» задают «Востоку» вопросы, связанные с культом личности. И, конечно, жирная ремарка сценариста предусмотрела бы в этом случае «волнение за столом русских».

В жизни все проще. О том, что наши западные коллеги не преминут задать подобные вопросы, мы отлично знали еще в Москве, едва прочтя первое письмо Надо. Поэтому, если даже предположить в нас людей повышенной эмоциональности, для чего, впрочем, нет особых поводов, мы не могли проявить никакого «волнения» в подобном случае. Нам просто стало немного скучно, но, надеемся, мы были достаточно вежливыми, чтобы не проявить своих ощущений.

Утверждая, что вопрос Силоне вызвал у нас «волнение», Надо ошибается или хочет ошибаться. Кожевников, во время речи которого, посвященной совсем другой теме, Силоне задал свой вопрос, ограничился заявлением, что он отвергает термин, употребленный Силоне.

После речи Кожевникова председатель объявил вечернее заседание законченным.

На следующем же заседании мы по собственной инициативе вернулись к вопросу о культе личности. Мы подробно рассказали участникам встречи о тех мерах, которые приняла наша партия, чтобы ликвидировать вредные последствия культа личности, и заявили, что решительно отвергаем спекулятивные попытки некоторых западных деятелей использовать термин «десталинизация» для атак на основные принципы и устои нашей советской жизни, которые, к их сожалению, остаются и останутся незыблемыми. Мы заявили, что, несмотря на культ личности, вопреки ему, наш народ, наша партия делали свое великое дело и построили социализм. Мы видим в наших победах высшее выражение социалистической демократии.

Морис Надо в своей статье пишет: «...не убедив советских людей в наших взглядах, мы можем сказать без особых иллюзий, что высказанные на этой встрече обещания, точнее соглашения, к которым мы пришли, позволяют утверждать, что в отношениях между Востоком и Западом кое-что изменилось и, возможно, возникло нечто новое»

В одном из разделов своей статьи Надо утверждает: «Скажу прямо: я считаю эту встречу успехом».

Еще не закончив описание нашей конференции, спешу сказать, что целиком присоединяюсь к последним словам М. Надо. Мой французский коллега говорит далее: «Я не уверен, что Игнацио Силоне в такой же мере удовлетворен результатом встречи». Может быть, Надо прав и в данном случае.

И в этой связи я хочу открыто сказать: любые надежды, связанные с тем, что мы, советские люди, в каких бы то ни было случаях встанем на путь капитуляции, на путь отказа от своих идейных принципов, своих незыблемых советских устоев, являются тщетными.

М. Надо, констатируя свое удовлетворение итогами нашей встречи, говорит о И. Силоне: «Знаю, что он преследовал другую цель...» Как видно из дальнейшего текста статьи, цели Силоне были сходны с теми надеждами, о которых я говорил выше. Видимо, Силоне хотел заставить нас принять его взгляды, его терминологию, которые мы считаем ложными и спекулятивными (говоря о намерениях Силоне, Надо дважды употребляет слово «заставить»).

Нас никто и ничто не может «заставить» — это никогда и никому не удавалось — ни с помощью спекулятивной фразеологии, ни с помощью оружия. В этом вопросе мне хотелось бы поставить точки над «и».

К чести большинства участников нашей встречи мне хочется отметить, что попытка Силоне увести обсуждение от конкретных и деловых вопросов на бесплодный путь спекулятивно-пропагандистской фразеологии не имела успеха.

«Я считаю, что в основе должен лежать принцип сосуществования», — сказал Ж. Дювиньо, выражая настроения большинства. Я. Ивашкевич ответил И. Силоне более подробно. «Зачем задавать риторические вопросы? — сказал он.— Разве факт присутствия здесь советских редакторов не говорит сам за себя? Разве этот же факт не является лишним свидетельством процессов демократизации в Советском Союзе? Зачем упрекать русских за то, что они любят своих политических друзей? Разве не вполне естественно, что в «Иностранной литературе», например, публикуют не только Роллана, но и Стиля? И если «Темпо презенте», например, публикует тех или иных писателей, то разве в первую очередь не потому, что эти писатели думают так же, как господин Силоне?..»

***

Наша встреча началась без повестки дня и кончилась без громких резолюций. В ходе обсуждения не все было «гладко». были разногласия, была полемика. Помимо упоминавшихся литераторов, в обсуждении приняли активное участие и другие. Кроме того, было несколько «частных» встреч участников за кофе или ужином, во время которых велись разговоры, пожалуй, не менее важные для дела культурного общения, чем на самой конференции. Мы признали полезным продолжение переписки, обмена информацией, посылку рекомендательных списков литературы и так далее. Было высказано пожелание повторить в 1957 году нашу встречу, несколько расширив состав ее участников. Мы единодушно поблагодарили швейцарцев за их гостеприимство.

Итоги любой международной встречи далеко не всегда оцениваются по конкретным решениям и по их количеству. Важна атмосфера встречи и ощущение, с которым расходятся по окончании ее участники. Я уверен, что с этой точки зрения наша встреча была полезной и нужной. Мы увидели тенденцию доброй воли, проявленной в той или иной степени такими людьми, как Надо, Батай, Спендер, и многими другими. Со своей стороны, мы старались быть предельно искренними и доброжелательными. Без всякой фразеологии мы хотели дать понять нашим коллегам, что, не поступаясь главными принципами нашей советской идеологии, мы готовы идти им навстречу во всех вопросах, разрешение которых полезно для дела мира, культурного общения и взаимопонимания.

Мне хочется сказать в заключение, что я не жалею о том, что статья эта появляется с опозданием. События в Египте и попытка реакции отторгнуть Венгрию от лагеря мира и демократии до крайностей обострили международную обстановку. В этой очень сложной обстановке как никогда важно сохранить волю к миру и ненависть к войне холодной и горячей.

Я адресую эти строки не только к участникам нашей цюрихской встречи, но и ко многим другим деятелям зарубежной культуры.

Мы все понимаем: жестокость и горечь того, что происходит в мире, потоки клеветы, обрушившиеся на нашу страну,—все это воздействует не только на разум людей, но и на их сердца.

Но мы верим и в человеческий разум, и в человеческие сердца. Мы верим в их победу над клеветой, в конечное торжество Правды, той самой, с большой буквы, Правды, которая позволяет человеку увидеть и оценить любое событие в связи с судьбами человечества.

Пусть наша недавняя встреча напоминает о том, что в этом сложном мире можно по-настоящему жить только с волей к дружбе и взаимопониманию, потому что на другом полюсе — пожар взаимоистребления, а в середине — жестокая трясина холодной войны.

***

P. S. После того как эта статья была уже сдана в набор, мы получили очередной номер «Темпо презенте» и прочли в нем статью И. Силоне о нашей встрече.

Редактор «Темпо презенте» подтверждает догадку М. Надо, когда этот французский писатель говорит, что «не уверен, что Игнацио Силоне в такой же мере удовлетворен результатом встречи».

«Оставаясь немногословным и сохраняя чисто французскую вежливость, Надо сумел высказать главное»,— пишет Силоне. Как известно, заразительными оказываются только дурные примеры. Игнорируя хороший пример М. Надо, И. Силоне с несвойственной итальянцам грубостью говорит о своем отрицательном отношении как к итогам конференции, так и к ее советским участникам.

Он ругается, называет нас представителями цензуры, бюрократами и так далее.

Следуя манере претенциозного и крикливого редактора «Темпо презенте», мы бы, конечно, могли найти эпитеты для характеристики человека, в устах которого слова о «свободе», «демократии» и так далее выполняют то же назначение, что и призывные крики дрессированной утки, которую охотник берет с собой в общеизвестных целях. Однако мы не воспользуемся дурным примером Игнацио Силоне.

Как я уже писал, этот человек и в ходе конференции время от времени позволял себе антисоветские «эскапады». Однако иногда он демонстрировал спокойствие, которое легко можно было принять за добрую волю.

Ныне Силоне уже никто не сможет упрекнуть за то, что он на какие-то минуты решил стать объективным и доброжелательным человеком. Он примитивно односторонен.

Тем не менее грубые выпады Силоне ни в какой мере не меняют нашего положительного отношения к встрече в Цюрихе. Эта встреча была явным шагом вперед в деле расширения культурных связей, и то, что она, по иронии судьбы, происходила под председательством столь закостеневшего в своих антисоветских предрассудках человека, как И. Силоне, вряд ли что-либо меняет.

И. Анисимов

Советская литература сегодня и ее перспективы

(ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ И. СИЛОНЕ)

После встречи представителей литературно-художественных и общественно-политических журналов ряда европейских стран, состоявшейся в Цюрихе в сентябре прошлого года, редактор итальянского журнала «Темпо презенте» И. Силоне направил члену редколлегии «Иностранной литературы» И. Анисимову список вопросов, на которые он просил дать письменные ответы для последующей их публикации в журналах «Темпо презенте» и «Леттр нувель» (Франция). И. Силоне предоставил также право опубликовать названные вопросы и ответы в советской печати.

Ниже следуют вопросы И. Силоне и ответы на них И. Анисимова.

Я рад воспользоваться этой встречей с Вами для того, чтобы внести ясность в некоторые вопросы о Вашей стране, по поводу которых за границей осведомлены плохо, с запозданием и противоречиво.

Я прошу моих собеседников не придавать моим вопросам никакого неблагожелательного намерения, никаких задних мыслей. Я могу заверить, что надежды, вызванные у нас поворотом русской политики в последний период, еще очень живы, и я, как писатель, особенно желал бы узнать, какие последствия имело это политическое событие для русской культурной жизни вообще и для работы художников и писателей.

Безусловно, я нахожусь в распоряжении моих русских коллег для того, чтобы разъяснить и осветить то, что они могут пожелать узнать от меня по поводу культурной жизни моей страны.

1. Великий русский писатель Михаил Шолохов в своей речи на XX съезде КПСС утверждал что русская литература последних десятилетий была «литературой мертвых душ» как результат директив, навязанных государством писателям. Правда ли, что директивы изменены? И в каком смысле? И существуют ли все же директивы до сих пор?

2. Какое литературное или художественное выражение уже получило в Вашей периодике или в других литературных публикациях Вашей страны то, что было официально осуждено как «культ личности и нарушение социалистической законности»?

3. В климате того, что было названо «оттепелью», и под знаком либерализации умственного труда, не считаете ли Вы, что пришел момент ознакомить Вашу публику не только с антиамериканскими памфлетами и условными рассказами некоторых писателей Запада, но и с произведениями независимой левой?

4. Ожидая, что русские историки и романисты будут иметь время описать то, что официально было признано у Вас как объективная правда недавнего прошлого, не считаете ли Вы, что было бы полезным ознакомить Ваших читателей с иностранными произведениями людей доброй воли, которые уже проделали значительную часть этой работы? Я подразумеваю, в частности, следующие произведения.

Александр Вайссберг. «Шабаш ведьм»,
Иосеф Чапский, «Нечеловеческая земля»,
Густав Герлих-Грудзинский. «Мир в стороне»,
Элинор Липпер. «Одиннадцать лет в Сибири».

Если Вы не знаете этих книг, желаете ли Вы, чтобы я попросил издателей переслать их Вам?

5. В Венгрии, Польше и Югославии изменения, происшедшие у Вас в течение последних месяцев, были встречены с одобрением, а в литературных и художественных кругах даже с большой откровенностью; были ли эти отклики доведены до сведения русской интеллигенции?

Игнацио Силоне.

Цюрих, 28 сентября 1956 года.

Я признателен за Ваше приглашение к беседе, господин Силоне, и думаю, что откровенный разговор по вопросам, которые нас взаимно интересуют, поможет Вам внести ясность в понимание сложных противоречий современной культуры.

Я хотел бы не только ответить на Ваши вопросы, но и поставить Вам свои.

Предварительно следует высказать несколько общих соображений.

Вне всякой зависимости от того, нравится ли это кому-нибудь или не нравится, капитализм и социализм сосуществуют в настоящее время на нашей планете. Из этого следует сделать все выводы, и ни одна современная политическая концепция не имеет значения, если она не считается с этой доминирующей особенностью современной эпохи. И хотя идеологические расхождения между двумя сосуществующими системами очень глубоки, крайне важно добиваться возможности не прерывать диалог даже в момент, подобный сегодняшнему, когда все призраки «холодной войны» воскресли и самые черные силы реакции орудуют своей клеветой, своими топорами и дубинами.

Сейчас реакция использует события в Венгрии для самой разнузданной травли социалистического лагеря. С каждым днем все яснее становится, что в Венгрии ею

была поставлена большая ставка. К счастью для мира, эта ставка была бита.

Я слишком хорошо знаю цену праведной крови, пролитой в Венгрии защитниками социализма и будущего, чтобы делать какие-либо поспешные выводы. Но я уверен, что когда эти события будут восприняты Вами в свете правды, а не зловещей и разнузданной инсинуации, то они помогут нам лучше понять друг друга. Ведь они показали с такой страшной наглядностью, что тогда в Цюрихе мы с вами находились в двух шагах от фашистского ужаса, что самый свирепый враг притаился за дверью, у которой мы остановились, чтобы поговорить о многом.

Если не отдать себе отчет в поистине чудовищных замыслах реакции, то можно попасть в самое трагическое положение. Вот почему выступление Сартра в «Экспресс» о событиях в Венгрии производит столь безотрадное впечатление. И ум и литературный талант Сартра не могут спасти его в тот момент, когда он бросается вниз головой в яму клеветы. Не будем гадать о том, что предстоит Сартру в будущем — дальнейшее ли погружение в болото или какие-то попытки посмотреть правде в глаза. Хочется верить в последнее.

Вы, господин Силоне, участник борьбы против фашизма в Испании, понимаете, что значит закрыть своею грудью дорогу фашизму; венгерским защитникам народной демократии и советским воинам пришлось сделать это, и они не поколебались. Они спасли мир и Венгрию, над которой уже поднималась зловещая тень последышей Хорти. Мы скорбим о жертвах среди защитников мира, социализма и демократии и считаем своей обязанностью защитить их память от клеветы.

Вы, конечно, обратили внимание на то, как освещают лживые газеты события в Венгрии и в Египте, как они стараются скрыть правду здесь и там, как империалисты стремятся обелить себя, хотя кто же не видит, что они — преступники, совершившие разбойничье нападение на Египет, и как они прикидываются друзьями венгерского народа, который собирались задушить, и как они хотели запачкать защитников венгерской народной демократии и Советский Союз.

Это злободневное отступление не кажется мне излишним. Сделав его, обращаюсь непосредственно к кругу вопросов Вашего интервью.

Каждый, кто подходит к советской литературе со стороны, должен знать, что критерии, к которым он привык у себя, далеко не всегда являются универсальными. Эта литература возникла из недр великого социалистического переворота и отличается многими особенностями, которые не улавливались ранее самыми чувствительными сейсмографами критики. В ней очень много новизны, которая иногда кажется непонятной. *Обязательно* надо всмотреться в нее поглубже и *обязательно* подойти к ней без предубеждения.

Первое, без чего нельзя получить правильного представления о советской литературе, это непосредственно связанный с социалистической природой нашей литературы *принцип непрерывного расширения* ее амплитуды. То, что она является литературой народных масс,— не просто слова, это ее глубочайшая сущность. Эстетическое своеобразие социалистического реализма не может быть раскрыто, если мы забудем, что перед нами литература невиданно *расширившегося воздействия на массы.*

На примере нашего Маяковского хорошо видно, что *народность* поэзии ни в коей мере не противопоставлена ее *художественной неповторимости,* исканиям невиданного размаха, самой сложной литературной технике, про что принято говорить: этого массы не поймут. Доверие и глубочайшее уважение к чаяниям и требованиям масс является неотъемлемой особенностью социалистического реализма; надо ли проводить здесь параллель с принципами, господствующими в буржуазной эстетике?

Не мешает ли это художнику проявить себя? Нет, напротив, это помогает ему найти себя, расставшись с иллюзиями буржуазного индивидуализма. Примеры Элюара, Арагона, Пабло Неруды очень ценны в этом отношении.

Перехожу к ответам на поставленные Вами вопросы.

1. Михаил Шолохов никогда не связывал свою критику с какими бы то ни было директивами государства в отношении писателей. Я полагаю, что Вас кто-то ввел в заблуждение.

Говоря о позиции М. Шолохова в этом вопросе, уместно процитировать одно место из его речи на Втором съезде советских писателей и также опубликованной в печати:

«О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто мы пишем по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которому мы служим своим искусством».

Может быть, следует дать разъяснение: социалистический реализм — это вовсе не вся та литература, которая существует в советской стране. Это новый творческий метод, и, конечно, не все книги, вышедшие у нас, были написаны на основе этого метода. Он воплощен в лучших передовых произведениях, в которых проявляется новое, продвигающее вперед литературу, обогащающее человека духовными ценностями, которые были вновь открыты. Таковы произведения Горького, Маяковского, нашего замечательного Фурманова, о котором так мало известно на Западе, таковы произведения Фадеева, Шолохова, таковы произведения Алексея Толстого и Михаила Пришвина — писателей, пришедших к нам из далей прошлого и переживших как бы второе рождение, таковы произведения писателей национальных республик — Лациса, Корнейчука, Купалы, Айни.

Надо отдавать себе отчет в том, что понятие «советская литература» гораздо шире, чем понятие социалистического реализма. Продолжают существовать старые, досоциалистические формы реализма, к которым относится, например, творчество весьма уважаемого у нас писателя Сергеева-Ценского, которое не подвергалось той глубокой трансформации, результатом которой, к примеру, было то новое, что так властно проявилось в «Хождении по мукам» Алексея Толстого или в его историческом романе «Петр I». И тем не менее выпустивший в советское время ряд новых романов Сергеев-Ценский — один из самых известных и почитаемых у нас писателей.

Конечно, у нас много романов и поэтических произведений, которые при всех добрых намерениях их авторов не выходят за пределы натуралистического изображения, бескрылого, наивного, ползущего по поверхности явлений. Большинство произведений, которым свойственно то, что у нас ядовито называется «лакировкой» действительности, относится как раз к этому натуралистическому ряду. Естественно, что существуют и эклектические произведения, в которых иногда проявляются самые разнообразные влияния.

Социалистический реализм со всею его самобытностью, с его смелою неудовлетворенностью, с его порывом к будущему, с его уверенностью в торжестве социалистического идеала, мудрым знанием жизни и способностью вникнуть в ее сложнейшие противоречия, воплощен, конечно, в больших достижениях советской литературы и вовсе не является автоматически обеспеченным ее качеством. Мы отрицаем «рецептуру» социалистического реализма, как и всякие иные догмы.

Мы хотели бы указать здесь на пример Валентина Овечкина, в очень острых рассказах которого намечается переосмысление некоторых образов, взятых из живой действительности, но которые до сих пор часто показывались с натуралистической поверхностностью и стали почти трафаретными. Для самого Овечкина эти предварительные разведки глубин действительности, возможно, являются подготовкой большого произведения, которое было бы грандиозным событием и внесло бы в литературу нечто очень важное. Что же касается до советской литературы в целом, то повести Овечкина, несомненно, производят глубокое влияние и помогают разрушению натуралистических шаблонов в изображении крестьянской жизни, являющейся господствующей областью творческих интересов Овечкина.

2. Советская литература находится сейчас в сложном состоянии творческого напряжения. Ликвидация последствий культа личности, пристальное изучение опыта нашей жизни создают предпосылки для нового подъема нашей литературы. Нам кажется, что мы стоим перед будущим, которое принесет крупные достижения советской литературе, но Вам, как писателю, ясно, что рождение таких произведений не может быть предугадано во времени с какой-либо точностью. Речь идет ведь не о каких-либо сенсационных однодневках, в которых никогда нет недостатка, а о произведениях, достойных очень требовательной оценки.

Достаточно ли у нас оснований для такого многообещающего прогноза? Да, возможности советского писателя не имеют предела: ведь он должен отразить происшедшие вокруг перемены, показать все, что творится в недрах народной жизни, показать с тою беспощадной силой правды и проницательности, которая присуща лучшим произведениям писателей, которых мы называем классиками советской литературы,— Горького, Маяковского, Алексея Толстого, Фадеева, Шолохова, а может быть, и превзойти их.

У нас сейчас происходит очень много откровенных и горячих дискуссий о литературе, о живописи, об исторической науке. Все они направлены на то, чтобы освободить нашу литературу и наше искусство, а также историческую науку от догматизма, с которым был неразрывно связан культ личности, чтобы отмести все безжизненное, фальшивое, всю пыль, затемнявшую горизонт.

Историческая обстановка сложилась так, что советской литературе пришлось в течение некоторого времени существовать в неблагоприятных условиях культа Сталина. Что это нанесло ей тяжелый ущерб, не подлежит сомнению. Но это недаром литература народная. Как социалистическое развитие всей нашей жизни не было остановлено в период культа Сталина, так и советская литература не могла быть остановлена в своем социалистическом развитии. В этот период были завершены «Тихий Дон» Шолохова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, были написаны «Молодая гвардия» Фадеева и последние романы Константина Федина, романы молодого Юрия Крымова, который погиб на войне.

Многие голоса были приглушены или замолкли навеки и мы с глубоким волнением переживаем возвращение многих имен и произведений в строи советской литературы. Многие талантливые произведения, подобно «Счастью» Петра Павленко, испытали вторжение мотивов культа личности, не совместимых с самим понятием социалистического реализма.

Но должно быть понято, что в значительной мере эти мотивы культа вносились писателями искренне, без задней мысли, ибо Сталин был для них олицетворением народа и высокого идеала Это придавало ошибке многих писателей смысл, далекий от какого бы то ни было услужничества, что спасало их от творческого краха. Было, конечно, немало и таких, кто видел в распространении культа личности выгодную конъюнктуру, особенно много таких случаев было в нашей портретной живописи.

Распространенным явлением становилось поверхностное, лишенное глубины изображение советской действительности, игнорирующее ее сложность, не касающееся многих ее сторон, однопланового. Такие произведе-

ния не получали заслуженной оценки критики. Сила советской литературы измеряется, однако, не этими произведениями. Она заключена в произведениях, несших с собою новое, подобно поэтической сюите Александра Твардовского «За далью даль», первым рассказам Сергея Антонова, и последним дневникам Михаила Пришвина, и многим другим достижениям социалистического реализма, которые были очень внушительны даже в трудные для литературы и страны годы, когда господствовал культ Сталина.

Этими достижениями надлежит измерять уровень советской литературы в указанный период и таким образом не упускать из вида непрерывность ее великой традиции. Это важно и для того, чтобы составить представление о том, что происходит в советской литературе после того, как культ Сталина был отброшен. Она получила новую возможность развития, ее творческие искания не сдерживаются теперь ни иллюзиями, ни догмами культа личности, и это не может не сказаться на ее жизни, на стремительности ее подъема. Исходя из этого, мы оцениваем и близкую и далекую перспективы очень уверенно. Мы многого ждем от нашей литературы в настоящий период.

3. Понятие «оттепели», которым вы пользуетесь и которое очень распространено в западноевропейской печати, не привилось и не привьется в нашей печати. Нет оснований название повести, явившейся, по моему мнению, творческой неудачей хорошего писателя, делать обозначением больших и глубоких перемен, происшедших в Советском Союзе после того, как был отброшен культ Сталина, и не в сводках погоды надо искать слова, способные выразить эти перемены.

Большие события требуют и больших понятий, больших образов, которые еще не даны литературой и будут даны не в сенсационной форме. Печатается сейчас очень много, потребовалось создание многих новых журналов, чтобы удовлетворить существующую потребность, но этот поток еще не разлился во всю свою ширь, и его бурное течение не принесло еще великих произведений, которые обязательно будут. Мы ждем их.

В нашей литературе, которая по природе своей тесно связана с жизнью общества, господствует сознание, что сейчас открылись действительно новые возможности и литература должна сделать решительный шаг вперед после периода трудностей. Как никогда в нашей литературе властно проявляется стремление глубже понять свою великую традицию, опереться на нее и развить все заложенные в ней возможности для того, чтобы каждое слово нашей литературы было живым, смелым, веским и достойным ее великого назначения.

Обещания? Да, обещания. Но ведь Вы, как писатель, знаете, что сдвиги, делающие эпоху в литературе, не измеряются календарными сроками.

Заключительная фраза Вашего вопроса, видимо, результат дезинформации. Едва ли в какой-либо другой стране издается столько переводов с иностранных языков. Вы не любите цифр, и их я не привожу, хотя они доказательны. Если мы издаем то, что нам нравится, это наше право и, во всяком случае, у нас издаются не только «антиамериканские памфлеты» (может быть, Вы относите к ним издание собрания сочинений Теодора Драйзера, которое появилось у нас раньше, чем в Америке?), а огромный поток современной литературы всех стран мира. Что же касается Вашего пожелания издавать «произведения независимых левых», то в принципе не может быть возражения, надо только, чтобы Вы назвали имена и произведения, и мы надеемся, что советские издательства прислушаются к Вашему совету, если произведения будут хорошими и интересными для наших читателей.

4. Названные авторы и произведения мне, к сожалению, неизвестны, и я смогу что-либо сказать о них после того, как познакомлюсь с ними. Заранее благодарен Вам за согласие прислать нам указанные в четвертом вопросе книги.

5. О Венгрии, Польше, Югославии... Отвечать на этот вопрос я начну с конца. С Югославией наши политические отношения к общему удовлетворению урегулированы, хотя остается несколько спорных вопросов, по которым и сейчас ведется дискуссия. Литературные отношения стали более открытыми и тесными, хотя не на все советские и югославские авторы смотрят одинаковыми глазами.

Отношения с Польшей после недавних взаимных посещений руководящих деятелей наших стран стали особенно сердечными. Накопившиеся недоразумения были рассеяны. Литературные искания современной Польши пока что выливаются в очень бурную критику «десятилетия», с чем многие из нас не согласны, считая, что там, наряду с фактами, заслуживающими осуждения, было много ценного, что новое не рождается просто, что догматизм и засилие бюрократов в писательских организациях не остановило и не могло остановить подлинно социалистических исканий в литературе. Польские газеты и журналы имеют широкое распространение в Советском Союзе, поэтому реакция на литературные польские дискуссии у нас очень живая, и не случайно, что наши журналы и газеты отзываются своей критикой на эти дискуссии. Нам кажется, что польские друзья еще о многом должны подумать, еще многое должны взвесить, прежде чем им явится истина.

Кажется, что сейчас еще преждевременны какие-либо выводы относительно и ближайших, и далеких перспектив новой польской литературы. Во всяком случае, мы дружески желаем польской литературе успеха и расцвета. И нам кажется, что если она будет голосом своей социалистической страны, то это обязательно укажет ей правильный путь. Что же касается социалистического реализма, на который за последнее время в Польше было взвалено сгоряча столько

напраслины, то, что ж, будущее покажет, кто прав и кто видит дальше.

Что касается нас, то мы были и остаемся на стороне социалистического реализма, ибо в этом понятии для нас концентрируется все новое, смелое и передовое, что вносит в литературу социалистическая эпоха. И мы хотели бы подчеркнуть, что понятие социалистического реализма — это понятие всеобъемлющего синтеза, позволяющее объединить в его богатом спектре и Горького, и Маяковского, и Шолохова, и Твардовского, и Фадеева, и Пришвина, и Марию Пуйманову, и Арагона, и Броневского, и Элюара, и Незвала, и Пабло Неруду. Мы думаем, что соединение социалистического мировоззрения с движением масс, добивающихся победы социализма, создаст возможность такой литературы, такой новой ступени художественного развития, какой еще не знало человечество. Ее-то мы и называем литературой социалистического реализма. Она уже проявляет себя, и ей принадлежит будущее. Это литература, принадлежащая народу, выражающая его чаяния, литература невиданно могучего социального воздействия.

Схематикам эта небывалая народность литературы кажется угрозой для некой сокровенной тайны творчества. Но ведь эти сказки можно рассказывать только детям самого младшего возраста, ибо могучая литература социалистического реализма уже существует, и к именам вышеприведенным можно присоединить еще немало больших имен.

И, наконец, Венгрия, литературной жизнью которой мы, к сожалению, интересовались меньше, по незнанию языка, из-за того, что исторические связи, которые существуют, например, между славянскими литературами, здесь не были столь интенсивными. Теперь, когда мы задним числом внимательнее знакомимся с тем, что происходило в венгерской литературе в предоктябрьские месяцы, становится очевидным, что многие венгерские писатели потеряли под собой почву и вместе с ошибками Ракоши были готовы отбросить и социалистические преобразования в Венгрии. Именно этим и воспользовалась реакция. Именно эти настроения и разжигались и в «клубе Петефи», и в организациях писателей, и в их печатном органе «Иродалми уйшаг».

Сейчас, после такого страшного потрясения, пережитого Венгрией, преждевременно еще говорить о том, каковы перспективы дальнейшего развития литератур и кто из писателей займет какие позиции. Одно очевидно, что литература в социалистической стране может быть только народной, ее связи с народом — это ее животворные артерии, перерезав их, литература приговаривает себя к гибели.

И, наконец, я хотел бы, господин Силоне, задать Вам вопросы:

Как смотрите Вы на состояние литературы в современном мире и, понятно, в Италии? Как относитесь Вы к тем явлениям литературы, которые открыто связывают себя с борьбою рабочего класса за социалистическое переустройство мира? Как оцениваете Вы неоспоримый факт стремительного развития этой литературы в наше время? Как Вы относитесь к борьбе двух основных направлений в современной литературе — за социализм и против социализма? В связи с этими вопросами интересно было бы узнать, какое место Вы отводите той «независимой левой», о которой говорится в заданных мне вопросах, и каковы перспективы ее будущего?

Буду очень признателен за ответ.

И. Анисимов

Москва, 24 декабря 1956 года

P. S. После того как публикуемые выше ответы на пять вопросов Игнацио Силоне были отправлены в Рим, а также в редакцию «Иностранной литературы», я получил номер «Темпо презенте», в котором господин Силоне что называется дал волю страстям. Уже во время нашей беседы в Цюрихе он не всегда держал себя в рамках вежливости, на что ему указывали, например, французские коллеги. Теперь он окончательно вышел из себя. Он называет меня и моих друзей Кожевникова и Чаковского «бюрократами», людьми, которые ни шагу не делают без соизволения «начальства», и т. д., и т. п.

Внешним поводом для подобной ругани послужило то, что он долго не получал моих ответов, хотя никакого срока, конечно, не было установлено. Быть может, господин Силоне побеспокоился узнать о причине, по какой я не отвечал ему? Нет, он искал только предлога. А в том письме, которое он уже получил и которое я послал ему вместе с ответами, не прочитав еще его злобной и нелепой инвективы, я сообщил ему, что был долго болен и потому не имел возможности раньше выполнить его просьбу. Как же теперь быть? Может быть, он извинится передо мной так же, как я извинился перед ним за вынужденное опоздание моего ответа?

Одно ясно: Игнацио Силоне так привык жить в мире совершенно вздорных представлений о советских людях, которых он не любит, и это его дело, но с которыми он все же вступает в диалог и, значит, обязан быть вежливым, что заранее исключает самые простые и самые человеческие мотивы их поведения.

Можно только пожалеть о том, что Игнацио Силоне никак не может расстаться с шорами, которые давно носит и которые мешают ему видеть окружающее таким, каково оно есть.

Мой интервьюер очень рассердился на меня и на моих коллег также за то, что мы после встречи в Цюрихе оставались еще неделю в Швейцарии. Да, пользуясь гостеприимством этой страны и по приглашению Общества «Швейцария — СССР», мы выступили с докладами о советской литературе в ряде городов, а если это надо знать обязательно точнее — в Локарно, Лозанне и Женеве.

Мы с большим удовлетворением вспоминаем об этих встречах с людьми Швейцарии, со многими из них мы подружились и уверены, что никто не принимал нас за «агентов Москвы», которые все еще бередят фантазию бедняги Силоне.

29 декабря 1956 г. *И. А.*

Михай Бенюк

По возвращении из Венгрии

Лучи заката, словно красным вином, заливали зеркальную гладь Балатона, и ничто не нарушало тишины, опускавшейся на виноградники Бадачони, где лишь недавно собрали урожай. Это было в воскресенье, 21 октября 1956 года. Я был гостем на маленьком винограднике у одного писателя, молчавшего десять лет и вдруг решившего теперь переиздать одну свою старую книжку. Мы с ним приблизительно одного возраста — под пятьдесят. Оба побывали за границей, ездили по разным странам. В 1936 году он был в Испании, где тогда вспыхнула гражданская война, а Гитлер и Муссолини, подбадриваемые сочувственными взглядами империалистов, в условиях «невмешательства», которое осуществлялось рядом буржуазных «демократических» правительств, старались обеспечить победу Франко, то есть фашизма. «Я оттуда сбежал,— сознался венгерский писатель,— у меня с этой войной не было ничего общего».

Это его признание побудило меня припомнить еще более отдаленные времена. «Знаете,— сказал я,— в 1919 году, когда мне только что исполнилось 11 лет, меня ужасно огорчало, что я еще так мал и годами и ростом: очень уж мне хотелось уйти добровольцем в венгерскую Красную Гвардию. Мое родное село находилось всего в тридцати километрах, а то и меньше, от линии фронта, проходившего по берегу обоих Кришей, и входило в состав Венгерской республики Бела Куна. Нам, ребятам, разрешали тогда чистить картошку для бойцов, но мы надеялись вскоре получить оружие и с гордостью носили красные кокарды. Потом начался белый террор, и в Будапеште установился режим Хорти».

Хозяин посмотрел на меня с улыбкой: «Я в те годы тоже был мальчишкой, но мне больше нравились белые. Отец был реформатским священником, а мне было поручено менять по мере надобности флаг на нашей церкви — то по случаю прихода белых, то по случаю прихода красных. Мы очень обрадовались, когда, наконец, в Венгрию пришли румынские войска и освободили нас от красных. А какие красавцы были офицеры! Как по ним вздыхали все наши барышни!»

Стемнело. Я простился с хозяином и ушел, ощупью пробираясь по узким тропам среди раскинувшихся по склону виноградников. «Неплохо живется нашему писателю на его виноградничке», — заметил кто-то. Я промолчал, стараясь найти ответ на интересовавший меня вопрос: почему венгерский писатель, не хотевший целых десять лет ничего печатать, теперь вдруг заговорил и взялся за перо? И этот симпатичный попович с его виноградником на берегу Балатона не был исключением. Я давно уже следил за брожением в среде литераторов Венгрии, знал, что многие писатели не одобряют политику Ракоши и Герэ, с ее ошибками и промахами, читал призывавшие к смуте стихи, читал статьи в «Иродалми уйшаг», требовавшие «абсолютной» свободы, был осведомлен о подрывной деятельности кружков Петефи и о последних переменах в руководстве Союза венгерских писателей, приведших к удалению с ответственных постов так называемых «сталинцев». Одному из таких «сталинцев» — хорошему товарищу и выдающемуся писателю — только что удалось выпустить первый номер журнала «Надь вилаг» — органа, близкого по замыслу к советскому журналу «Иностранная литература». В этом первом номере вниманию венгерского читателя предлагались сочинения таких писателей, как Дилан Томас, Борис Пастернак, Эухенио Морено Эредиа, Роже Мартен дю Гар, Михаил Шолохов, Эрнест Хемингуэй, Альберто Моравиа и других. Когда номер был уже готов, главного редактора почему-то, без всякой видимой причины, сменили.

Другой венгерский писатель пытался следующим образом объяснить положение: «Я в Венгрии считаюсь крайне левым писателем, но у вас в Румынии, боюсь, что сошел бы за крайне правого. Понимаете? Такова неразбериха, которая царит у нас среди писателей...»

Признаюсь, я плохо разбирался тогда во всех этих противоречиях, но они меня очень удивили. Положение оказалось гораздо более серьезным. Тишина на берегах Балатонского озера была обманчивой: она царила только в природе, но не в сердцах.

На следующий день, 22 октября, я ужинал у другого приятеля. Мы с ним подружились на нашем черноморском побережье, где вместе гуляли по пляжу в Мамайе и подолгу обсуждали проблемы наших литератур. Теперь мы смотрели в окно на иссиня-пепельные волны Дуная, мирно текущего в сумерках октябрьского дня. Около полуночи мой приятель сообщил мне удивительную новость: «Мы,— сказал он,— накануне гражданской войны. Я знаю, вы подумаете, что я говорю так после нескольких стаканов вина или, может быть, потому, что меня сняли с работы, как «сталинца». Поверьте, мне самому очень хотелось бы, чтобы все это было простым воображением, результатом нервного возбуждения. Однако... у нас есть люди, мечтающие о реставрации, которым очень хотелось бы, чтобы венгерский народ избрал путь, похожий на латинскую букву V, то есть сделал бы резкий поворот вправо. В Союзе трудящейся молодежи началось разложение, о чем можно судить и по нашей печати».

Я ушел в полном недоумении. «Гражданская война? Не может быть!» — думалось мне.

И все же следующий день был 23 октября 1956 года.

Вчерашний разговор как-то позабылся. Предметом моих размышлений была Чехословакия, где осенью в Карловых Варах подметают опавшие листья на лесных дорогах, где пыль вытирают даже на внешних стенах гостиниц. Я думал о Восточной Германии, о том Берлине, куда, по вечерам устремляется множество писателей Западного Берлина, привлекаемых высоким уровнем театральных и оперных постановок, о Дрездене, на 70 процентов разрушенном американцами, где теперь возрождаемый из пепла и развалин Цвингер снова служит убежищем Сикстинской Мадонне Рафаэля. Я видел там простого советского солдата — парня лет девятнадцати — расхаживавшего с серьезным видом по залам с книжкой об искусстве в руках, подходившего то к одной картине, то к другой и любовавшегося сокровищами, спасенными его соотечественниками от гибели, которую уготовили им фашисты. «Пожалуйста, не думайте, что у нас повсюду развалины и что нам удалось восстановить только Цвингер»,— сказал мне сопровождавший меня немецкий писатель. На следующий день, воспользовавшись автомашиной, любезно предоставленной мне вдовой великого прогрессивного писателя Андерсена-Нексе, мы осматривали новостройки: политехнические институты и студенческие общежития. Я удивлялся нарядности этих зданий и комфортабельности их внутреннего устройства. «Пожалуй, даже чересчур роскошно? Неправда ли?» — сказал мой спутник. Я согласился и тут же вспомнил об еще более красивом дворце науки: об университете на Ленинских горах в Москве. «Мы ведь строим не на год и не на два, а на долгие годы», — пояснил сопровождавший меня писатель.

Теперь я был в Будапеште, в красивом городе, сильно пострадавшем во время войны по вине фашистов, где советские и румынские воины проливали свою кровь за освобождение венгерского народа. Этот трудолюбивый народ успел стереть следы войны, сумел залечить раны. Это подтверждалось всем, что можно было видеть на улицах столицы. Поэтому я забыл о вчерашнем разговоре. Забыл и о том, что, по словам моего приятеля, в Венгрии существуют элементы, разжигающие шовинистические страсти, поднимающие вопрос о пересмотре статута Трансильвании, Словакии и т. д. Все это совершенно выскочило у меня из головы. Я собирался ехать в Союз писателей, где мне предстояло обсудить с венгерскими товарищами вопрос об установлении тесного контакта между писателями наших стран, что и составляло главную цель моей поездки в Будапешт. Кроме того, Петер Вереш пригласил меня провести две недели в Венгрии, а редакция «Надь вилаг» — участвовать в праздновании, посвященном выходу первого номера этого журнала. Это торжественное событие было назначено на 27 октября.

В Союзе писателей я застал необычайное возбуждение. Руководство Союза готовило прокламацию; должен был состояться митинг для выражения симпатии полякам по случаю происходивших в Польше событий; молодежь и писатели собирались возложить венки у памятника генералу Бему, герою революции 1848 года; должна была состояться мирная демонстрация... Все это было сказано мне в извинение того обстоятельства, что руководство Союза не могло меня принять; переговоры со мной должны были вести три уполномоченных руководством писателя. В то же время меня приглашали присутствовать на митинге, который должен был состояться перед зданием Союза писателей (а фактически, как мне объяснили, перед Польским посольством, занимавшим здание как раз напротив). Оттуда все пойдут к памятнику Бему в Буде, на правом берегу Дуная.

Все, однако, произошло несколько иначе. Митинг у здания Союза писателей не состоялся. Писателей я нашел на площади Верешмарти, откуда они направились к памятнику Петефи, где к тому времени должна была собраться молодежь.

«У нас революция, — заявил в ответ на мое приветствие председатель Союза писателей Петер Вереш, выходя из метро во главе довольно многочисленной группы писателей. — Очевидно, нам в 1945 году не удалось довести революцию до конца. В

результате получилось засилие бюрократов и оппортунистов. Мы идем свергать клику Ракоши-Герэ».

На улицах элегантные женщины раздавали трехцветные кокарды. В окнах висели сотни венгерских флагов без республиканского герба. Нигде не было видно ни одного красного флага. «Ваше движение мне кажется несколько националистическим»,— обратился я к моему спутнику.—«Да,—подтвердил он, а потом спохватился.—Нет! Наше движение не националистическое, а национальное». — «Но где же красные флаги, о которых говорит Петефи?» — спросил я, так как мы уже подходили к памятнику поэту-революционеру. Мой спутник посмотрел на меня и промолчал.

Наш путь лежал через сквер, в котором играли дети. Говорят, что устами младенцев глаголет истина. «Мама,— сказал один из малышей, показывая на писателей, — они, наверно, идут на похороны». Малышу было на вид лет пять-шесть. «Что он сказал?» — спросила моя жена, шедшая рядом со мной. Я перевел. В это время наш спутник объяснял, что дети, вероятно, видели недавно состоявшееся перенесение останков Райка. «Знаешь, — шепнула мне жена, — этот ребенок сказал ужасную вещь: мне кажется, что они действительно идут на похороны, на похороны революции». Наш спутник рассказал про перенесение останков Райка и про то, как весь Будапешт высыпал тогда на улицу. «Совсем как сейчас», — прибавил он.

Молодежь уже ушла, но около памятника Петефи оставалось еще довольно много народу, и Петер Вереш воспользовался этим, чтобы прочесть прокламацию писателей.

После этого писатели разошлись, торопясь догнать молодежь, которая тем временем поднималась по правому берегу Дуная к памятнику Бему. Тут были и колонны студентов, и группы учеников средних школ, участвовали и люди старшего возраста — кто пешком, кто на грузовиках. Демонстрация протекала довольно мирно, и никто не препятствовал ей на улицах, где милиции было ровно столько, сколько требовалось, чтобы направлять уличное движение. Пока что был выброшен только один лозунг: «Хотим венгерский флаг, венгерский флаг!..» И вот в окнах замелькали трехцветные флаги без республиканского герба, приготовленные, по-видимому, специально для этой цели. Перед памятником Бему запели прежний венгерский гимн, не имеющий ничего общего с революцией 1848 года и содержащий немало националистических нот.

Здесь опять читали прокламации от имени молодежи и от имени писателей. Ничто, казалось, не угрожало спокойствию, но это только казалось, так как отсюда толпа повалила уже к памятнику И. В. Сталину. Разрушив памятник, разбили и подожгли книжный магазин «Горизонт», потом принялись за радиостанцию и осадили редакцию газеты «Сабад неп». Все это вылилось в демонстрацию, уже далеко не мирную, перед зданием парламента.

С этого началось. Через несколько часов демонстранты уже получили заранее приготовленное в определенных пунктах оружие, и на берегах древнего Дуная полилась кровь.

В 8 часов вечера я позвонил по телефону своему приятелю, который живет на площади Парламента. На мой вопрос, спокойно ли у них, послышался ответ: «Куда там! Стреляют и орут: «Долой красную звезду!». Мы сидим в погребе. Я побежал на минутку наверх, услышав телефонный звонок. Нужно опять идти в погреб».

Это был тот самый приятель, который накануне предупредил меня, что в Венгрии реакция готовит гражданскую войну. Он оказался прав...

Известие о том, что Имре Надю поручено сформировать новое правительство, не успокоило умы, как можно было предполагать, а лишь послужило сигналом организаторам контрреволюции для перехода к открытым действиям. Вскоре выяснилось, что Имре Надь — простая марионетка, которой из-за кулис, а затем и на глазах у всех управляла вооруженная реакция.

На следующий день один иностранный писатель, как и я приглашенный в Венгрию, упорно добивался подтверждения того, что советские войска, якобы, с самого начала вмешались в дела венгерской «революции». Когда же наш спутник, человек хорошо осведомленный, сказал ему, что это не так, то этот писатель стал добиваться, чтобы ему хотя бы подтвердили слухи о предварительной договоренности Герэ с командованием советских войск об их вмешательстве в случае необходимости. Однако это было и оставалось исключительно мнением этого писателя — никто и ничто не подтвердило этого ни тогда, ни впоследствии.

Сегодня, когда я пишу эти строки, происшедшие в Венгрии события всем хорошо известны. Поэтому я не буду описывать кровавые расправы, перестрелку, пожары, не буду говорить и о том, как опасно было жителям города ходить по улицам. Скажу одно: когда говорят, что в Венгрии реакция буквально раздирала на куски коммунистов, общественных деятелей, солдат-патриотов и многих, очень многих беззащитных людей, то это отнюдь не вымысел и не преувеличение. Что касается нас, то обслуживающий персонал гостиницы обращался с нами со всей надлежащей вежливостью, не проявляя, однако, своего отношения к событиям, так что нам остается лишь поблагодарить служащих за оказанное нам внимание, несмотря на то, что у них у самих было немало забот.

Передвижение по городу было связано с большими трудностями. По машинам советской марки просто-напросто стреляли, без всякой причины и без предупреждения. На улицах у прохожих требовали документы пятнадцати-шестнадцатилетние подростки, вооруженные автоматами и принад-

лежавшие к группам, политическую принадлежность и намерение которых было не трудно угадать.

Единственными спокойными зонами были те, где порядок обеспечивали — по просьбе правительства Имре Надя — советские солдаты, а именно: вокзалы, мосты и другие важные объекты. Здесь тебя никто не останавливал, никто не стрелял. В остальной же части города стреляли на каждом шагу и со всех сторон.

Из Будапешта мы выехали 31 октября, одновременно с отходом советских войск. Еще до нас, к себе на родину вылетели на самолетах обществ Красного Креста своих стран группы болгар и югославов. Мы, человек тридцать румынских граждан, должны были также вылететь самолетом, который привез медикаменты. Без всякой видимой причины контрреволюционные элементы, занявшие аэропорт, пытались помешать нашему отъезду. Лишь с трудом удалось нам покинуть Будапешт, и когда мы очутились в Араде, то почувствовали себя совершенно в ином мире. Что произошло в Будапеште после отвода советских войск? Зверства, достигнувшие размеров гнуснейших бесчинств фашизма.

Разумеется, в такой обстановке должно было пробудиться сознание венгерского народа, он должен был взять свою судьбу в собственные руки. И этим сознанием народа — вопреки яростным воплям реакции — является Революционное Рабоче-Крестьянское Правительство во главе с Яношем Кадаром. А советским бойцам — вторично за последние двенадцать лет — ценой своей жизни пришлось спасать венгерский народ из когтей фашизма.

С самого начала, уже в день 23 октября, можно было отдать себе отчет в том, что демонстрация, которая еще в три часа дня развертывалась мирно и, как кажется, не предвещала ничего дурного, к вечеру, как пудель Фауста, показала свое истинное, адское лицо. Правда, на телеге контрреволюции красовались слова «Свобода», «Демократия», лозунги, выражавшие справедливые требования трудящихся. И многие честные люди, не зная, кто держит в руках вожжи на этой телеге и куда ее гонит, сели на нее, думая, что она повезет их вперед по пути социалистических завоеваний. Однако через несколько часов телега сделала поворот и помчалась вспять, чтобы подобрать таких, как Миндсенти, Эстерхази — ее настоящих хозяев и организаторов этого кровавого пира. Тотчас же заговорили американские доллары, а «дружки», перешедшие австрийскую границу, начали совершать убийства. Из-под маски свободы выглянул голый череп смерти, а «демократизация» на глазах превратилась в капиталистическую реставрацию.

В эти трудные дни я беседовал с венгерским писателем, который пришел навестить меня в гостинице. Никогда не забуду глубокого огорчения и нервного напряжения этого человека. Руки у него дрожали, лицо было мрачным. «Все здоровое в этом движении задушено силами реставрации», — сказал он мне. «Партия была оторвана от масс, ее руководство доказало свою несостоятельность; в этом главная причина того, что реакция завоевывает позиции. Мы, коммунисты, пытались придать этому движению правильный ход. Но нам пришлось бороться индивидуально, скорее как партизанам, чем как партийным работникам, ибо партию нашу разъедали внутренние неполадки и она не могла организовать единый фронт сопротивления контрреволюции. В настоящее время перспективы социализма у нас мрачные. Так, по крайней мере, кажется мне. Может быть, завтра будет иначе, должно быть иначе», — добавил он.

В эти же дни я беседовал с писателем Тамашем Ацелом. Я спросил его, правда ли, что движение возглавляют теперь реакционные силы. «Пожалуй, правда, — ответил он мне, а затем добавил: — Наше движение — демократическая и антисоветская революция. Это наша война за независимость». — «От кого?» — спросил кто-то. На это писатель ответил: «От Советского Союза». Тогда я снова спросил Ацела: «Каково твое личное мнение об отношении Венгрии к Варшавскому договору?» — «Я член революционного комитета интеллигенции, — ответил он, — и могу сказать тебе наше мнение. Вот оно: Венгрия должна расторгнуть Варшавский договор и стать нейтральной страной, как Австрия». За столом был и югославский писатель, который воскликнул: «Как Австрия? Австрия — буржуазная страна!» — «Да, — ответил Ацел, — как Австрия и Швейцария». Я задал ему еще один вопрос: «У вас, как и у нас, есть за границей эмигранты — фашисты. Австрийская граница открыта. Скажи, венгерские фашисты не переходят оттуда в Венгрию?» — «До сих пор не переходили», — сказал он. Не знаю, насколько полно был осведомлен Тамаш Ацел; теперь все мы информированы, что отряды венгерских фашистов переходили границу и присоединялись к контрреволюционерам.

Вернувшись в Румынию, я следил за событиями по сообщениям печати и не без отвращения слушал возмутительную ложь, передававшуюся западными радиостанциями, в том числе пресловутой радиостанцией «Свободная Европа», наименование которой столь оскорбительно для всего человечества. Эта радиостанция — одно из средств «помощи», которую оказывают странам народной демократии американские поджигатели войны.

Я читал и письмо протеста, с которым обратились к Советскому правительству некоторые французские писатели. Никто из них не был в эти трагические дни в Венгрии; они, по-видимому, знают о всем происходившем там лишь по той лжи, которую без зазрения совести распространяют лаборатории империалистической пропаганды. И все же они протестуют против ввода советских войск по просьбе венгерского правительства для разгрома

контрреволюции, что именуется ими разгромом «восстания венгерского народа». Их не интересует тот факт, что большинство венгерского народа, в частности крестьянство, в начале пассивно отнеслось к контрреволюции, а затем выступило против нее. Не интересует и то, что в Венгрию из-за границы хлынули фашисты. Они пренебрегают и тем обстоятельством, что о помощи советских войск просило венгерское правительство. Их интересует только так называемая «независимость венгерского народа». Какого народа? Разве крестьяне и рабочие добивались этой «независимости»? В отношении кого? Может быть, они стосковались по Миндсенти и Эстерхази, по хортистским и салашистским бандам? А кто вообще спрашивал мнение народа? Разве большинство народа, разве рабочие и крестьяне первыми подняли оружие?

Я лично не знаком с Жан Полем Сартром, знаком лишь с его творчеством. А он меня совсем не знает, потому что я писатель маленького народа, да и кроме того— писатель страны социалистического лагеря. Он обо мне, в лучшем случае, мог услышать одно из тех ругательств, которыми по моему адресу сыплют радиостанции Парижа, Лондона и Рима, «Голос Америки» или «Свободная Европа». Следовательно, он может считать, что к нему обращается один из безыменных представителей великой массы человечества.

Сейчас Сартр заботится о судьбе своих венгерских коллег и просит советское правительство не принимать против них никаких мер, независимо от их поведения в период контрреволюционного восстания. Прежде всего вопрос этот касается правительства венгерского, а не советского. Но почему так беспокоится Сартр об их судьбе? Может быть, ему известно что нибудь более конкретное об их поступках? И почему Сартр не протестует против того, что Говарду Фасту воспрещен выезд из США? Ведь Говард Фаст — тоже писатель, причем широко известный своим творчеством и деятельностью, к тому же не имеющий на своем счету таких поступков, как венгерские писатели.

Венгерские писатели сами должны принять меры против затесавшихся в их среду враждебных элементов. А молодой венгерский поэт Тамаш Ацел должен отдать себе отчет в той ответственности, которую он взял на себя, когда в своей «Оде Европе» просил о том, чтобы эта Европа — может быть, именно «Свободная Европа»? — протянула ему руку. Рука эта действительно была протянута с Запада, только вместо пальцев у нее были автоматы, которыми она не дотронулась ласково до нежной кожи поэта, а вонзила свои смертоносные когти в тела коммунистов и лучших патриотов венгерского народа. Можно ли было оставаться равнодушным к таким фактам? Мы, люди, знакомые с фашизмом, считали, что нельзя.

Другой венгерский поэт — а может быть, это все тот же Тамаш Ацел? — написал стихи, в которых говорится о группе веселых и говорливых крестьян, внезапно смолкающих и разбредающихся в стороны, когда к ним приближается человек из города. Мне кажется, что венгерские поэты могли бы заметить в дни разгула контрреволюции другое молчание — молчание, которым миллионы венгерских крестьян ответили на голос контрреволюции, на голос Миндсенти или Эстерхази, на голос тех, кто в течение тысячи лет держал под своей пятой венгерский народ.

Когда пасмурным осенним днем мы вылетели из Венгрии, октябрь гулял в своем тулупе, подбитом туманами, над Пустой, а в селах царило молчание — таков был ответ на призыв фашизма, на угрожающий лязг его зубов. Народ мудрее многих мудрецов, даже если они и писатели.

Бухарест

Шон О'Кейси

„Вы построите новую большую жизнь"

В этом номере мы публикуем переписку известного писателя и драматурга Шона О'Кейси с журналом „Анкор", издаваемым „Студенческой Ассоциацией при Центральной школе художественного чтения и драматического искусства" в Лондоне. Эти письма были присланы Шоном О'Кейси для публикации в советской печати.

Дорогой м-р О'Кейси!

Вам, должно быть, иногда кажется, что студенческие журналы появляются и исчезают как грибы. Наш журнал «Анкор» имеет 32 страницы убористого текста и только 500 читателей, но мы пытаемся правдиво освещать состояние драматического искусства в Англии и, как это ни странно, после двухлетнего существования продолжаем расти.

Нам посоветовали обратиться к Вам с просьбой написать для нашего журнала статью о Сэмуэлле Бекетте*, об ирландской драме, о несуществующем английском театре или на любую другую интересную для Вас тему. В крайнем случае, может быть, Вы дадите нам какую-нибудь из Ваших старых статей, которая, по Вашему мнению, может послужить духовной пищей для студентов-актеров.

В нашем следующем номере мы публикуем замечательный манифест мисс Джоун Литтлвуд из театра «Уоркшоп» Восточного Лондона. Я Вам пошлю этот номер, как только он выйдет в свет.

Мы бы не просили Вас написать нам, если бы не могли в какой-то степени компенсировать Ваш труд, хотя наш гонорар будет довольно скудным — мы по каждому номеру несем убыток в 26 фунтов стерлингов. Однако, если нам удастся уговорить какого-нибудь коммерческого магната поместить в нашем журнале рекламу косметики для актрис, мы сможем предложить за Ваш материал 5 фунтов.

Если это не очень низкая для Вас оплата и наша просьба не кажется Вам нахальной, не пришлете ли Вы нам что-нибудь для ближайшего номера?

Я уверен, что этот номер с несколькими словами от Вас будет иметь большой успех среди студентов. Мы тогда попытаемся продать часть тиража в Манчестере, Бристоле и Лидсе. Возможно, в этом случае нам удастся предложить Вам почти настоящий писательский гонорар, хотя я знаю, что в нашем извращенном мире хорошие писатели много не зарабатывают. Я знаю также, в каких условиях Вы работаете, поэтому прошу Вас только, ответьте мне открыткой, что подумаете над нашим предложением, или пошлите меня к черту.

С уважением.

Энтони Ферри

Дорогой Энтони Ферри!

Если ваш журнал получают и читают 500 студентов, значит у вас серьезная аудитория, так как, я надеюсь, среди них нет ни одного старика. Стоит ли мне присоединять мой старческий дребезжащий голос к хору ваших молодых, пронзительных и нетерпеливых голосов? Это *вы* должны сейчас сказать свое слово миру. Мой мир уже ушел в прошлое, гонимый вчерашними ветрами, и я не имею ни малейшего желания бежать за ним вдогонку, как бежит человек за сорванной ветром шляпой. Вы сами должны писать в студенческом журнале, созданном студентами для студентов.

Бекетт? Я не имею никакого отношения к

* Сэмуэлл Бекетт — писатель, ирландец по происхождению, проживающий во Франции, автор полумистической пьесы «Ожидание Годо».

Беккету. Он не для меня, равно как и я не для него. Я не жду, чтобы Годо принес мне жизнь. Я сам борюсь за жизнь — даже в моем преклонном возрасте. Зачем вам Годо? В самом ничтожном человеке больше жизни, чем может дать Годо. Несомненно, что Беккетт умный писатель, и что он написал тлетворную, хотя и очень интересную пьесу. Но его философия чужда мне, так как в нем нет ни искры надежды и нет даже желания надеяться, нет ничего, кроме исступленной жажды отчаяния и гласа вопиющего... только не в пустыне, а в огороде.

Земля вовсе не кладбище и не ревущий стан — хотя во время войны она и то и другое; но ведь сегодня война — это дикий абсурд, так как с появлением нового, ядерного оружия, все находятся в пределах досягаемости смерти: и богатый и бедный, и тот, кто идет на войну, и тот, кто остается дома. И папа римский и крестьянин-католик испытывают перед ней одинаковый ужас и не проявляют готовности складывать свои головы ей на потребу. А жизнь и энергия есть и в разложении (не в таком, как у Беккетта, а в том, которое свойственно природе): мертвые листья превращаются в перегной, а высохшие кости в фосфаты.

Кого призывает в свидетели Беккетт? Кучку безвкусно вырядившихся меланхоликов: Камю, Кафку, Оруэлла, Грэхема Грина, Хаксли да еще серую тень Т. С. Элиота с крестом на груди и руками, воздетыми к небу в мракобесной молитве. А какие свидетели у нас? Коперник, Ньютон, Бетховен, Микельанджело, Шелли, Уитмен, Бальзак, Фарадей, Тициан и... да, черт возьми, и Шекспир, и десятки тысяч других, близких к сану великих!

Что касается английского театра, то от него осталось лишь призрачное воспоминание, а ирландский театр плетется за ним в хвосте. Существует, правда, Джоун Литтлвуд и ее театр «Уоркшоп» в Восточном Лондоне (Золушка без доброй феи), театр, который должен был бы получать то, что дается «Олд Вику», поскольку он так же полон дерзаний, как «Олд Вик» — робости, усталости и лени. В Ньюкасле есть Народный театр — начинание, которое развивается и может превратиться в убежище для драмы, кино и камерного квартета, гнездо любителей, сохранивших алую розу Ланкастеров, белую розу Йорков и розу Тюдоров в таком свежем состоянии, что эти розы не стыдно вставить в петлицу: они не потеряли ни цвета, ни запаха.

Но что они могут значить в море всего остального? Все остальное — молчание или, что еще хуже, бессвязный лепет и кривляние, рядом с которым молчание становится наименьшим злом. Сегодня, за исключением музыкальных комедий, «Ожидания Годо» и «Дикой утки», ни одна из пьес, идущих на лондонской сцене, не стбит и ломаного гроша. А эти две написаны: одна — ирландцем, другая — норвежцем.

Нет, сэр, английская драма — это птица в золотой клетке, и она надежно хранится в кладовых Английского банка.

Искренне Ваш.

Шон О'Кейси

•

Дорогой м-р О'Кейси!

Письма, подобные тому, что Вы нам прислали,— это именно то, что нужно сейчас нашей немного запутавшейся и растерявшейся молодежи; они будят в нас желание подхватить ту пронзительно радостную песенку чайника, которую Вы поете всю свою жизнь. Спасибо Вам за это письмо.

Наша драма дошла до нас уже мертвой и анатомированной. В нее нужно влить какой-то живительный сок. И, может быть, именно среди нашего поколения найдется человек, обладающий Вашим мужеством и Вашей любовью, человек, который правильно поймет причины упадка нашего театра и спасет его.

Но чтобы привлечь хотя какое-нибудь внимание к той болезни, которой страдает театр, нужны огромные усилия многих из нас — ведь мы, в конце концов, «только студенты» — и такой человек, как Вы, уже сказавший свое слово миру, ни разу не продав себя, может несколькими мудрыми словами вдохнуть в нас новые силы.

Мне кажется, что большинство нашей молодежи за внешним обманным блеском Беккетта не разглядело коварного бесплодия Годо. Мы слишком радовались его простоте, чтобы понять, что она порождена нигилистической мыслью; «В этом распроклятом мире ничего не остается делать, кроме как ждать».

В мире, одержимом интеллигентским слюнтяйством, много хитрых ловушек. Не нужно быть мудрецом, чтобы разглядеть сущность Беккетта — это может сделать любой скромный и честный человек.

Я бы очень хотел опубликовать Ваше письмо. Оно полно именно такого гнева, которого особенно не хватает нашему журналу. Надеюсь, Вы дадите свое согласие. Думаю, нам как-нибудь удастся соблазнить фабриканта косметики поместить у нас свою рекламу, и мы заплатим Вам по самой высокой ставке, какую только сможет выдержать наш бюджет.

Еще раз спасибо за внимание. Надеюсь, Вы еще много лет будете продолжать бороться за жизнь.

Искренне Ваш.

Энтони Ферри

Мой дорогой молодой друг!

Не понимаю, почему вы говорите «в конце концов, мы «только студенты»? А разве все мы не «только студенты»? Разве не должны мы всегда быть исследователями, искателями, стремящимися найти объяснение всем чудесным и удивительным явле-

ниям, которые нас окружают? Разве Резерфорд, Эйнштейн, Фарадей, Шелли, Байрон, Йейтс, каждый по-своему, не были студентами до последнего дня своей жизни?

Такими же студентами были и Маркс, и Ленин, заглядывавшие из своей эпохи в будущее; такими же студентами являемся и мы; такими же будут и те, кто придет нам на смену.

Говорят, бог посоветовал однажды: «Скажи сынам Израилевым — пусть идут вперед». И библия полна этими советами: «Иди вперед!» Так зачем же нам внимать голосу тех, кто вечно ноет: «Скажи людям всей земли, пусть идут назад!» Люди всей земли даже не слышат этих увещеваний. Обидно, что некоторые студенты, по крайней мере, в Англии, упиваются подобными словами или делают вид, что упиваются.

Недавно по радио в программе «Откровенно говоря» выступил м-р Малколм Маджеридж и бойко выложил перед нами все невзгоды человечества. С каким благоговением ловили каждое его слово Маргарет Лейн, Джон Бетджамен и м-р Морпурго, задававшие ему вопросы. А он говорил своим глубоко опечаленным слушателям, что наша цивилизация пришла в упадок, что она гибнет, что гибель ее близка.

Ну и погибай, старый пес! Что ж, это не такая уж большая новость — многие знают ее давно. Беспокоиться, собственно говоря, нечего, добавил он. Но многие, тем не менее, беспокоятся и видят в гибели нашей цивилизации конец существования бога, конец существования человека. Оплакивая эту цивилизацию, они думают, что с их смертью умрет все живое на земле, прекратится самая жизнь. Нет, жизнь не умрет, не прекратится! Из праха и тлена возродится новая жизнь, так же как и в «Фантастическом сне» Стриндберга на пожарище замка, вросшего своим фундаментом глубоко в землю, из маленького бутона вырастает гигантская хризантема. Без могилы не может быть воскресения. И это воскресение — вы, молодежь! На месте сгоревшего замка вокруг гигантской хризантемы вы построите новую большую жизнь. И пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а плакальщики стенают в одиночестве.

Вы говорите, что молодежь немного запуталась и растерялась. Так выходите же из этого состояния! Ухватитесь за какую-нибудь идею всеобщего блага. Проникнитесь, например, коммунистическим идеалом «от каждого по способностям, каждому по потребностям» или лозунгом «все за одного, один за всех». Или, если это слишком грандиозно для вас, присоединитесь к лейбористскому движению; если же это покажется вам слишком опасным, ну, тогда вступайте в ряды молодых консерваторов, так как даже они время от времени вынуждены делать шаг вперед.

У меня есть к вам один вопрос: в газетах пишут, что студенты проводят свой театральный фестиваль. Это хорошо. Только почему вы не выбираете жюри среди молодежи, среди своих же товарищей-студентов? Зачем берете себе в судьи потрепанных жизнью и запачканных помоями критиков коммерческого театра?

Посылаю вам вырезку из газеты, характеризующую состояние современного английского театра. Прочтите также статью К. Тайнена в «Обзёрвер». В 1946 году был ассигнован миллион фунтов стерлингов на создание национального театра. Был заложен первый камень его фундамента. Сегодня же это единственный камушек на побережье английской драмы. А мы продолжаем петь гимны и в церкви и на улице!

Можете опубликовать все, что хотите из моих двух писем, если считаете, что студентам это будет интересно. Но только одно условие: обязательно получите с фабриканта косметики деньги за рекламу, но не присылайте их мне. Ни одна газета и ни один журнал не платит гонорара за письма.

От души желаю всем вашим студентам самого наилучшего.

Искренне Ваш.

Шон О'Кейси

Н. Абалкин

На Венецианской выставке

Сейчас уже невозможно, пожалуй, снова собрать воедино все те произведения, которые были экспонированы в 1895 году на первой Международной художественной выставке в Венеции. Но и без этого можно мысленно представить себе более чем полувековую эволюцию современного изобразительного искусства от первой до нынешней, двадцать восьмой, венецианской выставки.

В канун нашего века на первой в Венеции «биеннале» (так называется проводимая здесь раз в два года выставка), организованной усилиями художников пятнадцати стран, в том числе и России, позиции реализма в искусстве были несравнимо сильнее. Несмотря на новые веяния, он оставался господствующим направлением в живописи и скульптуре. Но затем, от выставки к выставке, устои его постепенно начинали расшатываться. Декадентствующие художники стали теснить художников, стоящих на реалистических позициях. Модные модернистские увлечения захватывали все новые и новые слои художников. Все ощутимее становился разрыв между искусством и действительностью.

Венецианская художественная выставка 1956 года показала, в какой тупик завело буржуазное общество свое, процветавшее некогда искусство.

Видный итальянский ученый и политический деятель Эмилио Серени на одной из предыдущих выставок в Венеции говорил, что модернистские искания «представляют собой скорее фосфоресцирующую плесень причудливый мох на старом, готовом упасть стволе, чем живые почки на молодом дереве».

С этим определением нельзя не согласиться.

Претерпевая всяческие внешние видоизменения, формализм пришел ныне к абстрактивизму. Но это не молодые, тянущиеся к солнцу зеленые побеги вечно обновляющегося искусства. Абстрактивизм не рождает никаких надежд. В нем нет радостного предчувствия новых художественных откровений, способных поднять искусство на более высокую ступень

Положительное начало в исканиях абстрактивистов исчерпывается отрицанием современной псевдореалистической живописи, утратившей всякое различие между реализмом и натурализмом. То, что порой признается в живописи за реализм, очень далеко от высокого искусства жизненной правды. И художники, искренне обеспокоенные судьбами современного искусства, сознательно примкнувшие к абстрактивизму, глубоко правы в своем отрицании живописи, которая уподобляется раскрашенной фотографии и признает высшим эстетическим критерием художественного творчества наибольшее внешнее сходство произведения с объектом изображения.

Абстрактивисты не озабочены тем, чтобы их произведения были фотографически точным отпечатком действительности И совсем не в этом их порок Художник не призван быть послушным копиистом жизни. Безграничны, глубоко индивидуальны его возможности в художественном освоении реального мира, и судить о нем следует по строгим законам искусства

Искусство перестает быть искусством, когда его общественное назначение подменяется субъективистским произволом. А к этому именно и пришли абстрактивисты. Не трудно понять их устремления, разобраться, чего они добиваются, но трудно, невозможно обнаружить признаки прогрессивного начала в конкретных результатах их творчества. Искусство утрачивает всякий смысл и значение, когда оно отвергает идею служения обществу, народу, и ограничивается лишь кругом крайне претенциозных, утонченно индивидуалистических представлений и переживаний художника. Барометр общественной жизни ничего не говорит представителю «чистого» искусства. Художник замыкается в самом себе. Он следит лишь за причудливой, ничем не управляемой игрой своей изощренной субъективистской психики и не менее субъективистского мышления. И поэтому-

то его мировосприятие выражается как бы в зашифрованной для всех форме Художественное произведение превращается в замысловатый, нарочито запутанный ребус. Весь абстрактивизм сводится, в конечном счете, к эстетическому самообслуживанию. Это искусство для себя. И в этом его неисправимый порок

Мы вместе с абстрактивистами в их стремлении обогатить нынешнее искусство новыми средствами художественного выражения. Но мы трижды отвергаем искусство, ушедшее от реальной действительности в призрачный мир субъективистских абстракций. Мы отвергаем искусство, не согретое живым дыханием жизни, обращенное к аудитории, состоящей лишь из одного зрителя — самого художника Абстрактивисты не приняли эстафеты гражданского долга, которую из столетия в столетие одно поколение художников передавало другому

Приходится сожалеть, что в рядах абстрактивистов нашли себе место многие честные, прогрессивные художники, искренне считающие искания абстрактивизма положительным фактом в искусстве. Их не так-то легко убедить в ошибочности избранного ими пути. Они готовы решительно защищать свои позиции, оправдывать свое отрицание сегодняшней реалистической живописи. Все это у них продиктовано горячим стремлением идти вперед, открывать в искусстве новое. Поэтому глубоко несправедливо было бы считать этих заблуждающихся искателей беспринципными людьми, продавшими свое вдохновение новоявленным буржуазным меценатам, людьми, ставшими на службу реакции.

Мне пришлось познакомиться в Риме с одним из убежденных абстрактивистов — Сальватором Скарпиттой Разве это реакционер! Это живой, горячий, увлекающийся, демократически настроенный человек. Он может продать свою картину, но он не продаст буржуа своей души художника. Мы встретились с ним на улице Фламинии, неподалеку от Пьяцца дель Пополо, в оживленной траттории братьев Менги Она давно уже стала своеобразным демократическим клубом деятелей искусства и литературы По вечерам за ее столиками встречаются художники, артисты, писатели, журналисты Радушным и гостеприимным Менги есть чем попотчевать своих желанных и хорошо знакомых посетителей. Но не карточка меню привлекает их сюда Здесь притягательна сама атмосфера непринужденных бесед, острых споров, горячих дискуссий, столкновений самых неожиданных мнений, которые бодрят и вдохновляют куда сильнее стаканчика вина Не успели еще мы с римским корреспондентом «Правды» Владимиром Ермаковым оглядеться, как уже оказались вовлеченными в спор. Спор шел о преимуществах фадеевского «Разгрома» перед его же «Молодой гвардией», о лучшем фотоснимке на страницах советских газет о затворничестве наших художников, более двадцати лет не показывавшихся на венецианских выставках и поставивших тем самым своих итальянских друзей в довольно неловкое положение: «Сколько лет мы спорим о вашем искусстве, не видя его»; о влиянии русской литературы, о «Вечерней Москве» и «фотографических» тенденциях в нашей живописи. Здесь-то, в удивительно демократической и располагающей к товарищеским беседам обстановке и встретились мы с художником Сальватором Скарпиттой. И с первых же его слов о том, что главное в искусстве — сердце художника, искренность его отношения к жизни и к своему призванию, мне стало ясно: советскому журналисту совсем не зазорно иметь доброго друга, в среде абстрактивистов. Мы встречались еще не раз и с ним и с другими художниками, и после встреч становилось все яснее и яснее, что нельзя с предвзятым мнением подходить ко всем без исключения абстрактивистам и заниматься только тем, что расточать по их адресу гневные, осуждающие тирады Нынешнее состояние зарубежного изобразительного искусства гораздо сложнее, противоречивее, чем это может показаться на первый взгляд. И нужно куда вдумчивее относиться ко всему тому, что происходит и в выставочных павильонах, и в беспокойном сердце художника Не так ли, Скарпитта? Может быть, дойдут до тебя эти строки и ты добавишь к сказанному здесь несколько своих слов, поможешь разобраться нам в исканиях и надеждах современного искусства...

Но вернемся к абстрактивизму.

Искания новейших модернистов не идут дальше повторения пройденного. По сравнению с тем, что делали у нас в двадцатых годах В. Татлин или К. Малевич, они не сказали, пожалуй, ничего нового Даже забытый Кандинский, который еще до революции начал заниматься беспредметным формотворчеством, показался бы сегодня в ряду абстрактивистов вполне современным художником В любом павильоне, заполненном работами абстрактивистов, можно было бы выставить «Черный квадрат» К. Малевича, и никто не заметил бы смешения времен и стилей при этом вторжении прошлого на современную выставку.

Абстрактивизму нечего противопоставить в своем споре с реализмом, он лишен ясной эстетической программы Все усилия современных модернистов сводятся к разрушению целостного художественного образа реального мира.

Устроители венецианской «биеннале» очень ревниво оберегали выставочные павильоны от проникновения в них политики Они были убеждены, что искусство должно стоять в стороне от политических страстей и интересов. Но разве это не политика преднамеренно свезти в чудесную Венецию со всех концов света формалистические произведения, чтобы создать превратное представление о современной жизни человечества? Совсем не трудно было представить себе посетителя выставки, идущим с фонарем в руках, подобно Диогену, и повторя-

ющим вслед за ним: «Человека ищу!» Нет, не будем говорить что политика не коснулась павильонов Международной художественной выставки. Она явилась ареной напряженнейшей и острой идеологической борьбы. В этой борьбе столкнулись идеология гуманизма и идеология субъективизма, старое и новое, свет и тьма. В ней противостояли друг другу силы красоты и пошлости. Силы пока еще неравные но количественное превосходство абстрактивистов еще не решает для последних положительного исхода борьбы. Это искусственно созданное превосходство.

За «круглым столом» венецианской выставки свободно расположилось почти девятьсот художников. Но у такого большого «круглого стола», объединившего представителей искусства тридцати четырех стран, обнаружилась одна весьма существенная и странная особенность. Он оказался невероятно тесным для художников реалистического направления. Большинству из них не нашлось места за этим столом. Не такого ли именно соотношения сил и добивались устроители «биеннале»? Они предоставили на выставке первое место искусству, выражающему отчаяние и пессимизм, растерянность и безнадежность той части художественной интеллигенции, которая не нашла своего места в жизни, разуверилась в возможностях прогресса человеческого общества. Вместе с этим, устроители выставки открыли самый широкий доступ в выставочные павильоны безнадежным дилетантам, не способным профессионально владеть резцом и кистью. Это поощрение очевидного дилетантства, отрицание профессионального художественного мастерства глубоко огорчает и возмущает честных художников. Я вспоминаю уважаемого итальянского мастера, мудрого Мафаи. С обидой и горечью говорил он мне: «Как легко у нас сделаться художником».

В удивительных свойствах «круглого стола» убеждаешься, как только попадаешь на выставку. Стоит лишь войти за ограду старого венецианского парка, как сразу же увидишь справа, у самого входа, небольшой серый павильон Швейцарии. Посетители, как правило, не задерживаются здесь. Их нисколько не волнует то обстоятельство, что «вклад швейцарских художников в абстрактивизм до сих пор еще мало известен». Им куда было бы интереснее встретиться в этом павильоне с живой, подлинной Швейцарией, увидеть ее голубые озера, небольшие города, живописные горы, заглянуть в глаза потомков славного Вильгельма Телля. Но всего этого нет и в помине. Посетителя окружают ничего не говорящие ни уму, ни сердцу странные конструкции, в которых не обнаруживается даже микроскопического элемента художественности. Ее не находишь в произведениях и того художника, который «разрезая и складывая легкую жесть, создает свои фантастические существа, полные тихого юмора»; и того, который «порождает сказочные существа, исполненные сходства с тяжелыми орудиями труда крестьянина и беспокойным миром насекомых и ракообразных»; и того, который «создает пространственные конструкции, напоминающие своим тонким лиризмом рисунки Клее». Все это лишь пустые слова, призванные оправдывать то, что не заслуживает никакого оправдания. Можно сколько угодно писать и о тончайшем лиризме, и о тихом юморе, и о других проявлениях человеческих чувств, но этим нисколько не прикроешь духовной опустошенности создателей вымученных конструкций. Для швейцарских скульпторов, представленных в Венеции, человек перестает быть первым объектом искусства. Отвернувшись от него, они стали называть свою скульптуру «бесфигурной». К ним присоединяются и их датские коллеги. Они могли бы обменяться вывесками своих павильонов, и это ничего в сущности не изменило бы в оценке их творчества, хотя, в отличие от бесфигурных швейцарских конструкций, сделанных преимущественно из металла, Дания экспонирует деревянную скульптуру. Это «Мужчина и женщина», «Девочка с косами», «Отец и сын», «Женщина с косами», «Мать и сын», «Женщина»... Но названия, обозначенные в каталоге, лишь вводят в заблуждение. Во всех этих скульптурах Эгиля Якобсена даже при самой смелой фантазии не обнаруживается хотя бы отдаленного подобия человеческого облика. В расставленных на полу гладко отполированных кусках дерева не увидишь и намека на пластическое воплощение человеческой фигуры.

Никто не призывает современных художников становиться ретроградами, эпигонствующими, бескрылыми традиционалистами, лишенными какой-либо творческой самостоятельности и оригинальности. Истинный художник всегда идет вперед и, дерзая, прокладывает новые дороги. Но далеко не всякое новаторство заслуживает благодарного признания. Под его флагом нередко выступают псевдоноваторы, о бессмысленности новаторства которых можно судить по многим экспонатам выставки.

Художники Швейцарии и Дании не одиноки. Их единомышленников можно было встретить во множестве и в других выставочных залах. Вот павильон страны, которая дала миру великого Рембрандта. Старые голландские мастера обладали прекраснейшим свойством: любя свою родину, они своим искусством и в нас пробуждали к ней добрые чувства. Именно благодаря им в нашем сознании и запечатлелся ее обаятельный образ. Даже ни разу не побывав на голландской земле, мы все же реально и зримо представляем ее. Такова сила искусства, верного жизни. Но нынешние наследники старых мастеров пошли другими путями, и в их творчестве не найдешь самобытных национальных признаков. Поэтому-то в голландском павильоне и не видишь Голландии.

Та же печальная картина повторяется и в соседнем бельгийском павильоне. И здесь

художники старательно скрывают свою принадлежность к родной стране и нисколько не озабочены выявлением в искусстве национальных признаков. Ими забыт прекрасный опыт их славного соотечественника Константина Менье воспевшего в своем творчестве человека труда.

Губительные последствия абстрактивизма становятся особенно наглядными, когда знакомишься с привезенными в Венецию экспонатами Швейцарии или Дании, Голландии или Бельгии. Художники этих небольших стран не хотят отставать от общепринятой моды и, старательно следуя ей, утрачивают всякие следы национальной самобытности. Безотрадна картина искусства, в котором швейцарский художник перестает быть швейцарцем, датский — датчанином, бельгийский — бельгийцем и голландский — голландцем.

Перечень этот можно продолжить и дальше. Чем, в сущности, отличаются от них художники и скульпторы Австрии или Западной Германии, представившие на выставку точно такие же произведения. Поборники абстрактивизма возвышенно говорят о свободе творчества, о свободном самовыражении индивидуальности художника, но когда переходишь из павильона в павильон все больше утверждаешься в мысли, что при этой «свободе» никак не проявляется творческая индивидуальность. Удручающим, утомительным однообразием отмечено подавляющее большинство произведений абстрактивизма. Всем непредубежденным посетителям выставки становится очевидным, что вся «свобода» абстрактивизма сводится к стандартизации творчества. Эта унылая унификация просачивается всюду, следы ее обнаруживаются даже у японских художников Когда поднимаешься в их бетонный павильон, выстроенный в дурной манере под Корбюзье, то уже начинаешь понимать, что за его порогом надо оставить поэтический образ «страны восходящего солнца». Прямо против входа посетителя встречает мрачная картина под названием «Форма Б». На ее черном фоне выписаны в беспорядке три по-разному изогнутые бурокрасные полосы и небольшой круг. Рядом «Форма А», «Торс Б». Как видим, и среди японских художников есть люди, которые тоже не хотят отставать от «моды».

Абстрактное искусство не признает «национального суверенитета» культуры. Оно исповедует идеологию космополитизма, духовно опустошающую художественное творчество. У этого искусства нет опоры в жизни, в традициях национальной культуры. И как бы ни крепки еще были его позиции во многих странах, как бы ни рекламировали и ни поощряли его, сколько бы почестей ему ни воздавали — все равно, будущего у него нет.

А бизнесмены действуют бесцеремонно, уверенные во всемогуществе своей чековой книжки. Через несколько дней после открытия «биеннале» на самых бредовых произведениях абстрактивистов уже появились этикетки «Продано». Ни одна реалистическая картина, ни одна реалистическая скульптура не удостоилась внимания нынешних меценатов. Они заинтересованы лишь тем, чтобы современное искусство ничем не напоминало о жизни. Всем своим отношением к искусству они говорят художнику: или занимайся любым абстрактным штукарством или же умирай с голоду.

Материально поддерживаемый реакционными силами буржуазного общества абстрактивизм сумел пока достаточно прочно обосноваться в современном искусстве. Эта дурная мода оказалась настолько заразительной, что ей не смогли противостоять даже польские художники, призванные запечатлеть в своих произведениях волнующую историю рождения и утверждения на древней польской земле молодой республики народной демократии. Можно назвать для примера выставленную в польском павильоне картину Марека Влодарского «Женщины приветствуют самолет с голубем мира» Суженные, вытянутые вверх треугольники с круглыми пятнами на острой вершине призваны быть живым воплощением образа новой польской женщины, борющейся за мир По венецианскому павильону нельзя судить, конечно, о художественных течениях в современном изобразительном искусстве Польши. Тенденциозность отбора произведений на выставку была совершенно очевидна

Бок о бок с польским павильоном стоит павильон Румынии. В нем все выглядит по-другому. Румынские художники не погнались за модой В своем творчестве они верны передовым национальным традициям, и поэтому их произведения сохраняют обаяние жизненности Украшением этого интересного собрания является картина Корнелия Бабы «Отдых в поле» Она написана в очень спокойной и сдержанной живописной гамме, в ней нет ничего нарочито броского, внешне привлекательного. Художник покоряет глубиной и выразительностью содержания своего полотна, мудрым проникновением во внутренний мир человека В центре картины изображена сидящая на земле немолодая женщина с натруженными руками, зажатыми меж колен. Рядом с ней лежит только что уснувший ребенок за ее спиной забылся в тяжелом сне кормилец семьи Зритель не может встретиться с взглядом печальных глаз этой женщины Сосредоточенная, скорбная, она вся ушла в себя, поглощенная тяжелыми раздумьями о безысходной и беспросветной своей судьбе. Это повесть о прожитом, вчерашнем, рассказанная художником с большой сердечной теплотой.

Новый день, о котором издавна мечтал народ, сбросил с плеч тружеников тягостный груз былых забот И приходится сожалеть, что знаменательный процесс обновления народной жизни, рождения свободного демократического строя не получил в работах румынских художников более полного и более яркого отображения Но все же их павильон покидаешь совсем с иным

чувством, чем соседний, польский павильон. Не все, разумеется, одинаково хорошо в изобразительном искусстве новой Румынии. Среди выставленных работ встречаются и мало интересные произведения — некоторые из них, может быть, и не следовало бы привозить в Венецию Однако это обстоятельство не мешает понять и почувствовать главное — жизненность современного румынского искусства, правильность избранного им пути

Как ни велико засилье абстрактивизма, он все же не способен заглушить развитие реалистических тенденций в изобразительном искусстве. Они отчетливо проявляются в творчестве некоторых художников буржуазных стран, представленных на выставке, их можно обнаружить в павильонах Испании, Греции, Бразилии...

Жизнь американского города стремятся запечатлеть в своих картинах художники Соединенных Штатов. И у них велика дань модернистской моде, и они увлекаются экспериментами, далекими от художественных задач, но среди их работ находишь произведения, остро затрагивающие те или иные социальные темы. Назовем хотя бы «Похороны гангстера» Жака Левина. Вещь эта не очень живописна, ее небрежно-грязноватый колорит кажется несколько нарочитым и условным и, однако, она все же привлекает к себе внимание. Ее можно, пожалуй, с некоторыми оговорками, отнести к тому ряду произведений, которые принято относить к критическому реализму Это острая, язвительная картина, обладающая обличительной силой. Изображение опечаленных респектабельных джентльменов, горестно оплакивающих в церкви лежащего в гробу своего соратника — гангстера, воспринимается, как сатирическое обличение нравов буржуазного общества.

Современное английское искусство также не представляет собой нечто однородное В нем уживаются и ничем не оправданный разгул абстрактивизма, и поиски более или менее реалистических средств изображения действительности. Абстрактивистские увлечения дошли до последней крайности в скульптуре Скандальную известность получило нелепое железное сооружение, выдаваемое Линном Чэдвиком за скульптуру. Да и не только им. Его дикую затею горячо поддержало жюри выставки, признав «Внутреннее око» Чэдвика выдающимся художественным произведением. В подтверждение этого жюри вручило ему щедрую премию.

Вместе с художниками типа Линна Чэдвика в английском собрании представлено несколько художников, работы которых отмечены близостью к реализму Они не уклоняются от социальной тематики, добиваются четкости рисунка, ищут интересных живописных решений. И о них можно говорить, как о людях подлинного искусства. Но таких художников слишком мало, они не занимают на выставке господствующего положения. Их довольно-таки решительно теснят союзники и соратники Чэдвика, художники вроде Ивона Хитченса. Чтобы получить представление о его живописи, придется вспомнить хорошо знакомую уличную сценку: когда маляр готовится красить дом, он в поисках наилучшего колера делает на стене несколько пробных разноцветных мазков. Если эти мазки утилитарного назначения, не претендующие на изящество, не выражающие никакой мысли и не имеющие ничего общего с художественным образом, перенести на холст и заключить в раму, то они будут очень похожи на живопись Ивона Хитченса, и для них найдется место на стенах художественных музеев и галерей. Чем дальше уходит художник от реалистического отображения действительности, тем лучше для нынешних меценатов. Получил же американский художник-любитель на ярмарке в штате Теннесси первый приз за картину «Мазня». Он ради курьеза выставил старый холст, о который вытирал кисточки, а «знатоки» уже стали говорить о его «исключительном чувстве красок», об «утонченности» его живописи, о большом вкладе в искусство.

Все на выставке говорило о том, что абстрактивизм невозможно признать действительно художественным направлением в искусстве. Он антихудожествен по своей природе и, несомненно, находится вне сферы прекрасного.

Но почему же так живуче это обреченное лженоваторство? Ведь современное модернистское искусство в различных своих формалистических проявлениях существует уже больше полувека!..

Оно живуче потому, что находит для себя опору в определенных кругах буржуазного общества. Наивно было бы думать, что абстрактивизм и подобные ему модернистские направления, пользующиеся материальной поддержкой, исчезнут сами по себе, перестанут быть препятствием на пути подлинного искусства, одухотворенного высокими нравственными идеалами. Но вряд ли было бы верным ограничиваться здесь лишь этим единственным объяснением и искать истоки всех причин только в чековой книжке заправил буржуазного общества, которые, по совершенно понятным причинам, заинтересованы в том, чтобы искусство от острейших проблем современности все дальше и дальше уходило в мир абстракций, бесцельного формотворчества, антиреалистических исканий

Непримиримые противоречия современной буржуазной действительности порождают в среде западной интеллигенции философию безысходного пессимизма. Многие художники разуверились в возможностях лучшего устройства жизни и давно уже потеряли веру в те благородные и возвышенные идеалы жизнеутверждающего гуманизма, которые вдохновляли когда-то творчество великих мастеров прошлого. Они становятся людьми без завтрашнего дня. Их сознание отравлено духом сомнения и скептицизма, им нечего утверждать

и нечего защищать. Жизнь выбила у них из-под ног позитивную платформу. Их взгляд не замечает пробивающиеся то здесь, то там еще нежные, но жизнестойкие ростки надежд, ростки будущего. Они идут по дороге, все дальше и дальше уводящей их от неиссякаемых родников истинного искусства. Буржуазная эстетика развенчивает и растаптывает ненавистные ей идеалы общественного служения художника, которые связывают искусство с действительностью. Она отвергает реальное видение мира, дискредитирует и опошляет реализм как убогий и жалкий анахронизм.

Когда проходишь перед полотнами модных модернистских художников, особенно остро чувствуешь, насколько болезненно и извращенно у них восприятие современной действительности. И кажется, мнят они себя мудрыми социологами, которые полагают, что в наш атомный век, в век небывалого технического прогресса, огромнейших завоеваний человеческого разума реалистическое искусство становится безнадежно старомодным Им видятся какие-то невероятные изменения в человеческой психике, и вот, не желая отставать от века, они ищут живое олицетворение своего современника в облике бездушного и бездумного робота Итальянский художник Джорджо де Гирико, увлекающийся мало оправданным стилизаторством, пошел еще дальше. Он изображает какими-то странными механизированными существами даже героев античной мифологии Гектора и Андромаху.

Буржуазное общество давно уже лишено тех когда-то завоеванных им, благоприятных исторических условий, которые способствовали успешному движению его по пути прогресса. Ныне все это в далеком прошлом Признания, поддержки и поощрения удостаиваются сейчас в большинстве своем те художники, которые делают вид, что никогда не существовало великое искусство Возрождения, что реализм не одержал блестящих своих побед в минувшем столетии Всяческие формалистические извращения являются исторически обусловленным, закономерным порождением современного буржуазного общества Но это никак не значит, что реализм должен довольствоваться в искусстве мирным сосуществованием с абстрактивизмом Нет, ему нужно давать бой, смело наступать на его позиции Разве не поучителен для многих пример художников Бразилии, вытесняющих со своих выставок формалистов. В 1953 году на выставке в Сан-Паулу среди четырех тысяч картин казались затерянными двести реалистических произведений Через два года на следующей выставке передовые художники решительно потеснили формалистов: им уже принадлежало более 15 процентов всех картин. Они добиваются теперь того, чтобы выставки, устраиваемые в Бразилии раз в два года, стали смотром народного искусства

У передовых художников мира, верных лучшим традициям художественного наследия, есть и силы, и возможности для того, чтобы дать отпор формализму Жизнь на их стороне. И им не следует ждать появления маленького мальчика из старой сказки Андерсена, который бы указал на то, что видят все: «А король-то голый!..»

Как ни велико на выставке засилье абстрактивистов, они все же не смогли омрачить радости многих памятных встреч Об этих псевдоноваторах сразу же забываешь, как только в выставочных залах привлекает внимание живой блеск человеческих глаз В павильоне Египта не хочется расставаться с чудесными обаятельными ребятами, с большой любовью и нежностью выписанными на фоне пейзажа. Это маленький черноглазый мальчик и девочка чуть постарше, наверное, его сестренка. Пытливым, по-детски сосредоточенным взглядом смотрят они на открывающийся перед ними еще не познанный мир. Это дети народа, светлая надежда древней страны, так по-молодому расправляющей сейчас свои плечи После таких встреч особенно бессмысленными кажутся старания абстрактивистов удивить посетителя оригинальностью своих исканий.

Пусть турецкий художник забавляется бессодержательным нагромождением черных и зеленых треугольников; пусть иранский фокусник отбрасывает в сторону палитру и кисть и накалывает на ржавые гвозди белые мячи для пинг-понга, пусть канадский скульптор выдает грубо откованную им безголовую карикатуру за женщину, расчесывающую свои волосы, пусть итальянский старьевщик, мнящий себя живописцем, тащит на выставку рваные штаны, прикрепленные к фанере, — искусство от этого ни на шаг не продвинется вперед.

Подобные занятия не способны отвлечь симпатий от тех художников, которые, отображая действительность, сохраняют верность правде Там, где правда там и искусство Плоскостная живописная манера венесуэльского художника Гектора Полео может показаться несколько примитивной, но она не мешает ему выразить достоверность национального характера и в женских портретах, и в типах крестьян. Он знакомит с людьми своей страны и именно это обстоятельство объясняет, почему запомнились и не затерялись среди множества экспонатов выставленные им произведения

Искусство, помимо правды, дорого человеку своими национальными признаками. Если они выражены с должной художественной силой, одухотворены высокими нравственными идеалами, тогда произведение выходит за национальные границы и приобретает общечеловеческий интерес. В этом и раскрывается интернациональная, гуманистическая сущность подлинного искусства. Абстрактивистам не дано подняться до таких высот, и им ничего не остается, как старательно вытравлять в своем творчестве национальные признаки.

Их искусство не стало властителем дум и чувств современника. Когда обходишь

выставочные павильоны, то отыскиваешь в них раньше всего те произведения, в которых переданы какие-то отзвуки живой жизни. Нужно было видеть, с каким равнодушием проходили посетители мимо самых изощренных вымыслов абстрактивистов.

В первых залах центрального павильона среди работ итальянских художников обращает на себя внимание Ренато Гуттузо. Он выставил большую картину «Пляж», привлекающую большой жизненностью содержания, зрелостью мастерства И загорелые на солнце горожане, и резвящиеся на песке детишки, и девушка, бегущая с юношей в воду, — все это, несомненно, плод живых наблюдений Правда, картина несколько удивляет неожиданностью живописного решения В цветовой трактовке человеческой фигуры художник не ищет гармонии и сознательно идет на острые, контрастные столкновения Вот лежит под солнцем оранжево-красная женщина, выписанная сильно, темпераментно, без живой игры светотени. И тут же на пляже рядом с ней можно увидеть землисто-зеленоватого мужчину. Однако, несмотря на всю необычность живописного приема, можно все же понять, к чему устремлены здесь поиски художника, не удовлетворяющегося фотографическим воспроизведением действительности. Можно понять также и жестокую смелость его рисунка: на обнаженной спине у мужчины, склонившегося над женщиной в левом углу картины, с натуралистической нарочитостью выписаны позвонки, слишком подчеркнуто проступают ребра Но хотелось бы понять почему художник не искал более мажорного звучания темы молодости и красоты, здоровья и силы, которая как будто обусловлена всем содержанием картины, ее замыслом Он не искал почему-то в изображаемых им персонажах внутренней красоты человека, не помогает нам постигнуть духовное его содержание

Ренато Гуттузо принадлежит к лучшим передовым силам итальянской художественной интеллигенции Это большой художник И кому как не ему более решительно противопоставлять в своем творчестве гуманистические принципы прогрессивного искусства бездушному абстрактивизму, нашедшему свое нелепое призвание в пошлом издевательстве над человеком

Наша встреча с Ренато Гуттузо на венецианской выставке была слишком короткой и мы не успели поговорить о его картине. Обаятельный человек с милой улыбкой и умным взглядом живых глаз, он сразу же завоевывает искреннее дружеское расположение И поэтому так легко высказать ему сейчас несколько запоздалое критическое замечание по поводу его «Пляжа» Оно продиктовано лишь одним желанием чтобы полнокровная жизнерадостность нашего друга звенела и пела в его новых картинах, чтобы со всей силой своего таланта он постигал и раскрывал прекрасное в человеке Человек из народа стоит того, чтобы его воспевали лучшие художники нашего времени.

Неподалеку от «Пляжа» в одном из залов посетитель знакомится с творчеством видного итальянского скульптора Марино Маццакурати. Его бронзовая фигура лежащего на земле партизана с перевязанными за спиной руками является фрагментом памятника героям движения сопротивления в Парме. В этой фигуре скульптору удалось впечатляюще выразить могучую силу несгибаемого духа человека, борющегося за правое дело. И, поверженный, он остается бойцом, сохраняет волю к сопротивлению. Этот гуманизм Маццакурати, его преклонение перед силой человеческого духа особенно дороги, когда видишь вокруг уродливые скульптуры, все назначение которых сводится к умалению человеческого достоинства.

Остались в памяти и произведения других итальянских мастеров. Это Франческо Мессина, Феличе Карена, Эрнесто Треккани, Саро Мирабелла, Онофрио Мартинелли, Джакомо Манцу, Пьеро Мартина и другие художники и скульпторы.

В заключение остается сказать о советском павильоне В трех его небольших залах представлены лучшие произведения, созданные нашими художниками после девятнадцатой Международной художественной выставки 1934 года. С тех пор, в течение двадцати двух лет, они не выставлялись в Венеции За эти годы без их участия прошло восемь выставок, и теперь им пришлось наверстывать упущенное, знакомить международную художественную общественность с тем, что было создано за все время этой мало чем оправданной самоизоляции.

Посетители «биеннале» получают достаточно полное представление о многообразной школе советской живописи В подтверждение этого можно назвать несколько хорошо известных произведений: «На старом уральском заводе» Б Иогансона, «Ужин тракториста» А. Пластова, «Колхозный праздник» С. Герасимова, «Хлеб» Т. Яблонской, «Дочь Советской Киргизии» и индийские работы С. Чуйкова. «Композитор С. Прокофьев» П. Кончаловского, «Рыбаки» Я. Осиса, пейзажи М. Сарьяна, «Скульптор С. Коненков» П. Корина, «Тракторист Сашка» К. Максимова, «Новая Москва» Ю Пименова. Выставлены также работы И Грабаря, К. Юона, М Нестерова, М Куприянова, П. Крылова, Н Соколова, А Дейнека, Э. Калнина, И Машкова. Кроме них, еще более двадцати художников разных поколений знакомят с советской живописью.

Представлена на выставке и наша скульптура Здесь прежде всего надо назвать такие шедевры, как «Партизанка» В Мухиной и «Достоевский» С. Коненкова. Вместе с ними выставлены работы А Кибальникова, С. Лебедевой, И Шадра Н. Томского, М Манизера, Н Никогосьяна, И. Слонима и других скульпторов

О богатстве советской графики можно

судить по листам и иллюстрациям таких мастеров, как Кукрыниксы, В. Фаворский, А. Фонвизин, Е. Кибрик, А. Гончаров, Д. Дубинский, Б. Пророков, Д. Шмаринов, Л. Сойфертис, Г. Верейский, О. Верейский...

Хотелось бы назвать и другие имена, но тогда статья превратилась бы в каталог: в советском павильоне выставлено более двухсот произведений семидесяти трех живописцев, скульпторов и графиков.

Экспонированные в Венеции работы представляли советское изобразительное искусство таким, какое оно есть в действительности: и с его значительными, неоспоримыми достижениями, и с его недостатками и слабостями. Многие посетители выставки находили наиболее уязвимое место, ахиллесову пяту нашей живописи, в таких произведениях, как, например, «Обсуждение двойки» С. Григорьева Имея в виду подобные картины, они и ополчались весьма решительно против социалистического реализма, характеризуя его, как ограниченный и беспомощный художественный метод, способный давать лишь фотографический отпечаток действительности За этот фотографизм больше всего и критикуют наших живописцев.

Некоторые оценки экспонатов советского павильона следует признать грубо тенденциозными и несправедливыми. И все же вряд ли было бы полезным начисто и безоговорочно отрицать всю критику. Разве мало появлялось в последние годы на наших выставках художников, которые ограничивались в своем творчестве этим самым фотографизмом, выдавали за социалистический реализм ремесленную фиксацию на полотне лишь внешней оболочки явлений Такое примитивное, эмпирическое толкование социалистического реализма слишком дорого стоило нашему искусству, мешало расцвету художественных талантов, которых нам не приходится занимать. Поэтому-то и оказывались «неподходящими» для социалистического реализма то В Фаворский, то А. Пластов, то М. Сарьян или А. Дейнека, да и не только они одни.

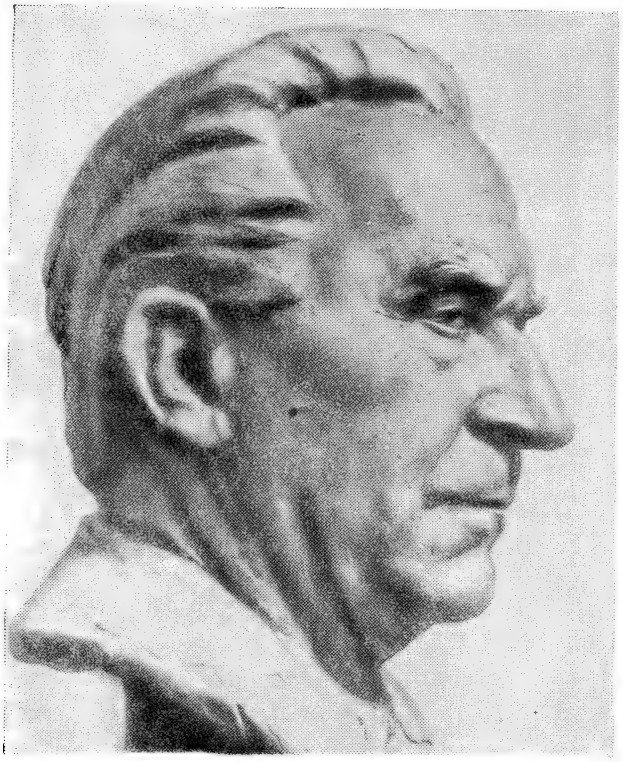
Однако метод социалистического реализма, несмотря на все допущенные издержки, остается самым передовым и богатейшим по своим возможностям художественным методом современности. В широком и могучем русле социалистического реализма сливаются воедино разные течения, ничего не утрачивая в своем художественном своеобразии.

Объективный наблюдатель, свободный от предвзятых и тенденциозных заключений, не может пройти равнодушно мимо многих произведений наших художников. Входя в советский павильон, он сразу же чувствует, что попадает в мир искусства. Подобное ощущение можно было испытать далеко не в каждом павильоне выставки, и поэтому оно становится особенно дорого для истинного любителя и ценителя художественного творчества. Разительное отличие и преимущество советских экспонатов заключается в том, что они представляют содержательное, жизнеутверждающее творчество художников здорового и светлого мироощущения, убежденнейших последователей благородного гуманизма Эта моральная чистота искусства, выросшего на национальной почве, обладает большой притягательной силой Каждому посетителю, особенно пришедшему сюда после посещения павильонов, забитых произведениями абстрактивистов, становится ясным, что искусство остается истинным искусством лишь тогда, когда оно обращено к жизни.

При сопоставлении с реалистическим творчеством еще очевиднее становится бессмысленность исканий абстрактивизма. Поэтому-то во многих статьях и обзорах содержится немало нападок на советское изобразительное искусство. Многие авторы нападают на него во имя защиты абстрактивизма. Существеннейший порок нашего искусства они видят в его старомодности. Но это обвинение противоречит историческому ходу его развития. Эпидемия модернизма, весьма напоминающая нынешний абстрактивизм, давно уже пережита нашими художниками. У них есть все основания отвергнуть это обвинение и вернуть его своим оппонентам

На венецианской выставке в остром, непримиримом противоречии столкнулись два понимания искусства, две точки зрения на его современное назначение и призвание. Этот конфликт найдет свое разрешение не в критических статьях, а прежде всего в самом творчестве Превосходство той или иной художественной школы утверждается не ее манифестами и эстетическими декларациями, а ее произведениями. Только творчеством, смелым, вдохновенным, жизнеутверждающим творчеством прогрессивных художников реалистического направления может быть опровергнут абстрактивизм и убедительнейшим образом доказана вся его никчемность и бессмысленность. В современном зарубежном искусстве он не по праву занял непомерно большое место. Если его не остановить, болезнь, охватившая искусство, будет продолжать свое разрушительное действие

Но искусство не может погибнуть. Международный смотр художников тридцати четырех стран показал, что всюду есть силы, на которые можно положиться. Это силы тех, кто обращает свое творчество к жизни, к народу. В этом и сказывается положительное значение 28-й Международной художественной выставки в Венеции. Сама жизнь призывает прогрессивных художников мира к сплочению под знаменем реализма, к смелому наступлению в защиту прекрасного, против всего того, что опошляет, дискредитирует и унижает художественное творчество. Все лучшее, что было и есть в мировом искусстве, создано под этим знаменем.



Кишфалуди-Штробл. Автопортрет, 1956 г.

Бернард Шоу

Венгерский скульптор Кишфалуди-Штробл

Венгерский скульптор Жигмонд Кишфалуди-Штробл — один из тех, кто прославил венгерское искусство далеко за пределами своей родины.

Творчество Штробла очень разнообразно. В мраморе и бронзе он создал десятки монументальных и монументально-декоративных памятников, полных красоты и жизнеутверждающей силы. По собственному утверждению Штробла, монументальная скульптура особенно привлекает его, так как через нее художник непосредственно говорит с массами, обращается к народу, выразителем лучших чаяний которого он должен являться.

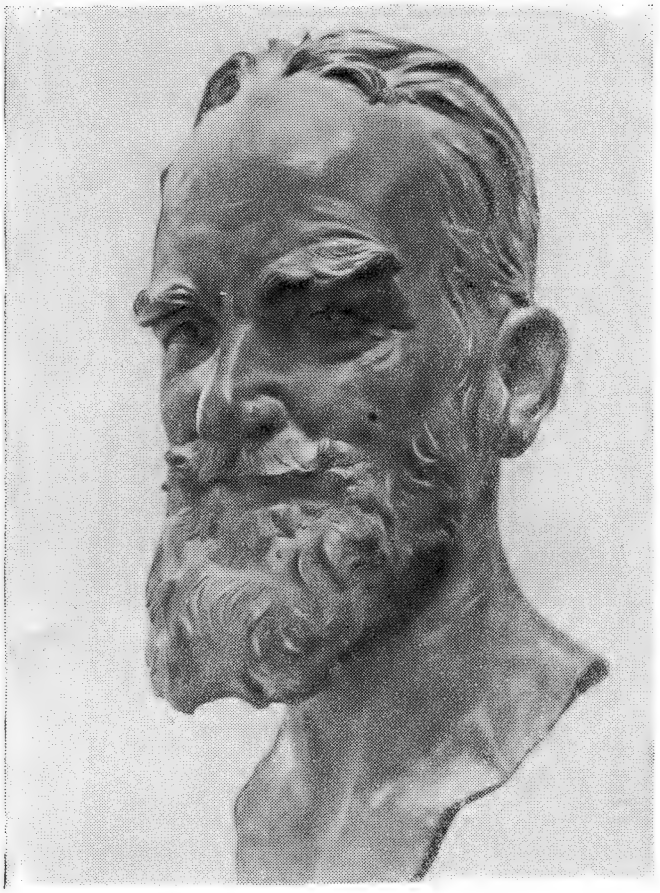
Штроблом созданы включенные в монументальные ансамбли Будапешта фигуры борцов за национальное освобождение Венгрии—Кошута и Ференца Ракоци II. Широко известна его «Статуя Свободы», возвышающаяся на горе Геллерт над столицей Венгрии. Огромный обелиск венчает статуя мира—женская фигура с пальмовой ветвью в руках. У пьедестала символические фигуры: одна с факелом, несущая миру свет освобождения, другая — поражающая дракона фашизма. В центре памятника художник поставил фигуру советского воина-освободителя. Во время трагических событий в Венгрии фашистские элементы осквернили памятник, взорвав фигуру советского воина и разбив плиты с именами тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом.

Штробл является также одним из лучших мастеров скульптурного портрета нашего времени. Публикуемый ниже текст предисловия Бернарда Шоу к каталогу выставки Штробла, состоявшейся в 1935 году в Лондоне, верно и ярко определяет место Штробла в современном искусстве. Некоторые из станковых портретных скульптур Штробла, в силу заложенной в них общей идеи, приобретают значение монументального образа. Таков бюст Шандора Петефи, пламенного трибуна революции и национально-освободительной борьбы. В «Странствующем Петефи» мы видим поэта, широко шагающего по зимнему бездорожью с котомкой за плечами.

Значительное место в творчестве Штробла занимает изображение обнаженного тела: художник преклоняется перед его пластикой, он видит в нем наиболее полное выражение красоты жизни, красоты человека.

По выставке, пользовавшейся исключительным успехом в ряде городов СССР, советским людям хорошо известны многие скульптуры Штробла — художника, который с первых же лет социалистической Венгрии пошел со своим народом по новому пути.

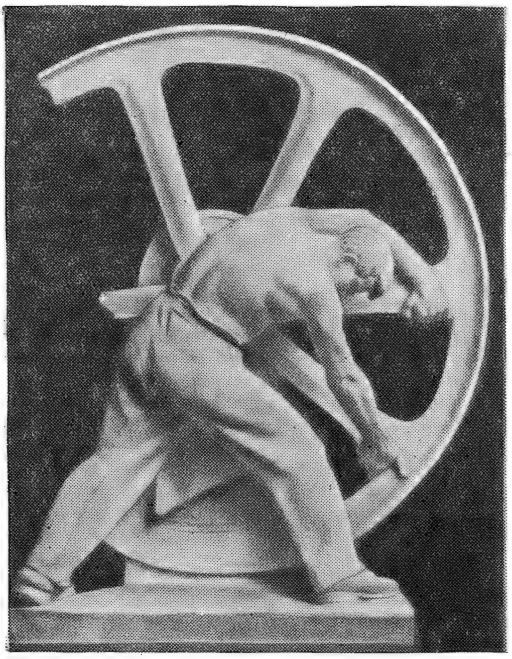
Скульптурный портрет
Б. Шоу, 1934 г.



***

Когда Жигмонд де Штробл в возрасте пятидесяти лет приехал к нам из Венгрии, я ничего о нем не знал и не видел ни одной его работы, хотя он был уже в полном расцвете своих творческих сил и занимал одно из первых мест среди скульпторов мира. Он сообщил мне, что некий венгерский меценат, тоже мне совершенно не известный, поручил ему сделать изображение моей убеленной сединами головы, дабы оно служило научным пособием венгерским антропологам и вызывало восхищение человечества в целом. Не могу сказать, чтобы это мне очень польстило: я не знал, с каким крупным художником имею дело, а мой друг Г. Дж. Уэллс вечно возмущался и жаловался, что в мире нельзя ступить, не натолкнувшись на какое-нибудь изображение моих и без того слишком знакомых бровей и бороды. И в самом деле, меня, пожалуй, чересчур часто изображали в глине, мраморе и красках, на карикатурах и фотографиях.

Внизу: слева — «Все же работа пошла», 1946 г.; справа — Камнеломы, 1949 г.



После Родена, Трубецкого, Огастуса Джона и двух других Джонов (Колльера и Лэвери), не говоря уже о Дэвидсоне и безжалостном Лоу, что мог добавить неизвестный венгр, кроме разве нескольких новых морщин, которые я вовсе не жаждал рекламировать.

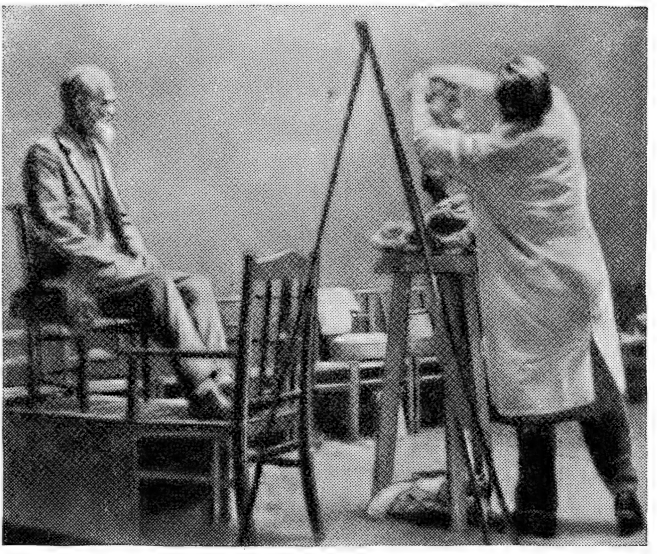
Ответом Штробла был он сам — человек, умевший внушить к себе искреннее уважение,— а также папка с фотографиями его работ. Бывают просьбы, в которых невозможно отказать. И я согласился позировать.

А дальше произошли удивительные вещи. Не успел я воплотиться в бронзе и мраморе, как мне стало известно, что новому скульптору позируют все лондонские знаменитости от Освальда Мосли до Артура Гендерсона, от Яна Гамильтона до лорда Парамура, от леди Астор до членов королевской семьи. Даже Роден не пользовался в Лондоне таким успехом. Но больше всего поражало, что

Статуя Свободы.

Деталь Статуи Свободы.

Б. Шоу позирует Штроблу. (Фото).



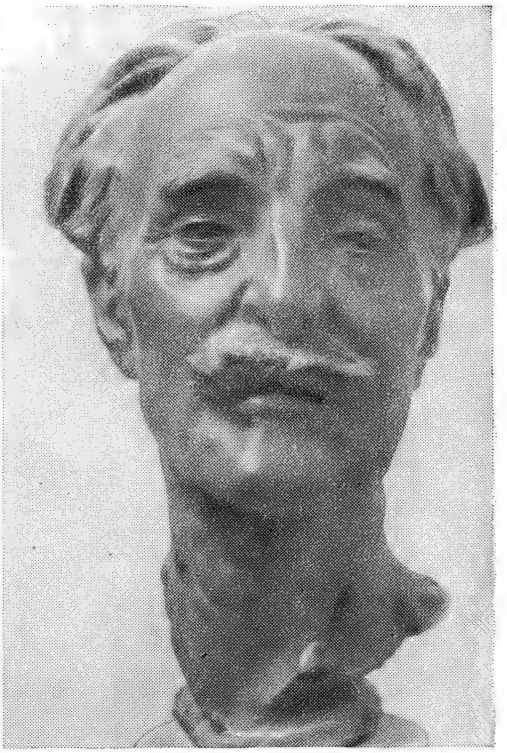
Деталь Статуи Свободы.

никто из позировавших Штроблу не имел оснований стыдиться своего изображения. Все, что было в этих людях изящного или благородного — а в какой-то мере все они обладали этими качествами,— скульптор умел уловить и выразить в подлинно поэтической форме, и это позволило жителям наших островов, впервые за много лет, смотреть на свои портреты, не проклиная тот день и час, когда они согласились позировать. Это была классическая скульптура, неожиданно воскресшая после того, как она умерла, разложилась и была, казалось, навсегда похоронена.

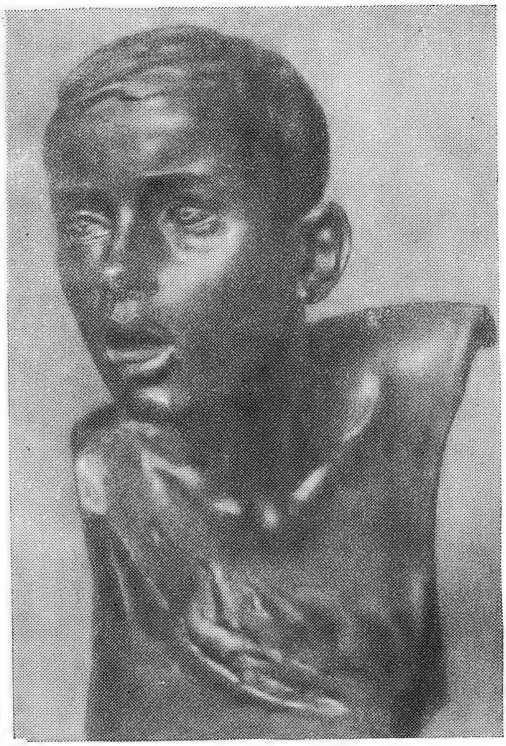
Чтобы полностью оценить эффект этого воскресения, нужно вспомнить обстоятельства, при которых оно произошло. Еще задолго до войны классицизм в скульптуре и живописи оскудел совершенно и не давал ничего, кроме бессмысленных изображений нагой натуры греческих очертаний и столь

Женская головка, 1948 г.

Голова мужчины, 1933 г.



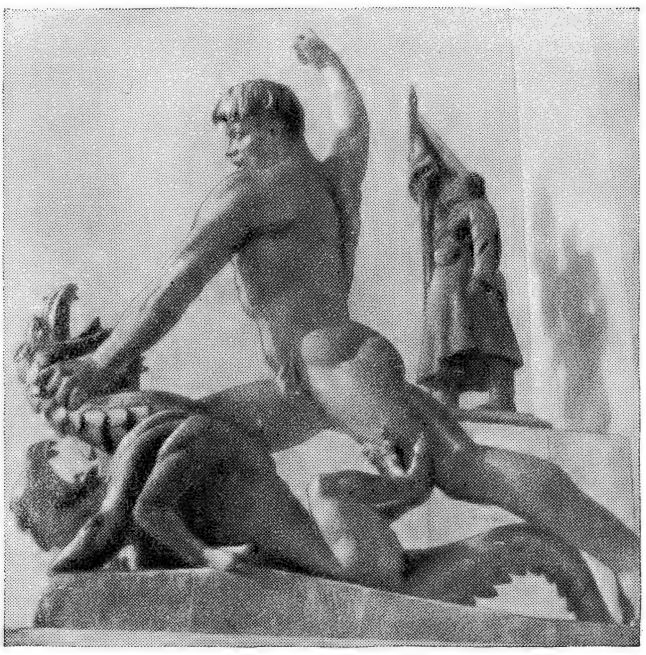
Шандор Петефи. 1925 г.

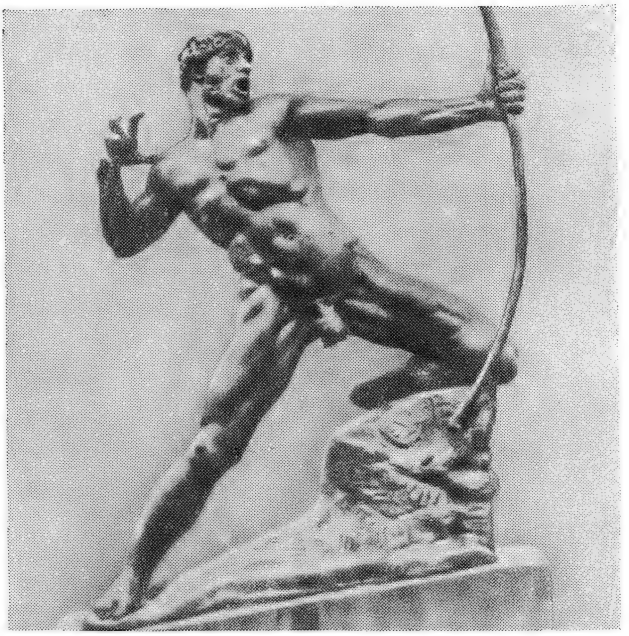


Уличный продавец газет. 1909 г.

Деталь статуи Свободы.

мертвых, что они не вызывали эротического волнения даже у викторианцев, скрывавших свою похотливость под избытком одежды. Когда же после войны вошло в обычай загорать на пляжах, стало ясно, что все это каменное ничтожество годится лишь для того, чтобы мостить им дороги. Но моральная встряска войны выразилась не только в том, что люди стали загорать на пляжах. Война показала, что все мы — безумцы и разрушители, и наиболее впечатлительными из наших художников овладела мания снова и снова утверждать эту истину. Живи они на несколько столетий раньше, они стали бы предлагать нашему вниманию черепа, скелеты и перепевы гольбейновой «Пляски смерти». Но теперь, когда все они — психоаналитики-любители и антропологи-эволюционисты, для них нет большего наслаждения, как сводить нас к примитивным типам, подразумевая тем самым, что вся наша эволюция — лишь лицемерное притворство. При этом они, однако, обнаружили, что



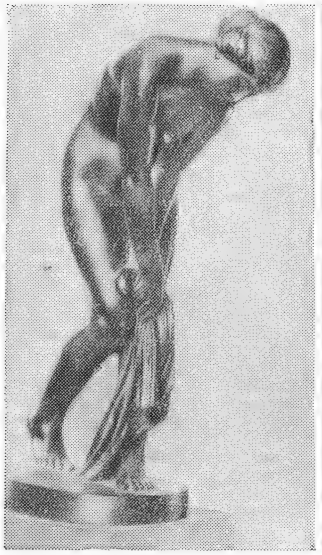


Стрелок из лука, 1918 г.

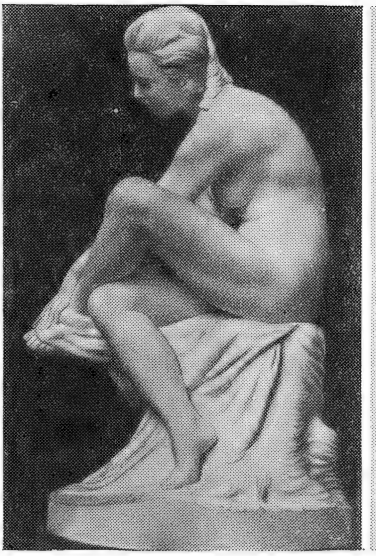
в дикарях есть своя осо-
бая красота: что черно-
кожая африканская женщи-
на может быть обаятельнее
Розы Сарона Россети, а ради
коричневых таитянок худож-
ник способен раз и навсегда
изменить парижским натур-
щицам. В результате полу-
чилась страшная неразбе-
риха. Наши художники хоте-
ли морально развенчивать
своих клиентов, показывая
им, какие они дикари, не-
смотря на свою цивилизо-
ванную внешность, а в то же
время хотели навязать им
что-то от красоты этих дика-
рей. Так, например, амери-
канский скульптор Джэкоб
Эпстайн был ярым против-
ником классицизма; он с пре-
зрением отвергал греческие
линии, как самую обыкно-
венную английскую ложь, и
взламывал бронзовую по-
верхность своих бюстов в
твердой решимости превра-
тить их в живую плоть. Ме-
штрович «расцивилизовывал»
свои модели до того, что они
становились похожи на вар-
варов восьмого века, а меж-
ду тем, он искал и находил в
этом типе своеобразную кра-

Странствующий Петефи, 1949 г.

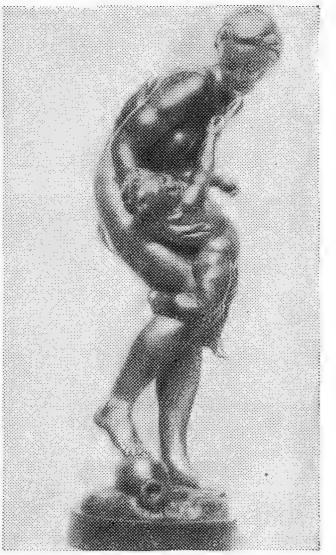
Косец, 1954 г.



Стирающая девушка, 1910 г.



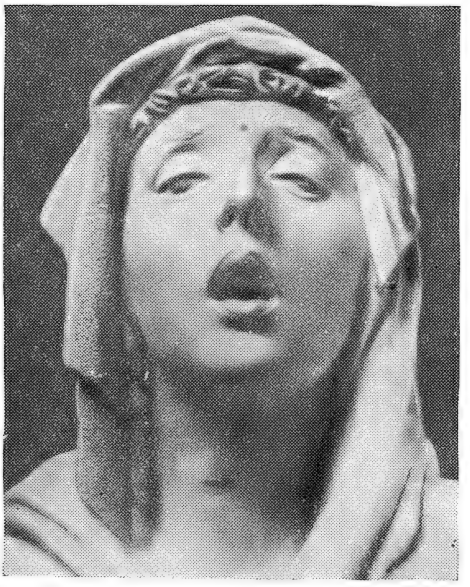
Женщина, вытирающая ноги, 1922 г.



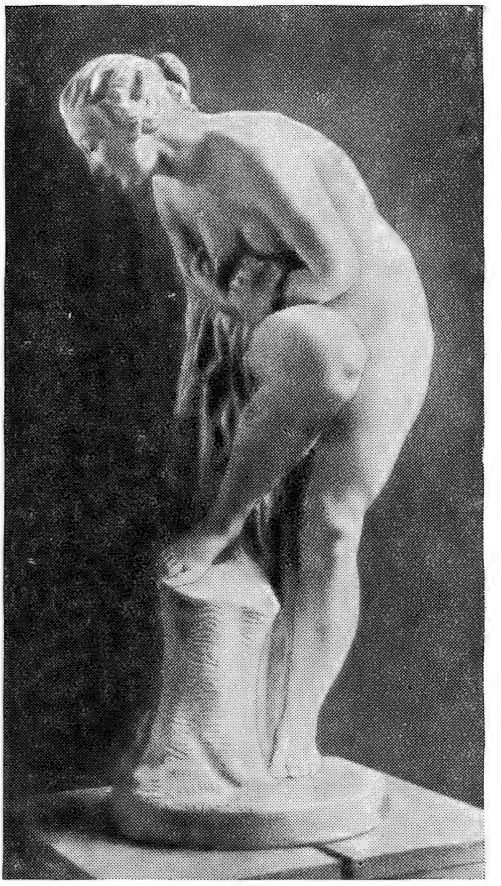
Маленький упрямец, 1923 г.

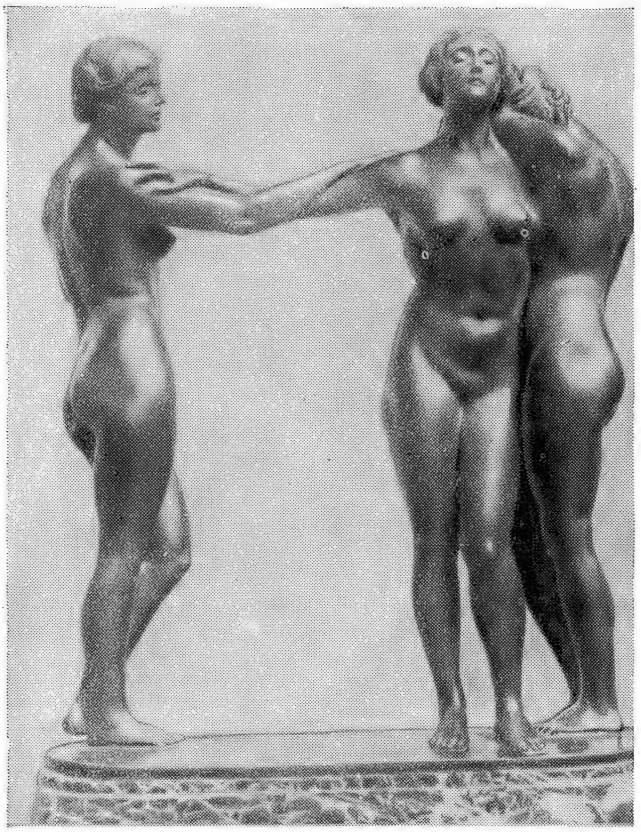
соту. Позировать этим мастерам считалось почетным, но когда результаты их трудов выставлялись для обозрения публики, английские леди и джентльмены чувствовали себя так, будто их вымазали в дегте, вываляли в перьях и носят на жерди по городу. Они, разумеется, восхищались мастерством портрета, но сходства с собой

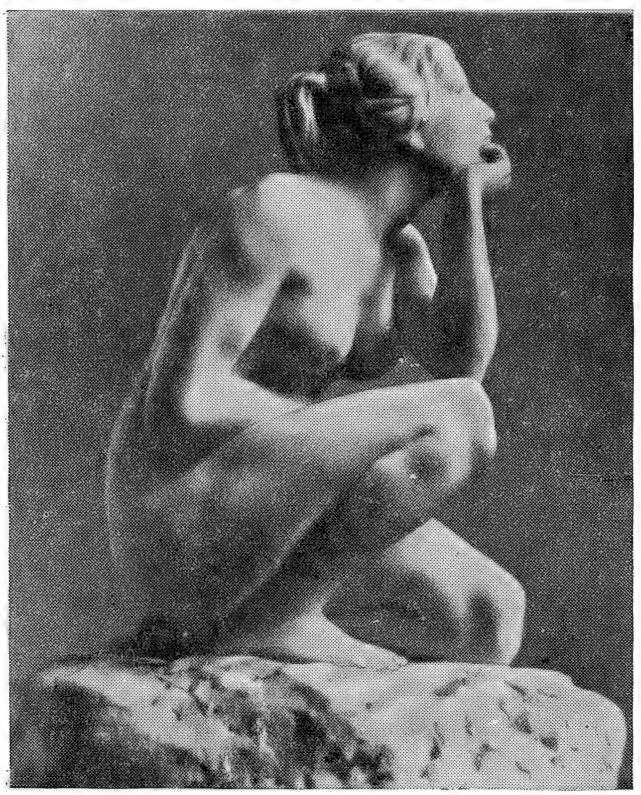
Голова поющей женщины, 1921 г.



Ящерица, 1921 г.





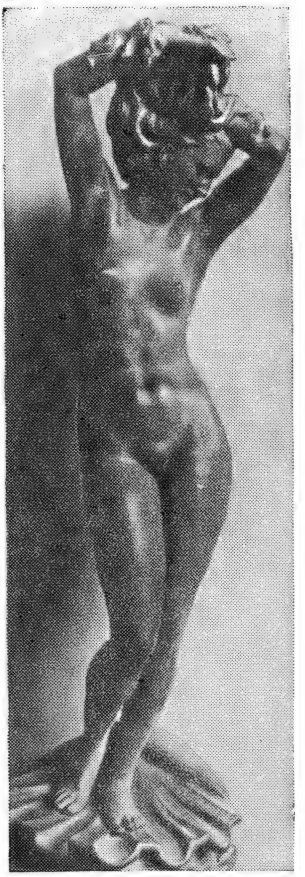


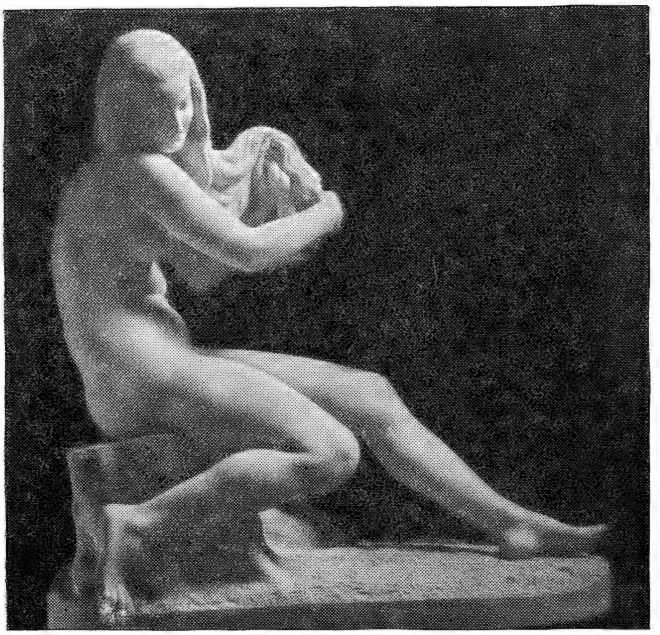
Слева: наверху — Финал, 1911 г., внизу — Девушка на корточках, 1915 г.

решительно не признавали.

В эту Вальпургиеву ночь Штробл не ворвался ударом грома, как свойственно новым знаменитостям. Он вошел спокойной поступью и, ни перед кем не извинившись, стал создавать наредкость красивые портреты своих современников в их обыкновенном цивилизованном виде. Он не пытался наглядно продемонстрировать их родство с промежуточными звеньями в эволюции человека от его отдаленных предков. Он не наделял их грубой животной силой, которой они уже не обладали, скорее он искал в них ту красоту, что служит внешним, видимым проявлением внутреннего, духовного изящества. Критики назвали его неоклассиком; но даже в его академических работах с обнаженной натуры не было ни од-

Рождение Венеры, 1918 г.





Утро 1924 г.

ной греческой линии; он создавал живые линии своего времени, из которых возникали благородные формы, точно так же как Фидий и Пракситель создавали совершенно иные формы, живые для их времени. Каждый бюст, созданный Штроблом,— это не только настоящий, поразительно похожий портрет человека, но и нечто гораздо большее — произведение искусства Так, мой портрет который вы увидите на этой выставке, не только говорит вам какой я есть, но и каким мне следует быть и хочется быть. Возможно, когда-нибудь мне это и удастся если я буду вглядываться в него достаточно долго и пристально. Как бы то ни было, пусть потомство воображает меня именно таким несмотря на скульптурный протест моего друга Эпстайна который упорно внушает миру что я—чуть замаскированное доисторическое чудовище.

Ференц Ракоци II, 1953 г.

Лайош Кошут, 1953 г.

НОВАЯ ПЬЕСА ЖОРЖА СОРИА

□

Georges Soria.
L'orgueil et la nuée.
Pièce en 3 actes.
Les Editeurs Français
Réunis.
Paris 1956.

□

Поэт, очеркист, переводчик Жорж Сориа написал свою вторую пьесу. Она так же злободневна, как и его драма «Страх», написанная в 1954 году и так же насыщена морально-этической проблематикой.

В пьесе «Страх», тема которой была связана с судебным процессом супругов Розенберг, речь шла о гражданском и моральном долге человека, преодолевшего свое малодушие и включившегося в борьбу против лжи и клеветы.

В новой пьесе Сориа «Гордость и облако» большой вопрос о целях науки, о моральном облике ученого связан с острой, злободневной и мучительной для многих ученых капиталистических стран проблемой: к чему приведут человечество исследовательские работы в области ядерной физики?

Талант молодого американского физика Фрэнка Гардинга, его искренняя увлеченность великими техническими достижениями нашего времени омрачены тем азартом атомного вооружения, который захватил его самого. Его авторитет в военных кругах, возрастающая слава, поддержка и восхищение людей, стоящих у власти, деморализуют его и заставляют искать политических и философских обоснований для оправдания своих смертоносных изобретений. Рождается и все углубляется конфликт между Фрэнком и его женой, биологом Дженни, воплощающей в пьесе — вместе со старым ученым Миллером — науку, освещенную жизнеутверждающими гуманистическими идеалами.

Глубокая трещина в мироощущении Фрэнка возникает во время испытания изобретенного им нового вида «совершенного» атомного оружия, испытания, которое он наблюдает вместе с адмиралом Госсом с борта авианосца в Тихом океане. То, что он в процессе исследовательской работы воспринимал прежде всего как творческий успех ученого, как решение поставленной задачи, наполнилось реальным, жизненным и очень страшным содержанием. Радиоактивная пыль распространилась на огромном пространстве, она покрыла серым слоем американские корабли, она погубила японских рыбаков и достигла того отдаленного островка, на котором находилась в это время Дженни. Фрэнк летит через зону радиоактивности, чтобы спасти жену, и

больную отвозит ее домой в Лос-Анжелес.

В последнем действии две силы борются за душу и мозг Фрэнка: с одной стороны — благородный гуманизм заболевшей лучевой болезнью Дженни и творческий энтузиазм профессора Миллера, врага науки, приносящей людям горе и разрушение. С другой — бесчеловечный и агрессивный дух угрозы военной силы, воплощенный в американском адмирале, который появляется в доме Фрэнка, чтобы напомнить ему об его «патриотическом» долге и призвать его к изобретению еще более совершенного и еще более смертоносного оружия. Фрэнк отказывается возобновить работы в атомной лаборатории военного заво-

да, и автор оставляет его в глубоком раздумье о судьбах и задачах науки.

Пьеса написана очень сдержанно и экономно, логика ее развития стройна и последовательна. Она полна рассуждений и движется прежде всего «столкновением идей», но все же согрета теплотой живых, интимных человеческих чувств. Правда, впечатление от нее было бы глубже, если бы ее тенденции были бы не так оголены.

В целом же «Гордость и облако» останется творческим успехом Сориа-драматурга. Его защита созидательной науки, посвященной мирному процветанию человечества, от разрушительных и агрессивных сил прозвучит на сцене очень убедительно.

Н. Эйшискина

ОНИ ДУМАЛИ, ЧТО БЫЛИ СВОБОДНЫМИ

□

Milton Mayer. They Thought They Were Free. The University of Chicago Press, 1955.

□

Среди обширной литературы — художественной, публицистической, мемуарной,— вышедшей после второй мировой войны на Западе и посвященной проблемам настоящего, прошлого и будущего немецкого народа, книга Мильтона Мейера «Они думали, что были свободными», без сомнения, заслуживает внимания. Мильтон Мейер — широко известный в США публицист, автор журнальных статей, лекций, выступлений по радио. Возникновение у него интереса к «германской проблеме» Мейер объясняет в предисловии к книге следующим образом: «Как американец, я был возмущен приходом национал-социализма к власти в Германии. Как американец немецкого происхождения, я был пристыжен. Как еврей, я был потрясен. Как журналист, я был заинтригован».

Книга Мильтона Мейера явилась результатом двух его поездок в Германию: в 1935 году и после разгрома гитлеризма. Автор делает оговорку, что книга написана на материале его бесед с десятью немецкими гражданами — «моими друзьями», как он их полуиронически называет. История Германии 1933—1945 годов раскрывается автором через восприятие этих десяти немцев — «маленьких нацистов», — тех, кто, по мнению Мильтона Мейера, составлял 69 из 70 миллионов населения гитлеровской Германии. Что заставило их поверить в национал-социализм? «...Национал-социализм обещал разрешить проблему безработицы. И он сделал это», — отвечает один из десяти собеседников Мильтона Мейера. По их словам, многие вступали в фашистскую партию «по деловым соображениям», не разделяя нацистских взглядов и не задумываясь о последствиях. По мнению Мейера, они не знали — и даже сейчас не знают, — что собой представлял нацизм.

Конечно, невозможно согласиться с автором в том, какую роль он отводит в истории народным массам. В его интерпретации народ — это несознательная, безвольная толпа, которая покорно бредет в направлении, указанном хлыстом власть имущих. Нельзя согласиться со взглядом автора на гитлеровцев, как на антикапиталистическую силу. Ведь, утверждая подобное, Мильтон Мейер тотчас упоминает о негласной помощи крупного капитала партии национал-социалистов. В корне неверны и отнюдь не оригинальны попытки автора провести аналогию между коммунизмом и фашизмом, как различными формами диктатуры «в век массового революционного диктаторства».

И все же стремление автора трезво и непредубежденно осветить историю гитлеровской Германии делают его книгу чрезвычайно интересной.

Среди собеседников Мильтона Мейера были и такие, кто сознавал, что фашизм означает порабощение для немецкого народа. Но, подобно тем, кто был до конца обманут фашистской пропагандой, эти последние также не оказали решительного сопротивления фашизму. Мейер не склонен их оправдывать. На материалах бесед со своими «десятью друзьями» он раскрывает процесс проникновения коричневой чумы в их сознание и насаждения «нового порядка» в Германии. Мейер показывает, как разобщенность антифашистских сил в Германии позволила гитлеровцам по частям убрать со своего пути противников фашизма. Гитлеровцы действовали так, что в каждом конкретном случае сопротивляться им было «уже слишком поздно».

Мильтон Мейер приводит слова пастора Нимёллера, который говорил, что когда нацисты начали гонения против коммунистов, он был несколько обеспокоен, но, не будучи коммунистом, ничего не предпринимал; затем нацисты начали преследовать социалистов, и пастора это обеспокоило сильнее, но, не будучи социалистом, он продолжал бездействовать; затем пришла очередь школ, печати и евреев, и он был обеспокоен еще больше, но по-прежнему ничего не предпринимал. Наконец нацисты начали преследовать церковь, и он, будучи священнослужителем, предпринял кое-какие действия, — «но было уже слишком поздно».

В заключительной части книги Мильтон Мейер высказывает свои суждения о будущем немецкого народа. «С самого начала американская оккупация была действенным образцом антидемократии и открыто навязчи-

вого торгашества», — эти слова автора доказывают, что он отнюдь не склонен обольщаться насчет «воспитательной роли» США в Германии. Он не одобряет политику влиятельных кругов США, взявших откровенный курс на ремилитаризацию Западной Германии и поддержку реваншистских планов бывших нацистов. Искренний противник фашизма Мильтон Мейер глубоко обеспокоен этими событиями. Он высказывается против милитаризации и, используя цифры и факты, показывает, что политика военных авантюр ничего не дала Германии, а только привела ее к национальной катастрофе, тяжелые последствия которой немецкий народ остро ощущает сегодня.

В книге Мильтона Мейера немало противоречий, многого автор не договаривает. Его рассуждения о судьбах немецкого народа основаны на наблюдениях за жизнью Западной Германии; о Германской Демократической Республике в книге почти нет упоминаний. Автор не дает ясного ответа, в чем он видит решение германского вопроса, но ясно высказывается против той политики, которую проводят американские оккупационные власти.

В условиях все усиливающейся ремилитаризации Западной Германии и принятия бундестагом закона о всеобщей воинской повинности книга Мильтона Мейера звучит как предостережение. Она приобретает особый смысл после того, как в августе 1956 года в Западной Германии была вновь запрещена Коммунистическая партия, подобно тому как она была запрещена в нацистской Германии 14 марта 1933 года.

Характерна последняя фраза этой книги: «Рискованно оставлять людей одних. Но еще рискованнее принуждать десять моих друзей-нацистов — и семьдесят миллионов их сограждан — вновь избрать вооруженный антикоммунизм, в качестве национального образа жизни».

А. Мельников.

КИНОПОВЕСТЬ ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

□

Fellini. Il bidone. D'après le scénario de Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli. Traduit de l'Italien par Dominique Delouche. Paris, Flammarion, 1956.

□

За последнее время во Франции и ряде других стран все чаще появляются книги, в основе которых лежат фильмы, имевшие большой успех у зрителей. Выходят в свет романы, написанные по мотивам фильмов, например книги «Правосудие свершилось» и «Перед потопом», созданные по фильмам режиссера Андре Кайатта и сценариям Шарля Спаака и снабженные многочисленными иллюстрациями из этих фильмов. Однако некоторые французские издательства предпочитают держаться ближе к оригиналу, то есть к самому киносценарию. Либо сами авторы сценария, либо специально приглашенные люди дополняют текст необходимыми разъяснениями, которые делают понятным для читателя все то, что зритель видел на экране. К числу такого рода изданий относится, например, сценарий Франсуа Мориака «Хлеб наш насущный». (Снятый по нему фильм кстати сказать, не имел большого успеха.) Таким же образом был издан вскоре после освобождения Франции сценарий известного фильма режиссера Марселя Карне «Вечерние посетители», написанный Пьером Ларошем и Жаком Превером. В роскошном издании опубликован сценарий фильма Рене Клера «Молчание — золото».

Недавно в парижском издательстве «Фламмарион» вышла в свет книга итальянского режиссера Федерико Феллини, написанная по его последнему фильму.

Федерико Феллини сравнительно недавно стал заниматься режиссурой. До этого он много и плодотворно работал в качестве сценариста, и его имя украшает многие отличные произведения итальянского кино последних лет.

Очень трудно перевести на русский язык слово il bidone. «Бидонистами» в Италии называют мошенников, которые занимаются тем, что с помощью ряда несложных, но хитро придуманных приемов дурачат простодушных людей, выуживают из их карманов с таким трудом нажитые деньги.

Героями книги, написанной Феллини по сценарию, который был создан им и его сотрудниками Эннио Флайано и Туллио Пинелли, являются три таких мошенника — Аугусто Рокка, художник Карло по кличке «Пикассо» и Роберто Джорджи Феллини рассказывает, каким образом они добывают деньги. Это — цепь неплохо разыгранных сцен, в которых Рокка обычно играет роль епископа, Карло — его секретаря, а Роберто — шофера. Художник-неудачник Карло скрывает от

своей жены происхождение заработанных им денег Точно так же скрывает это от своей взрослой дочери Аугусто. Но приходит день, когда горячо любящая мужа Ирис понимает все и покидает своего «Пикассо». Еще более трагично прозрение Патриции дочери Аугусто. Она становится свидетельницей ареста своего отца за продажу негодного лекарства, из-за которого едва не погиб человек

Рассказывая об операциях трех «бидонистов», Феллини яркими мазками рисует нищету народа и пышную, но дешевую роскошь тех, кто наживается на всевозможных махинациях Одна из самых сильных сцен — показ тяжелого жилищного кризиса, на котором и решают сыграть мошенники Приехав в один из кварталов, где люди живут в сараях и лачугах они собирают с них «аванс» под будущие квартиры Еще более безжалостен автор в другой сцене, в ходе которой «бидонисты» грабят семью бедняка Его разбитая параличом дочь внушает Аугусто жалость, но отступить от своего замысла он не может

Феллини нарисовал мрачную картину общества, в котором возможно существование «бидонистов» где безнаказанно действует целая организация людей наживающихся на несчастиях других Однако он не ограничился рассказом только о «среднем» звене такого рода мошенников. В большой, центральной сцене, в новогоднюю ночь, он показывает еще более крупных и поэтому еще более опасных «тузов» этого мира, оперирующих уже не сотнями тысяч, а миллионами лир. В книге об этом сказано лаконично: «Некоторый лоск, который придают гостям вечерние туалеты не может скрыть присущую им вульгарность На молодых и старых лицах написаны хитрость жестокость, порок и звериные ухватки. Перед нами сборище авантюристов высокого пошиба» Нравы этой среды показаны автором со свойственной ему натуралистичностью которая, впрочем, помогает еще лучше понять, до какого нравственного падения дошла эта «бидонистская аристократия»

Как и предыдущий фильм Федерико Феллини «Дорога», который был показан во время недели итальянского фильма в Москве, «Il bidone» оканчивается трагически. Убедившись в нечестности Аугусто новые компаньоны (ибо Карло и Роберто покинули его) до смерти избивают Аугусто, который умирает на дороге как собака, не будучи в силах даже позвать на помощь.

Драматургия Федерико Феллини — своеобразное явление в современной итальянской кинематографии Гуманизм и элементы социальной критики присущие всем его произведениям окрашены тонами пессимизма Во всем сценарии «Il bidone» нет ни одного счастливого человека Критикуя общество за то, что в нем возможны такие уродливые явления, Феллини не ищет реального объяснения вскрытых им явлений

Прочитав книгу «Il bidone» вы невольно думаете, что Феллини все же далек от того лозунга, который бросил летом прошлого года в Париже итальянский сценарист Чезаре Дзаваттини — «создавать фильмы, полезные человеку» И это, на наш взгляд, снижает значение творчества этого безусловно талантливого художника.

А. Брагинский.

ПРОБЛЕМА „ВОРСТСЕЛЛЕРА" И „УСТНАЯ КНИГА"

□

Aldous Huxley. Censorship and Spoken Literature.—London Magazin, October 1956.

□

В октябрьском номере журнала «Лондон мэгезин» за 1956 год известный английский писатель (живущий ныне в США) Олдос Хаксли напечатал статью «Цензура и литература устного слова», посвященную проблеме *ворстселлера*. Что такое бестселлер известно. Это термин принятый в американском издательском мире для обозначения книги, имеющей наибольший коммерческий успех. «Ворстселлер» (англ worst—наихудший)— книга, не имеющая коммерческого успеха не дающая прибыли издателю Каждое буржуазное издательство содержит штат опытных консультантов и рецензентов, специальная задача которых — выискивать будущие бестселлеры и оберегать фирму от издания ворстселлеров Напряжение усилилось как отмечает Хаксли, когда в послевоенные годы общий рост цен привел к резкому повышению издательских расходов. В США до войны, согласно цифрам приведенным в статье, издатель, чтобы оправдать расходы по напечатанию, должен был продать 2000 экземпляров книги. Сейчас он должен для этого продать не менее 7000 экземпляров Погоня за бестселлерами приобретает все более напряженный характер В связи с этим возрастает число рукописей, отвергаемых издателями

Создавшееся положение, по словам Олдоса Хаксли, можно определить, как господство «экономической цензуры», которая действует как постоянный фактор общественной и культурной жизни капиталистических стран Хаксли считает, что в странах капиталистического Запада политическая цензура отсутствует Это разумеется, не так Крупные издательские концерны в настоящее время наглухо «впаяны» в капиталистиче-

скую экономику и личной унией или вассальными отношениями объединены с руководящими экономическими и политическими органами буржуазного мира. Экономическая цензура, которую они осуществляют, есть всегда цензура политическая. Политической же в значительной мере является и проблема ворстселлера. Успех книги регулируется издательской рекламой, и судьба ворстселлера при монополии капиталистических издательств практически угрожает каждой книге, которая будет сочтена политически нежелательной.

Однако и не соглашаясь с этим, Олдос Хаксли рисует достаточно выразительную картину. Система издательской «экономической цензуры» действует, по его словам, как «великий затыкатель ртов» во всех областях интеллектуальной и художественной жизни. Авторы серьезных и важных книг не могут пробиться в печать. Если не считать сравнительно небольшого числа писателей, имеющих уже установившуюся читательскую аудиторию, то обеспеченный средний успех приходится главным образом на долю низменной развлекательной литературы и сенсационной журналистики, которую Олдос Хаксли с достаточным основанием называет «неандертальской журналистикой» Для авторов действительных или мнимых ворстселлеров двери издательств закрыты «Деньги говорят сами и не дают никому молвить слова», — пишет Олдос Хаксли.

Каков же выход из создавшегося положения? Поскольку Олдос Хаксли не простирает свою критику на основы буржуазного порядка, он ищет обходного пути Он считает, что писателям, страдающим от тирании капиталистических издательств, следует отказаться от печатания своих книг и искать других способов общения с читателем. Он рекомендует обратиться к опыту литературы допечатного или раннепечатного периода и продумать его в свете достижений современной техники.

Хаксли считает, что традиция *чтения вслух* может быть с успехом возрождена и широко распространена в современном обществе при помощи новейшей звуковоспроизводящей аппаратуры. При некоторых технических усовершенствованиях в звукозаписи книга среднего объема разместится на двух долгоиграющих пластинках и будет доступна потребителю по дешевой цене. Дальнейший прогресс механико-акустической техники создает новые перспективы для распространения «устной книги».

Олдос Хаксли полагает, что возрождение традиции чтения вслух не только разрешит проблему ворстселлера, откроет путь книгам, которые не могут пробиться в печать, но также будет иметь широкое воспитательное значение, приохотит к серьезному чтению значительный круг читателей, довольствовавшихся до сих пор недоброкачественным бульварным чтивом.

Идея Хаксли об использовании современной техники для внедрения в культурный обиход и массового распространения «устных книг» интересна и, возможно, имеет будущее. То, что это предложение возникает у него в противовес современному книгопечатанию и сопровождается призывами к бегству от печати, противоречит, однако, всякому представлению о нормально функционирующей культурной жизни и принадлежит к нелепостям современной капиталистической цивилизации.

Предполагать, как это делает Олдос Хаксли, что реализация его предложения откроет путь книгам, выход которых в свет блокируют буржуазные издательства,— утопично. Будущее «устной книги» в условиях капиталистического общества можно легко предсказать, не будучи оракулом Как только новое начинание достигнет промышленного размаха, оно станет достоянием «большого бизнеса» Часть капитала издательских концернов отхлынет в производство «устной книги» и завтра «устная книга» будет использована для распространения того самого низменного чтива и «неандертальской журналистики», которые сегодня буржуазные издательства выбрасывают на рынок в виде печатных книг.

А. Старцев.

ДЖЕК ЛИНДСЕЙ ОБ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

□

Jack Lindsay. After the Thirties. The Novel in Britain, and Its Future. London, Lawrence and Wishart, 1956.

□

«Мы переживаем кризис культуры, одним из аспектов которого является кризис литературы» — таков исходный тезис новой книги романиста и критика Джека Линдсея, посвященной перспективам развития литературного движения в современной Англии. Иные теоретики современного искусства, как указывает Линдсей, пытаются даже рассматривать этот кризис как естественное и неизбежное порождение «века демократии» и стараются возложить ответственность за него на «простого человека» современной Англии, на английский народ, чьи вкусы и требования снижают якобы уровень национальной художественной культуры

Подобным взглядам противостоит книга Джека Линдсея «После тридцатых годов Роман в Англии и его будущее». Как видно уже из самого ее заглавия, она по праву напоминает читателям о значении общественного и литературного наследия тридцатых годов. Раздел, посвященный этому

периоду, естественно, занимает особо важное место в исследовании Линдсея. Сторонники реакции дорого дали бы за то, чтобы заставить Англию забыть или преуменьшить замечательные традиции этого десятилетия, когда писательские силы страны сплачивались на широкой платформе борьбы против фашизма и войны и когда коренные, насущные проблемы английской жизни находили отражение в ярко и многообразно развивающемся социальном романе. «Писатели видели,—пишет Джек Линдсей, определяя значение опыта тридцатых годов для английской литературы,— что их потребность в совершенствовании своего мастерства и стремление глубоко погрузиться в политическую борьбу не противоречат друг другу». Тридцатые годы предстают в книге Линдсея как период напряженного «борения мысли», когда становилось ясным, что «писатель лучше всего растет по мере того, как он все глубже входит в нужды и стремления простого народа».

Характеризуя современное положение английской литературы, Линдсей вносит, фактически, существенное уточнение в тот исходный пункт о кризисном ее состоянии, с которого начинается его работа. Он показывает, что несмотря на отступничество одних, молчание или нерешительность других, лучшие живые традиции тридцатых годов получают дальнейшее развитие в творчестве передовых английских писателей нашего времени. Линдсей опровергает измышления противников прогрессивного, демократического искусства, вроде, например, цитируемого им Сайрила Конолли, провозгласившего, что «декаданс является единственной живой силой современного искусства». Он называет имена таких различных и самобытных художников, как Элюар и Арагон, Хикмет и Неруда, О'Кейси и Лакснесс, Тихонов и Леонов, Брехт и Тувим, творчество которых уходит своими корнями в жизнь народа. В главе «Движение вперед», ссылаясь на творчество писателей столь разных по духу, традиции и манере письма, как Эдит Ситуэлл и Дилан Томас, Гвин Томас и Эдит Парджетер, Джордж Табори, Джон Казенс, Джеймс Олдридж, Дорис Лессинг и др., он показывает, как складывается и в сегодняшней Англии литература, создаваемая, по его выражению, «поборниками жизни», поборниками трудового народа.

Композиционно книга Джека Линдсея делится на две части. Первая, озаглавленная «Современное положение», рассматривает пути развития английской литературы в двадцатых и тридцатых годах, ее нынешнее состояние и грядущие возможности. Вторая часть — «Проблемы писательского творчества» — носит теоретико-эстетический характер. Начиная с постановки некоторых общих проблем марксистской эстетики, касающихся происхождения искусства и его роли в общественной борьбе, Джек Линдсей особенно внимательно останавливается на специфических проблемах художественного мастерства, стоящих перед современным писателем.

Важным достоинством книги Джека Линдсея является то, что, отстаивая принципы искусства социалистического реализма и доказывая их жизненность в условиях развития современной национальной английской литературы, он стремится избежать в постановке этих вопросов догматизма и схематичности. Он справедливо отвергает те лжетолкования, которым не раз подвергалось и подвергается понятие социалистического реализма. Он возражает тем, кто полагает, будто «существует определенная фиксированная норма социалистического искусства, непогрешимо изобличающая все те произведения, которые не укладываются в ее узкую абстрактную позицию». В действительности, продолжает Джек Линдсей, «социалистический реализм включает в себя всевозможные способы изображения; это — лишь определение общего *метода*, характерного для нашей современности... По самой своей природе он должен быть тесно и гибко связан и с национальной традицией и с уровнем художественного и политического развития народа в каждый данный момент. Он должен стремиться охватить жизнь в ее полноте, улавливая в то же время глубинные тенденции ее развития. И он остается социалистическим реализмом независимо от того, какую действительность он воспроизводит — будь то ранняя стадия борьбы за социализм поздняя ее стадия или само социалистическое общество — если только он постигает и схватывает ее правдиво, глубоко и художественно».

Линдсея можно было бы упрекнуть в некоторой неполноте рисуемой им картины соотношения сил в английской литературе 30—50-х годов Так, в частности, нельзя не пожалеть об отсутствии в его очерке литературной жизни тридцатых годов столь интересных и значительных фигур, как Олдингтон и Кронин. Думается, что и современная литературная жизнь Англии, может быть, несколько богаче если не свершениями, то, во всяком случае, потенциальными возможностями развития писателей, еще не определивших своего места в искусстве и в общественной жизни, еще не вполне нашедших самих себя Это отмечалось и в отзывах английской прогрессивной печати. Но, впрочем книга Линдсея и не претендует на то, чтобы дать читателю систематическое и полное освещение историко-литературного процесса в Англии за последнюю четверть века Это и не входило в задачи автора. Задачи эти заключались не столько в подведении окончательных итогов, сколько в постановке некоторых важнейших, узловых вопросов, касающихся и сегод-

няшнего и завтрашнего дня английской литературы. Написанная в свободной эссеистской манере (имеющей давнюю традицию в английской литературной критике), намеренно субъективная и в отборе материала, и во многих своих оценках, книга эта ценна прежде всего тем, что она будит мысль читателей и подготавливает почву для творческих споров и дальнейшего обсуждения поставленных в ней проблем.

А. Елистратова.

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. СТОЯНОВА

□

Людмил Стоянов. Избрани съчинения. т. 1. Стихотворения, т. 2. Разкази, т. 3 Повести, т. 4 Роман «Зазоряване», т. 5 Пиеси, т. 6 Статии, речи, писма. София, Български писател, 1953—1956.

□

На страницах советской печати имя Людмила Стоянова впервые появилось более двадцати лет назад. В августе 1935 года в газетах было опубликовано скупое телеграфное сообщение из Болгарии: «На участника конгресса защиты культуры и члена бюро Международной ассоциации писателей для защиты культуры — известного болгарского писателя Людмила Стоянова, напала группа фашистов и нанесла ему тяжелые ранения».

Вскоре появились на русском языке и художественные произведения писателя — его рассказы, повести, а затем стихи. В последующие годы они неоднократно издавались на русском, украинском и литовском языках. Людмила Стоянова хорошо знают и любят в Советском Союзе. Одним из свидетельств тому является письмо А. Фадеева, не публиковавшееся в печати. Приводим его полностью:

«Дорогой Людмил Стоянов!

Большое сердечное спасибо за сборник статей, речей, писем. Особенно радует, что Вы так много внимания уделяете нашей советской культуре, нашим писателям. Нельзя не поблагодарить Вас за это от всей души.

Старых и лучших друзей ни я, ни мои товарищи, конечно, не забудут никогда. Ведь мы работаем вместе с Вами на одном поприще более четверти века. Нам всем столько пришлось в жизни пережить и перенести, но мы не согнулись в борьбе и бодро смотрим в будущее. Я всегда гордился и горжусь дружбой с таким человеком, как Вы, дорогой друг Стоянов.

Желаю Вам доброго здоровья и сердечно Вас обнимаю.

Ваш А. Фадеев. 8 мая 1956 года».

Недавно в Болгарии завершено издание шеститомного собрания сочинений Людмила Стоянова, в котором представлены его лучшие произведения, написанные за пятьдесят лет литературной деятельности и рисующие его большой и сложный творческий путь. Эпиграфом к первому тому своих сочинений он поставил известные слова Маяковского:

...Я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому
что нет мне
без него любви.

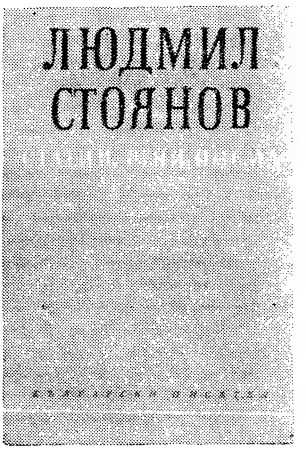
Если ранние стихотворения Л. Стоянова покоряют нас своей ритмичностью, музыкальностью («Ивы», «Фракийские поля»), то его более позднее творчество волнует читателя своим гуманизмом, раздумьями поэта о судьбе его народа и родины. Крик отчаяния вырывается у поэта в стихотворении «Бедность»:

Мой народ самый бедный, и
беднее его никого нету...

С конца двадцатых годов Л. Стоянов приходит к поэзии большого социального накала, получившей богатое выражение в его замечательном сборнике «Земная жизнь» (1939). После освобождения Болгарии от фашизма новые краски появляются в его стихах. «Первый день свободы он назовет «великим днем», когда «из тюремного мрака люди хлынули, песнями дом зазвучал». В этот период Л. Стоянов создал и волнующее стихотворение «Русскому народу», которое написано в лучших традициях болгарской классики:

Русский народ! Чтоб спасти
от врага нас,
Шли твои воины издалека.
Гнев твой могуч, как порыв
урагана,
Сила любви — как весною
река.
Дружба твоя, прямота и
сердечность
Лучшим примером пребудут
вовек.
С правдою русской такой
человечной,
Всюду встает и растет
человек.

(Перевод В. Кежуна).



Завершается первый том стихами последнего сборника Л. Стоянова «За железным занавесом» (1953); многие из них свидетельствуют о дальнейшем развитии по-

этического дарования автора К числу наибольших удач этого сборника следует отнести «Два Берлина», «Париж в те дни», «Поэтам Запада» «Эллада».

Большинство рассказов Л. Стоянова, составивших второй том сочинений, взято из его сборников двадцатых и тридцатых годов. Большое место в них занимает антивоенная и антифашистская тематика («Хатидже», «Милосердие Марса», «Против Аллаха», «На передовой» и другие) Запоминаются и лаконичные сатирические рассказы, обличающие нравы буржуазной интеллигенции В третьем томе помещены известные советскому читателю повести «Холера», «Мехмед Синап», «Серебряная свадьба полковника Матова» В четвертом опубликован роман «На рассвете», рассказывающий об участии болгарской интеллигенции в антифашистском движении.

Интересны два последних тома сочинений, где помещены ранее не включавшиеся в сборники пьесы Л. Стоянова и его публицистические статьи. Многие из них представляют собой библиографическую редкость, как, например, историческая драма в стихах «Конец Раковицы», трагедия в стихах «Антигона», комедия «Волки охраняют стадо» — сатира на буржуазные партии и буржуазную политическую систему. В пятом томе впервые публикуется социально - психологическая драма «Желтая звезда» (1952), рисующая трагическую картину жизни еврейской интеллигенции в фашистской Болгарии периода второй мировой войны.

Публицистические, литературно-критические статьи и письма Л. Стоянова, помещенные в шестом томе, печатались в разных периодических изданиях с 1924 по 1955 год Они не только показывают участие самого автора в антифашистской и литературной борьбе, но и ясно рисуют этот сложный период в жизни болгарского народа—от зарождения фашизма в Болгарии до его разгрома, до становления новой жизни в свободной народной республике Весьма ценны статьи о русско-болгарской дружбе и русско-болгарских литературных связях.

Выражая глубокое удовлетворение по случаю завершения этого фундаментального издания, нельзя не упрекнуть редакцию в том, что она ограничилась крайне лаконичной биографической справкой о писателе, не дав ни развернутой статьи о сложном пути Л. Стоянова, ни комментария к отдельным томам и произведениям Было бы также целесообразнее стихи в первом томе разместить в хронологическом порядке по издававшимся сборникам поэта

Большое место в литературной деятельности Людмила Стоянова занимают переводы Он переводил поэтов и прозаиков и особенно много русских писателей — М. Лермонтова, А. Пушкина, Л. Толстого, В. Маяковского и других. Недавно вышло в его прекрасном переводе «Слово о полку Игореве» Отдельный том лучших переводов из литератур разных народов мог бы дополнить настоящее собрание сочинений, раскрыв еще одну страницу многообразной деятельности большого писателя, одного из выдающихся представителей болгарской культуры.

В. Злыднев

ЧЕЛОВЕК В СТЕКЛЯННОМ ЯЙЦЕ

□

Johan Borgen, Lillelord. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag, 1955.

□

В 1955 году норвежская почетная премия критиков, присуждаемая ежегодно за лучшее прозаическое произведение, вручена писателю Иохану Боргену за роман «Маленький лорд».

Иохану Боргену более пятидесяти лет. Он автор многочисленных романов и новелл, первоклассный журналист известный под псевдонимом "Mumle Gåsegg" («Ворчливое гусиное яйцо»), популярный критик, инсценировщик и публицист. Произведения Боргена, созданные в довоенные годы, отмечены интересом к психологическим проблемам и большим сатирическим талантом. Злободневные статьи послевоенных лет свидетельствуют о более глубоком подходе Боргена к социальным явлениям, их тон более радикален, в них ярко выражены антимилитаристские тенденции.

В романе Боргена «Маленький лорд» проявились как лучшие свойства писательского таланта Боргена, так и его уязвимые стороны. Книга написана неровно: блестящие части, отмеченные тонким психологическим мастерством и полнокровным восприятием жизни, перемежаются с более слабыми частями, где довольно шаблонное развитие сюжета и характеристика персонажей на какой-то момент снижает читательский интерес.

Действие романа Боргена происходит незадолго до первой мировой войны. С блестящей иронией писатель воспроизводит картинки жизни буржуазной семьи того времени в столице Норвегии Христиании, напоминающей провинциальный городок. В этой среде воспитывается герой книги — Маленький лорд.

Мать мальчика, богатая молодая вдова, расточает деньги и все свои неистраченные чувства на своего сына. В какой-то мере он становится ее игрушкой, ее «Маленьким лордом Фаунтлероем», и это на всю

жизнь калечит душу чувствительного и одаренного мальчика.

Смело и интересно показал Борген трагическое состояние этой детской души. Маленький лорд не по годам развит. Он рано постигает свое окружение, улавливает тайны домашнего быта, подмечает слабости и чудачества взрослых, их ханжество, презирает их снобизм и социальную наивность. Через эти все понимающие детские глаза мы видим деградацию буржуазии, раскрывающуюся в ряде острых ситуаций, в образах представителей зажиточной норвежской семьи в годы перед первой мировой войной.

Но скороспелое интеллектуальное и духовное развитие влечет за собой катастрофические последствия для Маленького лорда. Видя истинное лицо взрослых, он не может не презирать их в глубине души. Это усугубляет его одиночество и приводит к тому, что он начинает притворяться в обществе взрослых и «играть маленького». Четырнадцатилетний мальчик теряет в этой игре свое «я». Он становится беспомощной жертвой собственного лицемерия, превращается в болезненного, эгоцентричного неврастеника, проникается упадочными настроениями, презирает себя и в то же время испытывает к самому себе глубокое сострадание. Психологически изолированный от своих сверстников, матери, семьи, Маленький лорд превращается в «человека в стеклянном яйце».

Образ стеклянного яйца, проходящий через всю книгу, символизирует социальное положение Маленького лорда. Яйцо — это простая стеклянная игрушка с маленькой церквушкой внутри. Перевернешь яйцо — на церковь падает мирный рождественский снег. Еще раз перевернешь — снег осыпается с церкви. С этим яйцом в руке был найден покончивший с собою отец Маленького лорда.

Об отчаянных полуосознанных попытках мальчика вырваться из стеклянных стен, сбросить иго семейных уз и классовых предрассудков, найти путь к людям и таким образом обрести свое потерянное «я» и рассказывает книга Боргена. Художественная сила произведения — в правдивости описания этого процесса. Ни на одну минуту писатель не поддается соблазну превратить роман в социальный лубок. Герой книги не переживает ни политического, ни социального кризиса по заранее заданной схеме. Он не уходит «в народ» и не становится вдруг ни героем, ни благородным человеком С художественным мастерством, убедительно и проникновенно показывает Иохан Борген, что мальчик из социальной среды, окружающей Маленького лорда, наделенный его интеллектом и чувствами, должен идти иным путем, путем последовательного разоблачения всех лживых моральных ценностей, которые сковывают и связывают его в буржуазной среде.

К сожалению, в этом романе Иохан Борген более умело ставит проблемы, чем разрешает их. Первая половина романа в художественном, психологическом, социальном отношении сильнее второй. А в последней, третьей части чувствуется некоторая усталость писателя. Менее точно схвачены и переданы переживания героев, поверхностны описания второстепенных действующих лиц и, что всего обиднее, внутреннее развитие героя как бы приостанавливается, напряженность действия ослабевает.

Замечания в адрес романиста можно было бы умножить, однако все они играют второстепенную роль при оценке романа в целом. Оригинальность темы и формы «Маленького лорда», мастерский стиль Боргена доставляет читателям большую радость.

Это волнующее произведение достойно представляет современную норвежскую художественную литературу.

Финн Хавревольд.

ЖИЗНЬ ЭЖЕЗИППА МОРО

□

P. Brochon. George Benoit-Guyod. La vie maudite de Hégésippe Moreau — La Pensée. Revue du rationalisme moderne, No 68, 1956.

□

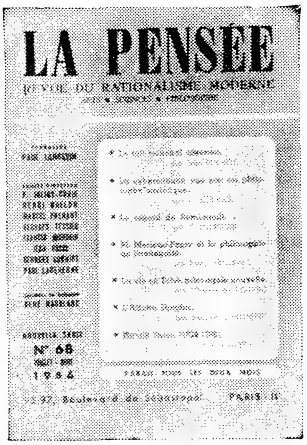
В последние годы во Франции появляется все больше книг и статей о творчестве демократических и революционных поэтов прошлого, все чаще издаются в виде отдельных сборников или журнальных публикаций их произведения "La Pensée" за 1956 год помещает рецензию известного исследователя французской демократической поэзии и рабочего фольклора прошлого века П Брошона на одну из таких работ, посвященную жизни полузабытого поэта. революционного романтика тридцатых годов девятнадцатого столетия Эжезиппа Моро. Рецензент видит в книге о поэте, написанной историком и литературоведом Жоржем Бенуа-Гийо, плодотворную попытку воскресить облик этого замечательного певца народного горя и борьбы. Он отмечает при этом, что судьба Моро — судьба многих талантливых художников-бунтарей, восставших против бесчеловечности буржуазного общества.

«Проклятая жизнь Эжезиппа Моро» назвал Жорж Бенуа-Гийо свою книгу. (Она выпущена в 1955 году вторым изданием, первое издание вышло в 1945 году.) Это беллетризованная биография поэта и, вместе с

тем, тщательно аргументированное научное исследование, основывающееся на многочисленных архивных документах, неопубликованной переписке и воспоминаниях современников, донесениях полицейских и почтовых чиновников, семейных преданиях о жизни Моро. Благодаря неутомимым изысканиям биографа по-новому освещены юность поэта в Провене, борьба, которая велась вокруг издаваемого им сатирического листка «Диоген», участие поэта в демократических кружках парижских шансонье, полемика вокруг его сборника «Незабудка», театральные и прозаические опыты Моро, наконец, его посмертная судьба. Большой интерес представляют и новые публикации отдельных произведений и отрывков из стихов Моро, не входившие раньше ни в одно из изданий его сочинений

За многочисленными выдержками, письмами, документами в книге не теряется неповторимая личность Моро. Жорж Бенуа-Гийо развертывает перед читателем полную драматизма историю жизни пылкого юноши, поэта, несшего людям слова горькой правды о их жизни. Горемычное сиротское детство, голодная и холодная юность, мужественная зрелость на баррикадах у монастыря Сен-Мерри, бесприютная жизнь поэта-пролетария, зимой — в холодной мансарде, летом — прямо в парках Парижа, смерть от чахотки в двадцать восемь лет на жалкой «койке для бедных» И через всю жизнь пронесенная жгучая ненависть плебея и демократа к миру толстых, равнодушных, алчных мещан Несмотря на уговоры «благоразумных» друзей и травлю полицейских, злобные нападки критиков-эстетов и попытки аристократических салонов приручить его, Моро до конца жизни не смирился, не сделался развлекателем праздной светской черни. Он пал, сломленный в неравной борьбе с жестоким обществом, но его мечта вела вперед сотни и тысячи борцов. Его стихи были на устах у июньских повстанцев 1848 года, его «Зима» читалась перед огромными собраниями коммунаров в 1871 году.

С некоторыми выводами Жоржа Бенуа-Гийо нельзя согласиться. Вызывает, например, недоумение попытка представить Моро классицистом на том лишь основании, что он не раз говорил о своей любви к античным писателям и поэтам. Сравнительно с другими периодами жизни поэта, слабее освещена его связь с тайными республиканскими обществами тридцатых годов, мало говорится об его отношении к учениям утопического социализма, вовсе ничего не говорится об увлечении Моро утопическим коммунизмом Бабефа Как отмечает Брошон, на всю концепцию книги наложил сильный отпечаток биографический метод истолкования литературных явлений, свойственный Сент-Бёву (хотя Жорж Бенуа-Гийо и полемизирует с ним). Это сказывается и в полемике автора с оценкой творчества Моро Феликсом Пиа, бывшим в тридцатые годы критиком республиканской газеты «Насиональ», который увидел в поэзии Моро революционный протест против буржуазного миропорядка, и в бездоказательном отрицании участия Моро в июньском восстании 1832 года, на что указывает в своих воспоминаниях друг поэта С. М. Маракотт, и в отказе видеть в стихах Моро выражение революционного протеста широких народных масс против Июльской монархии. Причину оппозиционных мотивов в поэзии Моро Бенуа-Гийо целиком сводит подчас к очень незначительным обстоятельствам личной биографии поэта. Хотя приведенные в книге послания полицейских чиновников свидетельствуют о том, что правительство Луи Филиппа относилось к нему как к «злостному бунтарю и преступному проповеднику



новой революции», Бенуа-Гийо избегает делать те выводы, которые диктуются ходом исследования. Эти выводы делает П. Брошон, когда он пишет, что жизнь Моро была «проклятой» потому, что буржуазия беспощадно расправляется с теми, кто поднимает руку на устроенный ею миропорядок.

Книга Бенуа-Гийо, содержащая большой фактический материал и в целом правдиво воссоздающая трагическую историю талантливого поэта-демократа — первое большое исследование о Эжезиппе Моро. Его творчеству до сих пор посвящено всего лишь несколько статей (в том числе работы советского литературоведа Ю И. Данилина). Поэзия Моро — одна из примечательных страниц в истории французского прогрессивного романтизма. Освобождаясь от классицистской сухости и дидактизма, французская гражданская поэзия приобретала в творчестве Моро подлинно лирическую взволнованность, а лирика становилась гражданственной. Чезабудка» Моро — предшественница «Кар» и «Страшного года» Гюго, ранней поэзии А. Рембо. Исследование его творчества дает богатейший материал для освещения особенностей развития французской поэзии девятнадцатого века.

С. Великовский.

АВСТРАЛИЯ

«НЕКОТОРЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ПИСАТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ»

Под таким заголовком журнал «Коммюнист ревью» опубликовал выдержки из доклада Фрэнка Харди, сделанного на второй Национальной конференции писателей-коммунистов Австралии.

Фрэнк Харди сказал: «Я не ошибусь, заявив, что мы, писатели-коммунисты Австралии, проделали большую идеологическую работу со времени своей первой Национальной конференции, состоявшейся в октябре 1953 года.

Этот период отмечен явным отходом от сектантства и доктринерства, стремлением отобразить глубокую правду жизни. Однако в результате неумения делать правильные выводы, связанные с политикой и искусством, идеологическая работа не приняла еще определенной формы.

Со времени последней конференции мы также добились немалых успехов в деле борьбы за мир национальную независимость, культурный обмен и в нашей работе с писателями-некоммунистами».

Затронув вопрос о традициях австралийской литературы Харди отмечает ее демократизм и стремление выразить интересы и требования трудового народа. В качестве примера он ссылается на творчество известного прогрессивного писателя Австралии Генри Лоусона.

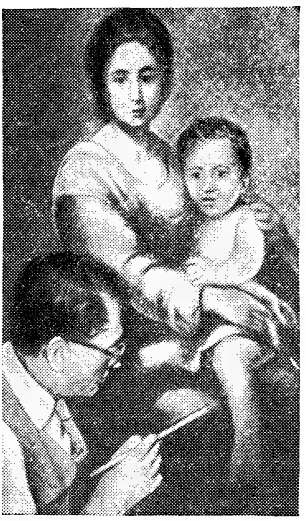
Фрэнк Харди говорит о том огромном значении, которое имел сам факт образования Коммунистической партии Австралии в деле развития отечественной литературы «Марксистская школа писателей Австралии явилась следствием формирования нашей партии» Среди писателей нового типа он с полным правом произносит имя Катарины Сусанны Причард, чье творчество в течение многих лет правдиво отображает жизнь и борьбу австралийского пролетариата

Давая общую характеристику основным этапам развития современной литературы Австралии Харди указывает на то что период 40—50 гг нашего века ознаменовался появлением новой плеяды писателей, выражающих «точку зрения рабочего класса».

Фрэнк Харди считает что основная задача писателей Австралии заключается в правдивом отображении действительности в разрешении проблемы положительного героя.

Он говорит: «Нет необходимости превращать всех героев в коммунистов и основные действующие лица не должны напоминать безгрешных манекенов. Прежде всего они должны быть живыми людьми»

Значительность тематики произведений в сочетании с высокой художественностью — вот чем по мнению Харди должны руководствоваться прогрессивные писатели Австралии.



Австралийскому искусствоведу-реставратору была поручена очистка сильно загрязненной картины неизвестного художника Во время работы он обнаружил маленькую красную печать, по которой и было установлено что картина — «Цыганская мадонна с ребенком» — принадлежит кисти испанского художника XVII века Мурильо и написана в 1670 году.

На снимке: реставратор у картины Мурильо «Цыганская мадонна с ребенком».

(Газета «Курир»).

АВСТРИЯ

НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ «КОМИКСОВ»

«В Австрии в настоящее время ведется энергичное наступление против бульварных серий и «комиксов»,— пишет книготорговый бюллетень ФРГ. Недавно к министерству просвещения подъехал грузовик, нагруженный списками с миллионом подписей, собранных австрийским «Книжным клубом молодежи» для того, чтобы призвать к борьбе с бульварщиной и порнографией.

Общественность страны требует распространения австрийских законов, запрещающих «сексуальную литературу», также и на «комиксы», возвеличивающие преступления и развращающие молодежь.

Пресса отмечает, что 98 процентов всей бульварной литературы, распространяемой в Австрии, ввозится из-за границы.

ВЕНСКИЕ ТЕАТРЫ ПОД УГРОЗОЙ

Несмотря на протесты деятелей культуры (см. «Иностранную литературу» № 10, 1956 г.), в Вене закрыли популярный народный театр «Скала». В его помещении оборудован кинозал. «Огромные кинотеатры и огромные гаражи являются лучшими источниками доходов, чем театры, — отмечает газета «Зонntаг», — ...поэтому в Вене в последние годы уже шесть театров переоборудовано в гигантские кинозалы».

Еще более печальна участь «Театр ан дер Вин»: его намечено переоборудовать под большой гараж. Не помогли даже обещания владельцев открыть оперетточный театр...

АЛБАНИЯ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Газета «Зери и популлит» сообщила о реорганизации Союза писателей и мерах помощи писателям и деятелям искусства. В редакционной статье газеты говорится: «Чтобы создать в ближайшем будущем лучшие условия для творческой работы писателей и работников искусств нашей страны, Совет Министров решил одобрить и утвердить создание единой организации писателей и работников искусств, «Союза писателей и работников искусств Албании».

Исполнительному комитету Народного совета Тираны поручено обеспечить всех членов нового Союза нормальными жилищными условиями и рабочими помещениями, а также построить клуб Союза и новое здание для его аппарата и правления.

ФИЛЬМ С УЧАСТИЕМ АЛЕКСАНДРА МОИССИ

В кинотеатрах Албании недавно был показан итальянский фильм «Лоренцо да Медичи» с участием знаменитого албанского актера Александра Моисси. Это — единственный фильм, снятый с участием Моисси. В фильме он исполняет главную роль.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИМИ МИТКО ВЕРНУЛОСЬ НА РОДИНУ

«Албанская пчела»—книга албанского писателя-патриота, собирателя албанского фольклора Фими Митко (1815—1889) создала ее автору большую известность. Но, к сожалению, судьба его остального литературного наследия долгое время оставалась неизвестной. Совсем недавно литературовед Димитр Пилика обнаружил в Праге своеобразное продолжение «Албанской пчелы» — сборник произведений албанского фольклора, подготовленный Фими Митко и снабженный его комментариями на итальянском и греческом языках.

Значение этой находки трудно переоценить. Но как попала эта рукопись в Прагу? Оказывается, Фими Митко, не имея возможности опубликовать рукопись в Египте, где он тогда жил послал несколько глав в Вену издателю Эдмонду Фекенштедту Тот переслал их в Прагу известному чешскому албановеду Яну Урбану Ярнику. Последующие главы Митко направлял уже непосредственно в Прагу и, таким образом, у Ярника оказалась вся рукопись целиком и четыре письма Митко. Впоследствии Ярник получил от наследников писателя ряд других рукописей Митко. При жизни Ярника книга эта так и не была напечатана.

Недавно по инициативе Семинара по изучению албанской культуры Пражского университета и Чехословацкой Академии Наук с рукописи Фими Митко была снята фотокопия и от имени правительства и народа Чехословакии заслуженный учитель Чехословацкой республики В. Ярош передал ее Институту Наук Албании Так произведение албанского писателя вернулось на родину.

Албанские газеты отмечают, что этот ценный подарок является новым выражением дружбы между народами Чехословакии и Албании.

АНГЛИЯ

АНГЛИЙСКИЙ АКТЕР О ШЕКСПИРЕ, ЧЕХОВЕ, ШОУ

Известный английский актер Ральф Ричардсон исполнитель ведущих ролей шекспировского репертуара, а также выступавший в роли Войницкого («Дядя Ваня» А. П. Чехова) поделился с корреспондентом «Плейз энд плейерз» своими мыслями о Шекспире, Чехове и Шоу.

«Шекспир — безжалостный властелин театра и я не испытываю удовольствия играть в его пьесах,— заявил Р Ричардсон.—К каждому сражению с ним за любое из его великих созданий я приступаю с чувством уверенности: да, я знаю, что требуется от меня в этой роли. Но когда начи-

«Дядя Ваня» А. П. Чехова. Лондонский театр «Олд Вик». Сезон 1944—45 г.г. Войницкий (дядя Ваня) — Ральф Ричардсон (слева), Астров — Лоуренс Оливье.

(Журнал «Плейз энд плейерз»)

наешь отдавать себе отчет, что над шекспировской ролью можно работать бесконечно, вместо уверенности появляется чувство провала. Шекспировские пьесы как бы смотрят на актера сверху вниз, чуть ли не спрашивая: «Вы не решаетесь за меня взяться?»

Играть Шекспира — все равно, что совершать восхождение на горную вершину. У вас может и не быть желания к этому, вас даже пугает эта высь, но вы чувствуете, что должны пойти на испытание».

Объясняя, почему Шекспира играть так трудно, Ричардсон говорит: «Шекспир жесток по отношению к исполнителям его произведений. Чехов, наоборот, оказывает такую помощь актеру в любой своей пьесе, что не проходит и пяти минут вашего пребывания на сцене, а вы уже верите и себе и в свою роль. Шекспировские же главные роли создают у актера чувство жуткого одиночества.

Еще один пример. Шоу сразу ставит актера на рельсы, указывая ему направление до места назначения, куда почтенный мастер благополучно доставит актера при условии, что он знает свою роль и мизансцены. Шекспир же толкает вас в океан и предлагает выплыть, если вы сумеете».

ВОСПОМИНАНИЯ БЕРТРАНА РАССЕЛА

Недавно в Англии вышла из печати книга воспоминаний английского ученого и философа Бертрана Рассела, озаглавленная «Портреты из прошлого и другие очерки». Воспоминания охватывают период, начиная с шестидесятых годов прошлого века, и рисуют жизнь Кэмбриджского университета того времени. Они содержат также живые и выразительные характеристики выдающихся современников Рассела, писателей Дж. Конрада, Г. Уэллса, Б. Шоу, ученого Сантаяны и других.

В ряде очерков («Человек в опасности», «Путь к миру» и другие) Б. Рассел останавливается на важнейших социальных проблемах современности. Даже лондонская «Таймс» не могла не заметить тревожных нот в его размышлениях о неправильном пути, на который стали некоторые политические деятели Англии, пути, «ведущем к гибели наших детей и крушению всех наших надежд». Рассел убежденно заявляет, что единственно правильный для всего человечества путь — это путь к миру.

БЕЛЬГИЯ

В ПЕРВОЙ ШЕРЕНГЕ БОРЦОВ...»

«Место художника — в первой шеренге борцов за новую систему, исключающую эксплуатацию человека человеком и войны», — говорит Франс Мазереель. Он добавляет, что художник должен красотой искусства «потрясти человеческие души». Лишь в этом случае его творчество станет осуществлением гражданского долга.

Вторая мировая война настигла Мазереееля во Франции; художнику в это время было пятьдесят лет. Там, на дорогах Франции, переполненных беженцами, Мазереель делает зарисовки, в которых запечатлен кошмар войны. Так возникает серия рисунков под названием «Всадники Апокалипсиса». «Я думаю, что мои впечатления соприкасаются с впечатлениями многих людей, которые, как я, пережили эту эпоху, — пишет Мазереель.— Моя цель состояла в том, чтобы верно воспроизвести ужасающие события. Я хотел показать все происшедшее людям в надежде на то, что они, сделав из этого выводы, когда-нибудь сообща, рука об руку, вступят на победоносный путь к миру».

После разгрома гитлеровского фашизма Франс Мазереель поселился в Ницце. Его выдающиеся гравюры на дереве, его талантливая графика известны всему миру. Произведения Мазереееля экспонировались на выставке бельгийского искусства в Москве и Ленинграде.

Гравюра на дереве, воспроизведенная на обложке

журнала, относится к циклу «От черного к белому». Поясняя свой замысел, Франс Мазереель пишет, что он стремился завершить изображение кричащих противоречий современности надеждой на лучшую, более радостную жизнь.

БОЛГАРИЯ

50-ЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОДОРА ПАВЛОВА

Писательская и научная общественность Болгарии отметила 50-летие творческой деятельности крупного философа, критика, историка литературы и общественного деятеля Тодора Павлова.

Президиум Народного собрания Болгарии удостоил академика Тодора Павлова почетного звания Народного деятеля науки и культуры и наградил его орденом «Георгий Димитров».

Газета «Литературен фронт» поместила поздравление ученому в связи с юбилеем.

ПЬЕСА О ГЕОРГИИ ДИМИТРОВЕ

Софийский Народный театр имени Кр. Сарафова осуществил постановку пьесы Крума Кюлявкова «Первый удар».

Пьеса К. Кюлявкова, посвященная мужественной антифашистской борьбе Г. Димитрова, является попыткой воссоздать обстановку, сложившуюся в Германии с приходом Гитлера к власти

На примере семейства Пфафенбергов автор раскрывает трагедию всего немецкого народа. Режиссер спектакля Кр Мирски приложил немало усилий для создания правдивого и волнующего спектакля. В своей рецензии писатель Камен Зидаров пишет в газете «Отечествен фронт», что спектакль изобилует интересными режиссерскими находками.

Роль Г. Димитрова исполнил молодой талантливый артист Стефан Гецев. Спектакль был тепло встречен зрителями и расценивается болгарской прессой как большой успех театра.

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

В Болгарии с начала года выходит журнал «Литературна мисл», посвященный вопросам теории и истории литературы и критики. Новый журнал, как говорится с сообщении о его выходе, ставит своей задачей освещать и некоторые узловые вопросы эстетики.

Журнал издается Болгарской Академией Наук и будет выходить раз в два месяца. В редакционную коллегию его входят президент Болгарской Академии Наук Тодор Павлов, академик Людмил Стоянов, члены-корреспонденты Академии Наук Пантелей Зарев (главный редактор), Георги Цанев, Петр Динеков, критики Стоян Каролев и Борис Делчев.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАРОДНА КУЛТУРА»

Болгарское государственное издательство «Народна култура» сообщает, что в ближайшее время выпустит первые тома собрания сочинений известных болгарских писателей Георгия Караславова, Орлина Василева и Христо Радевского. Подготавливается издание двухтомника стихов Младена Исаева который выйдет к пятидесятилетию поэта.

Издательство ведет большую работу по ознакомлению читателей с произведениями мировой литературы. Как сообщается в болгарской печати, в ближайшее время выйдут сборники избранных рассказов Вересаева, Гаршина и Успенского. Ожидается первый том сочинений Гейне.

С интересом встретила болгарская общественность намерение издательства выпустить библиотечку «Выдающиеся люди», представляющую серию художественных биографий. Первой книгой этой серии будет роман-биография М. И. Глинки «Ты взойдешь моя заря» советского писателя А Новикова, затем выйдут роман Л Фейхтвангера «Гойя», романы о Рембрандте, Мицкевиче и другие.

Болгарские читатели получат также роскошное издание «Ада» Данте в переводе К Величкова с иллюстрациями Г. Доре и «Фауста» Гете в новом переводе Д Статкова Среди популярных книг будут изданы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова «Фараон» Б. Пруса «Тартарен из Тараскона» А. Доде, «Мартин Чезлвит» Ч Диккенса, «Война с саламандрами» К. Чапека

СОВЕТСКИЙ БАЛЕТ НА СЦЕНЕ БОЛГАРСКОГО ТЕАТРА

Недавно многочисленные любители балета болгарской столицы присутствовали на премьере балета советского композитора Фарида Яруллина «Шурале» Постановку балета осуществил коллектив Государственного музыкального театра имени Ст. Македонского под руководством балетмейстера-режиссера Георгия Абрашева, дипломанта ГИТИСа. Это первая самостоятельная работа молодого балетмейстера.

«Успех балета — пишет газета «Работническо дело» — не случаен. Он является плодом дружных усилий всего театрального коллектива, вложившего много сил в творческое разрешение поставленной перед ним задачи».

БРАЗИЛИЯ

САТИРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА М. РЕБЕЛО

Недавно издательство Мартинс в Сан-Паулу выпустило новую книгу Маркеса Ребело «Железный занавес», где автор описывает истинный характер увиденного во время путешествия по странам, находящимся по другую сторону так называемого «железного занавеса».

Куда бы он ни отправился — в Чехословакию или в Советский Союз,—его не покидает мысль о родной стране, о том что нужно сделать для улучшения жизни своего народа. Маркеса Ребело глубоко интересуют люди и их труд, достижения (в частности, культурные), которых добились трудящиеся стран социализма. Эти наблюдения автор постоянно связывает с тем, что было бы полезно сделать для его родины.

Книга Ребело разрушает миф созданный на Западе о странах социалистического лагеря Читая эту книгу, пишет журнал «Пара тодос» можно с уверенностью сказать, что автор проникнут духом мира. Маркес Ребело — живой и впечатлительный путешественник. Он приводит беседы с воображаемыми экскурсоводами, сам составляет программу своих путешествий. Ярко звучит описание его поездки по Чехословакии.

Ребело осмеивает тех, кто распространяет ложную информацию об СССР. В этой связи любопытен отрывок из его беседы в Москве с экскурсоводом: «Итак,—говорит ему тот,— вы, наверное, думаете, что эти полные, здоровые и веселые дети, которых вы встречаете здесь в школах и парках, русские дети? Так нет же! Этих детей мы одолжили у других стран, чтобы произвести на приезжих благоприятное впечатление. Только одна Дания послала сюда более одного миллиона детей».

«Железный занавес» не может служить источником информации и статистики, замечает «Пара тодос». Это сатирическая хроника, направленная против клеветы и отсталости.

ВЕНГРИЯ

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ВЕНГЕРСКИМ МУЗЕЯМ

По сообщению газеты «Непсабадшаг» во время октябрьских событий в Будапеште здание Национального музея было подвергнуто обстрелу, а затем подожжено. Музею нанесен непоправимый ущерб. Уничтожены выставки «Африка», «История развития Жизни и Земли», коллекции минералогии и палеонтологии. Погибли и специальные библиотеки, относящиеся к этим разделам. Уничтожены старинные книги и журналы, потеря которых невозместима. К счастью, не потерпела ущерба библиотека им. Сечени.

Сильно разрушена научная коллекция музея Естествознания, расположенного на улице Барошш. Сгорели многие коллекции, среди них земноводных, пресмыкающихся, улиток, рыб, птиц. Воспламенилось около 40 тысяч литров спирта для хранения экспонатов. Огонь распространился по одному из крыльев здания. Правое крыло строения благодаря самоотверженности жителей соседних домов уцелело.

Пострадало и здание музея «Замок Кишцелл» с находящимися там экспонатами, и частично будапештские музеи Изобразительных искусств, Этнографии, Истории Будапешта и Крепость-музей.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ГЕЙНЕ — ДЛЯ ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

В Веймаре состоялась международная научная конференция, посвященная творчеству Гейне. В ней приняло участие около 150 литературоведов многих стран.

Как отмечает «Нейес Дейчланд», конференция закончилась принятием важного решения: осуществить издание полного собрания сочинений Гейне.

Представители обоих германских государств пришли к соглашению сделать это в сотрудничестве с Дюссельдорфом и Веймаром. Подобный замысел, нашедший международную поддержку, является, по словам «Нейес Дейчланд» продолжением хорошей традиции общегерманского издания классиков.

ОБЩЕГЕРМАНСКАЯ АНТОЛОГИЯ

Прошедший год характерен появлением ряда общегерманских антологий современной прозы и поэзии. Наиболее значительной публикацией этого рода критики называют антологию «Немецкие голоса 1956 года», выпущенную в конце года совместно издательствами «Крейц-ферлаг» (Штуттгарт) и «Миттельдейчер ферлаг» (Галле).

«Впервые с того времени, как Германия разделена на две половины, выходит книга, которая не только представляет одинаковый интерес для обеих частей страны, но и является следствием хорошего сотрудничества, преодолевающего границы»,— говорится в издательском объявлении.

Издатели подчеркивают далее, что основное назначение антологии — обращаться ко всей Германии, ко всем немцам через «самую бессмысленную из всех границ». Тридцать шесть авторов — поэтов и прозаиков — выступают на страницах антологии; таким образом, отмечает газета «Националь цейтунг», читатель одной части Германии наилучшим образом знакомится с писателями другой части.

Западногерманская газета «Ди вельт» в большой рецензии называет «Немецкие голоса 1956 года» необходимым, хотя и трудным начинанием, которое «кла-

дет лишь начало разговору между Востоком и Западом». «Необходимо усилие.— замечает газета,— успех которому обеспечит только сотрудничество ведущих авторов Запада и Востока. Нужна готовность солидных издательств Запада и Востока «отдать» для подобного сборника лучшие работы их лучших авторов».

Выходящая в ГДР «Берлинер цейтунг» также выражает надежду, что подобная литературная встреча не окончится ни 1956 годом, ни данным кругом авторов.

Один из литературных критиков Германской Демократической Республики отмечает, что сегодня «немецкие голоса» не должны молчать о том, что хочется услышать каждому патриоту,— о жгучих проблемах нынешней немецкой действительности. Эти голоса должны впредь звучать каждый год.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 1956 ГОДА

В ознаменование седьмой годовщины со дня основания Германской Демократической Республики состоялось присуждение национальных премий за выдающиеся произведения художественной литературы. Поэт Луис Фюрнберг удостоен национальной премии второй степени за поэму «Брат Безымянный» (фрагменты из этой поэмы опубликованы в «Иностранной литературе». № 7 1956 г.), а также за созданные им многочисленные песни, которые стали достоянием немецкого народа.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

«ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК»

В семи западногерманских театрах, а также в театрах Дрездена, Вены и Цюриха одновременно состоялась премьера пьесы «Дневник Анны Франк». «Зрители в десяти театральных залах,— пишет газета «Нейес Дейчланд»,—знали в этот вечер, что они участвуют в своего рода демонстрации... Они знали: своим присутствием, своей взволнованной реакцией они протестуют против реабилитации врагов человечества... протестуют против возвращения эсэсовцев».

Анне Франк было тринадцать лет когда в 1942 году она начала вести дневник Вместе с родителями она бежала из фашистской Германии в Голландию но гитлеровцы оккупировали эту страну. Еврейская семья при помощи голландских друзей соорудила в амбаре тайное убежище, в котором укрылись и другие жертвы фашизма. Семь человек жили на протяжении двух лет в невероятно тяжелых условиях, под постоянной угрозой смерти. «Дневник, который Анна Франк вела эти два года,— пишет газета «Нейес Дейчланд»,— представляет собой потрясающий документ человеческих страданий и человеческого достоинства». Анна Франк была незаурядно одаренным подростком; в будущем она мечтала стать журналисткой или писательницей. Но нашелся доносчик, сообщивший гестаповцам о тайном убежище, и летом 1944 года оно перестало существовать. Анна Франк погибла, а ее отец, единственный из оставшихся в живых, после войны вернулся в Амстердам, где в амбаре обнаружил спрятанный дневник

«Дневник Анны Франк» был опубликован. Он положен в основу пьесы, написанной американскими писателями Фрэнсисом Гудричем и Альбертом Хэккетом. «Нейе берлинер иллюстрирте» сообщает что правительство США запретило американским актерам постановку этой пьесы на Парижском фестивале 1956 года так как оно считало нежелательным «напоминать Европе об ужасах фашизма»

Печать ГДР высоко оценивает постановку пьесы, осуществленную в Западном Берлине Болеславом Барлогом. «Это — правда, которая стала обвинением. Такой спектакль необходим сегодня более чем когда-либо...» — пишет газета «Зонntаг».

«КОМУ ХОЧЕТСЯ В СОЛДАТЫ?»

«Биржевый листок немецкой книготорговли» сообщает, что в ФРГ издаются «непочтительные книжки с картинками» под ироническими названиями «Кому хочется в солдаты?», «Глория, виктория» и другие.

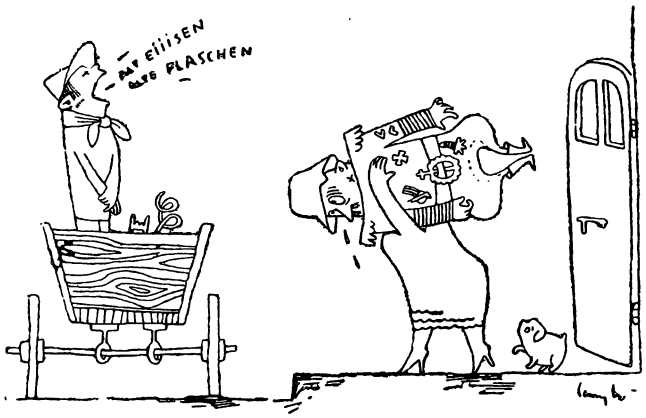
Карикатура, изображенная на обложке первой из этих книг говорит сама за себя. «Старое железо! Старые бутылки!»— кричит старьевщик остановившись со своей тачкой перед домом. Услыхав его крик, хозяйка выносит... увешанного орденами немецкого генерала.

Книга представляет собой серию сатирических зарисовок, направленных против возрождающегося в Западной Германии милитаризма.

Хлесткое предисловие, предпосланное этим зарисовкам написано в виде разговора двух людей из которых один — обыватель.

Обыватель пытается утешить себя тем, что современный вермахт не будет похож на прежний. Однако эти суждения полностью опровергаются, как несоответствующие действительности.

«Почему мы снова получаем войско? Потому что в случае необходимости.— с иронией говорится в предисловии,— мы должны быть в силах с оружием в руках постоять за признанную нами политику, осуществляемую законно избранными народными представителями. И именно тогда когда эта политика оказывается ложной Для такого серьезного случая мы и должны быть вооружены. Поэтому мы получаем войско. ...Да, послушайте, многое нам следовало бы вышвырнуть. Не в музей и не в кладовую со всякой бутафорией, с которой можно при случае стряхнуть пыль и снова густить ее в оборот. Нет, совсем выбросить на свалку.



Карикатура художника Канцлера. «Старое железо! Старые бутылки!» — кричит старьевщик.

Туда, где им место:

— немецкую бесхарактерность, которая заставляет нас вытягивать руки по швам перед каждым почтовым ящиком, если на нем эмблема начальства, и из-за которой мы смешиваем стойку смирно с благородной осанкой, собачье послушание и гражданскую трусость называем дисциплиной, а при наличии высшего образования—даже и культурой;

— немецкую лакейскую любовь к мундирам и позументам, которая заставляет нас каждого, одетого в мундир начиная с лейтенанта и с дежурного по вокзалу считать представителем высших властей и которая так высоко ставит высокопоставленных, что нельзя ударить их по рукам.

...А ведь было время, полное возможностей. Многообещающее время. Тогда история могла бы стать прекрасной. Новая история. А теперь начинает повторяться старая история. Старая немецкая история. Поглядите, как она приближается, и заря, как в зеркале, отражается в ее начищенных сапогах!..»

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б. БРЕХТА

Западногерманское издательство «Зуркам-ферлаг» (Берлин и Франкфурт-на-Майне) намерено выпустить полное собрание сочинений Бертольта Брехта,— сообщает газета «Нейес Дейчланд».

* * *

Городской театр Бонна включил в репертуар нового сезона пьесу Брехта «Господин Пунтила и его слуга Матти».

ЛАКСНЕСС — ПО ЛИМИТУ

В журнале библиотекарей «Бюхерей унд бильдунг» появилась рецензия на роман Халлдора Лакснесса «Атомная станция», выпущенный в Гамбурге издательством «Ровольт-ферлаг». «В этом романе,— пишет журнал,— повествуется о принятии одного договора, который автор пытается охарактеризовать, как продажу страны, как предательство суверенных прав свободной Исландии».

Эта оценка приводит журнал к следующему выводу: «Книга может быть выдана с большим риском, лишь совсем немногим, очень зрелым читателям».

Отмечая что причина опасений «Бюхерей унд бильдунг» не вызывает сомнений, журнал «Нейе дейче литератур» (ГДР) пишет: «...в западногерманских библиотеках роман Лакснесса получить весьма трудно».

ГОЛЛАНДИЯ

«ТРИДЦАТЬ ВЕКОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВЗВОЛНОВАННОСТИ»

Амстердамское издательство «Пегасус» выпустило антологию китайской поэзии в переводах с китайского и обработке известного писателя Тойн де Фриса.

«Китайские стихи! — восклицает по этому поводу рецензент голландской газеты «Де ваархейд». — Как много людей все еще слишком часто ассоциируют их с гармоничными строками, воспевающими лунное сияние, мягкий шелк одежд и сказочные дворцы Долгое время считалось модным восторгаться «Востоком», мудростью Конфуция и Лаоцзы, буддизмом В силу этого, включавшиеся в разные сборники стихи носили обычно односторонний аристократически-философский отпечаток.

Первым, кто порвал с подобной традицией в Голландии, был известный писатель и поэт Я Слауэрхофф При отборе стихов, включенных в сборник его переводов с китайского, Я. Слауэрхофф по собственному его признанию, отдавал предпочтение произведениям, отражающим жизнь народа. Вот почему эти переводы не представляли интереса для поклонников экзотики, но впервые познакомили голландских читателей с истинной поэзией Китая.

Тойн де Фрис знакомит читателя с гражданской лирикой — стихами и песнями, полными бунтарства и горьких обвинений жалоб народа на бесконечные войны и опустошения, с прекрасными образцами любовной лирики, взятой из «Книги песен» и трогающей нас, несмотря на то, что они были созданы 2500 лет назад; со стихами, написанными в более поздний период, а также с поэтическим творчеством новейшего времени.

В китайской поэзии, вошедшей в этот сборник, от-

В связи с празднованием в июле прошлого года 350-летия со дня рождения великого голландского живописца Рембрандта в Голландии выпущена серия почтовых марок. Рисунки на марках представляют собой фрагменты известных офортов художника. Здесь воспроизведена одна из марок с автопортретом Рембрандта.

мечает рецензент, «запечатлены тридцать веков человеческой взволнованности».

ДАНИЯ

МОЛОДОЙ АВТОР О МОЛОДЕЖИ

Молодой датский журналист Иенс Эйзенхардт опубликовал свой первый роман «Вступай в свое время».

«О трудностях, выпадающих на долю молодежи, написано много книг,— замечает известный романист и критик Ханс Кирк.— Большей частью при этом речь идет о трудностях переходного возраста, которые, в конечном итоге чаще всего преодолеваются. У нас создалась целая литература об эротических и невропатических страданиях учащейся молодежи. Но гораздо реже мы читаем о действительной трагедии молодежи, познавшей бедность, не имеющей крова, пришедшей из детских домов и казенных заведений измученной отупляющей тяжелой работой. Можно подумать, что издатели не хотят печатать подобные книги, поскольку люди, имеющие деньги на покупку книг, не хотят читать о тяжелых и мрачных вещах. Пожалуй, не стоит упрекать издателей, что они боятся выпускать книги, которые могут принести им убытки. Адресоваться следует к писателям: пишите об этих серьезных проблемах так, чтобы читателям было интересно читать ваши книги!

Книга Эйзенхардта представляет в этом отношении новое явление в нашей литературе. Автор очень широко ставит проблему положения молодого поколения и делает это так волнующе, правдиво, что от этой книги нельзя оторваться».

ЕГИПЕТ

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ

Журнал «Ахер Саа» поместил статью о том как египетские деятели литературы и искусства вместе со всем народом участвуют в борьбе за независимость своей страны.

Известных египетских деятелей культуры во время недавних событий можно было увидеть на плацу где они проходили военную подготовку.

Артисты выступали перед солдатами Армии Освобождения, перед ранеными в госпиталях, перед героическими защитниками Порт-Саида.

Египетские поэты посвятили пламенные стихи своей героической родине. Поэт Ибрагим Шааравн составил сборник стихов который называется «Песни битвы». Стихи Шааравн, по словам журнала «Ахер Саа» «являются пламенным выражением духа сопротивления и героизма в египетском народе, силы солидарности между народами всего мира и нашим народом в борьбе против империализма и преступлений англо-франко-израильских захватчиков».

Поэтесса Галиля Рида опубликовала сборник стихов под названием «Мятежная мелодия». Сборник открывается патриотическим стихотворением «Гимн Египту».

КОПТСКИЕ РУКОПИСИ ИЗ НАГ-ХАММАДИ

В 1945 году в Наг-Хаммади (Верхний Египет) было сделано важное открытие. Работавшие в поле феллахи обнаружили огромный кувшин зарытый в землю в котором были древние рукописи на коптском языке. На этом языке говорили в Египте во II—X вв. н. э. Ныне он всюду вытеснен арабским и сохранился только в качестве языка богослужений у коптов.

Как сообщили английские газеты, египетские власти недавно дали разрешение на изучение и опубликование этих рукописей, хранящихся в Коптском музее в Каире. Над их изучением работает международный комитет экспертов, в который входят ученые ряда стран. Руководит работой комитета директор Коптского музея египетский ученый доктор Пахор Лябиб. Члены комитета надеются в ближайшее время опубликовать некоторые из рукописей, которые, как они полагают не уступают по своей важности свиткам Мертвого моря открытым в Палестине. Как выяснилось, рукописи содержат тринадцать произведений, относящихся ко II—III вв. н. э.

Публикация рукописей из Наг-Хаммади имеет огромное значение для изучения истории Египта и раннего христианства.

ИНДИЯ

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

Из Аллахабада сообщают что бенаресское общество по распространению языка хинди приняло решение

воздвигнуть памятник индийскому писателю Прем Чанду на его родине, в деревне Ламахи (в пяти милях от Бенареса).

Член комитета по увековечению памяти Прем Чанда Г. П. Кедривал рассказал, что эта организация уже приобрела дом, где родился писатель. Кроме сохранения этого мемориального дома, общество предполагает построить гостиницу, библиотеку, музей и школу памяти крупнейшего национального писателя.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ

Как уже сообщалось в советской печати, в Дели состоялась конференция писателей стран Азии. В своей вступительной речи председатель организационного комитета профессор Хумаюн Кабир подчеркнул что различие языков больше не служит барьером к общению азиатских народов у которых теперь есть общие идеалы служения человечеству и защиты всеобщего мира. Он выразил уверенность, что писатели Азии понесут по всему миру призыв к дружбе взаимопониманию, призыв доброй воли и прочного мира.

Делегат Бирмы предложил, чтобы в азиатских университетах приступили к серьезному изучению истории культурных отношений между странами Азии и публиковали исследования по этому вопросу. Он предложил также учредить центр по изучению культурных достижений азиатских стран, который впоследствии мог бы издавать журнал и осуществлять переводы наиболее выдающихся произведений азиатской литературы.

Интересную работу проделала комиссия по вопросу «Писатель и свобода». Естественно, что этот вопрос волнует писателей стран Азии, поскольку ряд этих стран лишь недавно добился национальной независимости. Некоторые писатели хотели представить свободу творчества, как стремление обеспечить себе независимость от того, что интересует весь народ, от социальных условий в которых он творит. Однако эта группа оказалась в меньшинстве. Другие писатели говорили, что не может быть свободного творчества без свободы народа, что нужно выше всего ставить интересы народа. Индийский писатель Саджад Захир указал в этой связи, что создавать великие произведения писатель может только в свободном обществе, где нет эксплуатации.

В докладе пленарному заседанию комиссия по вопросу «Писатель и свобода» отмечает, что в ходе дискуссии не оспаривалось положение о том, что писатель несет ответственность перед обществом, в котором живет, и что успех его работы обусловлен тем, в какой степени он опирается на общественные силы.

В своем заявлении участники конференции подчеркивают, что, придерживаясь старых традиций, существующих в Азии,— терпимости, универсальности и гуманизма,— они считают, что культурное сотрудничество стран Азии должно быть направлено к взаимному культурному обмену и обмену информацией.

ИРАК

ИССЛЕДОВАНИЕ О СОВРЕМЕННОЙ ИРАКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В багдадском издательстве «Матбаа аль-Маариф» вышла книга Абд аль-Кадера Хасана Амина «Современная иракская новелла и повесть». Это ценное исследование посвящено творчеству современных иракских прозаиков Абд аль-Маджида Лютфи, Анвара Шауля, Абд аль-Малика Нури, Фуада ат-Такарли и других.

ИСПАНИЯ

«ГРАНАДА НАШЛА УБИЙЦ ЛОРКИ»

Под таким заголовком во французском еженедельнике «Леттр франсез» напечатана большая статья писателя Жана-Пьера Шаброля, в которой описаны обстоятельства трагической гибели в ночь с 18 на 19 августа 1936 года испанского поэта Федерико Гарсии Лорки и называются имена его убийц.

Гранада — город, в котором родился и жил Лорка,— был захвачен фашистами вскоре после начала мятежа, и сразу же с их приходом началось массовое истребление людей. Глава мятежа писал: «Для восстановления порядка нужно устранить миллион испанцев». В течение нескольких месяцев, пишет Шаброль, в одной только Гранаде, население которой насчитывает 130 тысяч человек, было убито около 22—23 тысяч человек, в их числе — Федерико Гарсия Лорка.

Ставшие известными факты об обстоятельствах ареста и расстрела Лорки свидетельствуют о том, что его убийство не явилось случайностью «в неразберихе гражданской войны», а было предписано свыше. Эти же факты раскрывают имена непосредственных участников преступления.

Известно, что Лорка не являлся членом какой-

Последний портрет Федерико Гарсии Лорки *(Газета «Гасета литерария»).*

либо партии. Больше того, находясь в стороне от политических дел, он поддерживал знакомство с людьми самых различных взглядов. Зная что его разыскивают, Лорка покинул родительский дом и решил скрыться у своего ученика Луиса Росалеса — видного члена фалангистской партии, считая что здесь он будет в безопасности.

Прежде чем перейти к рассказу об аресте и расстреле Лорки Ж.-П. Шаброль приводит характеристику лиц причастных к убийству поэта. Он рассказывает, что семья Росалес ведет и поныне крупную торговлю и пользуется большим влиянием не только в Гранаде, но и во всей стране. Четверо братьев Росалес являются руководящими деятелями фалангистской партии. Луис был начинающим поэтом и учился у Лорки. Сейчас он — официальный поэт режима Франко и личный друг каудильо, живет в Мадриде, но часто приезжает в Гранаду по своим делам. (В свое время Лорка передал ему все свои неизданные произведения, все черновики, все свои бумаги. Где они неизвестно. Но в произведениях опубликованных Луисом Росалесом, так отчетливо проступает почерк Лорки что в Андалузии их рассматривают как обвинение против Росалеса); Мигель был назначен прокурором Гранады и отправил на смерть тысячи людей, в настоящее время он живет в Мадриде; Антонио — казначей фалангистской партии в Гранаде, а Пепе — глава местных фалангистов и близкий друг генерального секретаря партии, постоянно живет в Гранаде.

В ночь с 18 на 19 августа 1936 года в дом Росалесов явился отряд гвардейцев с ордером на арест Лорки, который был подписан гражданским губернатором города капитаном Вальдесом (впоследствии умер). Вместе с отрядом был доносчик Руис Алонсо, ныне проживающий в Мадриде. Автор

Рисунок Ф. Г. Лорки
(Еженедельник «Леттр франсез»).

статьи подчеркивает, что арест был произведен не членами «черных отрядов», которые хватали «подозрительных» без всяких ордеров, а затем расстреливали где угодно а гвардейцами, действующими официально от имени правительства. Этот факт доказывает,— пишет Шаброль,— если в этом есть еще необходимость, что речь идет о продуманном решении, о преднамеренном преступлении.

За несколько минут до прихода отряда Луис Росалес был по телефону «срочно вызван из дома». Пепе также не было дома. Что касается Мигеля то он никак не реагировал на происходящее. Конечно, Вальдес сам не посмел бы пойти против Росалеса — личного друга Франко. Без сомнения, смерть поэта была предрешена в очень высоких инстанциях.

Машина, в которую посадили Лорку направилась в тюрьму Виснер, где гвардейцев сменили подчиненные капитана Нестареса. Затем машина направилась по дороге к Фуенте Гранде. Федерико Гарсия Лорка был расстрелян вместе с другими арестованными на дороге между деревнями Виснар и Альфакар.

Статья Ж.-П. Шаброля основана на новейших исследованиях, на данных нелегально проводившегося опроса свидетелей разыгравшейся двадцать лет назад трагедии. Пусть знают все пишет Ж.-П. Шаброль что испанцы тоже, и они особенно помнят о Лорке, что спустя двадцать лет на улочках Гранады, в тюрьмах, в лагерях люди жертвуют собой для того, чтобы точно, минута за минутой, восстановить последние часы жизни своего национального поэта...

ПЬЕСА О ЛОРКЕ

Известный датский поэт Ильич Юхансен, переведший на датский язык «Цыганский романсеро» Гарсии Лорки, написал пьесу «Кузнецы Гранады», посвященную гибели испанского поэта.

Критик газеты «Ланд ог фольк» упрекает автора в некоторой расплывчатости и декламационности, однако находит в его пьесе много ярких, впечатляющих сцен. Действие пьесы разыгрывается в течение одной ночи, когда Лорка приезжает в Гранаду вскоре после фашистского путча. В драме Юхансена Лорка приехал в Гранаду, сам точно не зная для чего: просто в эти решающие для Испании дни он чувствует потребность услышать «удары молотов кузнецов Гранады».

Одним из интересных мест драмы критик считает рассказ Лорки об Америке.

«Я видел новое — Нью-Йорк, город будущего, где нет места ни для поэзии, ни для свободы. Бессонный город, где кровь водопадами приливает к безостановочно вращающимся машинам... Я видел нашу судьбу, от которой все леденеет... Там человек встает утром, не досыпая не зная наслаждения красотой, добротой, святынями...»

Газета считает интересным сам факт «встречи одного из лучших датских поэтов младшего поколения с великим и сложным Лоркой и его Испанией».

ИТАЛИЯ

КНИГИ ПОД СУДОМ

Журнал «Иностранная литература» не так давно (№ 10, 1956 год) рассказал о судебном процессе над известным католическим писателем Данило Дольчи, принимавшем участие в забастовке протеста безработных батраков сицилийского селения Партинико. Судебное преследование этого писателя, выступающего в защиту сицилийских крестьян, вызвало возмущение всего прогрессивного итальянского общественного мнения и под его давлением Дольчи был вскоре освобожден. Недавно издательство Эйнауди выпустило книгу посвященную этому наделавшему много шума в Италии и за границей процессу. Она называется «Процесс над статьей четвертой» и представляет сборник документов и статей виднейших адвокатов писателей деятелей искусства и культуры заявивших о своей солидарности с Данило Дольчи.

В настоящее время итальянское общественное мнение вновь взволновано преследованием Дольчи неустанно борющегося за улучшение жизненных условий народа Сицилии. На этот раз судебные власти привлекают к ответственности писателя, а также редактора журнала «Нуови аргоменти» Альберто Каррочи за опубликование в этом журнале двух «аморальных» рассказов. Эти рассказы входят в число 36 рассказов, составляющих новую книгу Дольчи «Расследование в Палермо», которую выпускает в свет издательство Эйнауди.

В Италии вышел на экран новый фильм с участием крупнейшей итальянской киноактрисы Анны Маньяни — «Сестра Летиция» поставленный режиссером Марио Камерини. Тема картины — пробуждение материнских чувств у немолодой монахини нежно полюбившей вверенного ее заботам ребенка. Образ монахини Летиции, как отмечает критика, — новая творческая удача талантливой артистки. Хорошо справился со своей ролью маленький непрофессиональный актер Пьетро Бочча. Критика отмечает также игру актрисы Элеоноры Росси-Драго, создавшей образ матери мальчика.

На снимке: Анна Маньяни и Пьетро Бочча.

(Еженедельник «Контемпоранео»).

«Расследование в Палермо» так же как и предыдущая книга Дольчи «Бандиты из Партинико» разоблачает бесправие и тяжелые условия жизни трудящихся масс на Сицилии. В ее первой части воспроизведены в форме рассказов биографии 36 жителей Палермо; во второй части писатель вместе с пятнадцатью помощниками собрал огромное количество цифровых данных (10.500) характеризующих невыносимые условия жизни городской бедноты в Палермо,— сведения о безработице, жилищном кризисе и прочем.

***

В течение 1956 года Д. Дольчи провел четыре голодовки в знак протеста против тяжелых условий жизни и безработицы в Палермо. В последней недельной, голодовке Дольчи приняло участие 20 его последователей.

ПРЕМИЯ САН-ДЖЕНЕЗИО

В Милане в помещении книгоиздательства Бомпиани состоялась церемония вручения традиционных премий Сан-Дженезио за лучшую актерскую игру режиссуру и сценическое оформление итальянских драматических спектаклей в 1956 году.

В торжественной обстановке, в присутствии представителей правительства, городских властей и видных деятелей культуры премии за лучшую игру были вручены актрисе Рине Морелли создавшей образ Сони в чеховской пьесе «Дядя Ваня», и актеру Тино Карраро за исполнение роли Мессера в «Трехгрошевой опере» Бертольта Брехта.

Премия за лучшую режиссерскую работу в 1956 году присуждена выдающемуся театральному и кинорежиссеру Лукино Висконти.

КАНАДА

ТЕКУМСЕ — ВЕЛИКИЙ ИНДЕЕЦ

В газете «Кенэдиэн трибюн» помещена рецензия Мери Холмс на книгу Гленна Такера «Текумсе, видение славы» которая вышла из печати в Нью-Йорке и Торонто в 1956 году.

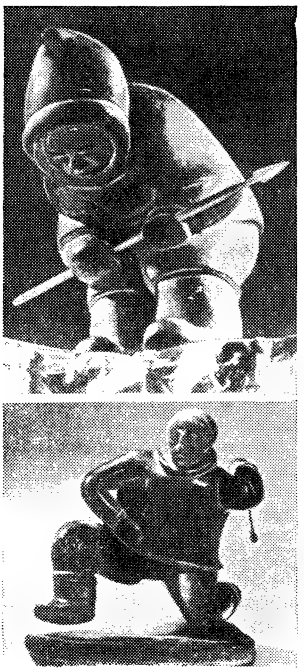
Главной фигурой описанных в романе событий выступает Текумсе — «человек

огромной храбрости и бесстрашия перед врагом...», мечтой которого было создание конфедерации всех индейских племен, чтобы противостоять вторжению белых на земли индейцев.

Мери Холмс пишет что Текумсе был не только великим воином и вождем, но и замечательным оратором Чрезвычайно интересно, говорит она читать его споры с генералом Гаррисоном, губернатором Индианы а позднее президентом США, так как чувствуется умственное превосходство Текумсе. «Такер создал больше, чем биографию вождя индейцев.— пишет М Холмс,— ему удалось перевести читателя через невидимую границу, отделяющую белых от индейцев и заставить его почувствовать то что испытывают индейцы,— их гнев, надежды и даже ту мечту о славе которую принес им Текумсе».

Образцы искусства эскимосов восточного арктического района Канады предназначенные для экспонирования на выставке 1957 года в Канаде.

(Журнал «Иллюстрейтид Лондон ньюс»)



Своей книгой Такер развеял один из исторических мифов, будто англичане в Канаде заставили Текумсе и индейцев воевать против американцев. Теперь установлено, что Текумсе долгое время старался убедить англичан помочь ему в борьбе против американцев.

В войне 1812 года став союзником генерала Брока пишет М. Холмс,— Текумсе проявил талант стратега, захват Детройта был проведен по его плану. Текумсе умер на поле боя, тела его американцы не нашли; у индейцев существует легенда, что его похоронили в пяти милях от места его смерти.

КИТАЙ

«ПО ПУТИ СВОБОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ»

Так называется статья известного писателя Лю Бай-юя об очередных задачах Союза писателей Китая, опубликованная в «Жэньминьжибао»

«Курс «Пусть расцветают все цветы, пусть соревнуются все ученые».— пишет Лю Бай-юй,— вызвал огромный творческий подъем среди деятелей литературы и искусства За перо взялись многие писатели молчавшие много лет Насколько я знаю Ли Цзи-жэнь работает над третьим романом «Большая волна» посвященным Синхайской революции новые пьесы пишут драматурги Сюн Фу-си и Ян Хань-шэн. Ло Цзинань задумал роман о жизни Шанхая. Активизируется писательская молодежь, в ближайшее время будут изданы «Звезды над землей» Чжан Сяо, «Вечно живи, весна» Ван Мэна — произведения о созидательных способностях нового человека ..» Сохранять, поддерживать и развивать эту творческую активность, способствующую расцвету китайской литературы — такова как отмечает Лю Бай-юй, одна из задач, стоящих перед литераторами Китая.

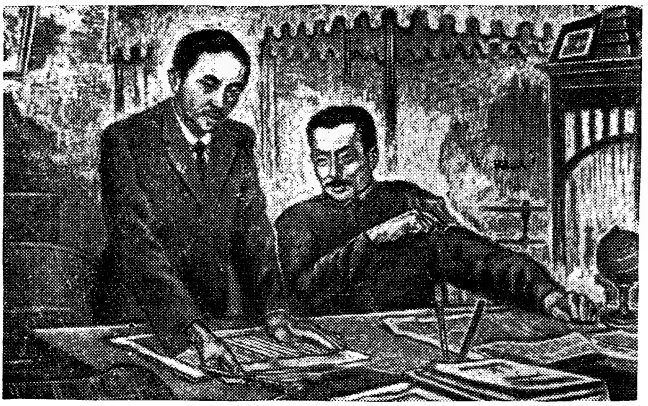
Автор пишет также о необходимости вовлечения в ряды Союза писателей людей, придерживающихся самых разных взглядов на искусство и разного художественного стиля а также о возвращении в литературу опытных писателей, используемых в настоящее время на различной партийной и государственной работе, о сплочении и единстве рядов литераторов-коммунистов и беспартийных писателей.

«Мы должны в то же время,— продолжает Лю Бай-юй,— улучшить дело с нашей литературной периодикой. Литературных периодических изданий выходит сейчас много, огромный труд вкладывают в свое дело коллективы редакций, сделано уже многое. Однако если присмотреться к любому из изданий приходишь к мысли: «как будто, что-то знакомое» — всем им недостает оригинального стиля своих особенностей, а без этого без соревнования друг с другом они и не вызовут особой любви читателей... Периодические издания.— говорит Лю Бай-юй,— должны соревноваться друг с другом, чтобы наша периодическая печать стала прекрасным садом где расцветают все цветы, и делать это мы должны в общегосударственных масштабах».

СОЗДАНИЕ ЯНЬЦЗИЙСКОГО ФИЛИАЛА СОЮЗА КИТАЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

На основании решения второго совещания правления Союза китайских писателей происходившего в городе Яньцзи (провинция Гирин) литературные круги Корейского национального автономного округа этой провинции создали филиал Союза китайских писателей. Это первый филиал Союза писателей, созданный в районах братских национальностей.

Корейцы, проживающие в провинции Гирин, имеют давние культурные традиции. Среди них очень небольшой процент неграмотных; на каждого человека в год выходит в свет по две



Как мы уже сообщали, в связи с двадцатой годовщиной со дня смерти Лу Синя китайскими художниками созданы произведения искусства, посвященные жизни и деятельности великого писателя. Некоторые из них мы воспроизводим в этом номере журнала. Наверху — Лу Синь (справа) и Мао Дунь составляют приветственную телеграмму по случаю победного завершения Великого похода Красной Армии. (Художник Чжао Цзуч-цзао).
(Газета «Жэньминьжибао»).

Внизу — Лу Синь. (Художник Ван Ци).
(Журнал «Баньхуа»).

книги. Литературные силы также весьма значительны. В начале 1950 года было создано научно-исследовательское литературное общество, а в апреле того же года — подготовительный комитет литературного объединения, которое было официально учреждено три года спустя.

Торжественное собрание, посвященное созданию филиала Союза китайских писателей, подвело итог успехам, достигнутым за последние несколько лет. Это был первый смотр творческих сил.

Собрание избрало правление в составе 20 человек, утвердило устав новой организации и определило ее задачи.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ

Министерство культуры и пропаганды КНДР выпустило в свет первый номер ежемесячного журнала «Корейское искусство».

Журнал ставит своей целью изучение и пропаганду среди работников искусства теоретических и практических проблем, возникающих в кинематографическом и театральном искусстве. Журнал будет знакомить читателей с литературой всех стран мира по вопросам кино и театра.

* * *

Вышел в свет первый номер нового журнала «Изобразительное искусство» (орган Союза корейских художников).

Журнал рассчитан на широкие массы профессиональных художников, участников кружков и любителей искусства.

На страницах журнала будут отражаться важные проблемы изобразительного искусства, а также печататься лучшие произведения корейских художников.

ЛИВАН

«ИСТОРИЯ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Бейрутское издательство «Дар аль-Маариф» выпустило в свет пятитомную историю арабской литературы, в которой в популярной форме излагается история всех литературных жанров с VI до XIX века.

В СТРАНЕ ДРУЗЕЙ

Известный публицист Насиб Нимр написал книгу «Страна друзей» — о своем посещении Советского Союза. Книга вышла в издательстве «Дар аль-Фараби» с предисловием Жоржа Ханны.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВА ПЕРЕВОДЧИКОВ

В Бейруте состоялась сессия созданного в 1951 году общества переводчиков. В работе сессии участвовали представители Египта, Сирии, Ирака, Иордании, а также Лиги арабских стран и делегат ЮНЕСКО. Общество намерено координировать работы по переводам с арабского языка и на арабский язык выдающихся произведений арабской и мировой философской и литературной классики. Решено выпускать периодические бюллетени, в которых будут освещаться переводы с арабского языка и на арабский язык во всех странах мира. Общество уже издало на арабском языке «О духе законов» Монтескье, «Общественный договор» Руссо, произведения Декарта. Печатаются произведения Аристотеля, Шекспира и Сервантеса. На французский и английский языки переведен ряд произведений аль-Газали, Ибн Сины, Ибн Рошда и Джахиза.

ПЕРВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Бейрутская кинофирма в прошлом выпускала одни лишь документальные короткометражные фильмы. Теперь снимается первый в истории ливанской кинематографии художественный фильм. Он будет называться «Дома лучше всего».

По словам журнала «Фильмшпигель» (ГДР), картину снимает режиссер Георг Насер, который учился в Калифорнийском университете.

МАЛАЙЯ

РОМАН О СОВРЕМЕННОЙ МАЛАЙЕ

Недавно молодая писательница Хам Суйин закончила свой роман «И дождь утоляет мою жажду», посвященный современной Малайе. Книга состоит из отдельных очерков. Повествование ведется от имени молодой девушки. В рецензии на роман «И дождь утоляет мою жажду», опубликованной в южноафриканской газете «Френд», указывается, что писательница не остается равнодушным наблюдателем, а живет и действует вместе со своими героями.

Сейчас Хам Суйин работает над романом «Мердека—клич свободы» о событиях в Малайе в 1954—1956 годах.

ПАКИСТАН

ИЗДАНИЕ НОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА

В Карачи вышел первый номер нового ежемесячного литературного журнала на языке урду «Такхлик» («Творчество»). Пакистанская пресса с удовлетворением отметила это событие.

Автор рецензии, помещенной в газете «Пакистан таймс», пишет, что раздел публицистики содержит ряд статей, среди которых особенно интересна работа о творчестве писателя Ходжи Хассана Низами. Останавливаясь на основных особенностях произведений Низами, автор статьи указывает на их стиль, меткость языка, богатое воображение, остроумие, которым изобилует большая часть его литературных трудов.

Тщательно подобраны разделы поэзии и прозы. В номере помещены три книжных обозрения.

«ИСТОРИЯ БЕНГАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Университет города Дакка (Восточный Пакистан) опубликовал историю современной литературы на языке бенгали. Авторы этой книги — профессора Абдул Хай и Али Ахсан, которые ведут курс бенгальской литературы, один в университете Карачи, другой в университете города Дакка.

КНИГИ О ПАКИСТАНЕ

Газета «Пакистан таймс» сообщает, что Ассоциация писателей подготовила обширный план по изданию книг на различных языках Восточного и Западного Пакистана, освещающих все аспекты жизни страны.

Уже начаты работы по переводу на урду лучших литературных произведений бенгальских писателей и некоторых поэм бенгальского поэта Назрула Ислама. Будут осуществлены переводы отдельных произведений известных западных классиков на языки Пакистана. Ведутся переговоры с пакистанскими издателями о публикации книги «Мыслители ислама».

ПОЛЬША

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР «ФИЛЬМА»

Польский еженедельный журнал «Фильм» отметил десятилетие своего существования. Десять лет назад в разоренной войной Польше журнал не имел определенного пристанища. Редакция его находилась в Лодзи, а печатался он в Познани... Немало сил и изобретательности пришлось употребить работникам редакции, чтобы обеспечить своевременный выход журнала в свет.

В настоящее время «Фильм» знают и любят не только в Польше, но и за ее пределами На страницах журнала, наряду с материалами о польской кинематографии, печатаются статьи и очерки, кадры из кинофильмов и другие иллюстративные материалы, посвященные киноискусству разных народов.

Юбилейный номер «Фильма» вышедший в увеличенном объеме, целиком посвящен 10-й годовщине существования журнала. Номер открывается обращением, подписанным ведущими работниками польской кинематографии, среди которых имена Александра Форда, Ванды Якубовской, Ежи Теплица, озаглавленным «В защиту польского киноискусства». В обращении ставятся насущные вопросы польской кинематографии. Журнал печатает воспоминания работников редакции «Фильма» и деятелей польского кино в связи с юбилеем а также многочисленные поздравления от зарубежных друзей: из Франции, Югославии, Индии, ГДР, Англии, Румынии, Ирана, Бразилии, Советского Союза Италии... Среди деятелей советского кино, поздравивших «Фильм» с юбилеем, Любовь Орлова, Григорий Александров, Абрам Роом, Сергей Юткевич, Григорий Рошаль.

САЛОН «ПО ПРОСТУ»

В прошлом году в фойе Еврейского театра в Варшаве был открыт салон молодых художников «По просту» В салоне было организовано несколько выставок работ молодых польских художников различных направлений. На выставках преобладала так называемая модернистская живопись.

Молодые польские художники именующие себя «неореалистами» ищут новых путей художественного воздействия на зрителя новых выразительных средств. К сожалению они не всегда преуспевают в этом. Зрители зачастую не в состоянии понять произведение, созданное таким художником, обладающим, повидимому, чересчур «утонченным» восприятием. Газета «Трибуна люду» в статье о салоне «По просту» считает, что до сих пор не достигнуто взаимопонимание между художниками и посетителями выставок. «Удалось организовать лишь две дискуссии,— пишет газета,— но обе закончились провалом. Профан не понимал картин, а художник не мог понять, чего, собственно, профан не понимает».

РУМЫНИЯ

ПЕРВЫЙ РОМАН

«Чертов глаз» — первый роман молодого румынского писателя Корнелиу Леу, который вышел недавно и был положительно встречен румынской критикой. Действие романа развертывается в небольшом провинциальном городке.

«Корнелиу Леу,—пишет журнал «Флакэра»,— создает интересную и разнообразную галерею типичных представителей буржуазного и мелкобуржуазного мира в период между двумя мировыми войнами». Тут и крупные торговцы-спекулянты, и мелкие перекупщики, и управляющий имением, и циничный продажный газетчик. Журнал отмечает, что все эти персонажи изображены с большой убедительностью. Гораздо слабее выглядят в романе положительные герои, например, молодой рабочий Траян. Несмотря на эти недостатки, роман, как указывает «Флакэра», свидетельствует о появлении нового талантливого писателя.

«ВЕЛЕНИЕ НАШЕГО РАЗУМА»

Под таким заголовком румынская «Газета литературэ» опубликовала заявление писателей, редакционных и издательских работников Венгерской автономной области РНР. В этом заявлении, между прочим, говорится:

«Двенадцать лет назад венгерские трудящиеся начали строить жизненный мост, который ведет из общества, основанного на угнетении, в общество, где отсутствует всяческая эксплуатация...»

Подчеркнув, что после многовекового гнета венгерский народ вздохнул свободно, авторы заявления осуждают действия реакции в Венгрии.

«Мы, венгры, живущие в Румынии, знаем (и это мы испытали на своем горьком опыте), что означает «демократизм» буржуазно-фашистских партий.

Этот «демократизм» в период между двумя мировыми войнами сделал возможным то, что народ нашей родины и лучшие сыны румынского народа стали жертвами самых диких преследований...

Мы, писатели Венгерской автономной области и редакционно-издательские работники города Тыргу-Муреш, от всей души протестуем против того, что какие-то подлые хулиганы поганят чистые идеи о народной свободе, идеи Шандора Петефи.

Пусть посредники князей, фабрикантов и банкиров не произносят всуе святое имя Петефи. Если сейчас уступить, то нилашистские вурдалаки будут угрожать Венгрии; если не защитить социалистическую Венгрию, коммунистическую партию и ее святое дело — социалистическую Венгрию, если сейчас уступить, то вас ожидает мрак ада.

Мы, верные сыны Румынской Народной Республики, румыны и венгры,— вместе с вами, мы верим в вас, верим в конечную победу в вашей борьбе...»

Письмо подписали писатели: Эндре Анталфи, Ласло Гади, Жолт Гальфалви, Дёзё Хайду, Золтан Хайду, Янош Кемень, Дёрдь Ковач, Иштван Мец, Карой Молтер, Пал Надь, Тибор Олах, Ференц Папп, Андраш Шютё, Лайош Сабо, Шандор Томча, Ласло Томпа.

Под письмом подписалась также группа редакционно-издательских работников.

США

СЪЕЗД АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает газета «Дейли уоркер», в апреле 1957 года в Нью-Йорке намечено провести съезд писателей США. Съезд созывается Лигой американских писателей (президент Мосс Харт). Среди основных вопросов, которые будут обсуждаться,— экономическое положение писателей и роль цензуры в литературной жизни США. Кроме того, подготовительный комитет разрабатывает целый ряд вопросов творческого характера, включаемых в повестку дня съезда.

КНИГА МАРИАН АНДЕРСОН

Вышла из печати автобиографическая книга негритянской певицы Мариан Андерсон «Боже, какое утро!»

Журнал «Сэтердей ревью» приводит отрывок из книги, в котором Андерсон с гордостью рассказывает о большом успехе ее концерта в Москве. Перед отъездом из США, пишет Андерсон, ее настойчиво предупреждали, что в СССР ей не разрешат петь «церковную музыку» Однако оказалось, что в Москве никто не препятствовл ей исполнять Баха, Гайдна и негритянские гимны «спиричуалз» которые были с восторгом встречены публикой.

ПЬЕСА ПО «КАНДИДУ» ВОЛЬТЕРА

Лилиан Хеллман совместно с Леонардом Бернштейном и поэтом Ричардом Вильбуром готовит музыкальный спектакль для Бродвея по повести Вольтера «Кандид». Пьеса должна пойти в этом сезоне.

ТУРЦИЯ

ПИСАТЕЛЬ-СКАЗОЧНИК

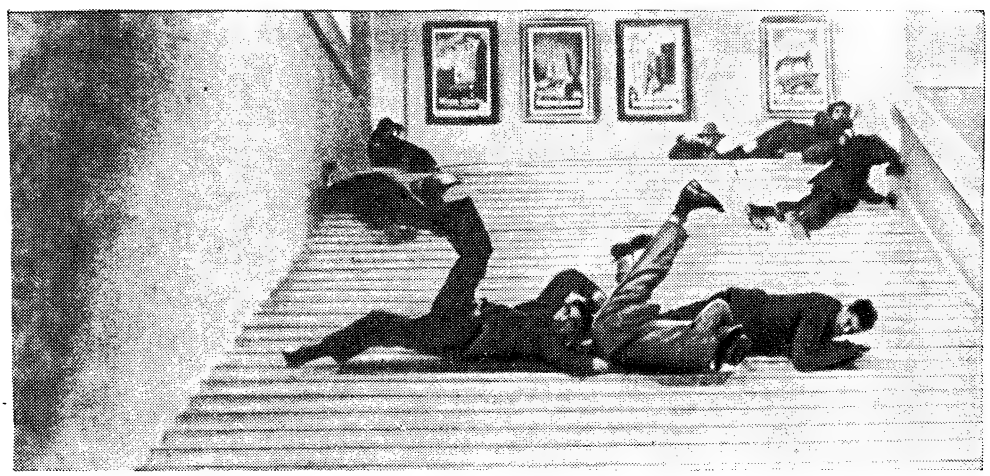
Издательство стамбульской литературной газеты «Едитепе» («Семь холмов») выпустило книгу сказок Эфлятуна Джема Гюнея. Директор стамбульского музея «Дворец Топкапы» Эфлятун Гюней недавно получил почетный диплом датского «Фонда Ханса Кристиана Андерсена». Жюри этой организации признало Э. Гюнея лучшим современным писателем-сказочником. В книгу произведений писателя, выпущенную издательством «Едитепе» вошли сказки, написанные им для стамбульского радио, в которых, по отзывам турецкой критики, весьма своеобразно и с большим мастерством использованы богатства турецкого фольклора.

НЕИЗВЕСТНЫЙ РАССКАЗ ОМЕРА СЕЙФЕДДИНА

Просматривая один из частных архивов, литературовед Шериф Хулюси обнаружил гранки неизвестного до сих пор рассказа, принадлежащего перу классика турецкой литературы Омера Сейфеддина (1884—1920). Рассказ назван «Статуя». Он, очевидно, был

Этот кадр, показывающий эпизод вооруженной схватки между сторонниками двух политических группировок в одном из американских городов взят из нового фильма «Босс». Фильм рассказывает о частной жизни и политической деятельности руководителя партийной машины в одном из штатов, который, как говорится в рекламе фильма, был настолько силен, что «чуть ли не назначал сам президента» Фильм еще не вышел на экраны, а уже раздались голоса, требующие его запрещения. Руководители демократической партии увидели в нем прямой намек на знаменитого босса Тома Пендергаста и бывшего президента Гарри Трумена. В фильме мелкий торговец Эрни Джексон при поддержке босса становится сенатором, а затем метит и на президентское место. По сообщению американской печати даже по облику этот герой фильма похож на Трумена. В конгрессе демократы заявили протест по поводу выпуска этого фильма, а власти города Канзас-Сити, где господствовал Пендергаст, уже сейчас запретили демонстрацию фильма.

(Журнал «Ньюсуик»).



запрещен цензурой англо-франко-американских оккупантов, хозяйничавших в Стамбуле в 1919—1922 годах. Причиной этому, несомненно, послужила звучащая в рассказе острая издевка писателя над некоторыми интеллигентами, сотрудничавшими с оккупантами и считавшими «авантюрой» начавшееся в Анатолии национально-освободительное движение. Лишь через тридцать шесть лет рассказ турецкого писателя-патриота увидел свет.

УРУГВАЙ

НОВОЕ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В этом сезоне внимание зрителя Монтевидео привлекли спектакли трех молодых театральных коллективов: «Народного театра», «Свободного театра», «Театрального клуба». Критики обычно объединяют эти молодые труппы под одним названием «Независимый театр», подчеркивая тем самым родство их целей. И действительно, три театра сближает и роднит подлинный демократизм, стремление увлечь широкие массы зрителей показом лучших образцов мировой классической драматургии и выдающихся произведений современных прогрессивных драматургов.

В этом году «Театральный клуб» открыл сезон пьесой Грэхема Грина «В одной квартире», которая привлекла внимание художественного директора театра Клаудио Сорали, пишет «Гасета де культура», «блестящим показом кризиса, переживаемого господствующим классом, который уже опустошен и агонизирует, но который еще упорно борется за восстановление своих прав и своего образа жизни».

«Народный театр» осуществил постановку пьесы Нильтона Шлинка «Санчо Панса, губернатор острова Баратория», написанную по мотивам гениального творения Сервантеса. В главной роли выступил популярный уругвайский актер Кармона.

Живой отклик в печати получила постановка пьесы Валентина Катаева «Квадратура круга», которую подготовил к началу сезона руководитель «Свободного театра» Муньос.

Отвечая на вопрос, чем объясняется этот выбор, Муньос сказал: «Мы выбрали пьесу Катаева потому, что она относится к тому периоду, когда среди советских писателей утвердилась мысль, что смех является неоценимым оружием в борьбе против человеческих пороков, коллективных и индивидуальных... «Квадратура круга», наряду с другими произведениями того времени, написана в традициях русской сатирической литературы, которая идет от Гоголя».

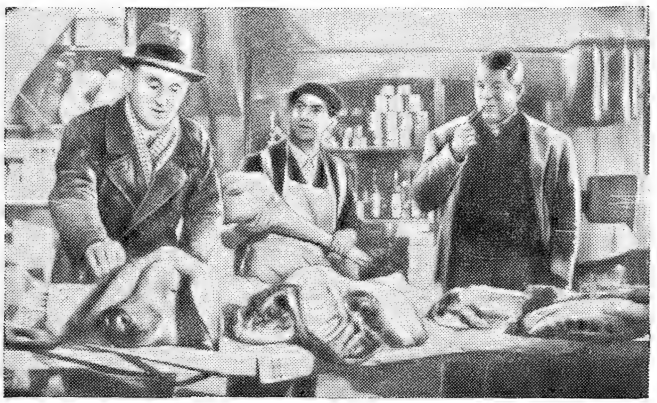
ФРАНЦИЯ

«МАЙОР ВАТРЕН»

Литературная критика считает роман Армана Лану «Майор Ватрен» одним из наиболее значительных произведений минувшего года, знаменующего возврат к традициям большого антивоенного социального романа, занимавшего столь видное место в литературе двадцатых годов.

Драматический конфликт в романе «Майор Ватрен» завязывается в июньские дни 1940 года — в дни разгрома и поражения Франции. Военный суд выносит смертный приговор солдату-коммунисту, обвиненному в неподчинении командованию. Это событие разделяет героев романа на два враждебных лагеря. В одном из них майор Ватрен, старый кадровый офицер, суровый, безжалостный человек, воспитанный на кастовых, милитаристских традициях. Второй герой — молодой учитель, лейтенант Субейрак — интеллигент, пацифист, принципиальный противник войны и насилия. Все противоположно в этих людях, все враждебно им друг в друге. Оба они попадают в немецкий лагерь для военнопленных, оба проходят тяжкий, трагический путь, в конце которого каждый из них по-новому осмысливает свои прежние позиции и события, происходящие во Франции. «Это повествование о войне, о Франции и о любви. Оно правдиво в общем и в частностях и вновь свидетельствует о неисчерпаемых возможностях современного реализма», — пишет в «Леттр франсез» об этом романе писатель Пьер Дэкс.

Кадр из нового фильма режиссера Клода Отан-Лара «Через Париж». На снимке — исполнители главных ролей Жан Габен, Бурвиль и Луи де Фюнэ
(Журнал «Филмз энд филминг»).



Кадр из нового фильма режиссера Жоржа Лампена «Преступление и наказание» (по Достоевскому). В главных ролях — Марина Влади и Робер Оссейн.
(Журнал «Сине-регар»).

ОТПОВЕДЬ ГАЗЕТЕ «ФИГАРО-ЛИТТЕРЕР»

В связи с недавними венгерскими событиями реакционные газеты вели ожесточенную клеветническую кампанию против прогрессивной писательской организации — Национального комитета писателей и, в частности, против традиционного книжного базара, ежегодно организуемого этим Комитетом в помещении Зимнего велодрома в Париже.

По словам еженедельника «Леттр франсез», «писатели, которые должны были участвовать в книжном базаре, стали предметом нажима и шантажа, а некоторым из них их издательства угрожали бойкотом».

Недавно буржуазная газета «Фигаро» напечатала письмо Робера Мерля с протестом против подобной кампании, которая велась также и на страницах «Фигаро-литтерер». Робер Мерль — известный французский романист и драматург, знакомый советскому читателю по пьесе «Сизиф и Смерть», опубликованной в № 4 за 1955 год нашего журнала.

«Никогда и нигде, — говорится в письме Робера Мерля, — я не одобрял «убийств в Будапеште». Будучи противником в с я к о г о вооруженного вмешательства и осуждая в с я к о е насилие, я вместе с вами оплакиваю погибших в Венгрии. Поэтому мне непонятно ваше нежелание разделить мои чувства в отношении трех тысяч жителей, погибших при бомбардировке Порт-Саида. Разве под развалинами их глинобитных домов не было ни женщин, ни детей? Почему же ваши чувства и ваша мораль столь односторонни?

Лишь вашей пристрастностью можно объяснить то, что вы пытаетесь установить связь между «будапештскими убийствами» и книжным базаром Национального комитета писателей. Разумеется, здесь нет ни связи, ни чего-либо общего.

Что касается меня, то я не отказывался от участия в книжном базаре, несмотря на то, что неоднократно делались попытки принудить меня к этому. Вы, может быть, согласитесь, что лучше продавать книги, чем громить книжные лавки...» (Автор имеет в виду бесчинства фашиствующих элементов в Париже в ноябре прошлого года.)

«Однако, — продолжает Робер Мерль, — вы отказались осудить эти бесчинства. И в то же время вы еще разговариваете о культуре, как если бы она принадлежала только вам. Позвольте вам сказать, что культура не является монопольной привилегией, что ее значение не в том, чтобы налагать запреты, составлять «черные списки» интеллигентов с «дурными мыслями» или же клеветать на писателей, которые не желают равняться по вашим позициям.

Ваша статья о Национальном комитете писателей имеет целью путем угроз изолировать коммунистов-интеллигентов, создать для них своего рода гетто. Что бы я ни думал об их нынешней позиции, я никогда не присоединюсь к вашим маневрам. Я не одобряю ни гетто, ни погромов — нужно ли это напоминать вам, христианам? Насилие начинается с дискриминации, и путь к нему весьма короток.

Наконец о моих друзьях-коммунистах. Позвольте вам сказать со всей прямотой, что со стороны «Фигаро-литтерер» верх наглости пытаться руководить моими отношениями с ними.

Так же, как и раньше, я буду протягивать руку, кому захочу и когда захочу, и уж во всяком случае не вашим сотрудникам, которые присваивают себе полицейские права указывать мне, с кем мне дружить».

К голосу Робера Мерля прислушиваются многие честные французские интеллигенты.

НОВАЯ РАБОТА А. МОРУА

По сообщению журнала «Пари матч», известный французский писатель Андре Моруа работает в настоящее время над биографией изобретателя пенициллина Александра Флеминга.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

РАССКАЗЫ О СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сборник рассказов А. Бернашковой «Король неправ» является результатом ее работы в качестве иностранного корреспондента. Это попытка художественными средствами проанализировать человеческие и политические взаимоотношения в современном мире. Действие рассказов разыгрывается в Германии, Италии, Корее. В значительной мере писательнице удалось показать атмосферу этих стран. Осуществлению такой задачи она подчинила не только выбор сюжета и композиции рассказов, но и языковые средства.

Книга написана неровно, пишет «Руде право». Самым сильным рассказом газета

Скульптор Б. Боровичкова-Подперова, получила за свою творческую работу и общественную деятельность чехословацкую премию мира за 1956 г. На снимке: «На концерте музыки Моцарта». Обожженная глина, 1956 г.

считает «Яд», где автор создает убедительную картину современной Западной Германии.

В целом, по мнению критики, книга, несмотря на отдельные неудачи, представляет интерес как по содержанию, так и по форме.

ИЗДАНИЕ СТИХОВ С. МАРШАКА

В Государственном издательстве детской книги вышел томик стихов С. Маршака «Прекрасный день» в поэтическом переложении известного переводчика советской детской поэзии И. В. Свободы. В книге собраны стихи, поэмы, сказки, загадки. Рецензент журнала «Нови живот», сообщая о выходе сборника, отмечает богатство и разнообразие художественных средств автора. Он пишет, что «Маршак глубоко проник в психологию ребенка, он хорошо знает своего читателя и поэтому умеет так непосредственно беседовать с ним». Автор рецензии указывает на необходимость более широкого издания произведений советской детской поэзии в Чехословакии.

ШВЕЙЦАРИЯ

БИБЛИОТЕКА ЧАПЛИНА

Чарльз Чаплин собрал большую личную библиотеку, которая включает уникальную коллекцию «Литература о Чаплине».

По сообщению журнала «Фильмшпигель» (ГДР), коллекция работ, посвященных творчеству великого артиста и режиссера, насчитывает несколько тысяч книг более чем на сорока языках. Среди них имеются и свидетельства «академических почестей» — 27 диссертаций на тему о работе Чаплина в кино.

ЮГОСЛАВИЯ

ЮБИЛЕЙ ЙОВАНА СТЕРИЯ ПОПОВИЧА

Все театры и многие другие культурные учреждения страны отметили юбилей крупнейшего югославского комедиографа, сербского драматурга Йована Стерия Поповича.

Юбилей ознаменовался показом драматических произведений Поповича, пользующихся до настоящего времени любовью зрителя.

Особого внимания заслуживают два фестиваля: в г. Нови Сад, где участвовали ведущие профессиональные театры Югославии, и в Тузле, где соревновались лучшие любительские театры.

Провозглашением победителя фестиваля в Тузле окончилось юбилейное празднование 150-летия со дня рождения и 100-летия со дня смерти Йована Стерия Поповича.

В ПЕРЕВОДАХ С РУССКОГО

«Дискуссия о Есенине после стольких книг и статей о нем начинает сегодня завершаться одним вопросом: вопросом перевода», — пишет югославская газета «Книжевне новине», сообщая о выходе сборника избранных стихотворений Сергея Есенина на сербском языке. Книга называется «Пугачев» и другие стихотворения». Она выпущена белградским издательством «Омладина». Произведения Есенина даны в переводах поэта Слободана Марковича. Кроме поэмы «Пугачев», среди вошедших в сборник стихотворений — «Баллада о двадцати шести». В связи с выходом книги «Пугачев» и другие стихотворения» газета «Книжевне новине» публикует заметку о творчестве Есенина и портрет поэта.

«Поэтом Урала» называет еженедельник «Недельне информативне новине» Мамина-Сибиряка, роман которого «Приваловские миллионы» выпущен в Риеке издательством «Отокар Кершовани». Еженедельник пишет, что появление книги восполняет большой пробел в знании югославскими читателями творчества русских писателей-реалистов XIX в., и помещает краткую характеристику этого произведения.

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

В начале этого года в Кейптауне состоится международная выставка детского творчества. В ней примут участие 30 стран, каждая из которых имеет право представить от 6 до 12 работ детей в возрасте 5—16 лет. Активная подготовка к этой выставке идет в большинстве стран Африки. В конце прошлого года в Аккре (Золотой Берег), Момбасе (Кения) и Блумфонтейне (Южно-Африканский Союз) проведены местные выставки детского творчества, на которых было показано немало талантливых работ. Характеризуя выставку, организованную в Блумфонтейне, газета «Френд» не без горькой иронии писала, что если бы эти таланты разви-

Работа югославского скульптора Ивана Мештровича «Индеец»
(Газета «Контемпоранул»).

вались и дальше, то половина населения страны была бы художниками.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Пропагандист музыкального творчества доктор Кооле провел ряд лекций-концертов, посвященных русскому композитору Мусоргскому, произведения которого исполнялись здесь впервые.

Об интересе к русской классической музыке говорит и выпуск целой серии грампластинок с записью произведений Римского-Корсакова: симфонических сюит «Антар» и «Шахерезада», а также оперы «Снегурочка».

ЯМАЙКА

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РАССКАЗ

Ежемесячный журнал «Вест-Индиан ревью», издаваемый на острове Ямайка журналистом Чэпменом, объявил конкурс на лучший рассказ о местной жизни. Наиболее интересные рассказы будут опубликованы в журнале. С большой похвалой отзываясь об этом ценном начинании, местная печать указывает, что конкурс поможет выявить новых талантливых авторов и оживит литературную жизнь.

ЯПОНИЯ

«ШЕДЕВРЫ ЯПОНСКОГО ИСКУССТВА»

В книжных магазинах Японии появилась новая книга «Шедевры японского искусства». В ней помещено 100 репродукций, из которых 40 цветных, представляющих лучшие образцы живописи, скульптуры, керамики, архитектуры, изделий из лака и тканей, созданных в течение веков художниками Японии. Этот труд составлен на основе шеститомника, посвященного истории японского искусства, изданного в свое время Национальным музеем Токио.

Газета «Иомиури джепэн ньюс», поместив сообщение о выходе книги и ряд репродукций, пишет, что эта книга заслуживает внимания особенно с точки зрения истории и культуры Японии.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Шарль Добжинский — Charles Dobzynski (род. в 1929 г.) — французский поэт. С 1950 года начал публиковать свои стихи в «Леттр франсез» В 1953 году получил первую международную премию поэзии на Всемирном фестивале молодежи в Бухаресте В 1955 году вышла книга стихов Добжинского «Свет любви» ("Au clair de l'amour"), откуда и взято публикуемое нами стихотворение.

Бертольт Брехт — Bertolt Brecht (1898—1956) — известный немецкий драматург, прозаик и поэт. Ряд наиболее известных его пьес — «Матушка Кураж» ("Mutter Courage", 1941), «Кавказский меловой круг» ("Der Kaukausische Kreidekreis", 1954) и другие—шли на сцене театра «Берлинский ансамбль», которым Брехт руководил до последних дней своей жизни.

Пьеса «Добрый человек из Сезуана» ("Der gute Mensch von Sezuan") была написана Брехтом в 1938—40 годах.

Войтех Мигалик — Vojtech Mihálik (род. в 1926 г.)- -словацкий поэт. Автор книг «Плебейская блуза» ("Plebejská Košel'a", 1950), «Поющее сердце» ("Spievajúce srdce", 1952). Публикуемое нами стихотворение «Присяга» ("Prísaha") взято из сборника «Вооруженная любовь» ("Ozbrojená láska", 1953), остальные — из сборника «Умру не на соломе» ("Neumriem na slame", 1955).

Бэгзийн Явуухулан (род. в 1929 г.) — монгольский поэт Первые стихи были опубликованы в 1949 году В 1954 г вышли сборники стихов под названием «Наша мечта» («Бидний хусэл») и «Под синим небом» («Цэнхэрмандлын тэнгэр дор»). Публикуемые стихотворения получены редакцией в рукописи.

Михай Бенюк — Mihai Beniuc (род. в 1909 г.) — известный румынский поэт, лауреат Государственной премии первой степени за 1952 г., член Академии наук РНР. Широкой известностью пользуется сборник его рассказов «Личная ненависть» ("Ura personala") и другие произведения.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт,

С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),

Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».

Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А00604 Сдано в производство 18/XII-1956 г. Подписано к печати 23/I-1957 г.
Учетно-изд. листов 26,6. Бумага 70×108¹/₁₆. 9,1 бум. л., в т. ч. 1 вкл.
Зак. 2840 Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.